Nota Bene

1

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • №1 ФЕВРАЛЬ 2004 • ИЕРУСАЛИМ

- М. ШАЛЕВ - В доме своем в пустыне...
- Б. ХАЗАНОВ - Две притчи
- В. ПРИБЫЛОВСКИЙ, Ю. ФЕЛЬШТИНСКИЙ - Потаенный Путин
- С. КУРГИНЯН - Элита, идеология, террор
- В. БУКОВСКИЙ - Советизация Европы
- ХАНА АРЕНДТ "для чайников"







Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№1

ФЕВРАЛЬ 2004
ИЕРУСАЛИМ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

3 **МЕИР ШАЛЕВ.** В доме своем в пустыне
59 **АНРИ ВОЛОХОНСКИЙ.** О нефти. Имя ведьмы
64 **БОРИС ХАЗАНОВ.** Возвращение Агасфера. Лигурия
79 **ЭЙТАН ФИНКЕЛЬШТЕЙН.** Литовские лабиринты
100 **АНАТОЛИЙ КАРДАШ.** У черного моря: палачи и праведники

РОССИЯ-ЗАПАД-ВОСТОК

124 **СЕРГЕЙ КУРГИНЯН.** Теракт на Дубровке
145 **ВЛАДИМИР БУКОВСКИЙ.** Советизация Европы

NON FICTION

152 **ВЛАДИМИР ПРИБЫЛОВСКИЙ, ЮРИЙ ФЕЛЬШТИНСКИЙ.** Операция «Наследник»

ПРОЧТЕНИЯ

172 **МАРК АМУСИН.** Остров Эко и литературная вселенная
181 **АЛЕКСАНДР ЭТЕРМАН.** Роза ветров

ИНОЙ РАКУРС

209 **МИХАИЛ ЭПШТЕЙН.** Говорит ли философия по-русски?
222 **ЭДУАРД БОРМАШЕНКО.** Серым по серому

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

242 **МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ.** Он не мог поступить иначе?
283 **ВИКТОР СУВОРОВ.** Беру свои слова обратно

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА... (дайджест)

ИСТОКИ И СМЫСЛЫ

314 **ХАННА АРЕНДТ.** Истоки тоталитаризма

БЫЛОЕ

341 **ЕЛЕНА ИГНАТОВА.** Петербург: двадцатые годы
363 **ЗЕЭВ (ВЛАДИМИР) ЖАБОТИНСКИЙ.** Германия

368 **НАШИ АВТОРЫ**

МЕИР ШАЛЕВ

В ДОМЕ СВОЕМ В ПУСТЫНЕ

Главы из романа

Всякий роман Меира Шалева - литературное событие, а «В доме своем в пустыне» - событие вдвойне: это второй роман писателя, переведенный на русский язык (после «Эсава»), и второй, высоко оцененный критикой (большой отрывок из него принят для публикации в журнале «Иностранная литература»). В новой для себя книге Шалева русскоязычный читатель снова погрузится в семейную сагу, но на этот раз резко отличную от истории, рассказанной в «Эсаве». В еще большей мере, чем «Эсав», это книга о любви и смерти, об Иерусалиме - прекрасном и проклятом, о пустынных землях Негева и высохших ущельях Мертвого моря, о смешных, странных, трогательных людях с причудливыми и трагическими судьбами. Это книга воспоминаний мужчины, выросшего среди женщин, слепого среди зрячих, зрячего среди слепых, воспоминаний о радостном и мучительном детстве, увиденном печальными глазами одинокого стареющего человека, воскрешенном силой его памяти, любви, благодарности и ненависти. Книга Шалева - почти забытая в наши дни высокая литература, глоток чистой воды для читателя, взыскующего радости серьезного чтения.

Несколько слов об авторе. Меир Шалев (род. в 1948 г. в мошаве Нахалаль на берегу озера Кинерет, в семье с русскими корнями) - один из крупнейших современных израильских писателей, испытавший - в отличие от других - влияние Набокова и Мелвила и потому стоящий особняком в израильской прозе, достаточно далеко от политики и актуалий. Несмотря на это, он неизменно держит первое или второе место в рейтинге критики, читателей и продаж, и каждый его новый роман немедленно становится событием для читающего Израиля. Он, пожалуй, лучший стилист и мастер ивритской интеллектуальной, лирической, иронической прозы. Он побывал в армии, служил шофером на «скорой помощи», был журналистом, выпустил несколько детских книг. Первую серьезную книгу, «Русский роман» (1985), написал лишь в 37 лет; она сра-

зу же стала - и остается в Израиле - бестселлером и переведена на десять европейских языков (но не на русский). Затем последовали «Эсав» (1991) (русский перевод - изд-во «Ретро», 2001), «Как несколько дней» (1994), «В доме своем в пустыне» (1998) и «Фонтанелло» (2002) - все они также переведены на основные европейские языки. Кроме того, перу Шалева принадлежит нашумевший сборник эссе, предлагающих острорационалистическое, современное прочтение Библии («Библия сегодня», 1985; опубликована по-русски изд-вом «Текст»), и сборник филологических лекций, прочитанных в Еврейском университете («Главным образом о любви», 1995).

Шалев с женой и детьми живет в Иерусалиме. Худ, узколиц, очкаст, лысоват, небрежен в одежде, саркастичен, умен, резко нешаблонен, начитан и замкнут, увлекается гонками на мотоцикле и блужданиями на джипе по пустыне, ведет еженедельную язвительную сатирическую колонку в израильской газете «Едиот ахронот» и пишет свой пятый роман. Он обладатель ряда литературных премий Израиля, а в 2002 году был удостоен итальянской литературной премии «За лучший роман о любви».

Мы предлагаем вниманию читателей первые пять глав из романа.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВОТ ОН Я

Вот он, я - дрожащим на воде отраженьем. Миллион соломенных волос теснится на голове. Лоб - низкий и гладкий. Сотня молочно-белых зубов сверкает во рту. Кривая улыбка.

«Когда ты, наконец, повзрослеешь, Рафаэль?» - спрашивает Мать.

«Когда ты, наконец, умрешь, Рафинька?» - любопытствует Бабушка.

«Когда ты, наконец, присоединишься к нам?» - дивятся четверо Наших Мужчин - Дед, и Отец, и двое Дядей, - висящие в коридоре, ждущие меня.

«Рафауль, обезьяна ты этакая, бизабразина! - смеется сестра. - Почему ты от нас ушел? Так плохо тебе было с нами?» И слово «безобразина» она произносит, как все женщины в нашей семье: «и» после «б» и «а» после «з». «Бизабразина».

А две мои Тети - Черная с Рыжей - только качают коротко стриженными головами, качают беззвучно. Кач-покач, молчи-не-плачь - качают, молчат, уличают. Одна поддакивает всерьез, другая подражает с улыбкой - вниз-и-вверх, вверх-и-вниз, в слитном ритме, дарованном им родством, и судьбой, и годами.

К этому уединенному водоему, - ни разу не довелось мне приметить на его берегу чьи-нибудь чужие следы, притоптанную золу или остатки пищи, - я ускользаю каждые несколько дней, едва лишь оказываюсь поблизости по работе. Как овальная, глубокая чаша, эта притаившаяся в

пустыне обитель водяных лилий - вся затенена отвесными стенами скал и даже летом сохраняет большую часть своей воды.

Потаенное мое озерко. Даже Роне - моей бывшей жене, моей нынешней возлюбленной, моей будущей беде - я не открыл, где находится оно, но однажды взял ее туда.

«Закрой глаза, Рона, - сказал я ей. - Не хочу, чтобы ты видела, куда мы едем».

«Ты так уверен, что я не буду подглядывать?» - она посмотрела на меня сквозь трепетанье сдвинутых почти вплотную ресниц.

«А что, у меня есть другой выход?»

«Есть. Ты можешь завязать мне глаза».

В нескольких километрах к западу от нашей новой скважины я останавливаю машину и озираюсь кругом. Никого. Короткий рывок, и пикап перепрыгивает через каменный порог перед устьем уходящей вбок расщелины. Пара царапин на железном брюхе, и вот я уже за выступом скалы. Кто бы ни проехал теперь по главной дороге, не увидит ни пикап, ни ее, ни меня.

Вот он, изгиб пересохшего русла, вот она, белая нагота утеса. Все мои старые приятели уже ждут меня не дождутся. Привет вам, две бесстыдно растрепанные акации, и тебе привет, крохотная пичуга с черным хвостом, мечущаяся между ними словно в постоянном сомненье, - когда же ты, наконец, решишься, которую выбрать? Я обрываю урчанье мотора, заглушаю шелест «Моторолы», и вокруг воцаряется великий покой. Глубокий и мягкий - как тот, в который погружается голова, когда покоится меж ее грудями.

Какое-то время я стою так, приучая тело и чувства. А затем, подобно первым звездам пустыни, что вспыхивают одна за другой с наступлением ночи, первые звуки раздвигают занавес тишины. Поначалу - крохотная пичуга с черным хвостом, зазывно попискивающая в моих ушах. Потом - воздух, гудящий в моих легких. И следом - кровь, свирепеющая в моих сосудах.

Вот он, черный камень, а вот и огромный валун, который некогда приволокло в эти края древнее наводненье. Ниже-ниже скатывалась тогда вода, и пела, гудя, и перепахивала, и взрезала, разливаясь, и бурлила, бессильно оскудевая в глубинах своих желаний. Когда-то, еще в школе, у нас был старенький учитель физики, которого так возбуждали чудеса притяжения, что он забывал о законах Ньютона и начинал рассказывать нам всякие небылицы. «В самой глубине земного шара сидит старый-старый старик и тянет, и тянет, и тянет», - сообщал он нам, и поскольку он тоже был стар, то и сам начинал тянуть руками за воображаемые веревки, и на лице его проступало выражение крайнего усилия, благодаря которому я его и запомнил. Кто лучше тебя, сестричка, знает, что, как правило, я забывчив. Слова и факты протекают сквозь меня, словно медяки сквозь дырявый карман. Зачем помнить то, что можно придумать? Но запахи и картины, но вкусы и прикосновенья - эти врезаны в меня, как надпись в надгробный камень.

В свои пятьдесят два года, старше всех мужчин, что жили и умерли в нашей семье, я тоже превратился в большого поклонника силы притяжения. Но я верю не в силу притягивающих тел, а в стремленье тел притягиваемых: ниспадать, низвергаться, всё ниже-ниже, и скатываться, и собираться в том месте, ниже которого ничего уже нет. В том, где, наконец, обретают покой.

Только зов моей плоти - там, ниже-ниже, в моих пропастях. Только гладкие камни, поющие под ногами. И тоска, что сжимает сердце в своей горсти и направляет мои шаги. Вот он, каменный гриб, а вот там, внизу, - два могучих валуна, которым все-таки удалось сорваться с утеса и рухнуть на дно пересохшего русла. А вот и тот, третий, что застрял на полпути, посредине склона, и с тех пор ждет там, гневный, молящий: скати меня вниз, Рафаэль, толкни меня, низвергни меня к моему спасению.

Сбиваясь на бег и сбиваясь с дыханья, я взбираюсь по скальным ступеням. Здесь я сказал ей: «Осторожней, Рона, тут большой камень». Здесь я взял ее за руку, а здесь возвестил: «Всё, мы на месте, можешь снять свою повязку».

Но Рона сказала, что ей приятней оставаться так, с повязкой, и с нее вполне достаточно окунуть руку в воду, чтобы убедиться, что я ее не обманул, что тут и в самом деле есть озерко, и ей хочется полежать на его берегу. Рядом со мной. Именно так, любимый мой, с завязанными глазами, чтобы запомнить, что я была здесь с тобой, доверчивая и слепая.

Еще несколько осторожных шагов, и я ложусь ничком над потаенностью каменного рта. Вот краешек водного среза, вот дрожащая рябь, а вот и я, глядящий из глубины. Ты ждал меня, Рафаэль? Ты соскучился? Комариные личинки испуганно разбегаются от тени моего тела, и высоко-высоко надо мной, в отверстии скальной трубы, - круглый глаз небосвода.

Глянь на меня, голубое небесное око, на родившегося и растущего тебе навстречу, глянь на меня, когда я всплываю к тебе из глубин. Скажи и ты: «Когда ты, наконец, повзрослеешь, Рафаэль? Когда ты, наконец, умрешь, Рафаэль? Когда, наконец, и ты присоединишься?»

Я РОС СИРОТОЙ

Я рос сиротой, без отца, без дядей и деда, в доме, где жили пять женщин - моя Мать, моя Бабушка, две Тети и ты, моя маленькая сестричка-паршивка, - которые воспитывали меня, ласкали меня, кормили меня, рассказывали мне воспоминания и прислоняли к стене в коридоре.

Там, на известковой белизне, висят четыре большие фотографии четырех Наших Мужчин. Вот они: «Наш Рафаэль», наш Дедушка Рафаэль, который был Бабушкиным мужем. «Наш Давид», который был нашим с тобой Отцом и мужем нашей Матери. «Наш Эдуард», который был мужем Рыжей Тети и хозяином белой крысы, что вечно сидела у него на плече и даже тут, на фотографии, тоже там сидит. И «Наш Элиэ-

зер», дядя Элиэзер, ветеринар, автодидакт, который был мужем Черной тети и братом Рыжей. Все четверо погибли рано, как и все прочие мужчины в нашем роду, от самых разных и самых странных несчастливых случайностей. И все четверо были повешены, один подле другого, на стене коридора и удостоились звания «Наш», которое наши женщины присвоили каждому из них после его смерти.

Дважды в неделю Бабушка готовила мне жидкость для чистки стекол - из уксуса, разведенного в воде. «За такую бутылку в кооперативе требуют уйму денег», - ворчала она. «Уймой денег» она называла любую цену, которая представлялась ей слишком высокой, что означало любую цену, которую у нее просили. Она учила меня окунать в раствор старую газету и до блеска натирать ею все четыре портрета. «Нечего зря тратить тряпку», - говорила она. У нее на веранде лежала куча тряпок, но все они береглись на черный день («Ойф нит цу бедарфн, - объясняла она. - Чтобы, не дай Бог, не понадобилось»), а старыми газетами можно было чистить не только стекла на портретах Наших Мужчин, но и оконные стекла тоже, а еще ими можно утеплить ботинки и сунуть под подкладку пальто, если, не приведи Господь, придется опять бежать по снегу, потому что снег всегда идет как раз в тот самый день, когда приходят погромщики, и ты лучше не умничай мне тут, маленькая паршивка, какая разница, что здесь нет казаков и снега, зато здесь есть арабы и песок, а это в точности одно и то же.

Я с силой дул на портретные стекла, и сдувал с них пыль, и тёр их уксусом и газетной бумагой, пока они не становились такими прозрачными, что их вообще уже не было видно. Но я знал, что они все еще там, и, подобно мне, знали это также те четверо, что за ними, смотревшие на меня оттуда, вместе с белой крысой Нашего Эдуарда, - и ждавшие меня, каждый в квадрате своей рамки и каждый за скорбью своего стекла.

«Я кончил, - сообщал я Бабушке. - Можно, я почищу еще что-нибудь?»

«Нет, Рафинька, нехорошо, когда мальчик делает женскую работу».

«Я хочу пи-пи, - пробовал я зайти с другой стороны. - Можно, я пойду в ваш туалет?»

«Нет, Рафинька, нехорошо, когда мальчик делает пи-пи в женской уборной».

Как пять лепестков, окружали мой стул пять этих женщин, высились, как шахматные фигуры, вокруг моей колыбели, склонялись, как ивы, над тазом для моего мытья.

«Может, ты знаешь, как мог бы мужчина расти еще лучше?» - допытывались они у меня.

«Нет, - отвечал я заученно, послушно и готовно. - Нет, я не знаю».

Даже сейчас, - а тебе уже пятьдесят два, твержу я себе снова и снова, и ты самый старый из всех мужчин, что жили и живут еще в твоем роду, - даже сейчас они время от времени навещают меня в доме моем, в пустыне. Они привозят мне свои разносолы, они проверяют, хорошо ли я выгляжу, в порядке ли мои дёсны и чисто ли в моих шкафах, они

делают мне замечания и интересуются всеми моими делами. И мне не раз бывает нужна их хорошая память, особенно твоя память, сестричка, как и ты сама нужна мне - якорем и зеркалом, компасом и мишенью: чтобы выжить, чтобы отыскать пути, чтобы рассказать самому себе эту историю, которую приспело, наконец, рассказать, пока я не умер тоже.

«Почему ты от нас ушел, Рафауль?»

«Когда ты вернешься?»

«Так плохо тебе было с нами?»

В моей пустыне есть место, откуда глазу открывается огромный простор, на первый взгляд - монотонно однообразный, но, если присмотреться, весь исполосованный шрамами неприметных глубоких расщелин, и в тенях его таятся подвохи, а среди скал скрыты сокровища, и горячий воздух дрожит над ним в переливах иллюзий. Так и ты, сестричка: слова ты помнишь, секреты ты знаешь, но тропы пальцев на моей коже? Овечьи следы моей любви? Иссохшие колодцы? Осыпавшиеся утесы моего гнева?

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ

Историю моей жизни, как и жизни любого человека, можно начать с тысячи разных мгновений и в сотнях различных мест.

С момента моего рождения в Иерусалиме, - если вести ее просто и прямо, как одну из тех водоводных труб, за которыми я надзираю в пустыне.

Со дня моей женитьбы на Роне (твоей бывшей жене, твоей нынешней возлюбленной, твоей будущей беде, это я тоже твержу себе снова и снова) в доме ее родителей в Хайфе, в тени двух сросшихся вершинами сосен, - если вести ее маршрутом глубоких скважин и ножевых ран.

Со дня моей смерти в этой пустыне - она вскоре наступит, эта смерть, нет сомнений, даже если замешкалась немного, - если вести ее обратным ходом, пятясь в прошлое безглазым затылком, испуганными ногами.

Так или иначе, моя жизнь, как и жизнь любого человека, куда проще ее сюжета. Начну, например, с первой встречи наших родителей.

Наша Мать приехала в Иерусалим из мошавы* Кинерет и поступила в учительскую семинарию имени Давида Елина*. А Отец, который погиб несколько лет спустя во время армейских маневров, раздавленный гусеницами танка на ночной стоянке своего резервного батальона, приехал из Тель-Авива и учился на медицинском факультете университета, что на Сторожевой горе*. Как просты они, эти начала: лишь напряг крыльев перед полетом. Лишь дрожащий намек перед раскрытием тайны. Мгновенный проблеск перед взмахом косы и хлынувшей кровью.

И как запутаны продолжения: каждый год, в день памяти Отца («Почему это день памяти устраивают только умершим? - спросила ты од-

нажды. - Давайте устроим день памяти Рафауля, пока он еще жив, пусть привыкаст») - каждый год в этот день Мать непременно вспоминает их первую встречу. И поскольку она нередко думает и вспоминает вслух - точно так же, как вслух читает свои книги, - мы снова и снова удостаиваемся возможности услышать и повторить знакомые наизусть детали. А поскольку ее стареющая память, подобно заброшенной тропке, меняется с каждым годом - старые следы зарастают, и новые стебли встают над пылью, - мы удостаиваемся также возможности припомнить с ее помощью то, чего не было, и забыть вместе с нею о том, что когда-то было и чего давно уже нет.

То был холодный и прозрачный зимний день. Отец в большой спешке вышел из книжной лавки «Игарта» («Сегодня это книжный магазин "Ярден"», - в очередной раз сообщает Мать всем жаждущим сориентироваться поточнее) - и тут же увидел ее. Она стояла под большим эвкалиптом на площади Сиона* («Там и сейчас эвкалипт», - в очередной раз извиняется за нее язва-сестричка) и читала только что купленную книгу, восторгаясь тем, как складно соединяются между собою слова, и наслаждаясь близостью могучего дерева, тень и запах которого напоминали ей родительский дом в мошаве Кинерет. Сегодня уже не учуять запах того эвкалипта, что на месте тогдашнего кипариса, - его перекрывает удушливая гарь рычащих автобусов, жаркий пот городской толпы да кислая вонь мочи и отбросов, - но «в прежние времена», как наша Мать именует времена мандата*, это еще было возможно.

Наша Мама любит читать. В сущности, читать она любит больше всего и всегда загибает «ушки» на страничных углах вместо того, чтобы просто вложить закладку. Есть книги, которые она никак не может кончить, и тогда она говорит: «Мне неприятно бросать посредине, Рафи. Может, ты дочитаешь ее за меня? Вот, это как раз то место, где мне надоело. Продолжай с последнего ушка». Так она делала в детстве, в нашем доме в Иерусалиме, так и сегодня она привозит эти пристыженные книги с их загнутыми ушами ко мне домой, и я дочитываю их здесь, в пустыне.

Ее отец, Дедушка Рафаэль - ему было тридцать девять, когда он покончил с собой, один из самых молодых покойников в нашем роду, - научил ее буквам еще до того, как ей исполнилось три года. Вскоре она уже научилась опознавать и выпевать все буквы до единой, и тогда Дедушка Рафаэль понавесил ей повсюду записки с названиями всех предметов: и инструментов, и деревьев, и живых существ, что были в их доме и во дворе, вроде: «стол», «шкаф», «ко-ро-ва», «о-тец», «кас-трюля», «дверь», «Ре-у-вен», «кран», «ки-па-рис».

Записка со словом «Реувен» была пришпилена к рубашке их старшего брата, «Нашего Реувена», как его называют Бабушка, и Мать, и Черная Тетя, которые всегда говорят о нем с жалостью и любовью. Его жена, тетя Иона, принесла ему в приданое целые стада рогатого скота и верховую лошадь, которая сбросила его с седла. Голова Дяди Реувена

раскололась, ударившись об одну из базальтовых плит в долине ручья Явниэль, и лишь два дня спустя, когда в небе начали кружить черные точки, люди, тщетно искавшие его все это время, пошли к тому месту, над которым они кружили, и нашли там дядино тело.

«А на Бабушку?» - спросил я Черную Тетю.

«Что на Бабушку?» - Черная Тетя выплюнула косточку финика, и та, пролетев по коридору, ударилась о белую стену, отскочила и присоединилась к своим многочисленным сестрам, уже густо усеявшим пол.

«На Бабушку он тоже повесил записку: "Ба-буш-ка"?»

«Нет, Рафаэль, на Бабушку он повесил записку: "Ма-ма". В те времена она была только нашей мамой, а не твоей Бабушкой».

Мать была сообразительным ребенком. «Умничка моя», - называл ее Отец, и, поскольку она была как раз в правильном возрасте («для всего на свете есть правильный возраст», - говорит Рыжая Тетя), между нею и языком сразу же завязались отношения. Буквы казались ей лицами, слова - картинками, и она больше не соглашалась слушать, как ей читают, но хотела читать сама или же сидеть рядом с читающим, смотреть на перелистываемые им страницы и следить за ним в оба глаза.

«Я должна видеть слова», - говорила она каждому, кто предлагал почитать ей сказку.

В силу этой замечательной словесной памяти и обостренного чувства языка, тех двух способностей, которыми она наградила тебя, но, увы, не меня, Мать ухитрялась угадывать даже значения незнакомых ей слов.

«По их форме, - говорила она всем, кто удивлялся этому. - А вы что, разве не видите?»

«А ну-ка, напиши девочке какое-нибудь трудное слово, - бывало, обращался к гостю Дедушка Рафаэль. - Напиши такое слово, что даже взрослые с трудом понимают».

«Это что-то про лошадей», - говорила Мать, увидев слово «аллюр».

«Это где-то здесь!» - говорила она о слове «кушак», победно кладя руку на талию.

И слово «пион» она до сих пор произносит, как «пьён», потому что именно так научил ее впервые отец и именно так это врезалось в ее память.

В четыре года она уже читала вовсю, радостно и бегло, и самое большое удовольствие от этого жадного чтения получала дочь соседей, ее ровесница, по имени Рахель Шифрина, которая стала ее лучшей подругой.

«А вам? - спрашивал я Черную Тетю. - Тебе и Дяде Реувену она тоже читала?»

«Нет».

«Но ведь она же ваша сестра!»

«Наш Реувен был уже большой и все время занят по хозяйству, а я не хотела. Хоть я и высокая, а сказки я не люблю».

Черная Тетя видит повадки мира и обитающих в нем творений на свой особенный лад: «Я не понимаю, как такой блондин может преус-

певать в математике», - сказала она однажды об одном из своих кавалеров, а о другом обмолвилась: «Хоть он и боится высоты, но прекрасно играет на скрипке».

Мать читала дочери соседей и самой себе книги, а ее младшая сестра носилась по двору и полям, ввязывалась в драки, играла и лазила по деревьям - точно так же, как продолжала это делать многие годы спустя, когда стала взрослой и превратилась - благодаря мне - в Черную Тетю.

Она очень метко швыряла камни из пращи, которую украла у арабского пастуха, когда тот полез искупаться в озере, и, хотя уже тогда была убежденной вегетарианкой и питалась в основном овощами и финиками, все же согласилась отстреливать с помощью этой пращи голубей, расхаживавших по черепичной крыше коровника, потому что Бабушка, уже тогда убежденная скряга и скупердяйка, сказала, что если добавить этих голубей в семейный котел, то не придется сворачивать головы курам, расхаживающим по двору.

Что же до Дедушки Рафаэля, «Нашего Рафаэля», то он был убежденный самоубийца. Спустя несколько лет он повесился, оставив по себе лишь долги жене, имя - мне да великий спор всем женщинам в нашем семействе: считать самоубийство мужчины естественной смертью или его тоже следует отнести к несчастным случаям? Вопрос любопытный и вполне достойный обсуждения, сестричка, но не из-за него я вас оставил. Не из-за этого.

У БАБУШКИ ЕСТЬ ЧЕРЕПАХ

У Бабушки есть черепах, которого зовут Пенелопа. Черная Тетя подобрала его на каменистом поле, что примыкало в ту пору к самой окраине нашего низенького, маленького квартала. Сегодня там высятся жилые дома и большое здание религиозной семинарии, а тогда мы играли там в «чур, земли не касаться», прыгая с камня на камень, и Черная Тетя устраивала в поле вечерние посиделки у костра для всей детворы квартала и собирала сухие коровьи лепешки, чтобы унавозить ими маленький огород в нашем дворе.

Бабушка попросила черепаху в подарок к своему шестидесятилетию.

«Черепаху? С чего вдруг черепаху?» - удивилась Мать, а Рыжая Тетя скривила лицо в гримасе «ой-я-сейчас-вырву-все-что-только-что-съела», на которой она специализировалась.

«Я так хочу», - сказала Бабушка, вообще говоря, женщина предсказуемая, простая и консервативная, самым выдающимся качеством которой была любовь к деньгам, а не к животным.

А Черная Тетя сказала: «Что тут непонятного? Если не считать родных дочерей, черепаха - то животное, которое дешевле всего прокормить».

Но Мать и Рыжая Тетя непременно добивались, чтобы Бабушка объ-

яснила, какой смысл в том, что она хочет именно черепаху. И тогда она призналась: «Потому что в моем возрасте уже приятно думать, что в доме есть кто-то постарше».

Мать бросила беглый взгляд на черепаха и заявила, что, невзирая на впалый живот, ему вполне подходит имя Пенелопа. Исходя из числа клеточек на его панцире и полной неспособности ориентироваться в квартире, женщины постановили считать, что Пенелопа старше Бабушки как минимум на двадцать лет, что означает, что сегодня ему уже, примерно, сто двадцать.

Однако, несмотря на преклонный возраст, а также медлительность и полную тупость - три качества, которыми природа наградила всех черепах, Пенелопа стал нашим любимым домашним животным, и я хорошо запомнил его, потому что всякий раз, когда я принимался расспрашивать Бабушку о маминой подруге Рахели Шифриной, Пенелопа начинал описывать вокруг нас нетерпеливые круги - насколько черепаха вообще способна делать что бы то ни было нетерпеливо.

«Балованная девчонка, - презрительно фыркала Бабушка. - Даже в будни наряжалась, как на субботу».

Привычка эта - наряжаться по будням в субботние наряды - представлялась ей непростительным прегрешением, говорившим не только о расточительности, но и о заносчивости. И действительно, Рахель Шифрина не дружила с другими детьми мошавы и не помогала своим родителям в работе по хозяйству и во дворе. Целыми часами она сидела на веранде своего дома в прохладной тени раскидистого фикуса и увлеченно играла в куклы.

Господин Шифрин, ее отец, взошел в Страну* после Первой мировой войны. Оба они, Шифрин и его жена, были высокие и белолицые, и в силу их врожденного аристократизма все соседи предваряли их имена уважительными «господин» и «госпожа». Они были очень похожи друг на друга, но Земля Израиля, с ее обитателями, природой и солнцем, обошлась с ними по-разному. Господина Шифрина она наполнила радостью и благожелательностью к людям, а госпожу Шифрину наградила морщинами и постоянной озабоченностью. Зной, и пыль, и вечные мухи, и темные базальтовые домики мошавы надломили ее дух. За считанные годы она превратилась в «унылую каргу», как описывала ее Бабушка, а может и Мать, я снова не помню.

«Вы уж меня извините, госпожа Шифрина, что я вам делаю замечание, - указывала Бабушка на маленькую Рахель, - но мы не затем прибыли в эту Страну, чтобы выращивать бездельников!»

В этом вопросе Бабушка, кстати, и сама исповедовала то, что проповедовала. Она и дочерей своих, мою Мать и Черную Тетю, держала в черном теле, и себе самой тоже не давала спуску. В детстве, когда мы с Большой Женщиной - так я про себя называю вас пятерых, которые меня растили: тебя, паршивка, и Бабушку, и Мать, и двух моих Теть - усаживались, бывало, поговорить на кухне, Бабушка тотчас торопилась вы-

ложить на стол пять кучек чечевицы и приказывала женщинам перебирать ее, пока они «чешут языками».

«Нечего вам тут болтать и рассиживаться без дела, - объявляла она. - Пока разговариваешь, можно еще чем-то заниматься».

«Я тоже хочу», - упрашивал я.

Но Бабушка не позволяла мне делать «женскую работу», точно так же, как она не позволяла мне пользоваться «женской уборной». Они разговаривали и перебирали, а я присматривался к их пальцам и прислушивался к их ртам, и слова, воспоминания и рассказы всплывали в пространстве маленькой кухни, а мелкие камешки, крупицы земли и дикие семена постепенно складывались в пять невысоких холмиков, и отсортированная чечевица сдвигалась пятью парами рук в одну общую, чистую, оранжевую кучку, которая все росла и поднималась в центре кухонного стола.

Бабушкины слова приводили госпожу Шифрину в ярость, и она гневно сообщала соседке, что «Земля Израиля» и так уже причинила ей достаточно горя, и она не желает, чтобы руки «ее маленькой Рахели» тоже покрылись царапинами и мозолями, а их кожа обгорела и почернела на солнце.

«Моя жизнь уже разбита, - заключала она. - Но своей девочке я найду жениха из культурных, который заберет ее отсюда. Не из тех ваших маленьких головорезов, которые жуют горчичные зерна, и толкуют с коровами, и бегают босиком, как арабчата».

Наивна была госпожа Шифрина и не знала, что беда, куда большая, чем поцарапанные руки или босоногий жених, суждена была ее дочери и ей.

Когда Мать начала сидеть во дворе и читать себе вслух свои книжки, Рахель Шифрина преисполнилась любопытства, оставила своих кукол на затененной веранде и перегнулась через перила, чтобы лучше слышать.

Мать, которой была приятна близость такой аристократической девочки, немного понизила голос, и тогда дочь соседей сошла с веранды в садик и сделала вид, будто принюхивается к запаху цветов. Мать еще больше понизила голос, и Рахель Шифрина занялась пристальным изучением кольев забора, разделявшего оба двора, потом проскользнула в просвет между двумя из них, и вскоре, по истечении нескольких приятных минут, затраченных на перешептывание и соблазнение, приближение и поимку, обе девочки уже сидели плечом к плечу, одна - читаючи новой знакомой вслух свою книжку (Бабушка всегда говорила «читаючи» вместо «читая»), другая - слушаючи ее.

Когда сказка кончилась, Рахель пригласила Маму поиграть в куклы на веранде своего дома, и так началась их дружба. Поначалу из взаимной потребности изливающего рта и вожделеющего уха, а в последующие дни и недели - в силу неподдельной любви двух маленьких детских сердечек.

«А где она сейчас?»

«Она уехала».

«Куда?» - спрашивал я, хотя уже знал ответ наизусть.

«К знаменитому врачу в Вене. Уехала и не вернулась».

«Так почему ты не ищешь ее?»

«Я думаю о ней, и помню ее, и скучаю по ней. Вот что я делаю».

«А если она вернется?»

«Я обниму ее, и поцелую, и прочту ей сказку, и буду ее любить».

Много дней провели они вместе, сидя в тени фикуса или на кровати, и так приятна была им их любовь, что, поступив в первый класс («мы вошли, держась за руки, - рассказывала Мать, - и сели рядышком за парту»), Рахель Шифрина объявила, что не будет учиться читать и писать, и не стала скрывать причину: «Если я научусь читать сама, - сказала она, - ты никогда больше не будешь читать мне книжки на кровати».

ГЛАВА ВТОРАЯ

ВЕРНУСЬ К ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ

Вернусь к первой встрече наших родителей. Отец вышел из книжной лавки «Игарта» (которая сегодня книжный магазин «Ярден»), прошел мимо матери, которая стояла и читала в тени эвкалипта, остановился, постоял, повернул, опять прошел мимо нее, еще раз вернулся, пожирая ее глазами, развернулся и вернулся снова и на четвертый раз набрался смелости и спросил ее, что за книгу она читает.

«Он остановился возле меня, но в тень дерева не вошел, потому что был вежливый юноша», - рассказывает Мать и тут же добавляет: «Это дерево и сейчас стоит на площади Сиона», - чтобы те из слушателей, которые заинтересованы в паломничестве к месту их встречи, знали, куда именно им следует направить шаги.

Она улыбнулась ему, и не только из-за его хороших манер, но еще и потому, что сразу увидела, что они с ним в точности одного и того же роста.

«Ты хочешь сказать "росточка", да, мама?!» - смеется сестра, которая выше меня и наших родителей, по меньшей мере, на полголовы.

И еще прежде, чем Мать ответила ему, Отец, всё в том же приступе отчаянной смелости, пригласил ее в кафе, что на противоположной стороне площади, - то кафе, которого там тоже сегодня уже нет, как нет и находившегося по соседству кинотеатра, - разделить с ним стакан чая с лимоном и отведать пирожное под названием «шнекке»*, которое сегодня тоже там уже не печется и не ется, а лишь медленной-медленной улиткой вползает в ностальгические сны пожилых иерусалимских ашкеназов*.

«Мы сидели там, пили чай с лимоном и разговаривали. Сначала о книге, которую я читала, потом о других книгах, а под конец каждый говорил о своем море. Наш Давид говорил о Средиземном море, а я рассказывала о Кинерете, и мы так смеялись, что два английских офицера рассердились, встали и ушли».

И потом, со вздохом: «А кончилось тем, что мы остались в Иерусалиме. Без всякого моря, зато друг с другом».

«Видишь? - сказала сестра. - Если бы ты не пила с ним чай и не говорила с ним о море, он был бы жив до сих пор. Я бы, конечно, не родилась, но он, по крайней мере, был бы жив».

«Я не знаю, что лучше», - сухо ответила Мать. И удивленно добавила: «От кого у тебя такая злость? Ни я, ни Отец не были злыми».

«Я не такая злая, как тебе кажется, - вскинулась сестра. - Да и ты, извини меня, не такая добрая, как тебе кажется, а Наш Давид, позволь тебе напомнить, ему уже не так важно, добрый он был или злой».

«Паршивка! - сказала Мать. - Отродье бездомной собаки и сестрица мусорной кошки, вот чем наградил меня Господь».

«Замечательно, мама. Можешь повесить на нашем доме объявление: "Приют для бездомных животных"!»

Отец с Матерью справили свадьбу в доме друзей, заняли денег и уплатили первый взнос за квартиру в нашем квартале, который тогда как раз начали строить. А пока для них сняли комнату в одиноко стоящем каменном доме на въезде в район Ромема, рядом с северо-западным углом ограды Библейского зоопарка*.

«И вот в этом доме и был зачат Рафаэль», - заканчивает Мать, берет свою книгу, открывает ее на странице с последним по счету загнутым ушком и поднимается с места.

«Поминанье окончено!»

Слушатели - Бабушка, и сестра, и обе Тети, и еще несколько родственников и друзей, которые помнят Отца даже послс стольких лет и каждый год приходят помянуть его, - наполняются торжественной важностью, которую распространяют вокруг себя слова «поминанье» и «зачат», а Мать, с такой же торжественной важностью, вновь удаляется в «комнату-со-светом», которая когда-то служила кабинетом Отцу и где теперь никогда больше не гасят свет, потому что она читает там свои книги, и грызет свои облатки*, и всю ночь не смыкает глаз.

КАЖДОЕ УТРО ОНИ РАСХОДИЛИСЬ

Каждое утро они расходились, каждый - на свои занятия, каждый - по своим делам. Отец сворачивал на восток, к медицинской школе, что на Сторожевой горе. Мать направлялась на запад, в учительскую семинарию, в район Бейт а-Керем. А дом - дом, где «был зачат Рафаэль», - оставался на месте и ждал их возвращения. Порой, когда я на время покидаю свои скважины, насосы и трубы и поднимаюсь из пустыни в Иерусалим, чтобы навестить Большую Женщину - тебя, и Мать, и Черную Тетю, и Рыжую Тетю, и нашу столетнюю Бабушку (которая никогда не забывает мне сообщить: «Я не умру, Рафинька, пока не увижу тебя в гробу»), - я навещаю и его.

Библейский зоопарк давно перебрался в другое место, и сегодня вместо воплей обезьян и рычания тигров здесь слышатся лишь скорбные завыванья людей, возносящиеся над стоящим поблизости зданием, где отпевают покойников, и сопровождающие меня все то время, что я медленно брожу вокруг родительского дома. Я никогда не жил в нем и ни разу не переступил его порог, но здесь я «был зачат» - при всей своей забывчивости не могу забыть это напыщенное слово - и хорошо представляю себе внутреннее расположение комнат, потому что мне не только многократно описывали его на словах, но однажды даже вычертили на бумаге.

В доме было три комнаты. Родители сняли северо-восточную угловушку, и Мать немедленно покрасила ее ставни в зеленый цвет. А в двух оставшихся комнатах, всегда запертых на ключ, хозяин дома сложил свою библиотеку - художественную литературу, а также книги по искусству и науке.

Дом принадлежал ультраортодоксальному еврею* из венгерских хасидов, и Мать рассказывала, что время от времени, с наступлением темноты, он тайком пробирался в собственные владения, чтобы воссоединиться со своими запретными книгами*. Он не перечитывал их, потому что давно уже знал всё наизусть, но каждый раз проветривал их тюрьму, на время извлекал на свободу, нюхал и очищал от пыли и клал на них открытые пузырьки с эвкалиптовым маслом, острый запах которого, - так он объяснял Матери, - отгоняет мышей и убивает моль.

«Но главное, он проверял, не убежала ли из его книг какая-нибудь буква, - смеялась Мать. - Ведь буква, которую никто не читает, в конце концов обязательно убегает - поискать себе другие глаза».

А Черная Тетя добавила: «Мы, женщины, все такие».

Годы спустя я с удивленьем узнал, что хозяин дома из Маминых рассказов был не кто иной, как господин Бризон, тот самый Бризон-Молочник, который каждое утро обходил дома нашего квартала со своими бидонами. Трудно было связать облик легендарного библиофила с потешным видом старого молочника, но я не мог отрицать того факта, что это один и тот же человек. То было одно из первых свидетельств стремления вещей соединяться друг с другом, взаимно проникать и обнаруживаться в самых разных временах и местах в совершенно неожиданном перетекании. И поскольку фигура Бризона-Молочника с такой ясностью встает сейчас перед моими глазами, я добавлю к ней еще несколько штрихов, чтобы они не растворились и не исчезли, как многие другие их собратья. Вот он - толкает свою повозку, нагруженную бидонами, кричит «Ма-ла-ко!» с двумя певучими ашкеназийскими «а», которые отдаются эхом в лестничных клетках квартала, и наливает свое молоко в кувшины и кастрюли, которые женщины выставляют наружу к его приходу. К двум этим гласным звукам «мо-ло-ка», переогласованным в мечтательные «ма-а-а» и «ла-а-а», я осторожно прислоняю сейчас остатки моей памяти, как всегда прислоняю ее к опорам прочих звуков, запахов и зрелищ. Так прибиваются к стволам акаций случайные

соломинки и всякая прочая труха, которую приносит осенний дождь - веточки, листки и мелкий щебень, - чтобы спастись от потока, увлекающего их в забвение.

Летом и зимой Бризон-Молочник ходил в поношенных кожаных сапогах, в черном залатанном пальто и в истертой до блеска черной шляпе. Мы, квартальная детвора, бежали за ним, распевая: «Дос*-Барбос молоко принес!» Но он не отругивался. Частый гость в нашем доме, он всегда вызывал к себе Бабушку или мою маленькую сестричку-паршивку, но не Мать и не Черную или Рыжую Тетю, потому что эти молодые вдовы вызывали у него страх и запретное желание, а то и, что кажется еще вероятней, - слишком приятную смесь того и другого.

Особенно боялся Бризон-Молочник маминой черной и буйной сестры, потому что ее коротко остриженные темные волосы, запах росистого шалфея, исходивший от нее по утрам, и тени твердых острых сосков, грозивших проткнуть пижамную куртку Нашего Элиэзера, ее покойного мужа, заставляли его проливать бóльшую часть молока мимо кастрюли.

«Почему бы тебе разок не выйти к нему, Рафауль», - предложила однажды сестра. Но прочие женщины тут же прервали ее знакомыми словами: «Еще чего не хватало! Рафаэль не должен делать женскую работу!»

Впрочем, я, пожалуй, расстанусь здесь с Бризоном-Молочником, потому что намерен позже снова вернуться к нему и к его бидонам, а поскольку я уже назначил себе отправную точку и человек я, привыкший ко всему, что тянется прямо, точно трубы, трассы и теченья, а не кружит, вроде волн, водоворотов и валов, - то, соответственно, постараюсь одолеть соблазн и не забегать больше впереди самого себя, не то окажется, что я всё еще рассказываю историю своей жизни, а сам давно уже умер.

Вернусь к комнате, в которой я был зачат, в тот дом, что вблизи старого Библейского зоопарка. Так вот, несколько лет назад, когда я в очередной раз поднялся из пустыни, чтобы навестить Большую Женщину и заточить свои притупившиеся воспоминанья на точильных камнях тех мест, где они родились, ноги вновь привели меня к этому дому. И внезапно, через много лет после того, как Мать покрасила их в зеленый цвет, железные ставни бывшей комнаты моих родителей с лязгом распахнулись настежь, и передо мною в открытом окне предстала девушка с обнаженной грудью. Она увидела, что я стою перед домом и гляжу на нее, смутилась и улыбнулась мне одновременно, тут же отступила внутрь, с тем же лязгом захлопнула ставни и исчезла. Еще какое-то мгновенье звук запахнувшихся ставен плясал на моей барабанной перепонке, еще какое-то мгновенье две девичьи груди светились в воздухе, как две яркие электрические лампочки в зажмуренных глазах, а потом погасли и они.

Я не раз думаю, что могло бы произойти, подойди я тогда и постучи в эти ставни, и в конце концов утешаю себя предположением, что они, скорее всего, так и остались бы закрытыми. Да и зачем тебе, Рафи, вся эта сумятица, а? К чему? Лучше иди к нам, Рафауль, ни к чему тебе вся эта пустая суета. Вот так, Рафинька, так оно лучше, Рафаэль, успокойся.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗООПАРКА

Строительство зоопарка и заселение его клеток были тогда в самом разгаре. Каждый день со Сторожевой горы, где раньше находились животные, прибывал маленький грузовик и выгружал павлинов с увядшими хвостами, попугаев, выцветших от холода, и обезьян с потухшим взглядом. Прибыл и огромный тигр, с написанным на широченной морде крайним удивлением и волочащимся за лапой грязным бинтом. Льва, явно знававшего лучшие времена, усыпили перед переездом и прямо так, спящего, вкатили в его новую клетку, и двое маленьких сирийских медвежат скоро начали реветь по ночам из своих новых бетонных берлог.

Стена родительской комнаты прилегала к забору «королевских оленей». Английский король Георг («Его Королевское Величество Георг Пятый», - поправляет Рыжая Тетя, бракосочетание которой с Нашим Эдуардом происходило во дворце Верховного Комиссара, в присутствии самого сэра Алана Кеннингхема лично) прислал этих оленей из своего поместья в подарок жителям Иерусалима.

Огромные, рыжие и прекрасные были они, с этими своими великолепными светлыми пятнами и величавой развесистостью рогов, и хотя я никогда не видел Дядю Эдуарда, кроме как на стене коридора, где он висит рядом с остальными Нашими Мужчинами, я всегда представлял его себе в виде одного из таких оленей, только с более светлой шерстью и без белых пятен на спине, пасущимся на сочной зеленой траве королевского поместья, ибо Дядя Эдуард тоже был из Англии и его тоже прислал Английский Король в подарок Стране Израиля. Только не всем ее жителям, а одной-единственной женщине.

По ночам, когда темные кошмары обезьян воплями врывались в ее сны, Мать просыпалась, прислушивалась к непрестанному металлическому побрякиванию и понимала, что это два оленя-самца, большой и молодой, закрыв глаза, бьются и бьются своими могучими телами о железные прутья забора.

«К животным Иерусалим еще злее, чем к людям», - написала она в одной из своих записок. Тогда она оставляла записки Отцу, своему покойному мужу, а сегодня мне, своему беспокойному сыну. А по утрам, каждое утро, она открывала железные ставни окна - те ставни, что до сих пор там, зеленые и закрытые, как будто после той покрасившей тогда руки их не касалась больше ничья другая, даже рука девушки с обнаженной грудью, - и подзывала к себе королевских оленей.

Шагами, легче коровьих, но тяжелее поступи лани, они приближались и останавливались у ее окна, поднимали большие головы и высовывали влажные языки. Поскольку Мать была маленького роста, ей приходилось становиться на перевернутое ведро для мытья полов и еще подниматься на нем на цыпочки, чтобы высунуться из окна наружу и вот так, почти падая в вольер, красная от напряжения, она протягивала руку и приманивала их остатками сухого хлеба и кожурой грейпфрутов и огурцов - тогда они вытягивали к ней шеи и позволяли погладить бархатистость своих влажных носов и фиолетовую черноту оттопыренных губ.

Однажды, несколько лет назад, когда я был в армии и пришел на побывку - и в тот раз ночью и в тот раз из пустыни, - а Бабушка, сестра и обе Тети уже спали, и только Мать, как всегда, бодрствовала, читая и грызя свои облатки в «комнате-со-светом», она вдруг сказала мне, что я уже достаточно повзрослел, чтобы выслушать, как и когда я «был зачат».

Откровенна была она, и ее рассказ был на удивление подробен. На заре того дня, так она рассказывала, королевские олени бились об ограду особенно сильно, не давая ей заснуть, и когда колокола городских церквей принялись вторить ударам рогатых пленников, она прижалась шеей к губам Отца - «которые тогда были еще живыми, Рафаэль, и такими теплыми и мягкими со сна», - взяла его руку и положила себе на живот, а свою ногу положила на его сонное бедро и обняла его - «вот, этой самой рукой!» - и стала тормошить, до тех пор, пока он не проснулся и не взял ее в объятья.

Так она рассказывала. Мне, а не тебе, - может быть потому, что знала, как хорошо ты помнишь и как хорошо я забываю.

«Люди отправляются в самые разные места, Рафаэль, лишь бы иметь где вспоминать и о чем тосковать, - сказала она. - Здесь мы гуляли, здесь мы поцеловались, здесь ты помог мне спрыгнуть с террасы, а здесь у тебя порвалась сандалия, и я скрепила ее двумя шипами мимозы. Но мне - мне не нужно никуда ходить. Я даже в тот наш дом ни разу не заходила с тех пор, как твой Отец погиб».

Ее ладони шевельнулись. Поднялись с бедер, задержались на диафрагме и потом остановились перед глазами, растопырив пальцы. «Я и на могилу не хожу. Мне достаточно глянуть на эти вот пальцы, которые гладили его, притронуться к своей шее, которую целовали его губы... Ведь наше тело - самое лучшее хранилище воспоминаний, правда? Ты теперь уже большой мальчик, Рафаэль, солдат, тебе уже можно рассказать об этом, верно? Почему ты так улыбаешься? А?»

Я улыбался, потому что только такие беспамятные, как я, способны услышать и правильно понять, о чем она говорила, распознать воспоминания, которые хранятся не в голове, а в теле, осаждаются на коже барабанной перепонки и на сетчатке глаза, скапливаются в усталых волокнах мышц и собираются в слизистой живота и в пустотах носа. Вот они - одна за другой их дивизии маршируют внутри моего тела в парадах своих побед, спускаются по костлявому склону спины, грохочут тысячами подкованных подошв в ущельях рёбер, экзаменуют мои почки и посмеиваются над ними.

И сейчас я опять улыбаюсь, потому что таким вот беспамятным, как я, чье мозговое сито не способно ничего на себе удержать, только ведь этот вид памяти и знаком, а все остальное для них - незаполненные пустоты: вот эти промежутки стены между портретами, и эти прогалины кожи между прикосновениями, и эти зазоры безмолвия между звуками, и эти ласки, и эти вкусы, и эти запахи. Ты уж прости мне столько «этих» подряд, сестричка, но правда, - ничто так хорошо не закрепляется в памяти, как несколько «этих», одно за другим.

ОНИ СОЕДИНИЛИСЬ В МЕДЛЕННОЙ, СОННОЙ ЛЮБВИ НА ЗАРЕ

Они соединились в медленной, сонной любви на рассвете, а затем Мать поднялась с тем ощущением неотложности и понимания, которое знакомо птицам, начинающим строить гнездо, и объявила, что желает немедленно отправиться в свой новый квартал, где уже началось строительство.

«Я хочу посмотреть, как продвигается наша квартира», - заявила она, к большому удивлению Отца.

«Сейчас? Скоро утро. Нам нужно идти на занятия», - сказал он.

«Если ты быстро встанешь, Давид, мы еще успеем сходить и вернуться, - поторопила она. - Времени вполне достаточно».

Они умылись, выпили чаю, оделись и вышли из дому. Маленькие, быстрые, они спрямили себе путь, пройдя еще влажными от росы, невозделанными полями, которые простирались тогда между отдельными кварталами города, миновали большой каменотесный двор Абуд-Леви, где между грудами камней уже горели костерки, над которыми грелись шершавые руки каменотесов, а оттуда спустились вдоль каменной стены ашкеназийского дома престарелых, от которого сегодня не осталось и следа - его большие деревья давно выкорчеваны и превратились в пламя, его камни разобраны и превратились в новые дома, а его старики похоронены и превратились в прах.

И тут, на склоне холма, где находился Дом сумасшедших, «Эзрат-нашим»*, в те времена стоявший у въезда в Иерусалим, точно дорожный знак пророчества и предостережения для всех, кто приближался к городским воротам, Мать остановилась и сказала: «Смотри, Давид, отсюда хорошо видно, давай присядем на скалу и поглядим».

Прямо под ними расстилался небольшой жилой квартал с красными черепичными крышами, а слева шумел автобусный гараж. Механики уже заводили двигатели «шоссонов»*, чтобы прогнать их вхолостую для разогрева, и отвратительный запах застывшего машинного масла поднимался в воздух, отравляя утреннюю чистоту.

Первые крики петухов выпорхнули из долины Лифты, пожелтив и зарозовив восток. Воздух уже слегка прогрелся, тяжелые испарения просыпающегося города уже прослоили его своим зловонием, и откуда-то издалека вдруг донесся страшный крик ребенка.

«Что это?» - испугался Отец.

«Это оттуда, - показала Мать на большое здание. - Из сиротского дома».

Распахивались окна. Спальни выблевывали наружу прокисшее зловоние. Напротив того места, где они сидели, вилась, поднимаясь по каменистому, изрезанному белесыми тропками склону, короткая, узкая, неказистая улочка, ведущая к большому, одиноко стоящему зданию, окруженному пламенными язычками кипарисов, колючими силуэтами пальм и каменной стеной с протянутой вдоль ее хребта ржавой проволокой. То был «Воспитательный дом для слепых детей Израиля», рядом с которым мне предстояло в будущем расти, и со слепыми детьми которого мне предстояло в будущем играть. А дальше, за этим домом, улочка превра-

щалась в пыльную грунтовую дорогу, которая всё поднималась, и поднималась, и поднималась, и никто не знал ее конца - то ли она просто пропадала из виду, то ли тонула в выцветшей завесе далеких небес, среди туманно обозначенных на ней намеков на голубоватые горы.

Годом позже, когда квартал уже был построен, и мы уже жили там, - мне было несколько месяцев, ты еще не родилась, Отец и Дядя Элиэзер еще были живы, Дядя Эдуард уже погиб, но Рыжая Тетя еще не жила с нами, - Мать писала по ночам иллюстрированные письма своей матери и Черной Тете. «Здесь я живу, - писала она. - Это Дом слепых. А это Дом сумасшедших. А это Дом сирот». И рисовала им все эти дома и нашу улочку, которая из былого царского пути* превратилась в тогдашнюю грунтовую дорогу, а сегодня из грунтовой дороги тех времен стала большой городской улицей.

«Это Иерусалим, - писала она. - Город сирот и слепых, и сумасшедших». И рисовала стертые временем следы царей и коней, и земледельцев, и ослов, и полководцев, что шагали, каждый в свой черед, по этой дороге, и рядом с каждой такой картинкой приписывала объяснения и чертила стрелки, очень похожие на те, что в старых детских альбомчиках Нахума Гутмана*, с их голубенькими обложками издательства «Давар для детей»*. Они до сих пор стоят на полке под окном «комнаты-со-светом», и Мать, как многие в те времена, знала эти рисунки наизусть.

«Она присылала мне замечательные письма, - сказала Черная Тетя, складывая их обратно в матерчатый мешочек. - Тогда она меня еще любила, а не ненавидела, как сейчас».

«Она тебя не ненавидит, - сказал я. - Она просто иногда сердится на тебя, потому что ты их позоришь».

«Чем же это я их позорю?»

«Ну, всеми этими твоими делами с мужчинами».

«Ты ничего не понимаешь, Рафаэль. Может, благодаря нам, ты, в конце концов, поймешь что-то о других женщинах, но нас самих ты не понимаешь и не поймешь никогда. Даже когда вырастешь».

Черная Тетя оказалась права и, как всякий, кто прав и верит в свою правоту, оказалась неправа одновременно: я рос наилучшим образом, каким может расти мужчина, и повзрослел, и состарился, и до сих пор не понимаю их, - а также «чего-то» о других женщинах тоже.

ЗА ДОМОМ СЛЕПЫХ ТЯНУЛСЯ ПАРК

За Домом слепых тянулся парк, и с высоты своего наблюдательного пункта Мать увидела вдали женщину, которая неторопливо шла по усыпанной гравием парковой дорожке.

У Матери вдруг участилось дыхание. Она видела, как женщина подошла к маленькой зеленой чаше декоративного бассейна, что выглядывал из гущи парка, точно глаз, обрамленный ресницами птичьих гнезд и плакучих ив, и остановилась на его краю. Отсюда, издалека, она казалась очень вы-

сокой и прямой, но с такого расстояния Мать не могла различить, зрячая она или слепая, и какая-то необъяснимая дрожь вдруг прошла по ее телу.

Крики: «Подъем! Подъем!» - раздались над Домом слепых. Высокая женщина повернулась и направилась обратно к зданию, а тем временем по немощеной грунтовой дороге задребезжали, постанывая под тяжестью кирпичей, гравия и железной арматуры, небольшие серые грузовички, уже заступившие, с чисто человеческой прилежностью, на свою трудовую вахту, раздались первые возгласы строителей, и совсем близко и четко, несмотря на расстояние, послышались звуки заступов и скребков, царапающих по стенкам опалубки.

«Жаль, что наш квартал не строят из иерусалимского камня», - сказал Наш Давид.

«Ты со своим камнем!» - улыбнулась она.

«Твоего Отца очень волновал иерусалимский камень, Рафаэль, - может, потому, что он вырос в песках Тель-Авива».

Она, выросшая среди базальтов Иорданской долины и построенных из них маленьких серых домов мошавы, говорила ему, что ей надоели дома из камня, особенно иерусалимские, чересчур высоко занесшиеся над своими жильцами. Порой я нахожу исписанные ею листочки, которые она спрятала в книгах, отданных мне на дочитывание, - разные мысли, пришедшие ей в голову и сохраненные для покойного мужа и беспокойного сына. «Из-за этого древнего иерусалимского камня, - было написано на одном из них, - в нашем городе нет ни единого по-настоящему нового дома. Каждый дом здесь становится старым еще раньше, чем его достраивают».

«Видишь, Давид, - она с наслаждением втянула прохладный запах свежей известки и штукатурки, который донес до них ветер, - только блочный дом может быть совсем новым. Уродливым, бизабразным, но новым. Понюхай, как хорошо. Видишь, этот запах долетает даже досюда».

«Здесь всё будет новым, - объявила она. - И я посажу здесь миндальное дерево, и "санта-розу", и два граната я тоже посажу, сладкий и кислый, а Реувен привезет мне пару мешков черной земли из мошавы, и я посею зеленый лук и фиалки, а еще я буду выращивать львиный зев, и острый перец, и петрушку, и помидоры».

«Всё я, да я, да я, - улыбнулся Отец. - Так много планов и так много "я"!». Мать рассмеялась и уже собралась было что-то ему ответить, но тут рядом с ними вдруг заскрежетали маленькие железные ворота, в каменной стене здания «Эзрат-нашим» открылась ржавая дыра, и оттуда выскочил похожий на обезьяну, тощий, босой человек и, быстро перебирая ногами, побежал по пыльной дороге, ведущей на запад.

Вдоль всей дороги высились груды щебня и гравия. Человек миновал первый поворот, присел и спрятался за одной из них.

«Что он делает?» - спросила Мать.

«Хочет убежать. Сейчас они пойдут его искать и поймают, - сказал Отец. - Идем лучше отсюда».

Но Мать смотрела на безумца с заинтересованной улыбкой, потому

что ей показалось, что он словно спрыгнул со страниц какой-то из прочитанных ею книг. Он непрестанно хихикал, как шакал, его удлиненное, скрючившееся тело тряслось от сдавленного смеха, грязный затылок так и просился, чтоб его почесали, а побагровевшие глаза подмигивали, умоляя не выдавать, где он спрятался.

«Может, стоит войти и сказать, что он здесь?» - подумал вслух Отец.

Но тут из двери выбежали двое санитаров в развевающихся халатах и бросились вдогонку за беглецом. Не заметив его за грудой щебня, они проскочили мимо и, тяжело топая, побежали дальше.

Когда преследователи скрылись за гребнем холма, сумасшедший выбрался из укрытия, похлопал по своим отрепьям, выбивая набравшуюся в них пыль, и в медленном, торжественном победном танце направился обратно к воротам, отвешивая поклоны и помахивая руками своим друзьям, которые висели на решетках больничных окон, вопя от восторга.

«Приветствую вас, мадам, - сказал он, проходя мимо Матери, потом обошел ее вокруг и улыбнулся. - Вы тоже здесь?»

Но тут глаза его внезапно сузились, как два лезвия, и он пристально уставился на ее живот.

«Поздравляю вас, мадам, да родится у вас сынок, в добрый час».

Дрожь пробежала по ее телу. Она вдруг поняла, что забеременела, что в это самое утро, два часа назад, зачала ребенка, и у нее подкосились колени.

«Сгинь!» - крикнул Отец, выпрямился во весь свой маленький рост и угрожающе занес руку. Но безумец склонился перед ним в издевательском поклоне, как склоняются высокие слуги перед коротышкой-хозяином, вильнул задом и насмешливо пропел:

Поздравляю вас, мамаша,
И сыночку исполать,
А моя кликуха Сима
И мне надо поспешать.

Он низко поклонился, отпрыгнул и мигом исчез за ржавой железной дверью Дома сумасшедших, и с ними остались только его раздражающие слова, кружившие в воздухе черными точками, точно те черные вороны пустыни, когда они парят по ветру среди каменистых склонов и над вершинами одиноких скал.

МЕДЛЕННО-МЕДЛЕННО

Медленно-медленно, в ритме неторопливого урчанья дизельного мотора, сопровождаемый желто-коричневым шлейфом жужжащих пчел и вечно голодным, немигающим взглядом черных ворон, еду я на своем пикапе от водосборника к водосборнику, от скважины к скважине, от вентиля к вентилю. И временами, оказываясь в краях Хамады, этой пу-

стынной, покрытой мелким темным щебнем равнины, останавливаюсь, выхожу из машины и иду по бескрайним каменным осыпям.

Эта пустыня непригодна для тяжелых военных колесниц или легкого кросса. Ее тропы хороши лишь для мягкого шага верблюдов и спокойной походки пастуха. Щебень хрустит под моими ногами. Глаза мои всматриваются. Я выслеживаю мелкие потайные знаки, которые пустыня припрятала для тех, кто ее знает, и следы тропок, которые она приготовила тем, кто ее любит.

В горах тропа всегда одна, петляет и подымается неспешно, будто уверенная в правильности своего единственного пути, а на равнине она разветвляется многими дорожками, которые расходятся в разные стороны, и возвращаются, и снова разделяются в споре, и опять сходятся, и все до единой, как жизни Наших Мужчин и как ручьи в широких оврагах, приходят к одному концу. С вершины скалы или с высоты птичьего полета эти тропки легко различить, но с высоты головы идущего человека они видны не всегда, и глаз, что выискивает их следы, должен советоваться с ногой, которой хочется ступить поудобней, и с разумом, которому хочется логики, и с сердцем, которое хочет биться неторопливо.

Не раз нога обнаруживает истину раньше глаза, ибо, едва лишь ступив на правильный путь, она успокаивается, и вместе с ней успокаивается все тело.

И вот уже колено и лодыжка начинают улыбаться, и назойливый хруст мелких камешков, что сопровождал тебя с первого шага, начинает приятно и мягко звучать в лабиринтах уха. Теперь самое время вдохнуть полной грудью, и поднять голову, и позволить глазу увидеть то, чего он раньше не видел. Камни тропы уже раздроблены ногами древних путников в незапамятные времена. Вот они - меньше размером, чем обычные камни на равнине, более гладкие и пыльные, а между ними - светлые пролысины почвы.

Уже различив слабый след тропы, я удивляюсь, как я мог не заметить ее раньше. Больше ей от меня не ускользнуть. Я шагаю по ней, мои легкие впитывают ее покой, а мои глаза уже выискивают красивые камни, чтобы принести их Дяде Аврааму, Аврааму-Каменотесу, моему другу и моему покровителю.

Упоминал ли я уже это имя? Кажется, нет. Много лет назад, мальчишкой, убегавшим от десяти удерживающих рук, и от десяти ищущих глаз, и от пяти зовущих ртов Большой Женщины, я всегда находил убежище в его дворе. Авраам отламывал мне от своего хлеба, отреза́л мне от своей памяти и время от времени повторял: «Когда ты вырастешь, и начнешь бывать в разных местах, и увидишь красивый камень, - принеси его мне, да, Рафаэль?!»

Я сказал ему: «Да, Дядя Авраам» - и с тех пор держу свое слово. Стоит мне увидеть в пустыне красивый камень, все равно - большой или малый, я бросаю его в кузов своего пикапа и, когда поднимаюсь в Иерусалим навестить Большую Женщину, захожу также к Аврааму-Каменотесу и приношу ему этот подарок.

ЧЕРЕЗ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ

Через девять месяцев после того рассвета Мать родила меня, а через пять лет после моего рождения Отец был призван на резервную службу, погиб в несчастном случае и из «майора медицинской службы Давида Майера» стал «Нашим Давидом».

Все очень переживали, но никто не был удивлен. «Есть семьи, в которых деньги тянутся к деньгам, а в нашей семье смерть тянется к смерти», - объяснила Бабушка, дотошность и осведомленность которой в обоих этих вопросах были общепризнаны в нашей семье.

У Бабушки на памяти было предостаточно мужчин и смертей, чтобы подтвердить эти слова. Ее муж, Наш Рафаэль, повесился в коровнике мошавы Кинерет. Сын ее, Наш Реувен, погиб, упав с лошади. Ее хайфский племянник въехал на мотоцикле в огромное дерево точно в свой сорок восьмой день рождения. Муж ее племянницы был убит в возрасте сорока шести лет - его печень пробила шальная пуля, когда он сопровождал свою старшую дочь в ежегодном школьном походе. Другой родственник - «такой замечательный парень, первый красавец Петах-Тиквы» - был убит током в возрасте сорока четырех лет в типографии, унаследованной от отца, который, в свою очередь, погиб в том же самом месте двадцатью пятью годами раньше, когда огромный рулон бумаги случайно скатился с грузовика и раздавил его насмерть.

Женщины не раз рассказывали мне истории странных кончин наших родичей-мужчин, и сестра говорила, что они соревнуются в своих рассказах друг с другом и даже классифицируют эти смерти в соответствии со степенью их жестокости и неожиданности, количеством пролитой в них крови и мерой боли, выпавшей на долю их мужей, сыновей, братьев и дядей. Лично мне, кстати, особенно симпатичен в этом списке несчастный случай, произошедший с одним из бабушкиных братьев, которого ударило током, когда он гладил нарядное платье дочери, собиравшейся на свидание со своим кавалером. Годами он запрещал ей встречаться с ухажерами где бы то ни было, кроме гостиной их дома, причем только при широко открытых дверях и в присутствии одного из родителей или старшей сестры. Но однажды, никто не знает почему, он внезапно сменил гнев на милость, уступил мольбам дочери и уговорам жены, и убеждения его настолько переменились, что он решил собственноручно погладить платье, выбранное дочерью для свиданья.

Мать и дочь сидели, с облегчением улыбаясь друг другу. Из соседней комнаты послышался скрип раздвигаемых ножек гладильной доски, и шелест раскладываемого платья, и шипенье пара, поднимающегося из его складок, и потом короткий вскрик, за ним удар упавшего утюга и наконец звук падающего тела - ниже-ниже, к месту последнего успокоения, в строгом порядке: колено, локоть, плечо, череп, ударяющиеся о пол одно за другим. По окончании годичного траура сиротка вышла замуж за своего ухажера, плача горючими слезами и надев тщательно со-

храненное ею платье: половина проглажена, другая половина смята, и черная выжженная дыра на спине. Великолепно.

«Видишь, Рафинька. Вот что случается с мужчинами, которые делают женскую работу».

«Если бы он не умер так, то умер бы как-нибудь иначе», - заметила Мать.

Иногда, усевшись под одной из своих акаций - отдохнуть или заварить себе чай, - я беру сухую ветку и рисую в пыли наше маленькое генеалогическое древо. Вот Дед и Бабушка. Вот их дети - Дядя Реувен, Мать и Черная Тетя, - ответвляющиеся от них. Тетя Иона возле Дяди Реувена, и Дядя Элиэзер возле Черной Тети, и рядом с ним его сестра, Рыжая Тетя со своим Дядей Эдуардом. Возле Матери я рисую Отца, а под ними себя, без Роны, и рядом тебя, старая дева, одну. Вот и всё дерево - с его живыми женщинами, с его мертвыми мужчинами и со мной, Чудо-Рафаэлем: смерть, которая с такой тщательностью и усердием выкашивает мужчин, созревших на полях нашей семьи, словно забыла обо мне. В свои пятьдесят два года я старше своих дядей, деда и отца.

Вот он я - дрожащим отраженьем в зыбкой воде озерка. Круглый глаз небосвода синеет надо мною, еще живым и глядящим в свое отраженное лицо.

«Я очень боюсь, что наш Рафинька умрет от старости».

Столетнее лицо Бабушки очень серьезно, но ты, сестричка, не сдержавшись, взрываешься смехом. Я тоже улыбаюсь, но во мне нет твоей насмешливости и юмора, как потому, что мы очень разные с тобой, так и потому, что на этот раз речь идет обо мне самом. Обо мне, моей жизни и моем теле.

Вот он, я: волосы светлые и густые, но в глазах уже видна усталость. Мышцы сильные и упругие, но внутренние органы за своими укрытиями уже износились и одрябли. Легкие уже не так заслуживают своего названия, внутренности просятся вниз, ниже-ниже, отдохнуть покоем дна, сердце торопится выброситься на землю, кровь хочет выплеснуться... Только вот эти молодые мышцы живота, точно сыновья, что упрямо и неведомо зачем заставляют старика-отца упражняться, только они еще держат всё на своем месте, на изготовке.

«Зачем?» - наклоняюсь я над водой.

Мое отраженье качает лицом, что его породило: «Зачем, Рафаэль? Правда, зачем тебе все это, а?»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В ТЕ ДНИ

В те дни Иерусалим кончался внезапно. Вот - стена последнего дома, а вот, прямо за ней, - граница. Четкая, настораживающая линия. С одной стороны - квартал с его обитателями, маленькая, бедная бакалей-

ная лавка и робко пробивающиеся клумбы, с другой - щетинистые, хитрые животные да непокорные колючки безлюдных полей. Досюда - город, улица и человек, отсюда и далее - земля скал, пустошей и гор.

Настоящая граница, во всех ее мелочах и деталях. Напомнить тебе? Здесь даже боевые кличи порой раздавались: звонкий возглас «Баруд!»* и злобный крик ястреба, шипенье потревоженного ужа и скрежет катка по камням. С этой стороны - дома и тротуары, бельевые веревки и блеклый электрический свет, а с той - дикость и камень, шакал и чертополох.

В летний полдень скалы плавились от жары, а в полночь лопались со звоном, и зимой между ними собирались прозрачные стылые лужи, по дну которых стелилось медленное колыхание зелени, а вода едкой горечью обжигала жабью кожу. Богомолы искали здесь себе добычу, крот вгрызался в грунт, неподатливый и твердый, и порой свора озверевших, рычащих псов в их разбойном беге проходила на север, волоча за собой стелющийся след ужаса и крови.

Три больших здания возвышались над кварталом моего детства, как бессонные часовые на трех его углах: Дом сирот, угрюмый и мрачный, точно крепость, Дом сумасшедших, запертый замками и решетками, и самый близкий из трех, совсем рядом с нашим жильем, окруженный запретным парком, стенами и кипарисами, - Дом слепых, как для краткости именовали жильцы и соседи «Воспитательный дом для слепых детей Израиля». Каждое здание со своими обитателями. Каждое со своими воплями. Каждое со своими заборами, запорами и засовами.

Словно в тени их стен, рос и строился новый район, и вскоре его серые блоки заполнились жизнью, и запахами, и гомоном людей. Маленькие, тупоносые, покрытые брезентом грузовички начали взбираться по нашей грунтовке. Раньше они, бывало, доставляли солдат к полям сражений, а теперь выгружали то стол со стулом, то кровать с лампой, то младенца с родителями. Молодежь вернулась с войны и по обычаю вернувшихся с войны торопилась обзавестись семьей, въехать в новую квартиру и заполнить ее мебелью и детьми.

Напомнить тебе? По их следам появился продавец сладостей с багровостью своих засахаренных яблок и липкостью петушков, и старьевщик со своей повозкой, и продавец льда со своим фургоном, и продавец керосина со своей цистерной, и продавец газировки со своим передвижным ларьком, и каждый из них запечатлевал во мне очертания своей фигуры, и звук своего колокольчика, и громкий крик, возвещавший название его товара. Но через несколько месяцев после смерти Отца, когда Мать вдруг закрыла книгу, которую читала, объявила: «Я хочу газировки!» - и вышла наконец из комнаты, в которой закрылась (той, что служила Отцу кабинетом, а после его смерти превратилась в «комнату-со-светом»), она впервые за долгое время засмеялась, увидев, что повозки, ларьки и фургоны всех этих уличных торговцев тащит один и тот же замученный мул, и сказала, что все они - один и тот же человек.

«Смотри, Рафаэль, ну совершенно один и тот же», - и показала мне,

как один раз человек этот рядится в старого ашкеназа, выпевающего свои: «Сифоны! Сифоны! Сифоны!»; другой раз становится жирным иракцем, орущим свое: «Керосин! Керосин! Керосин!»; а порой превращается в тощего араба, который яростно торгуется на поразительно беглом идиш; или вдруг становится молодым, могучим орпали*, что швыряет тяжелые блоки льда, словно мешки с перьями, громко выкрикивает: «Лёт! Лёт! Лёт!» - и вращает в руках страшный стальной лом, от которого во все стороны разлетаются сверкающие осколки, на радость детишкам - словить налету, сунуть торопливо в рот и пососать.

А еще, раз в две недели, в квартале появлялся «Дзын-Дзын-Дзын» - точильщик ножей, яснолобый красавец венгр, который гладил нашу Черную Тетю взглядом и улыбался ей так, что ее угольные глаза становились темно-синими и жаркими, как примус под выварной, в которой грели воду для стирки.

«Хоть он и венгр, - выстреливала она изо рта очередную косточку, - а глаза у него ужасно красивые. И пальцы тоже».

«Самые обыкновенные пальцы, - презрительно сказала Рыжая Тетя. - Как у любого простолюдина».

«А глаза у него, как у цыгана, - сказала Бабушка. - Вот увидишь, он уворует все твои деньги, разобьет твое сердце, надует тебе пузо и бросит».

«Тоже мне новости, - сказала Мать. - Ты видела хоть одного мужчину, который не надул бы ей пузо и не бросил, в конце концов?»

«Не беспокойтесь обо мне, - смеялась Черная Тетя. - Это не они, это я цыганка, это я их всех надуваю и это я их всех, в конце концов, бросаю».

Дзын-Дзын-Дзын получил такое прозвище, потому что трижды приговаривал «дзын» перед тем, как взяться за очередной нож. Он приходил, толкая перед собой маленькую узкую деревянную тележку с тремя велосипедными колесами, и возле нашего блока останавливался, подпирал эту повозку парой деревянных ножек, которые поднимали ее переднее колесо над землей, а затем надевал на это колесо ремень передачи, давил ногой на педаль и крутил точильный камень, бросая в сторону Черной Тети жаркие взгляды и искры.

Бабушка говорила: «Этот венгерский мошенник берет уйму денег за свои ножи», - потом плевала на свой точильный камень и острила наши кухонные ножи сама. Но Черная Тетя не упускала случая выйти к венгру-точильщику, обменяться с ним улыбкой и приспущенным взглядом и наточить ножницы, с помощью которых они с Рыжей Тетей коротко стригли себя.

Закончив работу, Дзын-Дзын-Дзын проверял остроту каждого ножа на ладони быстрым рубящим движением, которое Черная Тетя научилась хорошо имитировать, и при этом тоже шептал про себя по-венгерски то тройственное заклинание, которое стало, в конце концов, его прозвищем. Я опасливо приближался к нему и начинал искать в пыли его отрубленные пальцы, а когда не находил, Дзын-Дзын-Дзын со смехом раскрывал ладонь и, как фокусник, показывал мне, к моему великому удивлению, что все они там, по-прежнему красивые и по-прежнему прикрепленные к руке.

КАК ОНИ ОТЛИЧАЛИСЬ

Как они отличались друг от друга, эти две женщины! Сегодня старость сгладила иные из этих различий, но тогда - эта черная, а эта рыжая, эта костлявая, а эта мягкая, эта - «родственница по крови», а эта «просто родственница», эта «беспутная», как выражалась Бабушка, «и нагуливает пузо, как уличная кошка», по словам нашей Мамы, а эта сидит дома и ждет «мужа-европейца», то бишь человека культурного, высокого и светловолосого, образованного, чуткого и вежливого, короче - второго издания «Нашего Эдуарда», который явится и избавит ее от ежедневной рвоты и унылой серости вдовства.

Но хоть их различия были так велики, они все-таки казались мне сестрами.

Мать сердилась. «Чего вдруг "сестры"?! - говорила она. - Они вообще не родные, и они совершенно разные!»

«У одной воспоминания вызывают боль, а другую они возбуждают», - написала она на одном из тех листков, которые прятала между страницами своих недочитанных книг. Поскольку мне не дозволялось заниматься «женской работой», я как-то спросил ее, - мне было тогда лет шесть или семь, - а можно ли считать выравнивание тех «ушек», которые она загибала на страницах, «работой для мужчин». Она засмеялась и сказала, что да, что на свете нет другой работы, которая более подходила бы для мужчины. Так я начал распрямлять эти маленькие уголки ее памяти и так я стал находить эти ее листки.

«Они и не ведут себя, как сестры, и не выглядят, как сестры».

«Но ведь и ты с Черной Тетей тоже не выглядите, как две сестры».

«Мы - это другое дело», - сказала Мать.

Я не понимал этого до конца, но Мать была совершенно права. Тети очень отличались друг от друга.

«Это ты должна была родиться рыжей, а я - черной», - говорила Рыжая Тетя своей невестке. И верно - Черная Тетя вечно бегала и прыгала без устали, тогда как Рыжая Тетя ступала медленно, с какой-то лишь ей свойственной томной грациозностью, которую так похоже изображают гладиолусы, едва лишь почуют самое слабое дуновение ветра. Черная Тетя любит финики и по сию пору выплевывает их косточки на пол, а Рыжая Тетя осторожно сплевывает семена своих любимых груш в собранную горстью, смущенную, прячущуюся ладонь. Черная Тетя всегда ходит в защитного или синего цвета штанах, как правило, длинных, но иногда и совсем коротких - и тогда волосы ее памушки выпирают с обеих сторон, - а Рыжая Тетя носит только свободные голубые платья: у нее три таких наряда, которые «очень любил» Наш Эдуард, и она их непрерывно стирает и гладит.

Помнишь? Когда Черная Тетя, бывало, выходила на улицу, все дети бросались к ней с криками: «Рафина тетя, поиграй с нами, пожалуйста! Ну, что тебе стоит, Рафина тетя, давай сыграем!» Но когда выходила Ры-

жая Тетя, они гнались за ней и дразнили: «Хау ду ю ду, миссис-писсис?! Ху ар ю энд вот ю ду?!» А были и такие, что швыряли ей вслед ругательства и проклятия, услышанные дома, от родителей, которые не забыли ей и не простили, хотя «прежние времена» давно уже прошли, и дядя Эдуард давно уже умер, и англичане давно уже покинули страну: «Английская подстилка! Изменница! Шлюха!»

Так кричали ей вслед все дети, кроме двух маленьких светловолосых девочек-близняшек из третьего блока, чьи имена давно выветрились из моей памяти, хотя я помню эти их одинаковые маленькие платья, и эти заплетенные косички, и эти белые туфельки, - именно так, со многими «этими», мне всегда легче, сестричка, запоминать.

Нам нравилось приставать к ним с расспросами, какого цвета у них глаза и волосы и в каком блоке они живут, - близняшки подымали на вопрошателей четыре одинаковых, голубых и невинных глаза, старательно выговаривали: «Мы бвондинки с говубыми гвазами и живем в тветьем бвоке» - и не понимали: «Гвупые, почему вы все увыбаетесь?»

Они коллекционировали салфетки и открытки с киноактерами и уже в шесть лет мечтали о «женихах из Амевики» и о «пвическе с вовнами». Они никогда не играли с Черной Тетей - ни в прятки, ни в «шарики», ни в «пять камешков» - и никогда не приходили посидеть у костра, который она устраивала по вечерам для детворы квартала. Каждое утро они наливали в блюдечки молоко, ставили эти блюдечки за домом, выходили на веранду и звали двумя одинаковыми голосами: «Кисы, кисы, пвиходите повизать мовочко». И с той же веранды в четыре одинаковых глаза следили за дверью нашей квартиры, поджидая выхода Рыжей Тети. А когда та появлялась снаружи в своем голубом платье, торопливо подбегали к ней, пристраивались позади, с блаженно закрытыми глазами и возбужденно раздутыми ноздрями, и шли, торжественно подняв перед собой руки, как будто держали невидимый шлейф того бального платья, которое было на Рыжей Тете в воображении всех троих, и жарко шептали друг дружке: «Когда мы будем взвосвыми, у нас тоже будут говубые пватья...»

Так или иначе, может, из-за своей одинаково короткой стрижки, а может, из-за своих одинаково цветных прозвищ, но обе тети казались мне сестрами. Короткие волосы Черной Тети были тогда черными, блестящими, жесткими и густыми, а короткие волосы Рыжей - каштановыми и тонкими, даже простыми на вид, но мгновенное чудо преображения происходило с ними, стоило солнцу выстрелить в них своими лучами. Тогда они вспыхивали тысячами внезапных рыжих искр и начинали шептать на языке, который я научился слышать и даже понимать лишь много лет спустя в одном из тех жестоких постфактумов, которые время любит осуществлять у меня на глазах: «Потрогай нас, Рафаэль, - шептали волосы, - погладь нас, пропусти сквозь пальцы, полюби». Но тогда я уже не жил с Большой Женщиной, а Рыжая Тетя состарилась, и ее волосы давно были перекрашены и больше никогда не вспыхивали на солнце.

«Когда-то ее волосы были, как пламя, - сказал мне мой друг Авраам,

Авраам-Каменотес, в белом от пыли дворе которого я провел многие долгие и блаженные часы детства. - Даже ночью, даже когда были облака, они горели на ее голове, как угольки вот в этой жестянке».

«Я помню, как я увидел ее в первый раз, с этой ее рыжей косой, обмотанной вокруг головы и шепчущей что-то, - рассказывал он мне. - Неподалеку от дир-ясинской каменоломни это было, мы добывали там местный камень, из него получаются самые лучшие плиты для настилки пола. Она со своим братом-ветеринаром и второй твоей теткой, ну, этой, дикой, и с твоими матерью и отцом гуляли там, и я увидел их издали, и она с ее братом были, как два красных полевых цветка».

Он вздохнул: «Посмотри сквозь дырки этой жаровни, Рафаэль, посмотри, и ты поймешь, какой огонь я имею в виду».

Я стал на колени и заглянул в отверстия продырявленной жестянки, в которой Авраам-Каменотес разжигал выжженный из оливковых полешек уголь, кипятил себе чай и добела раскалял острия своих зубил. Эта жаровня, всасывавшая воздух через грубо проделанные дыры, представляла собой простейшую, но весьма эффективную обжигательную печь. Жар ее был так силен, что я тотчас почувствовал, как высыхают и стекленеют мои глаза, и торопливо отпрянул.

«Ты видишь, да, Рафаэль?»

Я поморгал, смахивая слезы, и наклонился вновь, и заглянул, и увидел: багрово-оранжево-желтая бесконечность шуршала шептала шелестела там внутри.

«Такими были ее волосы раньше. Как хвосты тех лисиц богатыря Самсона*, даже рыжее, чем лисицы, и ярче, чем факел».

«И что же с ними случилось?»

«Их загасили».

А когда я спросил у Матери, правду ли говорит Авраам и как это женщинам гасят волосы, она сказала: «Зачем тебе ковыряться в этом, Рафаэль, зачем тебе все это, а?»

А потом вздохнула: «Это правда. Их загасили. Иногда даже у совсем простого человека получается такое красивое выражение».

И подытожила: «Но чего вдруг сестры? Они ведь такие разные».

АВРААМ-КАМЕНОТЕС ТОЖЕ

Авраам-Каменотес тоже жил в нашем районе, но не в нашем квартале, а по другую сторону дороги, в переулке, ответвлявшемся к западу. У него был там огороженный каменной стеною двор, а в том дворе харув* и олива, и маленькие грядки чеснока, петрушки и зеленого лука, и пещера, вырубленная в скале, и маленький, каменный, очаровательный и вечно закрытый домик, который он построил собственными руками.

Четыре высеченные из обработанного мрамора ступеньки поднимаются с уровня двора к входной двери дома, и тончайшая насечка на этих

ступенях выглядит так, будто он только-только закончил обрабатывать их своим зазубренным молотком. Ничья нога никогда не ступала на них, ничья подошва их не топтала, ничей каблук не дырявил их нежную кожу, и я никогда не видел, чтобы сам Авраам когда-либо входил в этот дом. Он всегда сидел в своей «люльке», как он называл свое рабочее место под натянутым на шестах джутовым навесом, который соорудил себе во дворе, и обтесывал там свои камни.

Тяжелые удары молотка и камня, головки зубила и его острия вечно гремели над его двором, и каждый день, по пути в детский сад и обратно, я слышал эти звуки. Однажды я спросил Бабушку, кто это живет в том дворе, и она сказала: «Какой-то себе каменотес». А когда я сказал, что мне хочется зайти к нему и посмотреть, как он работает, Рыжая Тетя состроила гримасу и сказала: «А что там смотреть? Самый обыкновенный человек. Сидит, как пес, на улице, стучит молотком и разбивает камни».

Однако Мать, и Бабушка, и Черная Тетя промолчали, и я почувствовал, что в презрении Рыжей Тети скрывается какая-то тайна, но мал был еще и не стал в нее углубляться.

Через два года после смерти Отца произошел несчастный случай с Дядей Элиэзером. Племенной бык насмерть забодал его в коровнике кибуца Афиким, и он тоже разом потерял все свои титулы: ветеринар, и автодидакт, и брат Рыжей Тети, и муж Черной - и стал просто «Нашим Элиэзером».

Тогда Черная Тетя приехала, чтобы жить вместе с нами. Женщины купили соседнюю квартиру и присоединили ее к нашей, и отныне все они - Мать, и Бабушка, и обе Тети - окружили меня ласковостью своих рук, мягкостью своих глаз, запахом своих тел, и мудростью своих умов, и сладостью своих ртов тесно, вплотную, почти до удушья.

А ты, хоть ты и моложе меня, и была еще ребенком, и мы могли бы стать двумя детьми четырех матерей, - ты тоже присоединилась к этим четырем вдовам. И вскоре пять женщин превратились в одну - в Большую Женщину с десятью глазами, и с шестью грудями: твои еще не расцвели, а мамины уже исчезли, - и с десятью руками, и с пятью ртами, и тогда звуки обработки камня, которые раньше казались мне просто странными и вызывали мое любопытство, теперь стали так соблазнительны, что трудно было устоять.

Время шло, соблазн возрастал, смелость прибывала, и в один прекрасный день я забрался на каменную стену, окружавшую двор Авраама-Каменотеса, и заглянул внутрь. Я увидел оливу и харув, большой каменный стол, стоящий на железных ножках, и каменные тропки, и грядки чеснока и петрушки.

«Заходи-заходи, мальчик, заходи!» - позвал меня каменотес, и я увидел широкую спину, мускулистые руки, белую от пыли голову и загорелый, изрезанный морщинами затылок.

Я уселся на заборе, но не решился войти.

«Ты меня не помнишь, да, Рафаэль?» - повернулся он ко мне.

«Нет».

«Конечно, как тебе помнить, ведь в последний раз мы с тобой встречались на твоей брит-миле*».

Я не ответил.

«И еще я был у вас дома на шив'е* твоего отца, - сказал он. - А когда вы соединяли две квартиры, я помогал женщинам строить, но тебя тогда не было дома. Вы тогда уехали, ты и она».

«Слазь-слазь со стены, - тут же добавил он. - Спрыгни и иди сюда».

Я спрыгнул внутрь двора.

«Нас тогда отправили в мошаву Кинерет, меня и Рыжую Тетю».

«Вот как ты ее называешь? Да, хватило бы мне ума и смелости, я бы тоже называл ее Рыжей Тетей».

Бабушка, ее дочери и внучка остались тогда в доме - присматривать за строительством, а ей велели отвезти меня в Кинерет, «в семью». Вначале она рассердилась: «Кровные родственницы остаются дома, а просто родственницу выгоняют вон?!» - но потом, когда услышала, что Авраам придет помогать в соединении квартир, сердито объявила: «С этим псом я не желаю ни минуты находиться под одной крышей!» - и отправилась со мной в мошаву.

В бабушкином старом базальтовом доме давно уже жили другие люди, и другие коровы мычали в коровнике, на балке которого повесился Дедушка Рафаэль. Мы гостили в соседнем доме, который раньше принадлежал господину и госпоже Шифриным и в котором теперь жила тетя Иона, вдова дяди Реувена. Его фотография, верхом на подаренной ею лошади, которая и сбросила его, в конце концов, головой о базальт, красовалась на стене рядом с портретом его отца, Дедушки Рафаэля, которого я знал по такому же портрету у нас дома.

Я помню страшную жару, белые туманы, что ползли над гладью Кинерета*, угрызения совести тети Ионы: «Я привела ему лошадь из нашей семейной конюшни, самую безопасную, и именно эта лошадь сбросила его...» - и косые взгляды людей, когда Рыжая Тетя гуляла со мной вдоль главной улицы мошавы. На северном конце этой улицы стоял красивый двухэтажный базальтовый дом, и тетя всё пела мне тонким и раздражающе-манерным голосом песню, которую я с тех пор ненавижу: «На берегу большого озера стоит дворец, полный роскоши...». Слова этой песни я запомнил только из-за двух ее зарифмованных взвизгиваний в конце: «Сидит он и учит Тору-у-у / из уст самого Элиягу-у-у».

Не поднимаясь с деревянной доски, на которой он сидел во время работы, каменотес протянул длинную руку, взял белую полоску мрамора и прямо у меня на глазах, широко раскрывшихся от удивления, разбил мрамор и изготовил мне потрясающий подарок: «пять камешков» для игры. А потом, с молниеносной скоростью, окончательно обтесал их несколькими осторожными, легкими ударами зубила.

«Возьми-возьми, Рафаэль, это для тебя, - сказал он. - Возьми и покажи эти пять камешков своей тете и скажи ей, кто их сделал, а потом приди и расскажи мне, что она сказала, да, Рафаэль?»

«Какой тете?» - спросил я, хотя уже знал.

«Той, о которой мы только что говорили».

Вечером я вернулся, вошел через ворота и сказал ему, что сказал ей, но она не сказала ничего.

Я с любопытством следил за выражением его лица. «Ты можешь приходить ко мне, когда захочешь, да, Рафаэль? - сказал он. - Приходи-приходи, я всегда здесь, весь день, никуда не ухожу».

Я принял его приглашение не колеблясь. Я рос в доме с бабушкой, матерью, сестрой и двумя тетями - которые воспитывали меня, гладили меня, запоминали для меня воспоминания и соревновались за мое внимание.

«Может, ты знаешь, как мог бы мужчина расти еще лучше?»

«Нет, - отвечаю я им, послушный, заучивший и готовный. - Нет, мама, нет, бабушка, нет, тети, кажущиеся мне сестрами, нет, сестричка-паршивка, - я не знаю, как мужчина мог бы расти еще лучше».

Теперь у меня было куда убежать. Каждый день я навещал Авраама-Каменотеса, не раз скрывался у него и долгими часами смотрел, как он работает.

«Побереги глаза, как бы искра не влетела», - повторял он.

Я еще расскажу о нем, о его дворе и о его молотках и зубилах, которые лежали у него наготове в двух серых ведрах. «Мужчина должен укладывать свои рабочие инструменты в одном и том же порядке, - говорил он мне. - Так, чтобы он мог найти их, даже не помня и даже с закрытыми глазами».

И о его пещере, и о его камнях я тоже еще расскажу, и о его запертом доме, и о его любви к Рыжей Тете. К ней и к погашенному пламени ее волос.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

МНЕ БЫЛО ПЯТЬ ЛЕТ

Мне было пять лет, когда погиб Отец. Я хорошо помню тот армейский «виллис», что свернул с главного шоссе, поднялся по нашей грунтовке, припарковался около Дома слепых и выплюнул из себя трех торжественных герольдов, которые направились прямиком к нашему дому.

В те времена на грунтовой дороге, которая взбиралась к нашему кварталу, почти не было движения. Изредка появлялась закрытая машина, в которой привозили очередных слепых, сирот или сумасшедших, да еще заворачивал порой в гости маленький серый «Стандард», принадлежавший сыну двух стариков из пятого блока. То был толстый, улыбчивый парень, который состоял в кооперативе «Эгед»*, что, по мнению Бабушки, делало его «большим богачом», так «чего удивляться, что у него собственная машина».

У Рыжей Тети и Дяди Эдуарда тоже была собственная машина. Я видел ее на фотографиях, которые тетя разглядывала у себя в комнате. Но

после того как «Наш Эдуард» был убит, Рыжая Тетя продала ее, потому что не умела водить и не хотела учиться. А тогда они с Дядей Эдуардом без конца путешествовали и без конца фотографировались. Я видел их стоящими у ворот церкви, что на горе Тавор*, и на вершине Мухраки*, и в гавани Тель-Авива, и на заросшем берегу ручья Александр*. Вокруг пустынно - ни домов, ни людей, только дядя с тетей стоят, выпрямившись, в полном одиночестве. Вот они - веселые, улыбаются той улыбкой, которой улыбаются супруги, когда поблизости никого нет и они сами фотографируют себя автоматической камерой.

А еще, раз-другой в день, в квартал заворачивала голубая «Де-сото» Хромого Гершона, водителя такси, который снимал квартиру во втором подъезде первого блока. Один мальчишка, который жил там же, но этажом выше, - его имя я хорошо запомнил, потому что мать звала его из окна не иначе, как «Амо-о-а-а-с!», и когда она выпевала это имя, то под конец маленькое округлое «о» ее рта распахивалось в широкий прямоугольник «а», - так вот, этот «Амоас» рассказывал нам, что Хромой Гершон скрывает в штанах протез, а в багажнике машины - «томаган»*. И хотя никто из нас никогда не видел ни того ни другого - ни протеза, ни «томагана», даже их предполагаемого существования было достаточно, чтобы меня каждую ночь охватывал жуткий страх, когда Хромой Гершон возвращался с работы и по стене моей комнаты медленно проползали широкие полосы света, вычерченные фарами его «Де-сото» сквозь щели в ставнях окна.

Этот Амоас был довольно противный малый, весь состоявший из новостей и слухов, которые всегда казались сомнительными и неизменно оказывались верными. В Иерусалим он приехал из «Рананы»*, как он называл свое прежнее место жительства, и хотя был из религиозных и носил на голове вязаную кипу*, быстро подружился со всеми детьми квартала и влез во все местные секреты. Кроме истории с «томаганом» Хромого Гершона, он поведал нам еще о «каменной шкатулке» Авраама-Каменотеса, в которой «денег навалом, но крышка такая тяжелая, что ни в жисть не откроешь, даже замка не надо», и сказал, что знает место, откуда можно подглядывать в комнаты слепых девочек, когда они раздеваются перед сном.

«Только нужно очень тихо, а то они жутко острые на слух, эти слепухи», - шепнул он, когда мы прокрались туда.

А на обратном пути вдруг объявил: «Нет, самолучшее, это когда зрячий мужик женится на слепой бабе!»

«Почему?» - спросил я.

«Алеф*, он может делать, что захочет, она все равно ни фига не увидит, а бет*, потому как она его будет все время шшупать».

Однако это его утверждение опровергли сами слепые дети, которые сказали мне, что, наоборот, - самое лучшее и общепринятое, это когда слепой мужчина женится на зрячей женщине.

«Почему?» - спросил я.

«Потому что слепая женщина не может так прибрать в доме, как зрячая», - сказали они.

Я помню, что этот ответ вызвал у меня какое-то неясное разочарование. Прошли годы, и уже став «юношей по всем приметам и признакам», как выражалась Большая Женщина, я завел себе привычку спрашивать разного рода женщин, какое сочетание, по их мнению, предпочтительней в браке: зрячий мужчина и слепая женщина или наоборот - и в результате наслушался множества ответов, как на подбор - весьма практичных и скучных, кроме двух, твоего и Роны. Ты сказала, что самая лучшая пара - это зрячая женщина и слепая женщина, а Рона, моя бывшая жена, моя нынешняя возлюбленная и моя будущая беда, сказала, что вопрос глупый, потому что все супружеские пары в мире состоят из слепого мужчины и зрячей женщины.

Я НЕ РАЗ

Я не раз встречал Хромого Гершона также при свете дня, когда он медленно ехал в своем такси по нашей грунтовке. Иногда он останавливался возле меня и окликал: «Рафаэль, слышь, Рафаэль! Я знал твоего отца, доктора Майера. Он мне жизнь спас во время войны*. Ну, человек был! Совершенно ничего не боялся, ни снарядов, ни пуль, возился с моей ногой прямо под обстрелом».

Потом он медленно-медленно трогал с места, и голос его словно вытекал из удаляющегося окна: «Неправильно это, не пристала ему такая смерть. Ну, прямо как маленький чертенок был... человек что надо...»

Жизнь Хромого Гершона была спасена, но нога его была раздроблена, и через несколько дней врачи в Афуле отрезали ему ее совсем. Он пролежал в больнице целый год и вышел оттуда с протезом и с «зеленым билетом»* - сочетание слов, которое Бабушка произносила с тем же завистливым волнением, что и «член кооператива "Эгед"».

Посеребренный лебедь со сладострастно изогнутой шеей сверкал на широкой голубизне капота его машины. Каждый день Хромой Гершон до блеска надраивал все выпуклости своего «Де-сото», с особенным усердием обрабатывая серебристого лебедя и хромированные клыки между фарами. Этот лебедь прямо-таки завораживал всю нашу квартальную детвору, но никто не осмеливался даже прикоснуться к нему, потому что простая логика убедительно подсказывала, что Хромой Гершон, ни минуты не колеблясь, выхватит из багажника свой боевой «томаган» и всадит очередь в того, кто первым протянет руку к его заветному лебедю.

А еще у Гершона был старик-домохозяин, из ветеранов Дома сумасшедших. У этого старика было несколько квартир в нашем квартале, и он зарабатывал, сдавая их внаем. Каждый день он выходил из Дома сумасшедших, спускался на главную дорогу, поднимался возле Дома слепых и шел, опираясь на палку, в наш квартал - поприветствовать свои

квартиры и проследить за их жильцами. В квартале все называли его Мать-Перемать, потому что во время ходьбы он непрестанно сквернословил, как будто задавая этой бранью ритм своим ногам или же смысл - своей жизни, а может, и то и другое сразу.

Мы не раз видели, как он топал по дороге, оставляя за собой висящий в воздухе шлейф гневных словесных обломков и продавленные палкой ямки в пыли. Он всегда начинал обход с первого блока, где с усилием втаскивал свое тело во второй подъезд, взбирался на второй этаж и, даже не думая постучать, входил в квартиру Хромого Гершона, открывая ее своим ключом.

«Хоть он и псих, а ничего не забываст», - говорила Черная Тетя.

Мать-Перемать проверял, все ли краны на месте, не снял и не унес ли Хромой Гершон дверь от квартиры, раковину из туалета или ручку от окна, а затем входил в спальню, чтобы убедиться, что у Гершона не ночевали какие-нибудь «гостьи», поскольку «гостьи», как известно, имеют привычку, поднявшись поутру, заявить, что у них есть права на человека, с которым они переспали, а также на квартиру, в которой они ночевали, и примеров этому пруд пруди.

Из квартиры не раз доносились страшные крики, и мы, квартальная детвора, всё надеялись, что в один прекрасный день Хромой Гершон выхватит из багажника машины свой боевой «томаган» и наконец-то всадит очередь в своего психованного домохозяина - как потому, что нам очень хотелось увидеть настоящее убийство, так и затем, чтобы раз и навсегда завершить спор с задавакой Амоасом: есть у Хромого Гершона этот «томаган» или нет.

ТАК ИЛИ ИНАЧЕ

Так или иначе, но в тот момент, когда у нашего дома появился армейский «виллис», я сидел на одной из скал на обочине грунтовой дороги и вместе с соседскими детьми смотрел, как «Слепая Женщина» учит семерых своих воспитанников. Со всеми с ними я играл и все их имена запомнил навсегда из-за той особой мелодии, которую им придавало непривычное ударение на предпоследнем слоге*, но так никогда и не научился различать, кто из них Аврам, а кто Яков, а кто Давид или Герцель, или Шимон, или Ави, или Рувен.

Я написал «Слепая Женщина» в кавычках, потому что так ее называли все жители нашего квартала. Она жила и работала в Доме слепых и очень выделялась среди всех прочих его обитателей. Как все слепые, в частности и братья по несчастью вообще, обитатели этого Дома были очень похожи друг на друга (четверо «Наших Мужчин», каждый в своей рамке, тоже кажутся мне иногда похожими друг на друга), тогда как она была совершенно иной - высокая, прямая, со звонким голосом и парой зеленых глаз, слепота которых угадывалась не сразу.

Она проводила долгие часы в парке Дома слепых, то объясняя работавшему там садовнику-инвалиду Готлибу, что именно следует посадить и посеять, то обучая слепых детей находить дорогу на запутанных гравийных тропках. В тот день - день, когда армейский «виллис» появился в нашем квартале, - она впервые вывела своих воспитанников на грунтовую дорогу, чтобы научить их, как пройти от Дома слепых до автобусной остановки.

Сначала она им объясняла на словах, а они, как обычно, раскачивались, стоя на месте, как раскачиваются все слепые, будто молясь или пытаясь что-то различить в своем теле.

Затем они начали практиковаться. «Шагайте и считайте шаги, ребята, шагайте, и считайте, и запоминайте», - повторяла Слепая Женщина.

«Раз, два, три, четыре, пять...» - громко считали слепые дети на ходу.

Вот она, словно вырезанная на сетчатке моих глаз, - идет уверенно и прямо по усыпанным гравием дорожкам запретного парка Дома слепых. А иной раз, когда мы осмеливались прокрасться в этот запретный парк - тихо-тихо, ступая самыми кончиками затаивших дыхание пальцев, - мы видели, как она молча стоит подле притаившегося в парковых глубинах маленького, зеленого декоративного бассейна, в котором днем посверкивали золотом пузатые рыбки, а по ночам искрами вспыхивали вокруг светлячки.

Обычно она стояла там одна, а иногда - с Готлибом, с этим безногим садовником, который охранял, и удобрял, и сажал, и подстригал все, что она ему указывала, и ездил по скрипучему гравию дорожек на своей большой инвалидной тележке, вылавливая детей, прокравшихся туда поиграть, и прогоняя влюбленные парочки, нашедшие там укромное место.

А иногда она гуляла там со своими воспитанниками - поразительно похожими друг на друга своими именами с одинаковыми ударениями на предпоследнем слоге, своими одинаковыми темно-синими беретами и одинаково высокими, одинаково стоптанными ботинками, - которые под ее руководством заучивали и запоминали каждое дерево, каждый куст и цветок по их запаху и вкусу, прикосновению и шелесту.

«Она нам совсем как старшая сестра, - сказал мне однажды один из них. - Она нас охраняет, и учит, и никогда не бьет, как другие учителя, а еще она умеет предсказывать будущее».

«Шагайте и считайте, дети, - учила она их сейчас. - Считайте шаги и запоминайте препятствия».

А нам крикнула: «Тише! Слепые дети учатся ходить по дороге!»

«Шесть, семь, восемь...» Один за другим («и не подглядывая», - со смехом добавляет моя сестричка) спускались слепые дети по склону дороги, считая шаги и запоминая препятствия низкими и громкими голосами.

«Девять, десять, одиннадцать, двенадцать... учительница, тут яма посреди дороги... тринадцать, четырнадцать... двадцать один, двадцать два... здесь электрический столб, учительница...»

«Сто тридцать семь, сто тридцать восемь, сто тридцать девять, сто сорок, сто сорок один шаг. Я пришел к автобусной остановке, учительница, я пришел».

«А теперь возвращайтесь. Идите назад и опять считайте, - позвала Слепая Женщина. - Смотрите ногами, глядите памятью».

Мы, хитроумная квартальная ребятня, тотчас придумали себе игру под названием «Вслепую». Мы тоже закрывали глаза и тоже считали шаги - от большого тополя у входа и до цветущего куста в конце тротуара, от грунтовой дороги и до столба электропередачи, от своего дома и до улицы перед бакалейной лавкой.

Вот мы идем - дрожащие веки, тщательно наигранная притворная слепота, а глаза то и дело подглядывают сквозь испуганный просвет ресниц, а руки то ли нащупывают путь, то ли защищают тело - вот мы идем и считаем, изображая, будто оступаемся, пока, наконец, не приходим к цели.

Сто сорок один шаг асфальта и пыли от входных ворот Дома слепых до автобусной остановки на обочине дороги.

Двадцать восемь плиток пола от их комнаты с пианино, темно-синие звуки которого поднимались из окон и таяли между домами квартала, и до их столовой с вонью грязных клеенок, намертво приклеевшейся к стенам, вонью такой оглушительной, что ее не могли перебить даже ветки мирта, которые Слепая Женщина специально разбрасывала по полу, чтобы другие слепые наступали на них, и тогда приятный запах раздавленных миртовых листьев наполнял бы воздух.

И восемь шагов белого гравия от последнего ряда кустов до маленького зеленого декоративного бассейна с лениво плавающими в нем жирными, выцветшими золотыми рыбками - там, в самом сердце запретного парка, за их Домом, там, где каждый, прокравшийся по парковому лабиринту, рисковал встретиться со страшным Готлибом, который ездил по дорожкам на своей инвалидной коляске, сажал растения, обрабатывал парк и охранял его для нее.

ТРОЕ МУЖЧИН, ЧТО ПРИЕХАЛИ

Трое мужчин, что приехали на армейском «виллисе», осторожно пробрались между рытвинами и ухабами нашей грунтовой дороги, переступили полотняными туфлями через ямки, вырытые нами для игры в «шарики», извинились перед Слепой Женщиной, неподвижно застывшей посреди дороги, повернули и зашагали по тротуару к нашему дому.

«Рафи, Рафи, они идут к вам!» - закричали дети.

Я побежал за ними. Они вошли в наш подъезд, глянули на табличку «доктор Давид Майер» на нашем почтовом ящике, медленно поднялись по ступенькам и постучали в нашу дверь.

Мать открыла, выслушала то, что они пришли ей сообщить, и сказала им, что всё это ложь.

«В нашей семье мужчины никогда не погибают в бою, - заявила она. - Они погибают только от несчастного случая».

И она оказалась права. Отец, который прославился храбростью в сраже-

ниях Войны за независимость (видимо, сердце подсказывало ему то же самое, что мать только что сказала армейским герольдам), вышел целым и невредимым из самых тяжелых военных операций в Галилее*, в Иерусалимском коридоре* и в самом городе, а погиб в конце будничного дня танковых учений, на ночной стоянке резервной части, где служил военным врачом.

«Наш Давид, - вздыхала Бабушка. - Но он хотя бы ничего не почувствовал». И тут же разъясняла: «Ведь он умер во сне», - будто находя утешение в этом расхожем выражении, которое разговорный язык придумал для того, чтобы с его помощью заслонить муки смертного мгновенья, живо представляющиеся нам в воображении.

И действительно, Отец умер той смертью спящих, о которой все мечтают, но я не уверен, что он ничего не почувствовал, - ведь его раздавили гусеницы танка, который двигался задним ходом в темноте, и он наверняка проснулся в эту последнюю секунду боли и ужаса, которые я не могу себе представить, даже когда временами представляю себе свою собственную смерть - ту медлящую, хитрую на выдумки смерть, которая ждет меня в засаде за каждой скалой, под каждым откосом, в каждой расщелине пустыни.

«Его так и положили в гроб - прямо в спальном мешке, перемолотого, как тушенка. Армейские раввины даже молнию не решились расстегнуть».

Это резкое, дерзкое описание принадлежало дяде Элиэзеру, который тогда был еще жив, - ветеринару, автодидакту, мужу Черной Тети и брату Рыжей. «У меня были два зятя-врача», - не раз с гордостью говорила Бабушка, и Мама, которая никогда никому не предъявляла претензий по поводу гибели своего мужа, но простить - не простила, тихо добавляла: «Один лечил животных в Иорданской долине, а другой лечил животных в Армии обороны Израиля».

«Может быть, бык убил Нашего Элиэзера, потому что у него были рыжие волосы?» - спросил я однажды.

«Возможно», - сказала Черная Тетя.

«Ты говоришь глупости, - сказала Рыжая Тетя. - Быки не различают цветов».

«А как это получилось, что твой брат был такой рыжий, а ты только немножко?» - спросил я ее.

«Я тоже была когда-то такой же рыжей, как брат», - сказала она.

«И что случилось?»

«Я изменилась. Сейчас я уже не такая».

«Почему?»

«Потому что так мне и надо», - в очередной раз высказала Рыжая Тетя свое всегдашнее убеждение.

Вот так, в слишком молодом возрасте и в слишком несчастном случае, по обычаю всех бизабразных мужчин в нашей семье, мой Отец перекочевал в лучший из миров. И как все они, каждый в свой черед, взял с собой на тот свет всю свою сотню молочно-белых зубов, выстроившихся, сверкая, в смеющемся кривящемся рту, весь миллион соломенных волос, теснящихся на голове, и молодой лоб - низкий и гладкий.

Как дядя с мотоциклом, и как дядя с утюгом, и как дядя с самолетом (армейский «Пайпер» рухнул прямо ему на голову), и как племянник, которому «кротовая пушка» оторвала ступню, так что он умер от потери крови, и как Дедушка Рафаэль, Наш дедушка Рафаэль, который повесился на балке коровника в мошаве Кинерет, завещав жене свои долги, мне - свое имя, а всем нашим женщинам - нескончаемый спор: считать ли самоубийство мужчины естественной смертью или его тоже следует отнести к несчастным случаям?

«Разумеется, это естественная смерть, - убежденно говорит Черная Тетя. - Для мужчины очень даже естественно покончить жизнь самоубийством».

А моя сестричка немедленно расширяет и детализирует это утверждение - чем вызывает у Рыжей Тети очередной приступ рыданий и рвоты, - заявляя, что все мужчины, которые присоединились к нашей семье посредством женитьбы, фактически покончили с собой, потому что никто не скрывал от них, что их ожидает в ближайшем будущем, и если, несмотря на это, они все-таки решили присоединиться, то, значит, сами навлекли на себя свою смерть.

«Что это, если не самоубийство?!» - победоносно восклицает она и тут же добавляет, что вопрос времени, способа и места - это уже дело второстепенное.

«Ну, это уж слишком... - возразила Черная Тетя. - Как можно сравнить рога племенного быка с каким-то рулоном бумаги, упавшим на человека с грузовой машины?»

Так или иначе, от камня или от бумаги, от рога или от железа, это дурной конец, и люди непременно хотят понять, в чем тут причина. Злые языки нашептывают сплетни, бегающие глазки ищут вешалку, чтобы повесить на нее вину, и пальцы, как это свойственно пальцам, указывают.

А они, матери, и тети, и сестры, и бабушки, прислоняются друг к другу, точно укрепленная стена, и их лбы негодуют, и глаза щурятся в оскорбленном изумлении: «Мы, Рафаэль, мы?»

Вот они все - в их маленьких вдовьих кучках, в их соединенных вместе квартирах, с их детьми, которые растут наилучшим способом, каким только может расти мужчина, большие женщины с прямыми плечами, с тяжело дышащими грудями, ладони сжимаются в кулаки и бессильно расслабляются снова: «Мы, которые кормили, купали, укладывали спать, рассказывали сказку? Мы, Рафаэль? Мы?»

Я молчу. И когда они встают передо мною вот так, словно сплошная стена, с их сильными лбами, со сдвинутыми бровями, с их ссохшимися, затвердевшими памушками, я сознаю, что и у меня нет надежды понять.

«Может, ты знаешь, как мог бы мужчина расти еще лучше?» - вонзается в меня их копье.

«Нет, - тороплюсь я ответить, благодарный, уступчивый и послушный. - Нет, я не знаю».

А ЧТО С ААРОНОЙ?

«А что с Аароной? - спросила меня сестра. - Ты еще встречаешься с ней иногда?»

«Что вдруг ты называешь ее Аароной?»

«Это ее имя, разве нет?»

Когда-то Аарона была моей женой, потом оставила меня и вышла замуж за доктора Герона, который руководил ее специализацией («мой второй муж, человек честный и добрый», - называет она его), родила от него двух сыновей и в один прекрасный день вновь постучала в мою дверь.

«Просто навестить, - сказала она. - И не спорь со мной. У меня муж, и дети, и много работы, и мне еще долго вести машину обратно».

«Кто ты?» - спросил я у нее наш пароль.

«Я Рона», - ответила она и вошла.

«Аарона, Рафауль, Аарона... - смеялась сестричка-паршивка, собирательница воспоминаний, хранительница секретов. - Ты не так уж забывчив. Ты знаешь, как ее зовут, и ты помнишь, где ее встретил. Ты знаешь, что она любит, почему она от тебя ушла, почему она тебя навещает и известно ли это ее второму мужу».

«А знаешь, я никогда его не видел, - сказал я. - Хотя нет, на самом деле я его видел, один-единственный раз».

И я рассказал ей, как мы лежали однажды на одной из тех больших плоских скал, которые Рона так любит, и вдруг я увидел доктора Герона, медленно-медленно проплывшего в бассейне левого глаза своей жены, точно вялая, разжиревшая золотая рыбка, а потом нырнувшего и исчезнувшего в бассейне второго ее глаза.

«Прелестная история, Рафауль. Теперь ты, надеюсь, понимаешь, почему она предпочитает его, а любит тебя?»

Ты права, как всегда, сестричка. И, как всегда, ты права лишь в отношении внешней, видимой насквозь, выразимой словами стороны дела. Я всегда думал, что это я не понимаю их, а они читают меня, как открытую книгу. Похоже, что я ошибался. Они тоже не понимают, ни эти пять женщин, ни весь ваш прочий женский народ.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я С УЖАСОМ ВИЖУ

Я с ужасом вижу, что перенял некоторые привычки Большой Женщины. Подобно Бабушке, сам точу свои кухонные ножи. Подобно Черной Тете, выхожу во двор своего дома поиграть с соседскими детьми. Подобно Рыжей Тете, перебираю старые фотографии и вздыхаю над ними. Подобно

Матери, грызу облатки, когда дочитываю книги, только она бросает посередине, а я, послушный сын, заканчиваю их вместо нее. Иногда она оставляет на мою долю кусок подлиннее, иногда покороче, но так и или иначе, мне давно уже не доводилось читать какую-нибудь книгу с самого начала.

А когда в наших пустынных краях наступают жаркие и сухие летние дни, я замачиваю простыни в ванне и выжимаю их в ведро, чтобы полить цветы на окнах - зачем зря тратить воду? она ведь стоит уйму денег! - а затем, как делали все наши женщины, развешиваю эти простыни по квартире, на веревках, протянутых от туалета к окну и от двери к холодильнику. Потом сажусь, наслаждаясь приятной прохладой, плывущей от влажных простыней, и прямо со сковородки ем колбасу, которую жарю с зеленым луком, тонко нарезанной картошкой, расположенными зубчиками чеснока, петрушкой и яйцом, и запиваю все это холодным пивом. Выкуриваю трубку и, слегка затуманенный, предаюсь воспоминаниям, слушаю португальскую певицу Кармелу, одну из моих давних любимиц, прижимаюсь ухом к старому отцовскому стетоскопу, прислушиваюсь к своему сердцу, отдыхаю, наслаждаюсь прохладой.

«Ты знаешь, как можно еще лучше слушать сердце?» - спрашивает меня мое тело.

«Нет, - декламирую я в круглое отверстие стетоскопа. - Я не знаю. А ты?»

«Ты знаешь, как можно еще лучше охлаждать квартиру?» - спрашивают меня мои воспоминания.

«Нет, - сердятся слуховые проходы моего уха. - Мы не знаем».

«Почему ты не ставишь себе кондиционер? Тебе что, не хватает денег?» - спросила меня одна из соседок, худая высокая женщина, которая живет этажом ниже и однажды поднялась одолжить у меня молока.

«Нет, деньги у меня есть», - ответил я.

«Тогда почему?»

«Так меня приучили с детства - пользоваться мокрыми простынями».

Бабушка вставала утром со словами: «Сегодня будет жарко. Я чувствую». И начинала раздавать указания. «Ты, - говорила она Черной Тете, - я тебе велела с вечера выжать воду из тряпки в ведро. Так возьми теперь эту воду и полей во дворе. Прямо сейчас, пока еще не так жарко. А ты, - поворачивалась она к Рыжей Тете, - замочи простыни в ванной и выжми воду в выварку, чтобы не пропадала даром. А ты, - обращалась она к моей сестре, - пойдешь со мной, поможешь мне развесить простыни».

Я помню, как вы входите в мою комнату с мокрой простыней и бельевой веревкой. Рыжая Тетя открывает окно, чтобы привязать веревку к его раме, и солнечный свет, разом хлынув в комнату, очерчивает стебель ее тела внутри голубого платья.

На мгновенье я чувствую слабость. На мгновенье я готов признать: Большая Женщина была права - нет лучшего способа, которым мог бы взрослеть мужчина. Тонкое тело Рыжей Тети медленно плывет в заполненной светом голубизне. Мое горло пересыхает и сейчас. Моя диафрагма вспоминает. Я и сейчас легко припоминаю очертания ее тела, но

мне трудно его описать, и я уже, кажется, говорил, что тут годится только слово «гладиолус». Меж ее бедрами вдруг вырисовывается мягкий, чуть приподнятый, заросший островок, который солнце ласкает кистью своего света, ее правая грудь становится прозрачной, и один луч, неожиданно ударив в ее волосы, зажигает их багровым огнем.

«Не двигайся!» - сказал я.

«Что? - она повернулась ко мне. - Что ты сказал, Рафи?»

Поворот сдвинул ее тело. Тень ее ног исчезла. Ее волосы вновь потухли.

«Ничего».

«Сегодня будет жарко, Рафи, - сказала она. - Одень шапку, когда пойдешь в школу, и возьми с собой бутылку воды. Пей побольше на переменках».

ПОЧЕМУ ОНИ КАЗАЛИСЬ

Почему они казались мне сестрами? Не знаю. Правда, обе были высокими, и обе были тетями, и обе были коротко стрижены, но ведь Черная Тетя была Маминой буйной, дикой сестрой, которая играла со мной и боролась со мной, и соревновалась со мной в беге, и кружила мне голову пырейным запахом своего пота и шалфейным ароматом своего паха, а Рыжая Тетя была всего лишь павшей духом и слабой телом сестрой ее мужа, Нашего Дяди Элиэзера.

«Она не родственница нам по крови, - сказал я сестре. - И она скучная. Она не скупердяйка, как наша Бабушка, и не буйная, как Черная Тетя, и не умеет рассказывать истории, как наша Мама, и не язва, как ты».

«А мне она как раз кажется интересной, - возразила ты, уже тогда обладавшая более острым умом, языком и глазом. - И мне нравится, как она ест, а потом бежит в туалет, возвращается и говорит (тут у тебя на лице появлялось ее беспомощное выражение): "Ну, вот, меня опять-таки вырвало"».

Время от времени Рыжая Тетя вдруг понимала, что другие женщины опережают ее в борьбе за мое внимание, и тогда происходило самое ужасное: она решала мне спеть. У нее был раздражающий голос, который при переходе от речи к пению становился тонюсеньким и визгливым и удивительно соответствовал словам ее песен: той, о роскошном дворце на озере Кинерет, и другой, не менее нудной, слова которой, к моему сожалению и удивлению, мне до сих пор трудно забыть:

Я знаю маленький садик,
Там так приятно гулять,
Там утром поет садовник,
Ночью ветер приходит спать.
Там вода журчит по канавкам,
И во всех его уголках
Льются сладкие ароматы
Душистого ветерка.

Раз в две недели, когда их волосы, по выражению Рыжей Тети, «достигали правильного возраста», обе женщины подстригали друг друга. Бабушка хвалила этот их обычай, потому что он экономил ту «уйму денег», которую запрашивал парикмахер, но тети подстригали друг друга отнюдь не по этой причине. Как и все другие действия, которые совершали женщины нашей семьи: приготовление еды, и мытье головы, и дни рождения, и беседы, и тренировки памушек, и разминания спин, и споры, и стирки, - стрижка тоже представляла собой ритуал, который совмещал в себе и любовь, и определенные правила, и спокойную будничность опыта и доверия.

Так они стригли друг друга в те дни уверенными и крепкими руками и так стригут сегодня, руками старыми и дрожащими: тетя, которую стригут, сидит на стуле, а тетя, которая стрижет, становится над нею, укрывает ей плечи и шею большой старой простыней, проводит по ее голове ладонью с выпрямленными пальцами, сжимает их и состригает ножницами кончики всех волос, что торчат над пальцами, а закончив, говорит: «Посмотри сама» - и постриженная смотрит и улыбается.

Этот способ, который мы называли «стрижкой через пальцы», Рыжая Тетя привезла из Пардес-Ханы, где родились она и ее брат Элиэзер. «В Пардес-Хане все так стригутся», - говорила она, ужасно удивляясь, что в других местах в нашей стране и во всем мире это могут делать как-то иначе.

Я любил стоять возле них, когда они стриглись, и перемешивать пальцами босой ступни их волосы, черные с рыжими, что падали с подстригаемых голов на простыню, а оттуда на пол.

«Прекрати, Рафи! - выговаривала мне Рыжая Тетя. - Это противно».

«Почему вы стрижетесь так коротко?» - спрашивал я.

«Потому что так мне легче драться», - объясняла Черная Тетя и громко смеялась.

«Потому что так мне и надо», - говорила Рыжая Тетя и виновато улыбалась.

Я УЖЕ СТАРШЕ ОТЦА

Я уже старше Отца, но все еще живее, чем он, и наши женщины относятся ко мне, как к хрупкой посуде. Дети наших родственников, которых я вижу порой на семейных сборищах, так и льнут ко мне, а подростки и юноши - те вообще смотрят на меня, как моряки на маяк. Но взрослые мужчины нашего рода, те, кого судьба должна вот-вот призвать к себе, смотрят на меня с той тупой злобой, которой наделяет взгляд безнадежность: «Идущие на смерть ненавидят тебя, Рафаэль»* - как будто я вычерпал из общих семейных источников долголетия те годы, которые могли бы достаться им самим.

Временами, когда Рона приезжает навестить меня, она просит дать ей руль - поводить мой пикап по дорогам пустыни. Я спешу вручить ей ключи, про себя размышляя о вполне вероятной возможности перевернуться на по-

вороте. Иногда, согнувшись над воздушным вентилем, замерзшим и треснувшим от ночной стужи, или над ящиком с трубами, который засыпало оползнем, я вдруг слышу, как сверху, крутясь, подпрыгивая и грохоча, несется под откос тяжелый камень. Тогда затылок мой застывает в ожидании удара милосердия*. Зрачки уже затягиваются багровой пеленой, мускулы уже предвкушают страшную слабость и падение на землю: колено, локоть, плечо, череп и, наконец, щека, примявшая пыль. Компания «Мекорот»* и сотрудники Южного округа скорбят о преждевременной смерти инспектора Рафаэля (Рафи, Рафиньки, Рафауля) Майера и выражают соболезнование семье покойного. Большая Женщина скорбит о смерти сына, внука, племянника и брата. О смерти своего первого мужа скорбит его бывшая жена, его нынешняя возлюбленная, его будущая беда доктор Аарона Майер-Герон. Вакнин-Кудесник скорбит о смерти близкого друга и товарища по работе.

Но тогда, пятилетним сиротой, я думал не о радости своей смерти, а о печалях своей жизни. Утрата и сиротство способны трансформироваться в самые разные и весьма странные состояния, и мое сиротство немедленно трансформировалось в одиночество. Не одиночество ребенка, у которого нет друзей, а одиночество единственного существа мужского пола среди пяти женщин, что склоняются над ним, следят за ним, заботятся о нем, укладывают в постель, простирают над ним свои десять крыльев и несут к предназначенной судьбе.

«Просто красавец!»

«Вот увидите, он еще будет разбивать сердца».

«Посмотри, какие у него крохотные пальчики на этих прелестных ножках, сладенькие, как горошки».

«Горошинки».

«Нет, горошки».

«Дура».

«Сама дура».

«Не поправляй меня. Слышишь?!»

«А какие у него чудные яичечки».

«Я бы уже сейчас сменялась с девушкой, с которой он будет спать».

«Не сменялась, а поменялась».

«Она обратно меня поправляет!»

«Может, ты знаешь, как еще лучше мог бы расти мужчина, а, Рафаэль?»

И я, этакая глупая арифметическая задачка: один мальчик, четыре вдовы, шесть грудей, десять глаз, одна сестра и пятьдесят пальцев, что ласкают, проверяют, оценивают и гладят, - я сдерживаю себя и отвечаю: «Нет».

ПОЧЕМУ Я УШЕЛ

«Почему я ушел? - огрызаюсь я. - Ты не знаешь, почему я ушел? Из-за всех вас я ушел, и из-за него, и из-за нее, из-за того, что вы все сделали со мной, и с ним, и с нею».

Они пугаются. Сами того не замечая, прижимаются друг к другу - и она, Рыжая Тетя, тоже, - образуя стену плеч, глядя исподлобья, схватившись за руки.

«Что мы такого сделали?» - удивляются они. И она, Рыжая Тетя, тоже.

«Ты опять ошибаешься», - говорят они. Все до единой, и она, запуганная, тоже.

«Я не ошибаюсь. У меня плохая память на слова, но то, что я видел, я не забываю».

«С такой памятью, как у тебя, очень опасно лгать», - и кто это говорит? Именно она, Рыжая Тетя.

Иногда я беру матраку*, которую подарил мне Авраам-Каменотес к моей бар-мицве*, крепко сжимаю ее короткую дубовую рукоятку, и тогда, как и обещал Авраам, воспоминания тотчас всплывают во мне. Но обычно помнящими оказываются женщины, а забывчивым - я, они - колодцы с водой, а я - летящая по ветру пыль. Они - незыблемые скалы, а я - стертая тропа, но я никогда не лгу. Ни на путях своей жизни, ни на ветвящихся путях моих рассказов, пытающихся эту жизнь описать. Ты, возможно, снова скажешь, что забывчивость - это тоже своего рода ложь, но, в отличие от припоминания, в ней, во всяком случае, нет ни зла, ни дурного умысла.

Я не лгу. Человек со слабой памятью не может позволить себе такое удовольствие. Я слышал по ночам, как Большая Женщина всхлипывает на пять голосов, я массировал натруженные просторы ее спины своими маленькими ступнями, я видел, как она выщипывает одиночество своих ног и разлет своих бровей. Я слышал, как она упражняет пять своих памушек: раз, два, три, четыре, и пять, пять, пять. Четыре раза сжать быстро, а пятый подольше. Нет, я не знаю, как мог бы мужчина расти еще лучше. К чему мне лгать?

МУЖ РЫЖЕЙ ТЕТИ

Муж Рыжей Тети, «Наш Эдуард», погиб весьма «по-иерусалимски» - так, во всяком случае, определила это Мать. Иерусалимский камень расколол его голову, и его мозг выплеснулся на иерусалимскую землю. Это не был обычный для Иерусалима камень - для войны, для надгробья или для побиения еретика, - ведь наши мужчины, как известно, умирают только от особенных несчастных случаев, - и потому это был самый простой иерусалимский камень, совершенно случайный кусок серого, твердого «мизи йауди*», вышвырнутый самым случайным иерусалимским «барудом» со строительной площадки как раз в тот момент, когда Дяде Эдуарду и Рыжей Тете самым случайным образом довелось оказаться в месте его падения.

Какая ирония судьбы. Ведь Наш Эдуард очень любил Иерусалим, причем именно за его дома и камни. Он, родившийся и выросший в до-

ме и на улице сплошь из английских кирпичей, способен был распознать все виды строительного камня в Иерусалиме и все их назвать по именам, декламируя со смешным акцентом: «мизи хилу»*, и «мизи ахмар», и «слайеб»*, и «каакула»*. Он был офицером английской разведки и появился в Иерусалиме в дни Второй мировой войны, после того как был ранен в боях в Западной пустыне*. В свободные часы он любил бродить по городу и приглядываться к его домам и ремесленникам, в особенности к таким, которым, как он говаривал, суждено вскоре исчезнуть из этого мира, вроде плетельщиков циновок, жестянщиков, извозчиков, реставраторов матрацев, шорников и каменотесов.

Он был любознательным и дотошным человеком и всегда носил в кармане маленькую записную книжку, чтобы записывать профессиональные термины и набрасывать эскизы, и однажды, заглянув на каменотесный двор Абуд-Леви, что возле памятника генералу Алленби* в Ромеме, задал несколько вопросов и получил несколько ответов от молодого каменотеса по имени Авраам Сташевский, который иногда там работал. Авраам сидел на земле и трудился, а английский гость в своем легком светлом костюме и широкой соломенной шляпе оживленно расхаживал по двору. На его плече сидела большая белая крыса, ожидавшая, пока он достанет из нагрудного кармана очередную изюминку и поднесет к ее рту, точно так же, как она ждет сейчас на его портрете. У портрета Дедушки Рафаэля взгляд насмешливый и печальный, у Отца губы мягкие и теплые со сна, у Дяди Элиэзера такие волосы, что даже на черно-белом снимке можно ощутить их огненную рыжесть, а у Дяди Эдуарда белая крыса на плече, косой пробор и швейцарский перочинный нож, который не виден на портрете, но наверняка находится в его кармане, я уверен. В противном случае, чем бы он чистил груши для Рыжей Тети?

В те дни на каменотесном дворе Абуд-Леви работало много каменотесов. Наш Эдуард прислушался к пению их молотков и зубил и сказал, что это совершенно необъяснимое музыкальное явление: каким образом двадцать музыкантов, каждый из которых ведет свою собственную мелодию в своем собственном ритме, и притом без композитора, без нот и без дирижера, ухитряются создать такую очаровательную музыку. Он немного знал иврит, а Авраам немного знал английский, и, когда он несколько дней спустя снова заглянул на тот же двор, Авраам, который не был наделен даром предвидения и не знал, что они оба влюбятся в одну и ту же женщину, позволил ему рыться в своем ведре с инструментами, задавать вопросы, чертить, и записывать, и со смешным акцентом и трогательной осторожностью повторять названия: матрака, мункар*, тунбар*, шакуф* и шахута* - слова, такие же старые и твердые, как сами камни, - и сидеть возле него в тени высокого кипариса, поднимавшегося в углу двора в пышности темной курчавой зелени и белой каменной пыли, и зарисовывать, и улыбаться, как взволнованный ребенок.

И ни тот, которому достаточно было один раз глянуть на камень, что-

бы понять его нутро и натуру, ни второй, офицер разведки Его Королевского Величества, не знали, что таит для них за своей пазухой будущее.

МНОГО ЛЕТ НАЗАД

Много лет назад я преподавал в средней школе. Странно, даже название ее уже просочилось и вытекло из разрушенных колодцев моей памяти, а вот большой кипарис в углу двора я помню, и зеленую полосу, протянутую параллельно полу по всем стенам, классам и коридорам, тоже могу запросто восстановить перед глазами и легко по ней пройти.

В окружении женщин, заполнявших учительскую своими разговорами, запахами и мелочами, я снова ощутил то одиночество моего детства, увидел, как движутся руки Авраама-Каменотеса и услышал постукивание его молотка и зубила. Багровый шелест углей в продырявленных жестяных жаровнях, сладость чая, и запах пыли, и вкус того особого «бутерброда каменотесов» поднимаются во мне и сейчас, вяжут меня по рукам своими соблазнами, влекут к себе мои ноги и сердце.

Сначала учительницы пытались болтать со мной, а когда стало известно, что я разведен, предложили меня сосватать, но в конце концов махнули на меня рукой. Иногда какая-нибудь из них подходила ко мне и просила передвинуть тяжелый ящик, который оказался не под силу старому служителю, или открыть заупрямившуюся банку сахара для кофе. Но обычно они оставляли меня в покое, и поскольку одиночество, как и скука, и выпивка, и тоска, имеют тенденцию самоудваиваться и самоутраиваться, я все больше и больше замыкался в себе.

Но в один прекрасный день заместительница директрисы сказала в шутку, что если б не я да не консервативный шовинизм языка* - табличка на дверях учительской гласила бы не «Комната учителей», а «Комната учительниц».

Я глянул на нее и вдруг ощутил бесконечную усталость человека, кожа которого насквозь исколота чересчур частым умничаньем окружающих, а терпенью настал конец от их чересчур глубоких познаний. Я сказал ей: «Уважаемая коллега, в твоих словах нет ничего такого, чего бы я не знал. Я вырос в доме, где жили одни лишь женщины, целых пять, и нахожусь в той же ситуации сейчас, в этой "комнате учительниц", как ты соизволила сказать. И поскольку я, как и все мужчины, до сих пор расту, разреши мне процитировать тех пятерых женщин и сказать тебе, что я не знаю, как еще лучше может расти мужчина».

Давно принятое решение вдруг дозрело во мне. Я нетерпеливо встал и, вынимая бумаги, книги и карандаши из своего ящика, продолжил: «Я не большой знаток женской души, коллега, но я знаю, как скрыть усы, приподнять грудь и разгладить кожу на локтях. Мне знакомы боли месячных и ночная тоска. Я умею устраивать дни рожденья и поминовенья. Я знаю, как резать лук, чтобы не текли слезы, и как выбирать на

рынке хорошие баклажаны и огурцы, пригодные для маринованья. И как разглядывать старые фотографии в темноте, и как плакать беззвучно, и как сушить обертки от маргарина на кухонных плитках. Я даже знаю, как самым лучшим способом укреплять памушку, что в твоем возрасте, извини меня, безусловно рекомендуется и доставит удовольствие и тебе, и твоему супругу. А секрет прост: четыре раза сжать быстро, а на пятый подольше. Ты была в скаутах? Это как просигналить цифру "четыре" по азбуке Морзе, только там, внутри».

И тут я поклонился вице-директрисе тем коротким учтивым поклоном, которым слуги в доме Верховного Комиссара кланялись высокопоставленным гостям и которому я научился от Рыжей Тети, которая научилась ему от Дяди Эдуарда.

«Вот так, мадам, сядьте на стул, сдвиньте ноги и сжимайте: раз, два, три, четыре, - а сейчас пятый раз, подольше, вот так... и держать, держать, не отпускать... делайте это упражнение несколько минут в день, и у вас перестанет капать, когда вы смеетесь, и ваш супруг тоже скажет вам спасибо». И говоря все это и собирая свои вещи, я сожалел лишь о том, что тебя нет при этом, сестричка, чтобы услышать мои речи и понять, что ты не все понимаешь, паршивка, нет, не все ты понимаешь и знаешь.

Я расстегнул медные пряжки моей сумки - старой, пузатой, кожаной сумки, которую Бабушка в неожиданном и неповторимом приступе щедрости купила Отцу, когда он окончил медицинский факультет, а он, в таком же неповторимом и совершенно ожиданном приступе смерти завещал мне, - затолкал в нее свои немногие вещи и пошел домой, оставив заместительницу директрисы в виде соляной столбыни потрясения и обиды, с оскорбленно распахнутым ртом и изумленно разинутым влагалищем, что сигналило «четыре».

Мне хотелось бы еще добавить, что обычно я ни с кем не говорю в таком стиле, но я и сегодня еще улыбаюсь, когда пью свое пиво и взвешиваю возможность, что она до сих пор стоит там - с черными усами, с уныло обвисшими грудями, с шершавыми локтями и вялой памушкой - всем тем, что моя жизнь с Большой Женщиной научила меня скрывать, приподымать, разглаживать и укреплять.

Понятно, что после этого маленького урока я больше не вернулся в школу. Я работал то тут, то там и, в конечном счете, после нескольких малоинтересных метаморфоз, сунул в сумку стетоскоп, который завещал мне Отец, бинокль, и записную книжку, и перочинный нож, и мешок, набитый «пятью камешками», которые собрались в течение многих лет, проведенных мною при дворе моего друга Авраама, запаковал свои одежки, пожитки и короткую память, спустился в пустыню* и стал сотрудником южного отделения компании «Мекорот». Теперь я обладатель жестковатого, подпрыгивающего на ходу пикапа «Тойота», радиотелефона для связи, который не горит желанием разговаривать, переносного холодильника, походной сумки, образцово упорядоченного

ящика с инструментами, а также странного звания «райинспектор», которое дает мне право сколько угодно ездить по грунтовым дорогам северо-восточного Негева и присматривать за изрядным скопищем труб и скважин, вентилей и резервуаров.

Работа не такая уж сложная. Здравый смысл, основы электротехники, немного гидравлики и механики - все это у меня есть, и вдобавок еще стремление к одиночеству, унаследованное от Отца, педантичная любовь к порядку, которая у меня от рождения, и две умелые руки, которые я унаследовал от матери. А если мне нужно решить задачу, которая превышает мои возможности, я зову на помощь своего друга, Вакнина-Кудесника, начальника отдела эксплуатации нашего округа, мастера на все руки - и соединить, и починить, и разобрать, и отрегулировать.

Я записываю показания водомеров и электрических счетчиков на насосах, добавляю масла в двигатели и воду в охлаждающие втулки, проверяю содержание хлора в питьевой воде и беру пробы для министерства здравоохранения и даже заработал уже славу инспектора с особым чутьем на утечки. В пустыне обычно легко обнаружить утечку, потому что терпеливые семена, ожидающие в земле, тотчас торопятся взойти и окрасить влажное пятно в зеленый цвет. Но иногда протекает какая-нибудь глубоко залегающая труба, и тогда утечку никто не может заметить, разве что служба контроля, которая обнаруживает спад давления и сообщает об этом мне. Тогда я отправляюсь в путь, иду себе вдоль трассы трубопровода - простой любитель прямых линий, с их ясным началом и надеждой в конце - и сообщаю по связи Вакнину-Кудеснику: «Нашел, тащи бульдозер!» Что может быть проще трубы с водой? Проще начала и дороги, вентилей, клапанов и теченья воды?

«Вода - штука простая, в точности как люди, - сказал мне окружной начальник, когда я приступал к работе. - Все, что ее интересует, - это, как бы спуститься пониже, а все, что интересует нас, - как бы поднять ее повыше. Поэтому мы ее либо толкаем, либо высасываем, а все остальное - пустая болтовня».

Мне очень понравились его слова, как нравится мне сильная и сухая жара, которая наполняет меня энергией и жизнью, и как нравится мне мой давний друг, одиночество, - единственный цветок, которому привольно здесь, в пустыне, и как нравится этот пыльный, коричнево-черно-желто-серо-белесый пейзаж, который все больше зачаровывает меня и дает мне понять, что, подобно поздней любви, он тоже - жестокая разновидность отсрочки конца, а больше всего нравится мне щедрое обилие, подлинное затоваривание времени, которое может по достоинству оценить лишь тот, кто занят полировкой воспоминаний и обработкой раскаяний.

Как я уже рассказывал тебе, сестричка, у меня есть образцово упорядоченный ящик с инструментами, в котором мужчина может найти любой инструмент, даже не помня и даже с закрытыми глазами, и там у меня собраны всякого рода ниппели, и муфты, и лопатки, и жестянка с су-

риком, и канистра со скипидаром, и кисти для небольших красильных работ, и насос на аккумуляторах, чтобы дренажировать воду, затекшую в ящики и ямы.

А еще у меня есть завещанный отцом стетоскоп, которым я прослушиваю клапаны собственного сердца, и маленький воздушный насос, который я использую, в основном, для того, чтобы подкачать колеса в машине Большой Женщины всякий раз, когда она приезжает ко мне в гости - проверить, и осмотреть, и сделать свои замечания.

А, кроме того, у меня есть еще несколько милых моему сердцу акаций, в тени которых я отдыхаю, а в рыхлой земле у оснований их стволов набрасываю эскизы, и расшифровываю следы, и ловлю личинки муравьиных львов, которые потом приношу домой и выращиваю до тех пор, пока они созревают, вылупливаются, распускают крылья и улетают. И есть прозрачный воздух пустыни, чтобы рисовать в нем видения, и цветущие кусты ракитника, чтобы зарывать в них лицо и нюхать воспоминания, и его сухие ветви, чтобы развести костер, и успокоить кипятящийся чайник, и заваривать себе сладкий чай, снова и снова.

И еще у меня есть маленькое потайное озерко, над краем которого я сейчас распластался как идиот. Вот он ты, Рафаэль. Ты ждал меня? Ты соскучился? Голубое небесное око смотрит на меня из бездны, что сверху, а лицо мое, улыбаясь, всплывает ко мне из бездны, что внизу.

ВО ДВОРЕ ДЯДИ АВРААМА

Во дворе дяди Авраама, в тени ветвистого харува, стоит широкий стол. Его столешница сделана из цельного гладкого камня, а вместо ножек у него железные козлы. Верхняя сторона камня служит Аврааму для еды и всякого рода тонкой работы, а на нижней высечены слова:

Здесь лежит
Авраам Сташевский
Последний Еврейский Каменотес
Родился 11 января 1908 года
Покончил с собой .....
Покойся с миром

«Все уже готово, да, Рафаэль? Когда мне удастся, тебе останется только перевернуть этот стол, добавить дату после слов "Покончил с собой" и положить ко мне на могилу».

Раз в неделю, вечером с наступлением субботы*, я приносил ему небольшую кастрюльку куриного супа. Его варила Рыжая Тетя, всегда она, и Бабушка никогда не забывала налить Аврааму его постоянную порцию. И каждое утро я приносил ему булку белого хлеба, «свежего-свежего», и еще кое-какие продукты из бакалейной лавки.

«Купи себе какую-нибудь жвачку на сдачу, да, Рафаэль?»

Всегда во дворе. Всегда сидит в тени своей «люльки», под тем маленьким навесом для каменотесов, который он поставил, чтобы затенить себе голову. Всегда работает. Всегда предупреждает меня от летящих «искр».

«Настоящий навес должен быть из пальмовых ветвей, - сказал он мне. - Но мы, нам и джута достаточно, да, Рафаэль?»

«Почему ты всегда сидишь здесь, будто пес, во дворе?» - не сдержался я и спросил его однажды утром.

Он побледнел так, что бледность стала заметной даже под белизной пыли, покрывавшей его лицо. «Почему "как пес"? Кого ты слышал так говорить?»

«Тетю и Бабушку».

«Во дворе лучше, - он глубоко дышал. - Камни нельзя обтесывать в помещении».

«Но ты ведь и ешь, и спишь, и умываешься во дворе. Я ни разу не видел тебя внутри дома».

«Это? Это не дом».

«А что же?»

«Это камни, - сказал Авраам. - Обтесанные камни, хорошо подогнанные друг к другу, один на другом. Дом - это тогда только дом, когда в нем есть женщина и семья».

«Почему же ты не приводишь женщину?»

Он взял отрезок доски, смахнул с нее пыль, энергично подув на нее ртом и постучав по ней ладонями, поставил доску на две пустые консервные банки, положил на нее батон, отрезал от него горбушку, протянул мне со словами: «Кушай-кушай, Рафаэль, погрызи себе пока горбушку», - и стал прорывать в хлебной мякоти узкий, глубокий канал, вначале пальцами, а потом широким зубилом-тунбаром. Затем с большой тщательностью и в строго установленном порядке заполнил образовавшуюся в батоне пустоту крошками соленого сыра, ломтиками свежих помидоров, половинками зубчиков чеснока, очищенных от кожуры тончайшими и осторожными касаниями молотка, черными маслинами и листочками петрушки, которая росла в каждом свободном месте его двора. На все это он вылил полчашки зеленого масла, которое доставлял ему его друг Ибрагим, арабский каменщик из Абу-Гош*.

«Эти арабуши, - сказал мне Авраам, - обтесывать камни они не умеют, но масло у них очень хорошее». И рассказал мне, что арабы «научились держать зубило всего лет сто-двести назад», у каменотесов, привезенных с острова Мальта в Старый город*, чтобы построить там немецкую церковь.

«Тысячу лет они жили здесь, в стране, которая вся из камня, а строили только из "хаами"* и щебня, пока не приехали каменотесы с Мальты и не научили их, как надо работать. Тебе пора в школу, Рафаэль, беги-беги уже, а то опоздаешь».

«А ты, ты сам у кого учился?»

«Я учился работать у йеменцев, - сказал Авраам. - Это каменотесы

алеф-алеф*. У себя в Йемене они строят дома из камня в шесть этажей высотой и без единой капли цемента. Их камни так подходят друг к другу - иголку не просунешь».

Он завернул заполненный батон в тонкую клеенку, скрутил ее концы и затянул их резниками и положил сверток под деревянную доску, на которой обычно сидел весь день, обрабатывая камни. Только теперь началось истинное приготовление бутерброда. Под тяжестью Авраамова тела раздавленный хлеб и его содержимое постепенно проникали друг в друга, и сок помидоров, смешиваясь с соленостью сыра и пропитываясь оливковым маслом и душистыми испарениями петрушки и чеснока, медленно просачивался во все поры и клетки хлебной мякоти.

В полдень, когда я пришел навестить его по пути из школы, дядя Авраам возвестил: «Еда готова», - и со вздохом поднялся со своей деревянной доски. Длительное сиденье превратило его ноги в две дряблые плети. Они столько лет были сложены под ним, что икры стали «слабыми, как локшн*, которые варились целую неделю». Мышцы бедер ссохлись, кровеносные сосуды в них сузились, и он всегда, даже летом, надевал толстые шерстяные носки и жаловался, что у него мерзнут ноги.

Он тотчас вынул бутерброд из-под доски, развернул его и извлек на свет из каплющих родовых пленок. «Давай поедим вместе. Ты, наверно, очень голоден, да, Рафаэль?»

Он достал ножи и вилки, и мы уселись рядом за его каменный стол и стали есть бутерброд, как едят каменотесы, - очень осторожными и точными движениями.

«Вкусно?»

«Очень вкусно».

«Знаешь, что я люблю в таком бутерброде? То, что я каждый день готовлю его одинаково, и каждый день у него немножко другой вкус».

Я энергично кивнул в знак согласия. Мой рот был наполнен вкусом, а глаза слезились от чеснока.

«Кушай-кушай. Такого бутерброда нет нигде в мире. Не стесняйся, да, Рафаэль? Как поживают твои тети?»

«Они сердятся, что я ем у тебя».

«Почему?»

«Потому что потом у меня нет аппетита дома».

«Дома у тебя никогда не будет такого бутерброда. Женщины не умеют делать такой бутерброд. Они могут работать целую неделю, чтобы сварить самую сложную еду в мире, но вот так, просто сидеть на бутерброде и ничего не делать, такое никогда не придет им в голову».

И, пожевав еще несколько минут, улыбнулся и сказал: «Такой долгий разговор нужно чем-нибудь заесть».

Потом помолчал опять, собираясь с силами после столь длинного высказывания, передохнул и продолжил: «Знаешь, почему это, Рафаэль? Потому что мужчины любят, когда все делается вместе. Пока я ра-

ботаю, на веревке у меня сохнет белье, под доской сдавливается бутерброд, а в море все тамошние малюсенькие существа оседают на дно, и из них медленно-медленно делаются новые камни. Видишь, что делает небольшое давление... Если бы я сидел на этом хлебе сто миллионов лет, он тоже превратился бы в камень. Даже в алмаз!»

Многие долгие часы, с тех моих детских дней и до нынешней затянувшейся старости, я провел под навесом Авраама-Каменотеса. Плясали и пели матрака и шукия*. Летели во все стороны «искры», как каменотесы называют каменные брызги. Вздувались и опадали вены и мышцы на руках дяди Авраама. Я играл в его дворе, тайком сидел в его пещере, ел от его хлеба, взбирался на его харув и оливу, но в его дом, в запертый каменный дом, никогда не входил. И он тоже.

ПРИМЕЧАНИЯ

Название книги - «В доме своем в пустыне» - восходит к словам библейского рассказа о военачальнике Иоаве, который прогневил царя Давида и был им проклят, а впоследствии, по приказу царя Соломона, был убит его слугой Ванеей: «И пошел Ванея, сын Иодаев, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен *в доме своем в пустыне*» (3-я Книга Царств, 2:34).

Глава первая

Мошава - сельскохозяйственное поселение в Земле Израиля, основанное на принципе частной собственности.

Давид Елин (1854-1941) - израильский писатель, педагог, ученый, основатель Союза учителей Израиля, первый президент Академии языка иврит.

Сторожевая гора («Гар а-Цофим», *ивр.*) - возвышается над Иерусалимом в его северо-восточной части. С незапамятных времен играла решающую роль в многочисленных сражениях за Святой город.

Площадь Сиона - площадь в центре Иерусалима.

«Мандат» - после Первой мировой войны, согласно Декларации Бальфура, одобренной европейскими государствами, Британия в 1920 году получила мандат на управление всей Палестиной. Срок действия этого мандата закончился в 1948 году. Последний верховный комиссар сэр А. Дж. Кеннингхем, занимавший этот пост с 1945 года, покинул страну 14 мая 1948 года.

«Взошел в Страну» - в Страну Израиля всегда «восходят», «поднимаются» - разумеется, в переносном смысле слова (ибо в Библии заповедано евреям: «Поднимайтесь и идите!»). Покидающие Страну называются «йордим» (букв. «спустившиеся»). Точно так же всегда «поднимаются» в Иерусалим, расположенный в Иудейских горах.

Глава вторая

Шнекке (*нем.*), букв. «улитка» - сладкое печенье из полосок теста, свернутых в виде спирали.

Ашкеназы - евреи - выходцы из Центральной и Восточной Европы, говорящие на языке идиш.

Библейский зоопарк - собрание животных, упоминаемых в Библии.

Облатки - в Израиле это небольшие, круглые и очень тонкие, как лист, соленые крекеры.

Ультраортодоксальные евреи - иначе «харедим», богобоязненные - общее название течений в иудаизме, последователи которых считают себя единственными законными носителями еврейской религиозной традиции и крайне нетерпимо относятся к секулярному еврейству. Даже живя в Израиле, харедим формально не признают Государство Израиль еврейским государством, так как оно создано до прихода Мессии и управляется по секулярным законам, а не по закону Торы.

Запретные книги - ультраортодоксам не разрешается читать светские книги - художественную литературу, стихи, исторические сочинения и т. п.

Дос (*искаж. ивр.* «дат» - религия) - насмешливое прозвище религиозных в Израиле.

«Эзрат наши́м» (*ивр.*) - букв. «участок для женщин»: часть двора в Иерусалимском Храме, предназначенная для женщин; женское отделение в синагоге. В данном случае - название иерусалимской больницы для умалишенных.

«Шоссон» - тип пассажирских автобусов, курсировавших в Израиле в 1940-50-е годы.

Царский путь - («дерех а-мелех», *ивр.*) «дорога, по которой ездят цари» - главная дорога, магистраль.

Гутман, Нахум (1898-1980) - израильский художник, а также автор детских книг с картинками.

«Давар» (*ивр.*) - букв. «Слово» - газета, выходившая в Израиле с 1925 года и издававшаяся организацией профсоюзов. «Давар для детей» - еженедельное детское приложение к этой газете.

Глава третья

Баруд (*араб.*) - взрыв.

Орпали аб - турок, житель города Орфа, который находится в Турции недалеко от границы с Сирией.

Лисицы богатыря Самсона (шимшон, *ивр.*) - «И пошел Самсон, и поймал триста лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами; И зажег факелы, и пустил их на жатву Филистимскую, и выжег копны и нежатый хлеб, и виноградные сады и масличные» (Книга Судей, 15: 4-5).

Харув - рожковое дерево и его плоды, сладкие рожки.

Брит-мила, разг. «брит» (*ивр.*) - букв. Завет обрезания - обряд удаления крайней плоти у младенцев мужского пола (на седьмой день после рождения), символизирующий Завет между Богом и народом Израиля.

Шив'а (*ивр.*) - семь траурных дней после смерти близкого родственника, которые, по еврейской религиозной традиции, принято проводить сидя на полу.

Кинерет (оно же Генисаретское озеро, Тивериадское озеро и Галилейское море) - озеро на северо-востоке Израиля, между Галилеей и Иорданской долиной. Самый большой в Израиле и самый низкий в мире (210 метров ниже уровня моря) пресный проточный водоем.

Глава четвертая

«Эгед» (от *ивр.* «объединение») - израильский автобусный кооператив.

Гора Тавор (Фавор) - гора куполообразной формы на востоке Нижней Галилеи, северной области Израиля. По христианской традиции, на горе Фавор произошло чудо преображения Христа.

Мухрака (*араб.*) - название вершины Алтарь Элиягу на горе Кармель, на севере Израиля, связанной преданием с пророком Ильей.

Ручей Александр - впадает в Средиземное море к северу от Тель-Авива.

Томаган (*англ.*) - пистолет-пулемет.

Ранана (искаж. от *Раанана*) - город к северу от Тель-Авива. Во времена, описываемые в романе, иммигранты из разных стран привносили в иврит свое произношение. Мальчик Амоас проглатывает длинный звук «аа» в таких ивритских словах, как «Раанана» или «Баал-Шем-Тов».

Кипа (*ивр.*) - ермолка, маленькая круглая черная шапочка без полей, которую носят религиозные мужчины-евреи. У религиозных евреев, не принадлежащих к ультраортодоксальным кругам, кипы вязаные.

Алеф, бет - первые буквы ивритского алфавита. В иврите буквы имеют также числовое значение. Буква «алеф» соответствует числу один, «бет» - числу два.

Война - здесь Война за независимость (1947-1949) - освободительная война, которую вели евреи Палестины против арабов. Началась после принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о разделе Палестины и нападения пяти арабских стран на Государство Израиль на второй день после его провозглашения, закончилась подписанием соглашения о перемирии с арабскими государствами.

«Зеленый билет» - свидетельство об освобождении от военной службы.

Ударение на предпоследнем слоге - правильные ударения в еврейских именах в иврите обычно приходятся на последний слог.

Галилея - гористая и зеленая область на Севере Израиля, между Кинеретом и Хайфой.

Иерусалимский коридор - во время Войны за независимость единственная не занятая арабами дорога, соединявшая Иерусалим с Прибрежной равниной.

Глава пятая

«Идущие на смерть ненавидят тебя» - перефразировка «Ave, Caesar, Morituri te salutant» (*лат.*) - «Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя» - обращение римских гладиаторов к императору перед боем.

Удар милосердия - coup de grace (*фр.*) - смертельный удар, избавляющий от страданий.

Компания «Мекорот» (*ивр.*) - букв. «Источники» - Израильское управление водными ресурсами.

Матрака (*араб.*) - молоток каменотеса.

Бар-мицва (*ивр.*) - букв. «сын заповеди» - мальчик, достигший тринадцати лет и считающийся правомочным и обязанным блюсти все заповеди, предписанные еврейскому мужчине религиозной традицией.

Мизи (*араб.*) - камень.

Мизи йауди (*араб.*) - «еврейский камень», белый, с оттенками от желтого до красного, иерусалимский камень, из которого строится большинство зданий в Иерусалиме.

Мизи хилу (*араб.*) - сладкий камень.

Мизи ахмар (*араб.*) - желтый камень.

Слайеб (*араб.*) - «крест», красноватый камень из Долины Креста.

Каакула (*араб.*) - камень плохого качества, чернеющий от впитывающейся влаги.

Западная пустыня - Западная, или Ливийская, пустыня, места сражения англичан с армией Роммеля в 1942 году.

Алленби, Эдмунд Генри Хайнман (1861-1936) - английский полководец. Во время Первой мировой войны командовал Египетским экспедиционным корпусом, который в 1917-18 годах нанес поражение туркам в Палестине. В состав корпуса входил Еврейский легион.

Мункар (*араб.*) - острое тонкое зубило.

Тунбар (*араб.*) - широкое толстое зубило.

Шакуф (*араб.*) - молот.

Шахута (*араб.*) - квадратный молоток с маленькими выступами для тонкой резьбы и насечки.

Шовинизм языка иврит - то же, что в русском: когда речь идет о группе женщин и мужчин всегда применяется мужской род, даже если на пять женщин приходится один мужчина.

«Спустился в пустыню» - из Иерусалима всегда «спускаются»; «пустыня» - в данном случае Негев - южная пустынная часть Израиля между Мертвым, Красным и Средиземным морями.

«Вечером, с наступлением субботы» - в еврейской традиции праздничный день, включая субботу, начинается накануне вечером, с появлением первых звезд.

Абу-Гош - арабское поселение к западу от Иерусалима, по дороге к Тель-Авиву.

Старый город - обнесенная стенами (в период турецкого господства) часть Иерусалима с ее четырьмя кварталами - Еврейским, Арабским, Армянским и Христианским - и всеми главными религиозными святынями иудаизма, христианства и ислама.

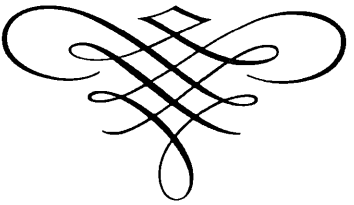
Хаами (*араб.*) - кладка из необработанных камней.

Алеф-алеф (*ивр., разг.*) - самый лучший.

Локшн (*идиш*) - лапша.

Шукия (*араб.*) - тонкое зубило, скарпель.

Перевод с иврита Р. Нудельман и А. Фурман



Анри Волохонский

О НЕФТИ

Часто говорят, будто нет у нас в Израиле нефти и никогда не было. И это обидно, ибо у соседей наших её очень много. Они просто купаются в нефти и даже определяют её цену на мировом рынке. Поэтому они богаты, а мы бедны, будь у нас нефть, были бы и мы богаты и, конечно, процветали бы. Предлагают даже сделать косую трубу с израильской территории, чтобы кончалась у них, там, где нефть, и её перекачивать.

Рассуждение это не слишком верное, ибо самые богатые государства как раз бедны природными запасами. Например, Швейцария или Нидерланды. Но есть именно у нефти еще одно качество, которое указывает, что иметь её нам не должно. Изложено же это в древней нашей Библии, в книге Бытия, в главе 14. Перевод следует ниже.

Могу добавить, что «скважины земляной смолы», о которых идет там речь в стихе о Долине Сидим, это и суть нефтяные источники того времени. Из них добывали битум, то есть асфальт, густейшую нефть. Характерно, что цари Содома и Гоморры свалились в эти скважины. Легко себе представить, в каком виде они оттуда вылезли. И, конечно, нужно учитывать обыденные нравы этих городов, Содома и Гоморры.

Когда в конце излагаемой здесь истории Аврам отказался взять себе отбитое у внешнего врага имущество Содома, он, разумеется, учитывал, что там живёт его племянник Лот. Но память у жителей этого города была коротка. Когда вскоре в Содом пришли ангелы и остановились у Лота, жители собрались вокруг с требованиями вывести к ним гостей, говоря: «Мы познаем их». Это и есть содомское поведение. За это и был сожжен город.

Так что присутствие нефти - черта небезобидная, согласно Библии, по крайней мере. Ведь цари-то провалились не куда-нибудь, а как бы в собственные свои задницы. Так что в обращении с нефтью требуется осторожность. Необходимость призвать к ней, напоминая об известных правилах личной гигиены, и побудила меня дать следующий ниже новый перевод 14-й главы книги Бытия.

БЫТИЕ, ГЛАВА 14

И было во дни
Амрафела, царя Шинара,
Ариоха, царя Эласара,
Кедарлаомера, царя Элама,
И Тидала, царя Гоима.

Вели войну они
С Бсрой, царём Содома,
И с Биршей, царём Гоморры,
Шинавом, царём Адмы,
И Шемевером, царём Цвоима,
И царём Белы, она же Цоар.

Все они соединились в долине Сидим,
Где Море Солёное.
Двенадцать лет служили Кедарлаомеру,
В тринадцатое лето восстали.

В четырнадцатое лето пошел Кедарлаомер
И цари, которые с ним, поражая
Рефаимов в Аштерот Карнаиме,
И зузимов в Хаме,
И емимов в Шаве Кирятаиме,
И хориев на горе их Сеире,
До Эль Парана, при пустыне.
И свернули и пошли к Эйн-Мишпат, то есть к Кадешу,
И поразили всё поле амалекитян и амореев,
Сидевших в Хацацон Тамаре.

И вышел царь Содома,
И царь Гоморры,
И царь Адмы,
И царь Цвоима,
И царь Белы, она же Цоар,
И сошлись с ними войною в Долине Сидим.
С Кедарлаомером, царём Элама,
И Тидалом, царём Гоима,
И Амрафелом, царём Шинара,

И Ариохом, царём Эласара, -
Четыре царя с пятью.

А в Долине Сидим - скважины,
Скважины земляной смолы,
И, бежав,
Цари Содома с Гоморрой туда свалились,
А остальные бежали на гору.
И взяли всё имущество Содома с Гоморрой
И всё их продовольствие,
И ушли.
И взяли Лота, сына брата Аврамова,
И всё имущество его,
И ушли,
Ибо он сидел в Содоме.

И пришёл беглец, и сказал Авраму Еврею,
Который обитал у дубов Мамре Аморея,
Брата Эшколя и брата Анера,
Бывших в союзе с Аврамом.
И услыхал Аврам о плене племянника своего,
И созвал взращённых, рождённых в доме его
Восемнадцать и триста,
И гнался до Дана.
И разделился против них ночью -
Он и слуги его,
И поразили их, и гнали до Ховы,
Что левей Дамаска.
И вернул всё имущество,
А также Лота-племянника
И имущество его вернул,
А также народ, и женщин.

И вышел царь Содома навстречу ему
По возвращении с поражения Кедарлаомера
И царей, которые с ним
В Долине Шаве,
Она же Долина Царская.

И Мелкицедек, царь Салема,
Вынес хлеб и вино

(Он иерей Бога Вышнего),
И благословил его и сказал:
«Благословен Аврам Богу Вышнему,
Обретшему небо и землю,
И благословен Бог Вышний,
Который предал врагов в твои руки!»
И ему он дал десятину всего.

И говорил царь Содома Авраму:
«Дай мне души живые,
А имущество себе бери!»
И говорил Аврам царю Содома:
«Поднимаю руку мою к Яхве, Богу Вышнему,
Обретшему небо и землю!
Нитки и завязки от обуви
Не возьму из всего твоего,
Чтоб не говорил ты:
- Я обогатил Аврама.
Кроме того, что съели молодцы,
И доли людей, что шли со мной, -
Анер, Эшколь и Мамре -
Они возьмут долю свою».

Перевод Анри Волохонского

ИМЯ ВЕДЬМЫ

«Бурю» Шекспира, на языке подлинника, я нашел в его однотомном полном собрании, в самом начале. Но сперва стоит сказать, зачем я искал эту «Бурю».

До того я читал «Бурю» в переводе Михаила Кузмина, изданную в 1990 году «Московским рабочим». Согласно примечанию кандидата филологических наук М. В. Толмачёва, здесь она впервые была напечатана по автографу 1930 года, хранившемуся в Центральном Государственном архиве литературы и искусства в Москве. Читал я поэтому с особым вниманием. И обнаружил в речи Ариэля, светлого духа, находившегося в услужении у герцога Миланского Просперо, в сцене 2-й первого акта, что его посылали собирать «росу Бермудов страшных». Припомнив о Бермудском треугольнике, где до наших дней исчезают самолёты и пароходы, я продолжал чтение и вскоре столкнулся с ещё

одним именем. Это была мать Калибана, островного аборигена. И звали её - здесь я процитирую:

Просперо. *Забыл*
Ты грозную колдунью Сикораксу,
От лет и злобы скрюченную?

Так вот, имя её было - Сикоракса.

Будь то перевод Пастернака или Щепкиной-Куперник, я бы, конечно, не обратил на ведьму внимания. Но Кузмин - ведь совсем другая история. И Сикоракса до того напоминает нашу полудетскую приятельницу - Сикараху, что я чуть не весь вечер расхаживал и бормотал:

...грозную колдунью Сикараху...

а звук «кс» по-английски выписывается как «х», так что «Сикараха» получается, можно сказать, без всяких усилий. Естественно, что и Кузмина, её изобретшего, я тоже внутренне всячески хвалил и одобрял.

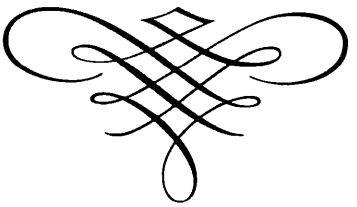
Дальнейший ход событий нетрудно предугадать. Я заглянул в подлинник и нашёл там всё ту же Сикораксу (Sycorax). То есть не Кузмин придумал Сикараху, а Уильям Шекспир. Это и есть то явление, которое мы называем истинной гениальностью. Ведь с тех пор прошло почти четыреста лет - надо же обладать такой силой предвидения! Впрочем, и переводы Кузмина заслуживают внимания.

Что касается происхождения этого имени, то, скорее всего, его можно вести от названия города Сикурий. Жительница Сикурия - сикуракса, или сикараха. Сикурий - Сикуриум по-латыни, Сикурион по-гречески - находился у горы Оссы, в Фессалии, а фессалийские колдуньи издревле пользовались особой славой. Упоминается Сикурий в сочинении Тита Ливия, в книге 42, где описана начальная стадия войны с царём Македонии Персеем. Кроме того, в письме Цицерона брату Квинту *(номер 158, раздел 8, в переводе на русский, том 1, 1949)* оратор говорит о рабе по имени Сикура, тоже, стало быть, родом из Сикурия.

В наше время Сикораксой называется индокитайская порода бабочек. Они водятся в Таиланде, Малайзии и на острове Суматра.

Именами Сикораксы и Калибана недавно (в начале сентября 1997 года) воспользовались астрономы, давшие их новооткрытым спутникам Урана. Диаметр Сикарахи оценивается в 100-120 километров.

Особую тему представляло бы изучение вопроса о том, не является ли также известная Кукарача искажённым именем шекспировой ведьмы. Самое слово по-испански означает, как все знают, таракана, но происходить оно может и от названия фессалийского города, если только греческое «с» заменить на «к» по соображениям исторической фонетики.



Борис Хазанов

ВОЗВРАЩЕНИЕ АГАСФЕРА

Письмо из Старого Света

Dieser Mann oder Jud soll so dicke Fußsolen haben, daß mans gemessen zweyer zwerch Finger dick gewesen gleich wie ein Horn so hart wegen seynes langen gehen vnd Reysen.

*Kurze Beschreibung und Erzehlung von einem Juden mit Namen Ahaßverus Welcher bey der Kreutzigung Christi selbst persoenlich gewesen. (1602)**

Дорогая! Одного хасидского мудреца спросили: далеко ли находится Иерусалим? Он ответил: до нас рукой подать, а от нас - как до звёзд. Я летел к вам целую вечность. Зато возвращение в сморщенном времени над океаном, по которому Магеллан плыл три месяца, ночь длиной в полтора часа в неподвижном рокочущем самолёте, навстречу европейскому солнцу, взбегающему над чёрной крышей облаков, даёт почувствовать то, что прежде могла передать только литература: сюрреализм действительности.

Не хочу больше говорить о политике, вернёмся к нашей старой контроверзе. Для меня она, во всяком случае, не стареет. Я говорю о Катастрофе. Не знаю, как вы отнесётесь к этому посланию.

---

* Говорят, у этого человека или жида были такие толстые подошвы, что, если смерить, будет толщиной в два пальца, и твёрдые, как рог, из-за долгой ходьбы и странствий. *Краткое описание и рассказ об одном еврее именем Агасферус, каковой был лично при распятии Христа. (1602)*

Сохранена орфография подлинника.

Невежественные журналисты заменили слово *голокауст*, давно существующее в нашем языке, другим, отвратительно звучащим для русского уха: «холокост». Вычитали его из американских газет, никогда не слыхав об эллинистическом наследии русского языка, о том, что слово это пришло к нам не через посредство английского, но из Греции прямиком, в неискажённом виде, что оно воспроизводит античное произношение и сохраняет первоначальный смысл: ведь буквально «Голокауст» означает «всесожжение». Я начну с одной довольно странной истории.

Она случилась давно. Знаменитый философ, маг и астролог Агриппа Неттесгеймский сидел в своей комнате, когда стукнула дверь и вошёл странник. Хозяин принял его за нищего. Но тот отказался от подаяния. Он рассказал, что с ним произошло. Он был житель Иерусалима, много лет назад занимался сапожным ремеслом. Однажды он услыхал шум на улице - измождённый человек тащил на спине огромный брус с перекладиной, вокруг и следом шла толпа. Человек этот выдавал себя за Мессию, объявил себя царём и был за это приговорён к смерти. Человек попросил сапожника помочь ему донести брус до места казни. Много вас таких, ответил сапожник, пошёл вон... «Хорошо, - сказал человек с крестом, - Я пойду, но и ты будешь ходить, покуда Я не вернусь». Человек этот был Иисус, а сапожник, по имени Агасфер, как вышел из своего дома, так с тех пор и бродит, и прошло уже пятнадцать столетий.

«Что тебе надо?» - спросил Агриппа. Старец объяснил, что он много слышал о чудесном искусстве предсказаний, которым владеет Агриппа. «Мало ли что говорят», - заметил учёный. «А это? - возразил Агасфер и ткнул корявым пальцем в угол, где стояло некое сооружение из двух зеркал с подвешенным кристаллом. - Я хочу знать, когда Он вернётся. Хочу знать, когда кончатся мои скитания, я устал от жизни. Ты один можешь показать мне будущее; умоляю, сделай это!»

Напрасно Агриппа предостерегал гостя против опасного эксперимента, ведь увидеть будущее - значит не только перенестись на мгновение в другое время, но и зажить в другом времени, и никто не знает, способен ли человек вынести это. «А чего мне бояться, - отвечал Вечный Жид, - мне терять нечего». Чародей уступил его просьбам: усадил гостя между зеркалами, прочёл молитву или заклинание; кристалл ожил, затеплился жёлтым светом, Агасфер увидел своё отражение, бесконечно повторённое в зеркальных далях, за его спиной было прошлое, спереди надвигалось будущее, приближалась желанная смерть. Очнувшись, он не мог понять, сколько времени он находился в другом времени; ибо там время текло иначе. Агриппа стоял перед ним, ожидая услышать его рассказ. Но странник не сразу собрался с мыслями.

Он стоял в длинной очереди перед приземистым зданием с кирпичной трубой; из трубы валил чёрный дым. Охранники подгоняли людей:

здесь были мужчины, женщины с младенцами на руках, юные девушки, древние старики и согбенные старухи. И вместе с ними, вместе с Агасфером стоял в очереди тот, кого он когда-то прогнал от своего крыльца. Кто сдержал обещание и пришёл снова.

«Этого не может быть! - вскричал Агриппа. - Ты уверен, что это был Он? Он не может умереть!» - «Я тоже думал, что никогда не умру». - «Но Он Сын Божий!» - «Это вы так считаете, - возразил Агасфер. - Он сын нашего народа». - «И стражники не пали перед Ним ниц?» - «С чего бы это? У них другие заботы...» Вечный Жид задумался, теперь он знал, чем всё кончится. Он стал просить хозяина послать его туда снова. Опыт был повторён, но на этот раз Агасфер уже не вернулся: он сгорел в печах вместе со всеми и с Тем, который сказал: «Будешь скитаться, доколе Я не приду во второй раз».

Вы догадались, дорогая, что я просто пересказал вам историю, сочинённую мною когда-то. Правда, Агриппа фон Неттесгейм - лицо историческое, о нём можно прочесть в энциклопедическом словаре. Брюсов сделал его персонажем романа «Огненный ангел». Что же касается легенды о Вечном Скитальце, то меня поразило одно обстоятельство.

Легенда, возникшая, как считают, на исходе западно-европейского средневековья, известная во множестве вариантов, имеет довольно отчётливый юдофобский привкус. Некий жестокосердный иудей осуждён вечно бродить среди чужих народов, и поделом ему: он отвернулся от Иисуса Христа на его крестном пути, не признал в нём Сына Божьего. Вечный Жид, олицетворение еврейского народа, осуждён самим Христом.

Заметьте, однако: он единственный из живущих на земле, кто своими глазами видел Христа, единственный, кто может свидетельствовать о нём. Ведь все остальные свидетели, в сущности, ими не были. Агасфер гоним и презираем, но он - доказательство, что Христос в самом деле существовал. Он доподлинно знает, что Христос, кем бы он ни был, - был. Много столетий подряд христианство было непримиримым врагом еврейства, сеяло недоверие и ненависть к евреям. Искоренить еврейство - вот, к чему оно стремилось. Вот, что оно проповедовало. Все христианские церкви несут свою долю вины за гонения и погромы, за то, что происходило в средние века, и, в конечном счёте, за то, что случилось в нашем, уже минувшем веке, - за Катастрофу. И вместе с тем - вместе с тем христианство приросло к своему антагонисту, как сук к дереву. Христианство исторически отпочковалось от иудаизма, авторы и персонажи Нового завета - евреи, и народ этот каким-то чудом сохранился, пережил Священную историю и просто историю.

Странник (я возвращаюсь к моему рассказу), явившийся к учёному немцу XVI столетия, чтобы узнать, сколько ему ещё осталось бродить, представляет собой, так сказать, отрицательный полюс истины. Агриппа - христианин, для него смерть Спасителя, окончательная смерть - абсурд. Агасфер - еврей, бывший житель Иерусалима, на его глазах происходила казнь Христа. Галилеянин для него только человек, ложный

Мессия, каких было немало. По этой логике Христос, если бы он явился в эпоху Голокауста, должен был бы разделить судьбу шести миллионов отравленных газом и сожжённых в печах. Второе пришествие Христа состоялось, и когда же? Когда его соплеменники стоят в очереди перед газовой камерой. Он не может выйти из очереди, это значило бы предать обречённых. А для эсэсовцев он просто жид - как все.

Вместе с евреями погибает и христианство. Родившись среди евреев, оно вместе с ними и уйдёт.

Вы скажете: но это твоя фантазия! Верно. И... не совсем фантазия.

Вы скажете: христианство отнюдь не сгинуло. Христианство и сегодня - могучая сила в мире. Вдобавок оно «учло свои ошибки». Ватикан в специальном документе официально реабилитировал евреев, больше не надо считать их виновными в том, что Спаситель был предан казни.

Я отвечу: спасибо. Хотя неясно, реабилитирована ли таким образом и Римская церковь.

Но это Ватикан. Зато в книгах, которые выходят сегодня в Москве с благословения патриарха, в учебных пособиях по Священной истории вы по-прежнему можете прочесть, что толпа, собравшаяся перед дворцом прокуратора Иудеи, кричала: «Распни Его!» - так повествует Евангелие, - и что «кровь Его на нас и детях наших», и так далее, и что, дескать, вся дальнейшая история еврейства, его горестная судьба были следствием того, что этот народ не признал Христа и даже запятнал себя его убийством. Сами виноваты! О том, что евангельский рассказ исторически неправдоподобен, что невозможно представить себе, чтобы римский наместник советовался с толпой, как ему поступить, наконец, о сомнительности самой этой фразы насчёт «нас и наших детей» - ни слова.

А главное, ни тени сознания того, что вся эта дискуссия - распяли, не распяли - после Освенцима должна быть закрыта, вся эта «тематика» должна быть выкинута на свалку.

При исследовании останков последнего российского императора и его семьи православной церковью был «поставлен вопрос», не имело ли место ритуальное убийство. Тем, кто дал ответ на этот вопрос (слава Богу, отрицательный), как и тем, кто его задал, не пришло в голову, что сам вопрос постыден.

Если *такое* христианство забыло о том, что произошло на глазах у ныне живущего поколения, если это христианство не хочет ничего знать о печах Освенцима, если оно думает, что может остаться прежним христианством - как будто в мире ничего не случилось, - значит, оно в самом деле мертво. Значит, оно убито вместе с жертвами в тех же самых камерах и печах.

Дорогая. Я чувствую, что вы готовы прервать меня. Освенцим, Голокауст... Но ведь это же было *там*, это были немцы, нацисты, пусть их дети и внуки сводят счёты с прошлым; а нам тут хватает своих проблем. И, в конце концов, почему мы обязаны вечно заниматься евреями?

Возможно, вы нашли бы другие выражения, но ведь именно так вы подумали, не правда ли?

Я не знаю, что вам отвстить, такая аргументация ставит меня в тупик.

Видите ли, мне всё кажется, что тот, кто думает: не наше дело и не наша забота - попросту не хочет понять, о чём идёт речь. К несчастью, именно так обстоит дело в России. Сведения о Катастрофе слишком поздно проникли в Советский Союз, слишком скудно освещались в стране, где государственная цензура и народное предубеждение систематически отсекали всё, что касалось евреев; самое слово «еврей», как вы помните, было почти нецензурным. В результате (но не только поэтому) Освенцим отсутствует в сознании интеллигенции, не говоря уже о простом народе. Освенцим отсутствует в сознании церкви, притязающей на роль духовного наставника общества, но никогда не протестовавшей против эксцессов юдофобства. Освенцим отсутствует в сознании наших писателей, не исключая, увы, самого знаменитого, - если бы это было не так, он не решился бы петь хвалы национализму и национальным добродетелям, не был бы настолько наивен, чтобы уверять себя и других, что декларации «национального самосознания», каким оно выглядит в действительности, а не в розовых романтических мечтах, не имеют отношения к антисемитизму, не осмелился бы взять под защиту непристойные высказывания писателей-деревенщиков и т. п., не пытался бы прямо или косвенно внушать своим читателям, что евреи сами виноваты в том, что их преследуют, и постыдился делить поровну «взаимную вину» по известному принципу - полконя, полрябчика. Он был бы, по крайней мере, трезвей и осторожней, если бы помнил о том, что мы живём после Освенцима.

Да, мы живём после Освенцима, и дым печей спустя полвека вызывает у нас приступы удушья: мы - астматики Освенцима. Мы его вольноотпущенники, нам удалось ускользнуть от газовых камер, мы остались в живых. Но мы не освободились от Освенцима и, надо думать, никогда не освободимся, и с этим ничего нельзя поделать, разве только помнить о том, что многое, очень многое должно быть, по меньшей мере, пересмотрено, продумано заново, и что эта работа у нас на родине даже ещё и не начиналась. Нельзя, непозволительно после Освенцима вести благодушные разговоры о том, что, конечно, расизм вещь нехорошая, но ведь и Достоевский, и Розанов, и кто там ещё - были «не совсем неправы»; нельзя больше вести разговоры о Боге и о евреях, о России и о православии так, как они велись сто лет назад. Нельзя думать, что Освенцим - это проблема евреев, или проблема немцев, или ещё чья-нибудь, только не наша. Нельзя забывать, что антисемитизм - это *всечеловеческая школа зла*, и не зря многовековое обучение в этой школе завершилось газовыми камерами и печами. Дорогая, не сердитесь на меня, и - всего вам доброго.

ЛИГУРИЯ

Так получилось, что мне пришлось совершить эту поездку в самое жаркое время года; запомнилось сизое и сверкающее, как сталь, море, белая от зноя дорога, белая пыль, покрывшая сиденье автомобиля, меня и моего спутника. Тот, кому знакомо лигурийское побережье, знает, что можно ехать часами вдоль каменных стен, за которыми прячутся виллы, мимо отвесных скал и пологих склонов, поросших зеленовато-серым кустарником, мимо террас с виноградниками и никого не встретить. Шофёр нетвёрдо знал дорогу, мы достигли местности, называемой Cinque Terre (что, по-видимому, следует переводить «пять селений»), время от времени тормозили в каком-нибудь объятом летаргическим сном городке. Нигде не удавалось толком узнать, далеко ли осталось ехать. Я знал, что дорожные указатели могут увести в другую сторону, но и указателей не было. Стало ясно, что мы пронеслись мимо цели. Пришлось возвращаться. Подъехали к плотам. «Здесь?» - спросил шофёр, развернулся и укатил в клубах пыли.

Несколько лодок и моторный баркас с мачтой для паруса и флагом на корме, скрипя бортами, покачивались на воде. Поодаль в море кто-то в лодке удил рыбу. Мальчик подплыл и, видимо, с трудом мог понять мой ужасный итальянский язык. Я дал ему что-то, он подтянул штаны и поплёлся в деревню. Сидя в тени под навесом, я дремал, передо мной проплывали оранжевые круги, искры моря, белая от зноя дорога. Автомобиль остановился над обрывом, внизу брызги и пена прилива, водитель повернул ко мне лицо, искажённое ужасом. Водитель тряс меня за плечо с беззвучным криком. Лодочник, смуглый парень в плоской соломенной шляпе с лентой, держал ладонь у меня на плече. Я поднялся.

Где-то далеко за горизонтом лежал корсиканский берег, островок должен был находиться на середине пути. Под убаюкивающее постукиванье мотора, бесшумно рассекая изумрудную гладь, мы шли вперёд, в сверкающую даль моря, я поднял голову, провожатый величественно сидел на корме, прочь от нас уходил серебряный пенистый след, впереди - бесконечная тускло-блестящая пустыня. Я вопросительно взглянул на кормчего, хвостики ленты порхали на его шляпе, мне показалось, что он пожал плечами. Мои часы остановились. Мой итальянский подвёл меня, матрос решил, что я еду на Корсику. Я стал мысленно перебирать всех, кто снабдил меня сведениями об островке, и вспомнил, что никто не показал мне его на карте, - означало ли это, что острова не существовало? Что же ты раньше мне не сказал, пробормотал я по-русски. В ответ рулевой медленно, важно кивнул, не меняя курса. Сонливость снова одолела меня. Разлепив веки, я увидел, что горизонт прояснился: это была полоска земли.

Обнесённый стеной, остров медленно поворачивался, пока не показались ворота, сваи причала, мотор был выключен, судёнышко развер-

нулось и мягко стукнулось о мостки. Солнце палило с небес; не видно было никого кругом. Матрос протянул мне руку, я спрыгнул с кормы на пристань. Я рылся в портмоне. Он возразил, помогая себе знаками, что завтра вернётся за мной, тогда и расплатимся. Стук мотора затих вдали. Я подошёл к воротам. Наверху красовалось латинское изречение, и два ангела, знавшие лучшие времена, держали крест. Сбоку от входа висела мраморная табличка.

Стоя перед воротами, я разглядывал вывеску у ворот, выбрал самое длинное слово и составил из его букв десять коротких слов. По-прежнему никого не было. В отчаянии я озирался, наконец, вдалеке показались двое, человек и собака. Огромный чёрный пёс едва удостоил меня взглядом, моргая, сел на задние лапы и уставился на море. Мужик в войлочной шляпе, в рубище, с вытекшим глазом, похожий на пастуха или нищего, спросил, есть ли у меня permesso. Последовал разговор (подкрепляемый жестами) на смеси итальянского с вульгарной латынью - вероятно, так говорили в этих местах тысячу лет назад.

«Какое разрешение?»

«Обыкновенное».

«Нет, конечно», - сказал я.

«А ты кто такой будешь?»

Я попытался объяснить.

«Закрыто», - сказал одноглазый.

«Как это, закрыто?»

«А вот так. Никого не пускаем».

Возможно, подразумевался весь остров, а не только то, что находилось за воротами.

«Ну, хорошо, - сказал я и вытащил кошелёк, - надеюсь, мы сговоримся...»

«Чего ты мне суёшь».

Фраза на диалекте, которая за этим последовала, скорее всего, означала: вали откуда прибыл.

Некоторое время мы стояли друг против друга, признаюсь, у меня было сильное желание съездить ему по небритой физиономии. Он оглядел меня своим единственным оком и произнёс:

«Сиятельство отдыхает».

По-видимому, всё ещё продолжалась сиеста; день казался бесконечным.

Зверь нехотя поднялся и побрёл по каменистой тропе, мы следом. Обогнули стену, там оказался дом, каменный, по виду очень старый; низкая дверь без крыльца, тёмные оконца под буро-рыжей черепичной крышей и солнечными часами. Провожатый исчез. В прохладном сумраке я сидел за огромным дубовым столом, из-под которого выглядывала желтоглазая морда. Прошло сколько-то времени, наверху заскрипела дверь. Её сиятельство, осанистая, полнотелая старуха в чёрном шёлко-

вом одеянии до лодыжек, в крошечных домашних туфлях, держась за перила, другой рукой придерживая платье, сошла по лестнице. Я встал.

Я представлял себе её иначе. Я вообще не имел представления, кого я здесь встречу. Встречу ли кого-нибудь? Круглое моложавое лицо, какое бывает у очень старых и дородных женщин. Прямые белые волосы, усики над углами рта, двойной подбородок. Никаких украшений, кроме цепочки с медальоном на груди.

Пёс выбрался из-под стола, лизнул руку старой даме.

«Вот что значит хорошее воспитание».

Должно быть, мне следовало поцеловать ей руку.

«Он старше меня, - добавила она. - Если не ошибаюсь, ему за восемьдесят. Не правда ли, Чёрберо?..»

Хозяйка хлопнула в ладоши. Появился субъект в войлочной шляпе, мой знакомец.

«Я предполагаю, что наш гость проголодался», - сказала хозяйка по-французски.

Она коротко, вполголоса отдавала приказания одноглазому.

«Вы должны извинить его, за столько лет я так и не смогла научить его быть вежливым...»

«Мне говорили, что пропуск не нужен».

«Пропуск?»

Я объяснил, что от меня потребовали предъявить пропуск.

«Ах, эти формальности... Ничего не нужно. Вам, во всяком случае».

Должен ли я что-то уплатить, спросил я.

«Ах, оставьте. Я рада вашему прибытию».

Разве она меня знает?

Она развела руками: «Кто же вас не знает».

Я понял, что мне не следовало приезжать. Из вежливости я поинтересовался, часто ли... э?..

«Часто ли приезжают к нам? Да, туристы иногда; всё-таки есть на что поглядеть... Что касается посетителей вроде вас, то, как вам сказать... Могло быть и больше».

Она уставилась на меня, у неё были мертвенно-чёрные глаза без зрачков.

Мне стало как-то не по себе, я возразил:

«Прошу прощения, princesse*, я тоже в некотором роде турист».

Владелица острова подняла брови.

«В самом деле? Мне кажется, вы ошибаетесь. Что же вас привело сюда?»

«Вы только что сами сказали. Поглядеть».

«Так, так. Поглядеть, - сказала она, кивая. - Между прочим, здесь много ваших коллег. Я хочу сказать - которым, как и вам, только здесь и место...»

---

* Княгиня *(фр.)*.

В эту минуту из коридора выступило шествие.

Впереди шагал циклоп-мажордом, теперь он был в белом, в белых перчатках, на голове накрахмаленный колпак, из чего следовало, что он исполнял одновременно обязанности шеф-повара. Сразу же скажу, что он исполнял их отменно. На вытянутых руках шеф нёс на подносе овальное блюдо под серебряной крышкой. Следом за ним шёл худенький, бледный, очень красивый мальчик в опрятном чёрном костюмчике, в коротких штанишках и чёрных чулках, нёс второй поднос. За мальчиком двигался некто высокого роста, тощий, без всякого выражения на лице; я говорю - на лице, но у него и лица не было: так, что-то неясное. Этот персонаж катил перед собой столик-тележку.

Компания расставляла бокалы, тарелки с вензелями, соусники, раскладывала приборы и салфетки, в центре был водружён огромный, как баобаб, канделябр. С некоторым ошеломлением взирал я на пиршественный стол; хозяйка гостеприимно обвела трапезу пухлой рукой в кольцах.

«Надеюсь, вы отдадите должное... Наша кухня унаследовала секреты этрусков».

Спрашивается, какая может быть особенная кухня на островке величиной с воробьиный нос. И при чём тут этруски? Я поблагодарил, для начала выпили по рюмке чего-то зелёного и жгучего. Была предложена лёгкая закуска: пикантный пирог, омлет с трюфелями и торт из овощей. После чего домоправитель разлил по бокалам вино цвета грозового заката. Поднял серебряную крышку.

«*Coniglio arrasto alla ligure!*» Это был жареный кролик по-лигурийски. Мы подняли бокалы.

«Поздравляю с прибытием».

В своём углу доберман по имени Черберо, которому повязали вокруг шеи белый фартук, с увлечением хлебал что-то из глиняной миски.

«Ну как?» - несколько свысока осведомилась хозяйка.

Я объявил, что давно уже не ел такого вкусного coniglio по-лигурийски.

«А вы уверены, что вам вообще когда-нибудь приходилось пробовать это блюдо?»

Мальчик бегал вокруг стола, убирал тарелки, ставил чистые. Явилось вино цвета северного сияния.

«Вы, конечно, думали, что никто здесь не интересуется литературой. С одной стороны, вы правы...»

«*Abbachio alla romana!*» (Римский молочный барашек под соусом.)

Человек с лицом без лица, занявший пост перед аркой, зычным голосом объявлял перемены, обращаясь скорее к кому-то в коридоре, чем к сидящим за столом.

«Сильвио, не так громко... - попросила госпожа. - Да, вы правы. Для быдла, которое именует себя цивилизованным обществом, больше не существует ни Вергилия, ни Данте, ни Шекспира. Для него и вы не су-

ществуете... Ничего не поделаешь. Нужно выбирать: или демократия - или культура».

«*Cima alla genovese!*» (Фаршированный ягнёнок по-генуэзски.)

Вспомнилось, что я с утра ничего не ел. Утро казалось очень далёким. Проглотив первый кусок, я счёл уместным заявить, что давно не отведывал такого чудного молочного барашка и такого восхитительного фаршированного ягнёнка.

Старуха вытерла увядший рот салфеткой.

«Не могу утверждать, что чтение ваших произведений доставило мне безусловное удовольствие. Но, - она подняла палец, - возбудило интерес. А это уже кое-что значит, не так ли? Давайте поговорим о вас».

«Обо мне?»

«Боже мой, о ком же ещё. Мне известна ваша биография... в общих чертах».

«*Saltimbocca alla romana!*» - вскричал сухопарый герольд. (Рулет поримски с ветчиной и шалфеем.)

«О! - сказал я. - Обожаю рулет».

«Подытожим в двух словах... Мне известно, что вам не было пятнадцати лет, когда вы сбежали от домашних. Вас нашли в южном городе, в гавани, где вы пытались уговорить какого-то капитана дальнего плавания помочь вам бежать за границу. Он оказался порядочным человеком... Верно?»

С полным ртом я кивнул, не имея возможности что-либо сказать.

«Через год вы снова ушли от родителей. На этот раз окончательно... Путешествовали с геолого-разведочными партиями - род легального бродяжничества в вашей стране. Далее, я достаточно осведомлена о вашей неописуемой сексуальной жизни. За то, что вы были неразборчивы, вам, простите за откровенность, приходилось расплачиваться, и не раз. Сколько у вас было женщин?»

«Я не считал».

«Напрасно. Ваш соотечественник Пушкин составил свой донжуанский список. Там были знатные дамы и крестьянские девушки».

Я пробормотал:

«*Друзья! не всё ль одно и то же: забыться праздною душой в блестящей зале, в модной ложе или в кибитке кочевой?*»

«Что это?»

«Пушкин».

«И о чём же он говорит?»

«Он говорит, что когда дело доходит до дела, все женщины одинаковы».

«Ваш великий поэт - циник. А votre santé...*».

«*Arrosto di vitello al latto!*» (Обжаренная телятина в молоке.)

Внесли нечто, источавшее упоительный аромат. Разлили коралловое вино. В своём углу Черберо аппетитно хрустел чем-то твёрдым.

---

* Ваше здоровье *(фр.)*.

«Так как вы писали стихи, не будучи официальным поэтом, следовательно, не имея соответствующего разрешения, вас сослали, может быть, вы напомните мне - куда. Полагаю, что вам следовало бы поклониться тирану в ножки, ведь благодаря ему вы сделались знаменитостью... Кончилось тем, что вас заставили покинуть родину. Вы были счастливы. Вы были безутешны. Вы давали интервью направо и налево. Помнится, на вопрос, что такое отечество, вы ответили: место, где вы не будете похоронены. Надо признать - как в воду глядели... А когда кто-то пожелал узнать, как вы чувствуете себя за границей, вы сказали: чужбина не стала родиной, зато родина стала чужбиной. Позвольте вас спросить: где вы вычитали это изречение?»

С орудиями еды в обеих руках, я оглядывал стол, словно боец, отыскивая достойного противника.

«Оно принадлежит одному немцу-изгнаннику. Кто-то перевёл вам эти слова, вы ведь не знаете немецкого языка. Вы не знаете толком ни одного языка. Неудивительно: вы, милейший, никогда ничему не учились. Вы полагаете, что говорите со мной по-французски, но я единственный человек, который способен вынести ваше ужасное произношение... Само собой, вы не в состоянии были прочесть и эту латынь. Ту самую, над воротами... Ex omnibus bonis, quae homini natura tribuit, nullum melius esse tempestiva morte. Знаете ли вы, что она означает? "Из всех благ, какими природа одарила человека, нет лучшего, чем своевременная кончина"».

«Вот как? А я думал...»

«Плиний Старший, - сказала она. - Древние были не глупее нас. Не имеет значения, что вы думали».

Я крякнул от удовольствия, телятина была роскошной - перезрелая дева, наконец-то дождавшаяся брачной ночи.

«Спросите себя: кто вы такой? У вас не только нет родины, в сущности, у вас не было и родителей. Вы облысели, ваше лицо приобрело пергаментную гладкость, подозреваю, что и с вашей легендарной мужской мощью давно уже не всё в порядке... Жизнь-то прожита - чего ждать? Скажу больше: жизнь изжита. Лучшее из написанного вами позади. Вы перешли на прозу - по общему мнению, она не выдерживает сравнения с вашей поэзией. Вы презираете критиков - теперь они отвечают вам тем же. Бульварная пресса уже не интересуется вашими похождениями, вас перестали осаждать корреспонденты. Вы и сами не перечитываете свои сочинения, потому что боитесь собственного суда. Этот суд беспощаден. Встаёт вопрос о долговечности ваших писаний. Спросите самого себя - разве всего этого недостаточно?»

Выслушав эту галиматью, я расхохотался.

«Недостаточно для чего? Для того, чтобы приехать к тебе в гости?»

Она не обратила внимания на моё «ты».

«Для того, чтобы просить у меня убежища», - сказала она строго.

«У меня впечатление...»

«Сначала проглотите еду».

«У меня впечатление, что ты меня ждала».

«Pourquoi pas?* Что ещё остаётся делать человеку в вашем положении?»

«Много ты понимаешь, - пробормотал я, - тебе сто лет...»

«Вы забыли, что разговариваете с дамой».

«Ну, пусть девяносто... Что мне ещё остаётся, ха-ха. Это у тебя ничего не осталось! Это ты забыла, - сказал я, потрясая вилкой, - да, забыла, что такое жизнь. Сидишь здесь со своим кобелём... Жизнь - это нечто необъятное, невероятное, неописуемое. Моя жизнь!»

Даже удивительно: с чего я так разошёлся?

«*Crostini di cavolo nero! Sauté di vongole!*» (Поджаренные хлебцы. Печёные венерины ракушки под лимонным соусом.)

«О да. Ещё бы. Известность, слава. Кажется, вы даже отхватили, простите за вульгарное выражение и простите мою забывчивость: как называется ваша премия? Впрочем, где она. Вы всё раздали жадным друзьям и случайным собутыльникам».

«*Tortelli di patate!*»

«Пельмени с картошкой!» - вскричал я. И вновь почувствовал зверский аппетит.

«Но, Боже мой, разве так уж трудно понять, какова цена всему этому...»

«*Cinghiale in salmi!*» (Рагу из дикого кабанчика.)

«Нет, это просто удивительно. Я как будто вас уговариваю. А между тем мы не дошли ещё до самого главного...»

«Должен сказать, что я давно уже...»

«Не пробовали такого рагу из кабанчика?» - съязвила она.

«Вот именно, ma princesse».

«Можете звать меня: ma chère».

«Вот именно, дорогая!»

Шеф, с которого ручьями лился пот, сорвав с головы колпак, утирал лицо и затылок. Мальчик стоял, тяжело дыша от беготни. Человек без лица покачивался, как под ветром, хрипло возглашал названия яств. Тьма упала, как это бывает на юге, внезапно. На столе пылал канделябр. Внесли фазана. Внесли утку под пеласгийским соусом и фаршированные сардины из Сицилии. Подъехали на тележке пироги, торты и кексы. Огни свечей двоились. Полное лицо хозяйки всходило и растекалось, как опара, - несомненное следствие съеденного и выпитого мною. Нашему вниманию было предложено вино цвета вечернего моря. Это о ней, сказала старая синьора, о морской глади, залитой заходящим солнцем, как скатерть вином, говорит Гомер: *ойнопс*, винноликая.

Пёс в замаранном нагруднике, протянув лапы, густо храпел на полу возле кастрюли с недоеденным супом из бычьих яиц и хвостов.

---

* Возможно *(фр.)*.

Моя хлебосольная хозяйка деликатно осведомилась, не испытываю ли я потребности освободить желудок. Знаем, как же, проворчал я. Метод, к которому прибегали римляне. Пощекотать пёрышком нёбо, и поехало. А после продолжать пир. Но жалко, чёрт возьми.

Она отставила бокал. Я почувствовал на себе её чёрный непроницаемый взгляд.

«Я знаю, - сказала она, - о чём ты думаешь. (Наконец, и она перешла на "ты".) Ты думаешь: будь она на шестьдесят лет моложе, уж я бы её не пропустил... У тебя грязное воображение. Признайся, я тебе нравлюсь!»

Я идиотски осклабился.

«Что же ты медлишь?»

Я сделал вид, что хочу подняться, это в самом деле было непросто.

«Сиди... - она презрительно махнула рукой. - Не о том речь».

Явились сыры, фрукты и кувшины с мальвазией.

«Ты сказала, мы не дошли до главного... Что же главное?»

«Главное... Главное - вопрос о смысле. Высший смысл - это бессмыслица. Высший ответ... Ты разглагольствовал о том, что пожертвовал родиной ради литературы... Тебе не приходила в голову простая мысль, для чего ты пишешь? Для кого... Посмотри вокруг».

Я обернулся. Под сводами было темно.

«Цивилизация переродилась. Плебс объелся хлебом и зрелищами. Литература ему не нужна».

Свечи уменьшились на две трети, воск капал на скатерть. Мы лениво лакомились миндальным тортом, фрустингольским пирогом с финиками, миланской шарлоткой, занялись засахаренными потрохами сабинского единорога и запивали их граппой, бенедиктином и густым смолистым вином цвета звёздной ночи.

«Есть много всяких теорий, и медицинских, и каких угодно. Всё это не основание. Всё это только повод. Поводы всегда найдутся. Причина, подлинная, глубокая причина, всегда одна. Открытие, которое делают рано или поздно, которое, без сомнения, сделал и ты, pardon: вы... Даже если вы не отдавали себе в этом отчёта... Ну, ну, не делайте вид, будто вы не понимаете, о чём речь».

«Какое же открытие?» - спросил я, осушил бокал и, пожалуй, чересчур твёрдо поставил его на стол. Из мрака выскочил мальчик и вновь наполнил чашу.

«Будто вы не знаете».

Я пожал плечами.

«Будто вы не догадываетесь. Великое чувство пустоты. Вот что это такое».

И, отколупнув крышечку медальона, она показала мне. Я взглянул - там что-то лежало. Там ничего не было.

«И вот...» - продолжала хозяйка, устремив, словно в трансе, чёрно-слепой взор поверх стола, поверх безбрежной жизни, гнусной действительности.

«И вот человек начинает вести себя по-особому. Чувствовать себя по-особому. Всё, что он видит вокруг, становится знаком и приглашением. Он часами стоит на Бруклинском мосту. Взбирается на смотровую площадку Эйфелевой башни, чтобы, склонившись над барьером, вперяться в пропасть, на дне которой бродят крошечные люди и стоят игрушечные автомобили... Он коллекционирует снотворные таблетки. Садится в машину и несётся к месту, где достаточно слегка повернуть руль, и врежешься в скалу. Пробует прочность верёвки, привязав её к крюку, на котором висит люстра в номере деревенской гостиницы, и редактирует текст, который должен остаться на столе. Он необыкновенно спокоен, как никогда не был спокоен и умиротворён в своей безалаберной жизни. Ибо он знает: его ждёт освобождение...»

У меня не было ни малейшей охоты поддерживать эту тему. Время было позднее; слуги деликатно удалились; на всякий случай я осведомился о ночлеге.

«Разумеется, что за вопрос. Чувствуйте себя как дома. В сущности, у вас нет никакого дома, ведь правда?»

«Завтра за мной приедут».

«Если приедут».

Я пропустил эти слова мимо ушей.

Наступило молчание. Старая дама вздохнула, хлопнула в ладоши. Одноглазый домоправитель предстал, явившись ниоткуда.

Она показала глазами в угол, слуга растолкал пса. Черберо поднялся, шатаясь, приковылял к хозяйке.

«Ключ», - сказала она кратко.

Зверь зацокал когтями по каменному полу и скрылся под тёмной аркой коридора. Немного погодя он показался наверху, в нерешительности стоя на площадке.

«Ничего, ничего, - проговорила она. - Coraggio...*, тебе полезно».

Черберо сполз кое-как с лестницы и остановился передо мной, держа в зубах длинный заржавленный ключ.

Княгиня сказала:

«Вы, кажется, хотели, э... осмотреть... Я встаю поздно. Выберите время сами».

Ключ хлябал в замочной скважине. Со скрежетом разошлись створы ворот. Я вступил на заповедную территорию, мучительно зевая от недосыпа. Голова трещала, у меня было странное чувство, что я - не совсем я, и даже вовсе не я, но кто-то, меня изображающий, - очевидное следствие перепоя. Было бы недурно опохмелиться, да уж где там - я рассчитывал быстро покончить с осмотром и отвалить, не прощаясь. Налево от входа стояло приземистое каменное строение без окон, снаружи к стене прислонены мётлы, лопаты, перевёрнутая тачка, тут же было устроено что-то вроде очага из обгорелых кирпичей с остатками мусора.

---

* Смелее *(ит.)*.

Было раннее утро. Лохматый огненный шар сверкал между кипарисами. Слышался неумолчный плеск моря. Вздохнув, я (или тот, кто был мною) двинулся по аллее, более или менее расчищенной, усыпанной толчёным кирпичом. Видно было, однако, что место мало посещается; серые плоские камни потерялись в густой, жёсткой и высохшей от зноя траве, кое-где торчали убогие памятники, дорожки к ним заросли. Старая карга назвала меня неучем. Но кое-что - кое-кого - я всё-таки знаю. Тот, кто отважился ступить в гущу чертополоха, продраться сквозь заросли остролиста и растения, похожего на крапиву, мог обнаружить немало знаменитостей.

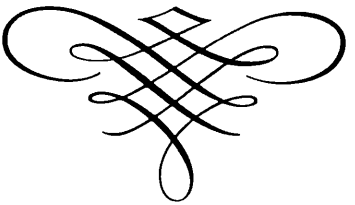
Так, например, мне посчастливилось сразу же натолкнуться на поэтессу, которую я больше чту, чем люблю: я говорю о несчастной, удавившейся Марине. *Идёшь, на меня похожий, глаза устремляя вниз...* Посетитель выбрался, весь облепленный колючками; аллея, сужаясь и постепенно теряя цивилизованный вид, упёрлась в стену, одетую диким плющом. Мне захотелось узнать, что там снаружи, я подтащил то, что подвернулось под руку, вскарабкался и увидал зелёную морскую тину у самого подножья стены. Остров был в самом деле крохотный, бесполезно искать на карте. Когда-нибудь море поглотит его.

Я пробирался вдоль стены, сперва попадались одни женщины. Наткнулся на полустёртый профиль, это была Вирджиния Вульф. Говорят, она набила карманы пальто камнями перед тем, как броситься в поток.

Со смутным, хаотическим чувством, словно меня коснулся разор её души, я уставился на причудливый, похожий на окаменелый гриб памятник Ингеборг Бахман. Человек, с которым она провела последние годы, знаменитый швейцарец, довольно противный тип, - я сидел с ним рядом на каком-то банкете, - уверял меня, что это был несчастный случай, она заснула с сигаретой и сгорела во сне. Но теперь-то я знал... Джек Лондон будто бы отравился полусырым мясом. Хемингуэй чистил охотничье ружьё... Все оказались здесь.

Азарт, похожий на азарт кладоискателя. Томительное любопытство... Отыскался замшелый валун с именем Сергея Есенина. Найти другого соотечественника, того, кто оставил на столе стихи о любовной лодке, мне не удалось. Между тем солнце поднялось уже довольно высоко; по привычке я взглянул на часы. Они стояли.

Клейст был виден издалека. Он был офицером и стрелял без промаха. Я предполагал, что найду рядом ту, которую он избавил от жизни, прежде чем прицелиться в собственное сердце, её не оказалось. Я постоял возле Пауля Целана, выловленного из Сены. Стела уже покосилась. Пора было отправляться в путь; мне казалось, я слышу стук приближающегося баркаса. Я был без сил и снова видел перед собой белую дорогу, сверкающую гладь Генуэзского залива, снова высаживаюсь на острове самоубийц. Шатаясь, путешественник приблизился к выходу, но, не дойдя до ворот, опустился на траву перед нагретым, грубо стёсанным камнем и прочёл на нём своё имя.



Эйтан Финкельштейн

ЛИТОВСКИЕ ЛАБИРИНТЫ

ЛАБИРИНТ ПЕРВЫЙ

Папа сказал: «Сегодня я наконец-то раскусил этого Левитаса. Всегда подозревал в нем негодяя, но уж очень ловко он маскировался. А тут выдал себя с головой. Аферист! Теперь верю всему, что о нем говорят. И место посла купил, и с Советами подозрительные дела ведет. Всему верю!»

Мама сказала: «Ты что, проиграл ему? Сколько просадил?»

Папа сказал: «Нисколько, даже выиграл немного. Но этот пройдоха старался проиграть не мне, а Кайрису. Из кожи вон лез. А нашему пинкертону карта не идет и не идет. Левитас краснел, бледнел, ёрзал на стуле, однако ж Кайрис все равно проиграл - не получил на этот раз взятки...»

Мама сказала: «Я понимаю, почему Левитасу все завидуют. Но ты-то за что на него ополчился? Ну, разбогател человек - на здоровье! А что послом стал за деньги - ерунда, не верю. Ну зачем ему тысячи выбрасывать, а потом еще посольство на свой счет содержать? Он и без того может жить в Париже как король».

Папа сказал: «Он для того тысячи выбрасывает, чтобы потом миллионы делать».

Мама сказала: «Ну конечно, уж ты-то лучше всех знаешь, как делаются деньги! Ты хоть один лит в своей жизни сделал?»

Папа сказал: «Я честно зарабатываю, и ты с детьми как будто не голодаешь».

Мама ничего не сказала.

У них всегда так: говорят, словно бранятся. Так я их и запомнил - вечно в перепалке.

Впрочем, разговор не о том.

В январе мне исполнилось тринадцать. Я вытянулся, повзрослел, болеть стал все реже, а баскетбольную площадку посещать все чаще.

Папа сказал: «Хватит парню проводить лето с бабушкой на даче, пора отправить его в летний лагерь, пусть общается со сверстниками!» Он, конечно же, предложил послать меня в лагерь «Бейтара». Потому что дружил с Жаботинским и состоял с ним в переписке.

Мама сказала: «Чтобы мой сын ходил в черной рубашке и маршировал с этими фашистами? Только через мой труп! Уж лучше его отправить в "Гапоэль", там, по крайней мере, приучают детей к труду».

Папа сказал: «Чтобы моему сыну вдалбливали в голову всякую социалистическую чушь? Только через мой труп!»

Мама ничего не сказала.

Неожиданно появилась статья министра просвещения, который писал, что «наша молодежь - те, кому предстоит с оружием в руках защищать родину, разобщена, воспитывается в духе различных партийных идеологий, и, если дело так пойдет дальше, идеи единства и целостности Литвы станут ей чужды». Президент, заключал министр, этим обстоятельством недоволен и требует принять меры.

Меры приняли, в Паланге, в особняке, когда-то принадлежавшем польскому вельможе, организовали летний лагерь «Науёйи Летува» - «Новая Литва». В лагерь принимали всех: евреев, поляков, русских и, само собой, литовцев. Более того, крупным чиновникам дали понять: Президент рассчитывает, что они отправят своих детей именно в этот лагерь.

Я попал в один отряд с Лазиком Левитасом, сыном того самого Левитаса, нашего посла во Франции, которого папа не любил и называл пройдохой. Бледный, рыхлый, с бесцветными глазами-пуговками, Лазик показался мне флегматичным и неповоротливым. На самом деле он был энергичным и деловым. Он постоянно куда-то исчезал, что-то узнавал, а разузнав, тут же прибегал в отряд и с видом заговорщика, проникшего в тайны мадридского двора, шептался то с одним мальчиком, то с другим. В первый же день Лазик обошел все этажи, познакомился со всеми начальниками отрядов, разведал, кто из них строгий, а кто - тряпка, подслушал, когда будет обход интенданта. И, конечно же, познакомился с нашей кухаркой - тетей Басей и выведал у нее, что на обед будет жареная печенка с гречневой кашей!

На второй день Лазик уже верховодил в отряде. Правда, старшим назначили не его, а Жорика Чесну. Жорик, первый по росту, был смуглый, прогонистый, говорил медленно, держался с достоинством и оттого походил на офицера. Во всяком случае, когда он на линейке докладывал интенданту, мне казалось, что все мы участники парада у президентского дворца, причем Жорик - командующий, а интендант - Президент, который вот-вот начнет обходить строй и выговаривать солдатам за то, что шинели у них разной длины. Так оно и было: интендант обходил строй, проверял, достаточно ли чисты наши воротнички и правильно ли повязаны галстуки. Он непременно делал кому-то замечания, но Жориком всегда оставался доволен.

Между тем Лазик вовсе не огорчился, что не его, а Чесну назначили

старшим. По всей видимости, он считал Жорика равным себе - в конце концов отец Чесны был третьим богачом после Шварцаса и Левитаса. Но главное, мне показалось, что роль серого кардинала устраивала Лазика больше, чем должность старшего по отряду. Старший должен был отвечать за всё и за всех, Лазика интересовали только избранные.

Само собой, в его круг сразу попали Йозас Чапас и Викторас Августинас. Йозас был племянником министра финансов, воспитывался в семье дяди, ездил с ним в Лондон и даже в Америку. Как и положено члену семьи министра, он был немногословен, но если говорил, то каждый раз начинал со слов: «Наша маленькая Литва не может...». Между тем Йозас всегда носил под мышкой какой-нибудь английский роман и, когда ему не надо было защищать интересы Литвы, тут же открывал книгу: чтение было его любимым занятием.

Августинас - полная противоположность Чапасу. Его отец держал немецкую аптеку, часто ездил в Штутгарт и брал с собой Викторасa. Писаный красавец, он постоянно улыбался, говорил много, обо всем, но более всего любил рассказывать смешные истории о пышногрудых немецких девицах. Увлекшись, он переходил на немецкий, но потом спохватывался и с видимым неудовольствием возвращался к литовскому.

Павлик Рабиновичюс чувствовал себя в интернациональном отряде неуверенно. Обычно он проводил летние каникулы в лагере «Бейтара», свободно научился по-древнееврейски, но из других языков сносно говорил только по-польски. О его отце рассказывали, будто в молодости он был очень набожным, учился в йешиве где-то под Варшавой, но потом удачно женился, унаследовал состояние тестя, сбрил бороду, снял ермолку и стал заниматься гешефтами. Разбогатев, Рабиновичюс-старший сошелся с сионистами, купил плантацию в Палестине, но потом в сионизме разочаровался и сделался большим литовским патриотом.

Павлика не интересовали ни Палестина, ни Литва, ни отцовские гешефты. Он увлекался техникой, мечтал стать инженером и все время приставал к Августинасу с расспросами о Штутгарте. Но не потому, что там «на каждом углу расхаживают белокурые брунгильды», а потому, что в Штутгарте находился завод «Мерседес». Павлик знал все автомобили наперечет, умел водить и «бьюик», и «опель», и «форд», но все время повторял: «Автомобиль - это "мерседес", а все остальные...»

Я отлично понимал, зачем Лазику нужен Жорик, с которым он говорил на изысканном литовском, зачем ему нужен Йозас, с которым он говорил по-английски, и зачем ему нужен Виктор, с которым он говорил по-немецки. Но зачем ему нужен был Саввик, я вначале не понял. Вообще Саввик попал в лагерь случайно - его отец служил где-то сторожем, и поговаривали, что Саввика приняли бесплатно, так как по уставу лагеря «все литовские дети - равны, среди них не должно быть богатых и бедных». Родом Саввик был из какого-то местечка, но в последние годы жил с родителями в Паланге. Учился он плохо, ни на одном языке прилично изъясняться не мог, зато всегда готов был услужить.

Мгновенно сообразив, кто в отряде главный, он начал крутиться вокруг Лазика, с готовностью выполнял его поручения и, как все догадывались, докладывал ему, что видел и слышал. Лазик вознаграждал Саввика тем, что иногда приглашал в компанию избранных. Впрочем, избранные смотрели на Саввика свысока, а Виктор его откровенно презирал, за глаза называл «лакеем».

Оно и верно, маленький, неуклюжий, Саввик смотрел на собеседника снизу вверх, как бы спрашивая: «Чего изволите?» Но смотрел он так не на всех, а только на избранных. Когда же говорил с неизбранными, спина его разгибалась, на лице появлялась кривая усмешка, через круглые очки поблескивали злые огоньки.

На меня Саввик смотрел по-разному, но всегда с недоумением. Я понимал почему - определиться со мной не мог и сам Лазик.

На первый взгляд мы с Лазиком были равны. Наши отцы состояли в английском клубе, где частенько сиживали за одним карточным столом. Кроме того, они встречались на приемах в посольствах и у высших лиц государства. Главное же - оба были вхожи к Президенту. Отец Лазика в качестве крупного финансиста и дипломата, мой - на правах соученика и бывшего коллеги: папа учился с Президентом в Петербургском университете и не прерывал с ним знакомства, даже когда тот подвергся гонениям как литовский сепаратист.

На этом сходство кончалось, начинались различия. Во-первых, мой отец не был богат. Своего дома у нас не было, и даже большая и удобная квартира, в которой мы жили, была съемной. Правда, у бабушки был дом на Горке, правда, про мою мать судачили, что она из семейства барона Гинцбурга и ее братья сумели переправить капитал в Париж еще до революции. Но дом на Горке был маленьким и ветхим, мама же Гинцбургам приходилась десятой водой на киселе, никаких братьев в Париже у нее не было, а капитала - тем более.

Впрочем, разделяло нас с Лазиком не только имущественное положение. Отец Лазика состоял в патриотах, жертвовал деньги на президентскую партию, а за рубежом уверял всех и каждого, что Президент - истинный отец нации, который заботится обо всех гражданах Литвы, в том числе и о нас, евреях.

Репутация моего отца была скверной. Многие считали его сумасбродом, способным на экстравагантные и даже опасные выходки. И верно, папа прилюдно обращался к Президенту на русский манер по имени-отчеству, говорил ему дерзости - сам он называл это «правда в глаза», а главное, защищал в судах разных отщепенцев, в том числе и коммунистов. Последнее рассматривалось как вызов, после которого перед моими родителями закрывались двери многих домов. И только когда отец вновь появлялся в президентском дворце, родителей снова начинали принимать в обществе.

В общем, Лазик долго не мог сообразить, как же ему вести себя со мной. Он то строил из себя вольнодумца, читая мне по-русски Балтрушайтиса, то демонстративно не замечал меня, а то и вовсе пускался в

рассуждения о «троянском коне в литовском обществе», которые надо было понимать как выпад в адрес моего отца. В конце концов, Лазик усвоил манеру на людях подчеркнуто от меня дистанцироваться, но наедине вел себя как обыкновенный мальчик из еврейской семьи.

Наедине же мы с ним оказывались, когда ходили навещать наших сестер в пансионат для девочек, что расположился в здании женской школы, довольно далеко от моря. По дороге Лазик рассказывал смешные истории или еврейские анекдоты, а однажды, когда наша баскетбольная команда - я был капитаном - с разгромным счетом проиграла третьему отряду, Лазик неожиданно сказал: «Не огорчайся, старик, в конце концов, баскетбол - гойская игра». Я конечно огорчался, но... разговор не о том.

Жанна, сестра Лазика, была на год младше брата и ничем на него не походила. Высокая, с удивительно тонкой талией и огромной копной вьющихся рыжих волос, она так приветливо мне улыбнулась, так элегантно протянула руку, что я чуть было её не поцеловал. Целовать руку девочкам считалось неприличным, я сдержался, но тут же в нее влюбился.

Мне везло - не успевали мы появиться в пансионате, как Лазик исчезал, оставляя меня наедине с сестрой. Правда, в первый момент я терялся, краснел и, смущаясь, предлагал почитать стихи. Жанна вела себя непринужденно, была приветлива, улыбчива и делала вид, что не замечает моей неловкости.

- Стихи, конечно - стихи! Сейчас я возьму дневник, вы будете читать и записывать. У меня не получается по-русски.

Я читал ей Бальмонта или Фруга, потом каллиграфическим почерком записывал в дневник, не забывая сопроводить посвящением вроде: «Очаровательной Жанне Левитайте в память о розовом закате июня 1939 года». «Браво!» - Жанна хлопала в ладоши, мы шли пить кофе и говорили, говорили, говорили. Я рассказывал ей разные истории из жизни известных писателей и поэтов, которые где-то вычитал или слышал от родителей, Жанна - о своих подругах по парижскому лицею, который посещала уже третью зиму.

Посреди разговора Жанна спохватывалась.

- Послушайте, а не пора ли нам разыскать Илону? Станет неприлично - вы уже здесь почти час...

Разыскать мою сестру труда не составляло. Зеленоглазая блондинка, общительная и веселая, она всегда была в центре внимания, в окружении подруг и поклонников всех возрастов и национальностей. Тот факт, что у нее уже был постоянный ухажер, ничего не менял. Короче, искать Илону нужно было там, откуда раздавался заразительный смех, где все говорили громко и наперебой.

Само собой, Илоне было не до меня. После обязательного поцелуя в щёчку и дежурного вопроса: «Ты родителям написал?» - я был свободен и отправлялся с Жанной в овальную беседку в саду, чтобы продолжить наши разговоры.

За пять минут до шести - в шесть мы обязаны были покинуть лагерь

- являлся запыхавшийся Лазик, вытирал вспотевший лоб большим шелковым платком, чмокал Жанну, и мы бежали к выходу.

На обратном пути Лазик без умолку рассказывал, с кем познакомился, что разведал, в какие тайны проник. Имен новых знакомых он не называл: «дочь директора гимназии», «племянница начальника пожарной охраны», «сестра такого-то...» Да и речь у него чаще всего шла о подробностях чьей-то семейной жизни или о слухах из области политики или коммерции. Последние Лазик обожал, пересказывал с упоением и тут же начинал фантазировать: «Крошасу кредит дали, а Рафайловичюсу - отказали. Теперь соображай, Крошас поставляет обувь для армии, а Рафайловичюс отправляет в Польшу бекон. Давай спорить, с Польшей скоро будет война!»

В один из очередных визитов к сестрам Жанны в пансионате не оказалось - к ней приехала подруга, и девушек отпустили в город. Лазик ничуть не огорчился и тут же исчез. Мне же не оставалось ничего иного, как перечитать извинительную записку и отправиться на поиски сестры. Ориентируясь на шум и громкий смех, я ходил по коридорам, переходил с этажа на этаж - сестры нигде не было. В конце концов, я нашел ее в библиотечном фойе. Держа раскрытую книгу, она беседовала с какой-то девушкой, которую раньше в окружении сестры я не встречал.

Увидя меня, Илона улыбнулась, подставила щеку для поцелуя, но вместо того чтобы задать дежурный вопрос, представила меня собеседнице.

- Познакомься, Альма. Это мой брат. Он наизусть знает Бальмонта и Надсона и сам пишет стихи по-русски.

- Надсона? Странно, - Альма протянула мне руку. - Я думала, что Надсоном увлекаются только влюбленные девушки. Возможно, я его плохо знаю. Но с удовольствием послушаю. Почитаете?

Альма на какое-то мгновение задержала мою руку в своей и слегка её пожала.

На первый взгляд новая знакомая сестры походила на ту самую девушку из богатой литовской семьи, которая непременно должна быть дорого одета, модно причесана и держала себя, словно Снежная королева. И верно, ослепительно белая шёлковая блузка, клетчатая английская юбка, изящные лакированные туфельки. Но! Блузка и юбка сидели на Альме безупречно, прическа удивительно шла ее лицу; ни бус, ни бантика, ни замысловатой гребенки - ничего, чем украшали свои наряды девушки-модницы, на ней не было. Самое же необычное: в ее позе не было и тени жеманства, в жестах - никакого кокетства, во взгляде - высокомерия. Альма не показалась мне красивой. В ней не было ничего от Жанны или Илоны, красота которых бросалась в глаза.

- Что вам прочесть?

- На ваше усмотрение, - Альма развела руками.

Я решил, что лучше всего начать с надсоновских «Грёз».

Читал я медленно, выразительно и время от времени поглядывал на девушек - понятно ли? Когда я закончил, Илона захлопала в ладоши. Альма же опустила глаза и задумчиво спросила:

- «Борцы поруганной свободы»? Вы думаете, это хорошо?

Горячо, на примере русской революции, я принялся объяснять, что такое поруганная свобода. Альма смотрела на меня с любопытством и, как мне показалось, с некоторой иронией.

- Что такое поруганная свобода, понятно и без разъяснений, но какие у нее могут быть «борцы»?

Я начал было объяснять, что такое поэтический образ, но Альма меня прервала.

- Почитайте что-нибудь еще.

Я прочел «Милый друг, я знаю...», мы заговорили о Надсоне, о свободе, о поэзии. Наконец, Илона поднялась и подставила щеку для прощального поцелуя.

Крепко, словно старый товарищ, Альма пожала мне руку.

- Спасибо, вы прекрасно читаете. И вообще - с вами интересно.

Я попрощался с девушками и направился в беседку поджидать Лазика.

По дороге домой рассказал ему о новом знакомстве. «Какая Альма? - удивился Лазик. - Она давно в пансионате?» - «Она не из пансионата. Она отдыхает с отцом и тетушкой в особняке где-то рядом. В лагерь ходит в библиотеку». - «В каком особняке? Уж не в двухэтажном ли с башенкой?» - «Возможно». - «Ты шутишь, это же дочь...» - Лазик назвал фамилию нашего министра иностранных дел.

Несколько дней я находился под впечатлением нового знакомства, пытался восстановить в памяти детали нашей беседы, особенно те моменты, когда Альма пожимала мне руку, улыбалась или опускала глаза. Получалось плохо, облик новой знакомой на мгновение вспыхивал перед глазами, но тут же куда-то исчезал, оставляя, словно наброски художника, очертания губ, прически и элегантной позы этой явно необычной девушки.

Неожиданно от нее пришло письмо. Я аккуратно вскрыл конверт и сразу же поразился её почерку. Мелкий-мелкий, он, тем не менее, был удивительно красив и разборчив. Никогда в жизни я больше не встречал такого почерка! Альма писала, что рада знакомству со мной, благодарила за приятно проведенное время, предлагала встретиться «в той же компании», чтобы почитать Мицкевича, которого «я ставлю выше других».

Разумеется, я тут же ответил согласием и в ожидании предстоящей встречи решил «отточить перо» - приставал ко всем в отряде с разговорами о Мицкевиче. Разговоры эти мало что дали. Чапас выразил «официальную» точку зрения, что, мол, Мицкявичюс принадлежит Литве, но был украден у нее поляками. Августинас заявил, что Мицкевич - типичный польский сноб и германофоб, а Лазик не без злорадства добавил, что «и русских Мицкявичюс тоже ненавидел».

Встреча не получилась - Альма вынуждена была срочно уехать из Паланги, чтобы сопровождать отца в заграничной поездке. Тем не менее, разговор о Мицкевиче состоялся в письмах, которые стали приходить от нее регулярно. Я - само собой - писал ей часто, подробно и с удовольствием. Правда, вскоре я заметил, что, запечатывая очередной

конверт, все чаще вынужден убеждать себя: нет, нет, я вовсе в нее не влюблен, мы - друзья. Только друзья. А как же иначе, у меня ведь уже есть возлюбленная. А изменять? Нет, нет, это не в моих правилах!

Август приближался к концу, до отъезда оставались считанные дни. Ссоры и перепалки в отряде прекратились, мы вдруг почувствовали, что провели вместе какой-то важный и интересный отрезок жизни. Мы подписывали друг другу фотографии, обменивались адресами и обещали непременно встретиться. На рождественские же каникулы договаривались собраться «в полном составе».

Вернувшись домой, я первым делом обошел квартиру, с трепетом первооткрывателя осмотрел все углы, погладил стол в своей комнате, перебрал особо любимые книги. Потом вышел на улицу и принялся глазеть на давно знакомые переулки, словно впервые их видел.

Не успел я заново обжиться в собственном доме, как сбылось предсказание Лазика: началась война с Польшей. Правда, сами мы не воевали, но вернули себе Вильнюс. Точнее, его нам вернули русские.

Папа сказал: «Это троянский конь. Вот увидишь, из него выскочат красноармейцы».

Мама сказала: «Ты хочешь, чтобы из него выскочили фашисты?»

Папа ничего не сказал.

Все радовались и поздравляли друг друга с возвращением древней столицы. В газетах печатали фотографии трех наших танков, которые въезжали на центральный проспект города, всюду писали, как подняли наш флаг на башне Гедиминаса, как въехал в новую столицу Президент.

За Президентом потянулись министры и чиновники. Началась переездная лихорадка - все только и спрашивали друг друга: «Вы едете? Когда?»

Папа сказал: «Ни за что не поеду, не желаю быть мародером».

Мама сказала: «При чем тут мародерство! Поляки уезжают по своей воле. Могут оставаться и ничего не продавать. Но если ты не купишь дом доктора Леса, его, так или иначе, кто-то купит за гроши. И вообще, это же твоя мечта - контора в собственном доме!»

Папа сказал: «Как мы сможем жить в доме, который достался нам потому, что коллега вынужден бежать? Как я буду сидеть за его столом, пользоваться его библиотекой? О таком я вовсе не мечтал».

Мама сказала: «Хорошо, оставайся. Только через год отсюда все уедут. Что ты будешь делать? С кем мы будем встречаться? С кем будут общаться дети?»

Папа сказал: «Может быть, все и не уедут. Увидим!»

Мама сказала: «Когда увидим, будет поздно!»

Я принялся обзванивать приятелей, будучи уверен, что все они пакуют чемоданы. И верно, Чапаса уже не было в городе, но, к моему удивлению, Виктор вовсе не собирался уезжать. «Куда спешить? Еще не ясно, как к этой истории отнесется Берлин. И вообще, очень уж там близко к русским».

Больше всего меня удивил Лазик. «Уезжать? Зачем? Чтоб купить дом по дешевке? Мы в этом не заинтересованы». - «Но твой отец на дипломатической службе, ему, наверное, положено жить в столице?» - «Подумаешь, на службе! Сегодня на одной службе, завтра - на другой. И вообще, кто знает, что будет завтра», - добавил Лазик тоном человек, которому наверняка известно, что будет и завтра, и послезавтра.

Ясно, Лазик - неисправимый фантазер.

Письма из Парижа приходили в красивых конвертах и пахли чудесными духами. Жанна подробно рассказывала о том, как проводит время, что читает, что играет на музыкальных занятиях, жаловалась, что редко видит родителей. Подробно описывала она и романы, которые заводили ее подруги. Романы эти были то грустные, то смешные, заканчивались то размолвкой, то помолвкой. Я же недоумевал: в Литве происходят важные события, а дочь нашего посла в Париже интересует, чем кончится роман ее подруги Люсиль с каким-то художником! Я возмущался, отбрасывал очередное письмо, но потом остывал и нехотя брался за ответ.

Зато письма от Альмы ждал с нетерпением, вскрывал - с трепетом и, если сказать правду, ответ обдумывал загодя. Между тем и Альма не касалась политики. Она писала о новых городах, об интересных встречах, а на мои вопросы чаще всего отвечала цитатами. «Вы рады, что столицу мы получили из рук Москвы, а не Берлина. Помните, что писал по этому поводу Мицкевич? "Германцы закуют в кандалы наши руки, а русские - наши души". Остерегайтесь, вы слишком доверчивы!»

Впервые после Паланги я встретил Альму в кафе у Капульского, куда меня по какому-то поводу взяла мама. Мы сидели с ней за столиком в углу, о чем-то разговаривали, когда две дамы - пожилая и молодая - отошли от буфетной стойки и направились к выходу. Неожиданно молодая дама посмотрела в мою сторону и приветливо улыбнулась. Вначале я не понял, что улыбка предназначалась именно мне, но вдруг меня осенило - это же Альма! Альма показалась мне выше, старше и красивее той девушки, которую я рисовал в своем воображении.

Продолжая улыбаться, Альма показала рукой, что будет звонить. Она действительно позвонила, но меня, увы, не оказалось дома. Альма долго говорила с Илоной, просила передать, что письма мои читает с удовольствием, обещала приехать на рождественские каникулы. Я ужасно расстроился, долго не мог найти себе места, и даже чтение не доставляло мне удовольствия.

Между тем папа решил переезжать. Он стал часто ездить в Вильнюс, вел там бесконечные переговоры, пока, наконец, не снял квартиру на улице Басанавичюс, в которую мы должны были въехать к Рождеству. Я уговаривал родителей оставить меня на каникулы в Каунасе, уверял, что толку от меня в устройстве на новом месте все равно не будет. Папа сердился, упрекал меня в эгоизме, но, в конце концов, согласился, чтобы я вместе с Илоной - она оставалась в Каунасе, чтобы закончить гимна-

зию, - переехал к бабушке на Горку. Третьего января нового, сорокового, года я обязался приехать к родителям в Вильнюс.

Как только вопрос был решен, я позвонил Лазику - предложил встретиться, обговорить подготовку к предстоящему рождественскому сборищу. Мы встретились в кафе-мороженое. Лазик был мрачен, ругал всех подряд, уверял, что «любимый гешефт наших патриотов продавать Литву оптом и в розницу», что «все заняты только собой и не хотят думать о будущем страны» и что «видеть он никого не хочет». Однако после третьей порции мороженого Лазик сменил гнев на милость, согласился с тем, что встретиться все-таки нужно: «Только не у меня. У меня это совершенно невозможно». Расстались мы на том, что будем созваниваться с Августинасом.

Предложение провести встречу в его доме Виктор встретил благосклонно, обещал переговорить с родителями, а через некоторое время позвонил и сказал: «Аллес гуте, мои согласны!»

Боже мой, что это были за рождественские каникулы 1940 года! Если я сегодня пытаюсь вспомнить что-то светлое и радостное из своей довоенной юности, перед глазами возникает тот фейерверк молодости, беззаботного веселья, фантастических надежд и моря, моря любви. Чистой, наивной, безбрежной.

Проглотив с утра чашку кофе, я бежал к Павлику, который демонстрировал мне свой новый мотоцикл «Харлей» и объяснял его достоинства. Потом мы пили чай с печеньем и обсуждали, где лучше учиться на инженера - в Америке или во Франции.

От Павлика я мчался к Жорику, обсуждал с ним ход финской кампании, и мы вместе шли к Лазику. Там, конечно же, разгорался спор о мировых проблемах, посреди которого я оставлял друзей, бежал домой, на ходу съедал бутерброд и мчался на каток, где меня ждала встреча с Жанной. Я помогал Жанне надеть коньки, мы кружили по льду, то сбивая кого-то с ног, то падали сами, поднимались, смеялись, отряхивали друг друга. Между прочим, Жанна каждый раз приходила на каток в новой юбке, в новом свитере, но всегда с одной и той же бархатной муфтой, которая переливалась всеми цветами радуги. Катаясь, Жанна не выпускала муфту из рук. По этому поводу я над ней подшучивал, а она в ответ щелкала меня по кончику носа.

Вдоволь накатавшись, мы садились на скамейку, переводили дыхание и, взявшись за руки, направлялись в сторону Жанниного дома, ничуть не боясь, что нас кто-то увидит. Прощаясь, я ей театрально кланялся, целовал руку и договаривался о новой встрече.

Разумеется, я опаздывал к обеду, бабушка ворчала, грозила пожаловаться родителям, но потом - тоже с опозданием - появлялась Илона, бабушка переключала своё возмущение на внучку, а я устраивался с книжкой в прихожей. Книга была для вида; я ждал звонка от Альмы.

Тетушка Альмы была дамой строгой и неприветливой. На меня она смотрела не то с презрением, не то с недоумением. Кивнув головой, она

провожала меня в гостиную, показывала на стул и безмолвно исчезала. Я сидел, что называется, поджав хвост. Через некоторое время появлялась Альма, а за ней шла прислуга с подносом. Мы пили кофе с пирожными, говорили о вечном и о делах текущих, спорили, соглашаясь, делали друг другу «большие глаза», «длинный нос», а потом непонятно отчего начинали так смеяться, что чуть не падали со стульев. В этот момент дверь гостиной открывалась, выражая всем своим видом крайнее неодобрение, на пороге появлялась тетушка. Мы прекращали смеяться и, хитро подмигивая друг другу, возвращались к чинной беседе.

Боже, как в эти минуты я любил Альму!

Правда, когда я беседовал с Жориком о будущем Литвы, мне казалось, что больше всех на свете я люблю Жорика. Когда обсуждал достоинства «Харлея» с Павликом, я больше всего любил Павлика. Когда же кружил на льду с Жанной, я больше всего любил Жанну.

Разговор, впрочем, не о том.

Зима сорокового выдалась снежной и вьюжной. Чтобы сократить дорогу в гимназию, я спускался вниз по узкому крутому переулку вдоль горы Тауро. Конечно, этот путь был короче, однако я то и дело падал, лишался пуговиц, пачкал брюки или пальто и, в конце концов, получал замечания от учителей за небрежный вид.

Вообще привыкнуть к новым учителям я не мог. К ученикам - тем более. Все они съехались в Вильнюс из разных мест, держались по принципу кто откуда. «Землячества» же друг другом не интересовались, дружить - не стремились. Я считал это неправильным, намеренно ни к кому не примыкал, а оттого сделался «кошкой, которая гуляет сама по себе». В письмах к Жанне жаловался на то, что попал не в класс, а в какую-то уличную толпу. Согревало меня лишь сознание, что еще месяц-другой, и наступит весна. А потом лето, Паланга...

Весна и в самом деле наступила: улицы очистились от снега, просохли, я принялся осваивать город. Он показался мне очень большим и очень разным. Чего я никак не мог решить, так это что же в нем принадлежит мне. Мне и только мне. С трепетом бродил я по средневековым улочкам Старого города, облепленным домами, домишками, пристройками и надстройками с бесконечным числом дверей, окон, входов и проходов. И с бесконечным же числом вывесок. Одна на другой, то крупно, то мелко, то вкривь, то вкось, то на идиш, то по-польски или по-русски. «Талмуд-тора», «Переплетная мастерская», «Дешевая столовая», «Йешива», «Торговый дом», «Прачечная», «Страховое общество». Весь этот муравейник суетился, галдел и издавал какой-то особый аромат, спутать который нельзя было ни с чем.

Не успевал я, однако, проникнуться мыслью, что этот мир бородачей и лавочников, торговок и йешиботников в конце концов принадлежит и мне, как неожиданно оказывался на Университетской улице.

С удивлением и восхищением обходил я многочисленные дворики университетского кампуса, каждый из которых имел свое название и

свою историю. «Библиотечный», «Обсерваторский», «Мицкевича», «Даукантаса». Готика и ренессанс, раннее барокко и поздний классицизм. Строгие монументы, витиеватые фрески, знаки Зодиака, латинские изречения. И имена, имена, имена. Стефан Баторий и Август III, Тарас Шевченко и Тадеуш Костюшко, Михаил Огинский и Людвиг Сырокомля. Все эти эпохи и имена возникали неожиданно и так же неожиданно сменялись другими. В конце концов, все это перемешивалось и создавало какую-то особую атмосферу, в которой интим уживался с безграничными просторами, идиллия - с хаосом времен и народов.

С нескрываемой завистью смотрел я на студентов, то куда-то спешащих с книгами под мышкой, то сбивавшихся в кучки и о чем-то неспешно беседующих. Смотрел и думал: может быть, это и есть мое, может быть, и я когда-то стану обитателем этих двориков?

Изрядно устав, я возвращался по Доминиканской улице домой, стараясь не смотреть в сторону того самого костела, по имени которого эта улица и была названа. Вообще костелы Вильнюса, которыми все восхищались, я невзлюбил. Слишком большие, чересчур красивые, они чаще всего соседствовали с русскими церквами, такими же большими и помпезными. И те, и другие казались мне колоссами, изготовившимися к схватке за эту землю, в которую и пришли откуда-то издалека, возможно даже, - с другой планеты. Только костел Святой Анны представлялся мне стройной девушкой, должно быть - балериной, которая случайно оказалась на поле битвы и от страха не знала, куда ей деться.

Учебный год я закончил плохо. Родители сердились на меня за нерадивость, я дулся на них за то, что они привезли меня в этот несуразный город. Впрочем, злился я на всех. На учителей - за то, что они занижали мне оценки, на учеников - за то, что ни с кем из них не получилось сдружиться, на Илону - за то, что её оставили в Каунасе, на Жанну - за то, что письма от нее перестали приходить, на Альму - за то, что, у нее никогда не хватало времени для меня. Радовался я только приближению июня.

Папа сказал: «Никакого лагеря. Пусть сидит дома и занимается. Если он и следующий год закончит так же, как этот, университета ему не видать. Кем он тогда станет - разносчиком мороженого или подмастерьем у какого-нибудь Шураса?»

Мама сказала: «Ты, конечно, можешь его оставить дома. Только не думай, что он станет заниматься. Он целыми днями будет шататься по городу и, чего доброго, сойдется с хулиганами с Заречной».

Папа ничего не сказал.

В Палангу наша компания съехалась в полном составе, и хотя поначалу нас распределили по разным отрядам, мы не растерялись, пустили в ход разные хитрости и уже на третий день с криком «ура!» перетаскивали свои постели в общую палату.

Как только переездные страсти улеглись, я обратил внимание, как сильно изменились за год мои друзья. У Жорика прорезались усики, он стал еще серьезнее и неприступнее. Павлик сильно вытянулся и начал

сутулиться. Виктор носил совсем взрослую прическу и небольшие бакенбарды. Йозас уже не снимал очков, а Лазик располнел еще больше и стал похож на медвежонка. Только Саввик остался прежним. Он продолжал подобострастно смотреть в глаза избранным и грубил тем, кого таковыми не считал.

Изменились и наши разговоры. Начинались они и заканчивались одним - войной. Да и как иначе! Только что капитулировал Париж, в войну вступила Италия, начались бомбежки Британских островов. Лазик привез с собой большую карту мира, повесил ее на стену и разноцветными карандашами отмечал ход военных действий. Каждый вечер мы собирались возле этой карты и рассуждали о том, высадят ли немцы десант в Англии или атакуют её с моря, захватят ли итальянцы Грецию или им, как и в Африке, надают по шее. И, конечно же, мы отчаянно спорили, выступит ли Москва на стороне Германии или поддержит Англию. В конце концов, всё сводилось к вопросу: что будет с нашей Литвой и что будет с нами самими? Тут все замолкали и устремляли взгляды в сторону Лазика.

Главный стратег напускал на себя важный вид.

- Что будет? А вы забыли, что мы подписали договор с русскими? Значит? Значит, Германия на нас не нападет. Со Сталиным Гитлер связываться не станет, он же не сумасшедший!

Мне очень хотелось верить Лазику, но еще больше хотелось поговорить с ним с глазу на глаз - может быть, на людях он чего-то не договаривает?

С глазу на глаз не получалось - к сестрам мы больше не ходили. Илона окончила гимназию, моталась между Вильнюсом и Каунасом, разрывалась между желанием выйти замуж и поступить в театральную студию. Родители оба ее варианта отвергали, требовали, чтобы она поступала в университет или, на худой конец, в учительскую семинарию. Что касается Жанны, то я так и не мог понять, где она и что с ней происходит. В последнем письме Жанна писала, что попытается выехать из Парижа и добраться до Литвы через Стокгольм и Хельсинки. Но добралась ли? Сначала Лазик уверял меня, что она вот-вот объявится, и ее сразу отправят в Друскенинкай «успокаивать нервы». Потом вдруг заявлял, что Жанна все еще в Париже, но «ей там ничто не грозит, так как у нее дипломатический статус».

Я ужасно переживал за Жанну, за бедных англичан и французов, молил Бога, чтобы Сталин наконец напал на Гитлера и надавал ему пинков. Впрочем, печальные мысли приходили перед сном и долго в голове не задерживались - засыпал я мертвым сном.

Утром рано-ранехонько меня будил Жорик. Мы бежали с ним на море, купались, потом обтирали полотенцами дрожащие от холода тела, бегали по пляжу наперегонки, возвращались в лагерь и будили Лазика. Будили, прикасаясь к его горячему мягкому телу нашими холодными ладонями. Лазик дергался, пытался укрыться под одеялом, но мы про-

должали экзекуцию до тех пор, пока он не вскакивал и не бросался на нас с кулаками. Мы разбегались в разные стороны с криком: «Соня, проспал завтрак!» Лазик останавливался, чесал в затылке и горестно вопрошал: «Сколько сейчас, правда проспал?» Мы начинали хохотать, Лазик осыпал нас ругательствами, одевался, и мы шли в столовую. Там Жорик и я становились в очередь к тете Басе, а Лазик усаживался за стол - тарелка с булочками, яйцами всмятку и кусочком масла его уже ждала. Саввик знал свое дело!

После завтрака мы шли на инструктаж к интенданту, потом на обязательные занятия спортом, на соревнования или лекции на самые различные темы. Потом наступал обед, послеобеденный отдых, а уж после все расходились кто куда: кто-то снова шел в спортзал, кто-то в музыкальный класс, кто-то - в библиотеку.

Это случилось 21 июня 1940 года. В семь утра, размахивая на ходу полотенцами, мы с Жориком мчались на пляж. Неожиданно дорогу нам преградила вереница людей, лошадей, повозок. В недоумении мы остановились. Мимо нас шли понурые, усталые люди в несуразных гимнастерках с шинелями-скатками через плечо. Сапоги им заменяли обмотки, на ногах были огромные, бесформенные ботинки. Кони - под стать людям: неухоженные, издающие жуткий запах, они то и дело задирали хвосты, задавались ржать и, сделав свое дело, продолжали тащить тяжелые, зачехленные брезентом повозки.

Это кто - военнопленные, беженцы? Или здесь снимают кино? Но нет, на пилотках солдат красные звезды, за плечами - трехлинейные винтовки, из-под брезента то тут, то там видны стволы пушек. Неужели армия, Красная армия? Нет! Не может быть, такой армии не бывает!

Между тем вереница повозок и понуро бредущих коней и солдат не кончалась. Мы лихорадочно крутили головами в надежде найти лазейку, чтобы проскочить к пляжу. Увы, колонна тянулась от горизонта до горизонта. Мы стояли, не зная, что делать, как вдруг около нас остановилась легковая машина. Я сразу узнал - русская «эмка». Такие иногда можно было встретить и в Каунасе, и в Вильнюсе.

Из окна машины высунулся командир в фуражке с красной звездой.

- По-русски понимаешь? А ну, дуй отсюда!

Больше всего меня удивило, что командир обратился к нам в единственном числе. Что бы это могло значить - мне уходить, а Жорику оставаться? Или наоборот?

Команду каждый из нас принял на свой счет, мы попятились, развернулись и побежали в лагерь.

- Ну что вы паникуете, - Лазик сделал удивленное лицо, - что, собственно, произошло? На русские базы мы согласились? Согласились. Их войска у нас стоят? Стоят. А где войска, там и военные маневры. Подумаешь, лошади закакали дорогу вдоль моря! Когда наши танки входили в Вильнюс, мостовую на проспекте тоже разворотили.

Интендант догадку Лазика подтвердил:

- Точно не знаю, но, думаю, что это советские войска пришли на учения. Как пришли, так и уйдут.

Покидать территорию лагеря он, тем не менее, запретил.

Йозаса и Жорика родители забрали первыми. Потом прислали за Виктором. Павлик уехал сам. Мы с Лазиком покинули лагерь последними.

Когда я вернулся домой, у нас уже был новый президент - старый, по слухам, сбежал в Германию. Впрочем, все говорили, что главный теперь не президент, а Секретарь.

Мама сказала: «Какой кошмар, теперь нами будет править какой-то большевистский секретарь!»

Папа сказал: «Ты предпочитаешь, чтобы нами правил какой-то оберштурмфюрер?»

Мама ничего не сказала.

Ситуация понемногу стала проясняться, повсюду зазвучало слово «вывезли». «Вы слышали, вчера ночью вывезли Н.», «Как я рад, что вас не вывезли!», «Вы не знаете, К. дома или его вывезли?». Что означает слово «вывезли», никто в точности не знал. То есть никто не знал, за что вывозят, куда вывозят и надолго ли вывозят. Сначала говорили: вывозят тех, кто сотрудничал с охранкой. Потом - тех, кто служил старой власти. И, наконец, тех, кто является «буржуазным элементом». Вообще-то все зависело от того, с кем вы говорили - с пессимистом или с оптимистом. Пессимисты уверяли: офицеров вывозят на расстрел. Оптимисты - в Москву, в Генеральный штаб; у русских таких офицеров, как наши, нет. Оптимисты не сомневались: инженеров вывозят на строительство заводов; у русских таких инженеров, как наши, нет. Пессимисты твердили одно: всех вывозят в Сибирь на вечные времена.

Нас не вывезли. Много лет спустя один известный журналист, служивший в те годы переводчиком в НКВД, сказал мне, что какой-то высокий начальник, курировавший в «органах» бывших эсеров, кадетов и меньшевиков, включил папу в список на вывоз. Секретарь папину фамилию вычеркнул: «Этот человек защищал в судах членов партии. Наши товарищи не поймут, если мы его сейчас вышлем».

К неописуемой моей радости, не тронули и отца Лазика. Впрочем, радости этой поубавилось, когда выяснилось почему. Оказывается, в подвале особняка Левитаса скрывался тот самый человек, который стал... Секретарем! Что до буржуазной охранки, которая «усиленно за ним гонялась», то главный полицмейстер и его сыщики, выигрывая в карты у господина посла крупные суммы, вопросов о том, кто живет в подвале его дома, не задавали.

Папа сказал: «Мерзавец! Запрещаю тебе дружить с его сыном».

Мама сказала: «С кем ему теперь дружить? С детьми чекистов?»

Папа ничего не сказал.

И, верно, с кем? Телефоны Альмы, Йозаса и Жорика не отвечали. От Павлика пришло письмо из... Минска. Его отец умудрился вывести семью в Белоруссию, а теперь как польский подданный - кто бы мог подумать! - добивался выезда в Швецию.

Мы с Лазиком остались в Литве, потому что наши отцы оказывали услуги коммунистам. Впрочем, на этом сходство кончалось, начинались различия. Дом у Левитаса не отняли. Даже телефон и автомобиль оставили. К нам же подселили семью из четырех человек.

Ивана Никифоровича Лесникова прислали из уральского города Камышлов на должность начальника телеграфа - всех старых работников с почтамта и телеграфа уволили. Сосед оказался человеком открытым и совсем неглупым. В первый же день пришел знакомиться. Родом он был из крестьян, в первую мировую служил телеграфистом. После революции оказался в Красной армии, вступил в партию большевиков, окончил курсы связистов, стал офицером. Потом демобилизовался, вернулся в родные края, дошел до начальника районного узла связи. «А теперь, вот, бросили на Литву. Я не хотел, отказывался, но меня вызвали в райком и говорят: "Хочешь не хочешь, а ехать придется. Раз они к нам присоединились, вошли в Советский Союз, наш интернациональный долг им помочь, подтянуть до нашего уровня". Вот я и стараюсь. А как работу налажу - сразу домой!»

По квартире Иван Никифорович ходил босиком и... в подштанниках.

Мама сказала: «Боже, кого нам вселили - он по квартире ходит в кальсонах!»

Папа сказал: «Ты бы предпочла, чтобы кто-то ходил здесь в галифе?»

Мама ничего не сказала.

Жена Ивана Никифоровича, Адуся, была самая что ни есть деревенская баба. Замкнутая, неразговорчивая, она целыми днями возилась по хозяйству: замешивала тесто, готовила, стирала и гладила. По квартире она, как и ее супруг, ходила босиком, на улицу же надевала носки и калоши.

Босиком бегали по квартире и их дочери. Старшую, мою ровесницу, звали Валентиной. Она походила на мать, была неразговорчива, смотрела на всех исподлобья, а при виде меня сразу же убегала на свою половину. Младшая, восьмилетняя Настася - вылитый отец. Лицо открытое, глазки живые, носик остренький. Меня Настася ничуть не боялась, при встрече обязательно спрашивала: «Как по-вашему будет пионер?» - «Пионерюс». - «А как будет рабочий?» - «Дарбининкас». Настася заливалась смехом и убегала. До следующего урока.

Вселение соседей оказалось не самым большим несчастьем, свалившимся на наши головы после июня сорокового. Главное - папа лишился заработка. Новой власти «буржуазные адвокаты» были не нужны. Более того, диплом Петербургского университета не признавался, и папа вообще не считался адвокатом. Мама начала распродавать вещи. Самым ходовым товаром оказались ее платья. Офицерские жены крутили их и так, и сяк, пробовали на ощупь и, не меряя, завертывали в газеты: «Хорош материяльчик-то. Как называется?»

Наконец, мама нашла работу. Её взяли машинисткой в редакцию новой газеты «Советская Литва». С утра до вечера она стучала на допотопном «ундервуде», домой возвращалась без сил, но на усталость не

жаловалась. Вообще о работе она никогда не говорила, и лишь однажды я слышал, как она сказала папе: «Главный редактор, а шестнадцать ошибок на страницу! Ну была же у них в Паневежисе гимназия. Или прогимназия, наконец!»

Папа сказал: «Если бы он в свое время учился в гимназии, то не был бы сегодня главным редактором "Советской Литвы"».

Мама ничего не сказала.

В гимназии многое изменилось. Исчезли некоторые учителя и ученики, отменили кое-какие предметы, новый директор снял отовсюду портреты Герцля и Нордау и повесил на их место Маркса и Энгельса. Гимназия имени Бялика стала теперь называться «Средняя школа № 11 имени товарища Калинина».

Все это я принимал с каким-то тупым равнодушием, как грозу, снежную бурю или какое-то другое стихийное бедствие. По-настоящему тревожили меня мысли об исчезнувших товарищах. Где они, что с ними? Я старался убедить себя, что друзья мои живы, здоровы, а писем от них я не получаю потому, что в России не везде есть почта. Я даже спросил об этом Ивана Никифоровича. Сосед пожал плечами: «Где надо, там есть».

Забывал я о друзьях - да и обо всем на свете, - когда попадал в физический кабинет. К тому времени я увлекся техникой, чем был обязан учителю физики Владиславу Антоновичу Галинису. Под его руководством я сначала смастерил детекторный приемник, потом селеновый выпрямитель и, наконец, - не поверите! - приступил к строительству лампового приемника! Уходя домой, я обязательно уносил под мышкой стопку книг и журналов по радиотехнике, которыми меня снабжал наш учитель. Пожилой, одинокий, он был энтузиастом своего дела и не жалел времени и сил для тех, кого сумел заразить любовью к технике. Галинис учил нас сверлить и паять, мотать катушки и собирать трансформаторы. Он учил нас все делать своими руками, делать из ничего! Да и вообще, Владислав Антонович знал все на свете! От него я впервые услышал слова «атом» и «квант», а когда нам случалось затемно выходить из школы, он объяснял расположение звезд и говорил о... грядущих космических путешествиях.

Девятый класс я окончил лучше, чем предыдущий, в предосудительных поступках и нежелательных связях замечен не был и оттого получил путевку в пионерлагерь. Собственно, это был все тот же лагерь «Науёйи Летува», который переименовали в «Летувос пионерюс» - «Литовский пионер».

Ехать туда мне не хотелось. Рассчитывать на встречу со старыми друзьями я не мог, да и вообще чувствовал себя слишком взрослым, чтобы утром бегать на зарядку, потом толкаться в очереди в столовую, а вечером по команде ложиться спать. Родители, тем не менее, настаивали - путевка была бесплатной. Вначале я сопротивлялся, но как только выяснилось, что Владислав Антонович уезжает в отпуск, а Лазик собирается в Палангу, я сдался.

Не успели мы выгрузить вещи, как нам приказали построиться в линейку и объявили, что все мы теперь - пионерская дружина, независимо от того, кто из нас пионер, а кто нет. Новый интендант - теперь он назывался старший пионервожатый - говорил по-русски, но в конце добавлял: «Айшку?» - «Понятно?» Это был высокий, очень худой парень с огромной шевелюрой, впалыми щеками и острым носом. На первой же линейке он объявил, что зовут его Гриша Карнаухас, что по профессии он типографский наборщик, что в буржуазное время состоял в подпольном комсомоле, дважды сидел в тюрьме, а вот теперь ему «доверили воспитание молодого поколения».

Странно. Мы-то ведь знали, что после июня прошлого года подпольные комсомольцы пошли служить в НКВД. Там они выполняли функции переводчиков, наводчиков, доносчиков, участвовали в слежках, ночных арестах и так далее. Удивительно, почему Гриша предпочел возиться в пионерлагере с «молодым поколением» вместо того, чтобы гонять по городу в черной кожаной куртке и наводить страх на людей!

Как бы там ни было, к делу Гриша относился серьезно. Он подолгу беседовал с каждым мальчиком, интересовался, кто у него родители, чем он собирается заняться, когда окончит школу. Днем и ночью Гриша был на ногах, вникал во все мелочи, всюду успевал, не забывал похвалить за удачи, не оставлял без внимания тех, кто просыпал, опаздывал на линейку или хулиганил.

А таких было много. Из «старичков» приехали только мы с Лазиком и Саввик. Остальные были новенькими и очень похожими друг на друга. Угловатые, разболтанные, они ходили, шаркая, размахивали руками, толкались и плевали. Плевали куда угодно - на пол, на окна, на потолок. Одеты они тоже были одинаково: белые рубашки без рукавов, широкие болтающиеся штаны, грубые черные ботинки. Друг друга они называли кличками: высокого - Каланча, толстого - Пузырь, парня с фамилией Коровин - Корова. И даже когда и употребляли имена, то чаще всего говорили Колька, Васька или Петька. Больше всего, однако, было Вовок. Мы так их и называли - вовики.

Старшим по отряду - теперь он именовался председателем - Гриша назначил Саввика. И объяснил почему. Председатель отряда должен быть пролстарского происхождения, однако ж говорить он обязан и по-русски, и по-литовски.

Получив назначение, Саввик тут же перестал смотреть на Лазика снизу вверх, а вечером даже не подошел к нему пожелать спокойной ночи. Утром, еще до горна, Саввик вскочил с постели и заорал во весь голос: «Вставать, бездельники, поднимать зады!»

Удержался Саввик на должности председателя отряда недолго. Когда мы построились на линейку и на трибуну поднялся Гриша, Саввик отдал ему салют, а нам скомандовал: «Говняйсь! Смигно!» Несколько секунд длилось гробовое молчание, потом вовики схватились за животы и повалились от смеха. Гриша тоже было засмеялся, но тут же сде-

лал строгое лицо и скомандовал: «Прекратить смех! Всем встать в строй! И ты, Савелий, тоже - в строй!»

После завтрака Гриша пришел в отряд, прочел нам лекцию о том, как важно в совершенстве владеть «языком Ленина и Сталина», обещал организовать уроки русского языка. Новым председателем отряда он назначил Колю Комарова.

Глаз у Гриши был наметан: «Комаровас» - так он назвал Колю - отличался от других вовиков. Он не толкался, не плевался и не обзывался. Во время обеда он не вырывал ни у кого ложку, не облизывал тарелку. Постель Коля убирал тщательно и время от времени... чистил ботинки.

Впрочем, разговор не о том.

Это случилось 22 июня. Мы проснулись от сильного гула. Точнее, это был не гул, а грохот, который сопровождался вспышками молнии. Гроза - первое, что пришло в голову. Мы бросились к окнам, но странно - дождя не было. Не было и молний; небо к западу и северу от нас сверкало, загораясь то крупными, то мелкими вспышками, рассекалось то тонкими, то широкими лучами невидимых нам прожекторов. Земля же дрожала, словно во время землетрясения. Нет, происходит что-то необычное!

Неожиданно в палату влетел Гриша. Осветив фонариком койки и убедившись, что все на месте, он грозно скомандовал:

- Всем одеваться и собирать вещи. Свет включать запрещаю. Через пять минут вернусь, и чтобы все были готовы! Понятно?

Сказал и исчез. Меня охватил страх. Быть может, нечто большее, чем страх. Во всяком случае, сердце сжалось так, что, казалось, вот-вот перестанет биться. Тогда я еще не знал, что и спустя много лет это чувство будет время от времени возвращаться ко мне по ночам, и я буду в ужасе просыпаться, вспоминая ту ночь 22 июня 1941 года.

А пока что я хватал свои вещи и пытался засунуть их в чемодан. Засунуть - засунул, но закрыть не получалось. Позвал на подмогу Лазика. Лазик подошел, и тут я увидел его лицо. По нему текли слезы.

- Ты что, это же просто учения, - попытался я успокоить его и себя.

- Дурак. Это война. Понимаешь, война!

Появился Гриша.

- Готовы? Цепочкой за мной. По дороге не разговаривать, фонариков не зажигать!

Мы шли какими-то неизвестными нам переулками, пробирались между дворами и огородами, пролезали через замаскированные лазы в заборах. Дыхания не хватало, чемодан бил по ногам, я то и дело спотыкался, падал, но Лазик помогал мне подняться, и мы бежали дальше. Потом спотыкался и падал Лазик, и тогда уже я хватал его за руку и тащил дальше.

Неожиданно перед нами открылась пристань. Гриша приказал: «Присесть, по пирсу гуськом за мной». Мы бежали - или ползли - за Гришей до тех пор, пока не оказались возле большого пузатого баркаса. Гриша скомандовал: «Остановиться, лечь!» Сам же начал негромко стучать по борту.

Испуганная небритая физиономия в капитанской фуражке не заставила себя ждать.

- Тебе чего?

- Пустой? Куда идешь?

- Никуда не иду. Груз жду.

- Вот и хорошо, возьмешь ребят из пионерлагеря.

- Чего? Каких ребят? Ты что, спятил, не видишь, что делается? Тут хоть все бросай и беги куда глаза глядят, а ты пацанов придумал катать!

- Да не катать! Это советские пионеры, сам понимаешь, что с ними будет, когда фашисты придут! Бери ребят и пробирайся в Ленинград.

- Чего несешь? В какой Ленинград?! В море-то выйти страшно...

Гриша вытянулся в струнку, его острый нос стал еще острее, впалые щеки совсем куда-то провалились. Медленным движением, словно носовой платок, достал он из кармана брюк блестящий браунинг и не сказал, прошипел: «Пристрелю, как собаку». В эту минуту Гриша был похож на волка.

- Ты чего, ты чего парень! Да ведь пропадем мы, не добраться до Питера, все равно не добраться.

- Давай трап, говорю. И не бойся, до Ленинграда доберемся, не в первый раз.

Мы спустились в трюм, в темноте уселись на пол, стараясь прийти в себя и перевести дыхание. Наверху, между тем, продолжалась словесная перепалка, потом разговоры стихли, дернулся и застучал мотор.

Освещая ступеньки фонариком, к нам спустился Гриша.

- Так, ребята, начнем с переклички.

Гриша достал список и начал выкликать нас по фамилиям. Шестерых не досчитались. В том числе Саввика.

- Безобразие! Не помогли товарищам. Пионеры так не поступают.

Гриша тяжело вздохнул.

- Ладно, теперь уж ничего не изменишь. Так вот, идем мы в Ленинград. Там переждем, пока фашистов выбьют из Литвы, а потом решим, что делать дальше. Идти будем дня три-четыре. Ваше дело - сидеть тихо и лишних хлопот не доставлять. Мне и с командой дел хватит: народ ненадежный, люмпены. Старшим назначаю Комароваса. В случае чего, Коля, поднимайся ко мне наверх. Ну, а теперь устраивайтесь. И не робеть, ребята!

Гриша принялся шнырять по трюму, нашел где-то керосиновый фонарь, откуда-то выкатил пустую бочку.

- Ходить по надобности будете сюда, в бочку, а лампу зажигать только в случае крайней необходимости.

Гриша поднялся наверх, а мы стали располагаться на ночлег. Я вынул из чемодана пальто, постелил его между двумя большими ящиками. Прижавшись друг к другу, мы улеглись на нем с Лазиком и укрылись его плащом.

Подошел Комаровас, спросил дружелюбно:

- Ну что, барчуки, улеглись? Можно тушить?

К утру Гриша привел баркас в какую-то, одному ему известную бухту и исчез. Но прежде передал браунинг Коле Комарову.

- Через час я вернусь, а ты смотри за командой в оба. Если что, клади всех на месте. И не бойся, без них доберемся.

Через час Гриша вернулся с мешком за плечами и бидоном в руках. Продовольствием мы были обеспечены на несколько дней, и, как только стемнело, баркас взял курс на север.

Так продолжалось трое суток: ночью мы плыли, пробираясь между берегом и какими-то островами, днем становились на прикол в никому неведомых бухтах, заправлялись горючим, запасали воду.

Наступила четвертая ночь. По всей видимости, напряжение последних дней взяло свое - именно в эту ночь я заснул быстро и спал крепко.

Разбудил меня жуткий вой. Не успел я сообразить, что происходит, как где-то справа прогремел мощный взрыв. Баркас так качнуло, что Лазик оказался чуть ли не на мне. Я вскочил, но тут же упал на Лазика - баркас накренился уже на другой борт. Гул удалился, и я услышал, как наверху кричит Гриша: «Вправо, вправо давай!»

Гул снова начал нарастать, превратился в сплошной рев, прямо над нами раздалась пулеметная очередь. Я слышал, как пули ударяли о воду где-то слева от нас. Потом впереди снова раздался взрыв. Баркас качнулся и так задрал нос, что мы вместе с ящиками и мешками покатились к корме. Потом так же дружно скатились назад. Баркас еще несколько раз качнуло туда-сюда, но потом все стихло. С замиранием сердца мы ждали нового налета, но он не повторился - возможно, нас сочли не слишком важной целью.

В трюм спустился Гриша.

- Ну вот, ребята, кажется, прорвались. Теперь одевайтесь и собирайте вещи, скоро будем на месте.

Сколько еще прошло времени, не знаю, только в какой-то момент баркас ударился правым бортом. Где-то закричали: «Давай концы!»

Гриша поднял люк.

- Ребята, выходи на палубу. Стройся в шеренгу.

На негнущихся, затекших ногах мы выползли на палубу.

На пирсе стояли солдаты. Офицер в плащ-палатке скомандовал: «Выходи по одному!»

Гриша сошел первым, отдал честь офицеру и стал с ним о чем-то говорить.

От волнения, свежего воздуха и чего-то еще я почти потерял сознание - ничего не видел и не слышал. Когда же пришел в себя, успел разобрать только конец разговора. «Оружие есть?» - спросил офицер. - «Браунинг. Личный подарок товарища Деканозова». - «Сдать!»

Гриша протянул пистолет.

Нам приказали сходить на берег. Офицер спрашивал фамилию и сверял по списку. Солдаты велели открыть чемоданы и развязать мешки.

Началась новая жизнь.

Анатолий Кардаш

У ЧЕРНОГО МОРЯ: ПАЛАЧИ И ПРАВЕДНИКИ

Полудокументальное повествование* (Главы из новой книги)

1. ПАЛАЧИ

У Чёрного моря открывшийся мне
В цветущих акациях город...
(Песня, слова С. Кирсанова)

Несколько лет рвался я в Одессу. Дорогих мне людей и времени остаётся всё меньше, мир, в котором живём, хрупок, поэтому если уж выкроить из бюджета бросок за границу, так мне прелестней всех Парижей и Италий лица одесской родни и разговоры, пусть и печальные, но задушевные.

Я пытался подружиться с местными организациями, работающими на Украине, чтобы послали какие-нибудь лекции читать, но шлют «своих», по великому блату - дело денежное, и, когда я как-то втиснулся, выжал твёрдое обещание, мой обещатель вдруг выпал на пенсию - поездка лопнула.

В другой раз вроде бы повезло: некое учреждение решило послать меня лектором на Украину и в Молдавию, оформило билеты, визы, страховку - всё было готово, оставалось получить документы и рвануть на самолёт. Предстояли 6 городов за 12 дней - тяжело, да и не очень свеж мальчик, - но плевать! еду! за казённый счёт! по коням! - и тут-то врач командирующей организации бухнул: «Нет!». Ему желался лектор телом покрепче... Поездка сорвалась за день до вылета. Я впал в краткую ярость и длительную депрессию.

---

* Цитаты из письменных источников приводятся с сохранением орфографии.

Время, как известно, лечит. Оклемавшись, я потихоньку начал внутри себя снова пестовать мечту. И «вышел на контакт» с группой заслуженных эмигрантов из Украины, которые устроили себе поездку на бывшую родину теплоходом, с заходом на пару дней в Стамбул и шестью днями плавания - прелести моря, корабельные утехи: бассейн, игры-танцы, пить-есть от пуза - веселись, душа!.. И всё по льготной цене, дешевле, чем одному ехать. Я примкнул к той группе, подрядился по дороге развлекать лекциями - всё сладилось, я в отличной форме, наметившиеся впереди разнообразные житейские хлопоты требуют перед тем отдохнуть - ну и славно, и, наконец, удастся близких повидать - ура!..

Да и задуманная книга требовала обновить одесские детские впечатления.

И томила сладкая ностальгия по Одессе, так изящно живописанной множеством очарованных - начиная с Пушкина:

Но солнце южное, но море...
Чего ж вам более, друзья?
Благословенные края!

и до, через 100 лет:

Я её [Одессу] люблю. ...я бы хотел подъехать... на пароходе... Встал бы перед рассветом, когда ещё не потух маяк на Большом Фонтане; и один-одинёшенек на палубе смотрел бы на берег. Берег ещё сначала был бы в тумане, но к семи часам уже стали бы видны... красно-жёлтая глина и чуть-чуть сероватая зелень...

Потом начинают вырисовываться детали порта... Лесом, бывало, торчали трубы и мачты во всех гаванях, когда Одесса была царицей; потом стало жиже, но я хочу так, как было в детстве: лес, и повсюду уже перекликаются матросы, лодочники, грузчики, и если бы можно было услышать, услышал бы лучшую песнь человечества: сто языков.

(В. Жаботинский, «Пятеро»)

И еще:

Рано утром по улицам, затопленным нестерпимым одесским солнцем, мы прошли на бульвар к памятнику Ришелье. Голубые туманы залили порт и город. Был блеск солнечных морских миль над свежей водой, свет полуденных стран, хрустального неба и ветра, душистого, как ранний миндаль... В порту качались у молов синие и белые шхуны, дымил жёлтой трубой одинокий транспорт. Улицы пахли морем и лимонами.

В кафе Фанкони... под тентом ходил средиземный ветер, яростно кричали за столиками на чудовищном одесском языке евреи в котелках.

Перебирая чётки, ворковали греки. Женщины пылали карминными губами.

(К. Паустовский, «Романтики»)

На диво город. Афродитой встающий из пены морской, всплывающий Атлантидой из прошлого.

Шаланды, полные кефали,
В Одессу Костя привозил...
(Песня)

...Ну, ладно, думал я, уж нет кефали, нет скумбрии, камбала, говорят, вывелась, даже и бычков, кажется, нет, но что-то же осталось от той Одессы моего детства и от - ещё раньше - великой еврейской общины начала двадцатого века, численно третьей в Европе, первой в России - поистине столицы русского еврейства!?

Л. Дусман: *16 октября утром в 10-11 часов по нашей Большой Арнаутской промчались в сторону моря две тачанки, полные матросов с винтовками...*

В часов 6-7 вечера на Большой Арнаутской появилась колонна автомашин с румынскими солдатами в кузове... На тротуарах стоят люди, смотрят и молчат. Вдруг наша старая дворничка Максимовна падает на колени, крестит румын и причитает: «Наконец вы пришли, освободили нас...» Реакция окружающих молчаливая и настороженная.

Все заходим домой. Мать закрывает все задвижки, ставни на окнах. Никто себе не представляет, что будет дальше.

С. Сушон: *Румынские солдаты вошли в Одессу усталые, пыльные, в обмотках... Население встречало их с цветами, с рушниками, с хлебом-солью. Оккупантов встречали! Мне это было совершенно непонятно.*

Уже назавтра румыны начали охоту на евреев. Суток не прошло с момента оккупации, как была расстреляна первая группа еврейских интеллигентов, 61 человек - известные врачи и учёные с семьями. Арестовав, их, издеваясь и избивая, водили по улицам города, для острастки евреям и на потеху прочим жителям. Некоторых загоняли в пустые дома, где предполагались мины.

22 октября на рассвете взлетел на воздух штаб оккупантов в бывшем здании НКВД на ул. Маразлиевской, 40. Вместе с генералом-комендантом Одессы погибло 60 человек. Румынский вождь маршал Антонеску немедля, 23 октября распорядился казнить евреев и коммунистов: за каждого погибшего офицера - 200 человек, за каждого погибшего солдата - 100. Исполнительные оккупанты уже к полдню 23-го казнили 5000; подавляющее большинство жертв составили легко определяемые на улице евреи. Людей расстреливали на улицах и в квартирах, вешали у вокзала, на рынках...

Из Листов:

Лурье Александр, 15 лет, школьник, повешен на пионерском галстуке румыном в 1941 г.

Сирота Абрам, 74 года, портной, выброшен с 4 этажа по доносу дворника.

Старикова Малочка, 13 лет [на фотографии девчоночка лет шести в балетной позиции, пачка, веночек на голове, рука в лебедином взлёте], *во двор... вошли 4 эсэсовца, изнасиловали и расстреляли, октябрь 1941 г.*

Старикова Маня, 35 лет, продавщица... была расстреляна рядом с трупом истерзанной 13-летней дочери.

На следующий день маршал спохватился добавить ещё одну телеграмму:

1. Казнить всех евреев из Бессарабии, которые нашли прибежище в Одессе.

2. Все лица, которые подпадают под предписание от 23 октября 1941 г., ещё не казнённые, и те, которых можно к ним добавить, должны быть помещены в здание, которое должно быть заминировано и взорвано. Эта акция должна состояться в день похорон жертв.

Возвышенная страсть к театру, вдохновение художника...

На Александровском проспекте, где ещё год назад люди блаженствовали, гуляя, вдоль аллей качались в петлях повешенные, на ветках, на досках, перекинутых с дерева на дерево, - прохожие падали в обморок.

Из Листов:

Ройтблит Давид, 45 лет, повешен на Соборной площади.

Ройтблит Генрих, 15 лет, повешен на Соборной площади вместе со своим отцом.

Из архивов:

15 августа 1944 год

Мы, нижеподписавшиеся Члены Районной Комиссии Содействия Чрезвычайной Государственной Комиссии... составили настоящий акт в том, что... 23 октября 1941 г. под охраной 18 вооружённых автоматами румынских полицейских по улице К. Маркса провели 100 человек арестованных мужчин... На углу ул. К. Маркса и ул. Кирова их остановили... Из колонны... взяли 2-х человек, сначала их повесили на висельницу, но петли не затянули до конца и через несколько минут их сняли с висельницы, дали отдышаться, подвели к стенке дома № 65 по ул. К. Маркса и из автоматов расстреляли... Остальную группу арестованных погнали дальше...

Трупы лежали до утра 24 октября, их не разрешала убирать охраняющая румынская стража...

Из Листов:
Фишман Лея, 87 лет, домохозяйка, расстреляна 28 октября 1941 г.
Грабовецкая Ира, 14 лет, учащаяся, расстреляна в доме в 1941 г.
Бат Иосиф, 51 год, извозчик, расстрелян в Дальнике в 1941 г.
Бирман Борис, 12 лет, расстрелян, 1941 г.

Десятки тысяч евреев гнали - кого через тюрьму, кого прямиком - за город. Мимо уличных столбов и балконов, где качались повешенные, по мостовым, залитым кровью тех, кто не поспел за общим движением, - их, калек, стариков, детей, пристреливали солдаты и полицейские конвоя. Они от щедрот своих иногда не упускали порадовать вышедших на тротуары зрителей: предлагали снимать с проходящих приглянувшиеся вещи. Зрители кто плакал, а кто и попользовался, чего добру пропадать?..

Пять тысяч евреев дошло до пригородного Дальника. Там их разделили. Первых 40-50 человек связали между собой, швырнули в ров и пристрелили. Увидели, что так убивать хлопотно и долго. А под рукой кстати оказались четыре барака, каждый в 250-400 квадратных метров. Их набили людьми, в первом стали косить людей из пулемётов сквозь дыры в стенах, потом смекнули ещё толковее: залили в остальные бараки бензин и подожгли. А первый барак с расстрелянными взорвали 25 октября в 5 часов 35 минут, точно через трое суток после взрыва штаба румын на Маразлиевской, как велел Антонеску, - для впечатляющего эффекта.

На Люстдорфской дороге в 6 километрах от города нашлись пустые артиллерийские склады. В них тоже, залив бензин шлангами через окна, сожгли несколько тысяч евреев. Двести русских заложников пригнали выискивать на обугленных останках драгоценности для румынских властей.

Л. М. Паладиенко (послевоенные показания): *Я и другие стояли в метрах 60-70 от горящих складов... и видели, как люди, охваченные огнём... бросались с окон и дверей складов, кричали, просили спасения. Всем... которые выбрасывались через окна двери живыми тут же начали отрубывать ноги, руки или пристреливали...*

После войны в ямах, куда сбросили сожжённых, насчитали 28 тыс. трупов.

1. Все мужчины еврейского происхождения в возрасте от 18 до 50 лет обязаны в течение 48 часов с момента опубликования настоящего приказа явиться в городскую тюрьму (Большефонтанская дорога)...

Неподчинившиеся этому приказу и обнаруженные после истечения указанного 48-часового срока - будут расстреляны на месте.

2. Все жители... обязаны сообщить в соответствующие полицейские части о каждом еврее вышеуказанной категории, который не выполнил этого приказа.

Укрывающие, а также лица, которые знают об этом и не сообщат, - караются смертной казнью.

Дан 7 ноября 1941 г. Командующий оккупационными войсками г. Одессы подполковник Никулеску.

Последний пункт приказа выразительно совмещался в том же номере газеты с воззванием к горожанам профессора Алексяну:

Мир и жизнь формируют свою мощь из силы интеллекта, устремлений ума и души, путём обращения к богу и создания идеалов борьбы за честь и уважение к человеческой жизни, которая должна быть основана на достоинстве и таланте, разуме и культуре. Мы находимся на этом пути и призваны повести за собою все тех, кто вместе с нами готов служить этим высоким идеалам.

Алексяну, интеллектуал и любитель Вергилия, был губернатором Транснистрии - отхваченной румынами территории между Бугом и Днестром. Одессу объявили её столицей.

Евреи столицу грязнили - сразу в ноябре началось их изгнание за сотни километров от города.

Доманёвский район, Богдановка - живописное селение на реке Буг. Для десятков тысяч евреев Одессы и окрестностей - Рим, куда вели все дороги их двадцатидневного, в смертных муках, пешего марша. Рим и мор. Тупик. Здесь, в шалашах и свинарниках, - десять человек на месте одной свиньи, - а то и на голой земле, в лютый, до 30 градусов, мороз, без еды и воды, среди испражнений и трупов, под палками и выстрелами солдат и полицаев ежедневно умирали сотни человек. А в конце декабря началась поголовная казнь.

К. Шеремет (украинец из Богдановки, свидетель): *Прибыл карательный отряд из Голты, во главе с немцем Гегелем... Отряд состоял... из немцев-колонистов... Всего их было 60 человек.*

...Из бараков выводили людей по группам в 40-50 человек, раздевали их, затем вели к оврагу [спускающемуся к Бугу], становили на колени и расстреливали с винтовок. На дне оврага был разведен большой костёр, куда падали трупы и сгорали. При расстрелах палачи даже соревновались, кто больше расстреляет.

П. Куперштейн (узник Богдановки, показания для послевоенной комиссии): *23 декабря я попал вместе со своей семьёй в группу, идущую на*

расстрел. Всех нас поставили у оврага на коленки, в это время подошёл ко мне полицай и спросил мою специальность и узнав, что я парикмахер, вытолкнул меня из числа стоявших на коленках евреев, сказав, что я буду работать. Мать, жена, 5-летний ребёнок остались стоять на коленках, были расстреляны. Меня же заставили бросать их трупы в овраг, где пылал костёр. На дне оврага было столько крови, что работавшие на сжигании трупов ходили в ней по колени. Трупы убитых слаживали штабелями, в середину ставили солому и дрова и таким образом производили сжигание.

Из Акта послевоенной комиссии:

Целыми днями были слышны на деревне выстрелы и пламя горевшего костра было видно днём и ночью; ветер доносил на деревню запах человеческого мяса (из опроса колхозника Стоного Павла Ивановича). *Стреляли до 15 января, только на три дня 24, 25 и 26 декабря карателя прервались, съездили в город Голту.* - Рождество справить, отдохнуть. Охрана лагеря тоже поразвлеклась в праздники.

М. Фельдман (узница Богдановки, показания для послевоенной комиссии): *Наша женская рабочая бригада в количестве 50 человек была размещена в отдельном помещении... 24 декабря вечером в наше помещение зашёл охранник, зажёг свет, схватил меня и приказал одеваться и следовать с ним. Я начала просить его отпустить меня, но он начал стрелять с винтовки в потолок и я вынуждена была итти с ним. Он меня завёл в землянку одной гр-ки, которая жила над Бугом, и приказал ложиться с ним спать. К счастью он был очень пьян и быстро заснул не трогая меня а на рассвете я ушла в лагерь. Затем 26 декабря к нам в помещение зашли два охранника и взяли нас 4-х девушек в отдельную комнату... где изнасиловали. Больше меня лично не брали, а Раю, которая была очень красивой девушкой, часто брали и куда-то уводили в следствие чего она заболела и умерла. Труп её был брошен в колодец.*

Но, в общем, времени на рождественские каникулы, надо заметить, организаторы не теряли: в те три дня заключённые соорудили в овраге плотину - задерживать сток крови убитых в Буг, длиной 12 метров, высотой метр восемьдесят (размеры из того же акта).

Не одни немцы-колонисты трудились в Богдановке, и своим полицаям дело нашлось. *Полицейские под руководством Андрусенко подожгли 4 свинарника, откуда люди не хотели выходить на расстрел. Выскочивших из огня - стреляли. Большинство сгорело* (Из справки военного прокурора 37-й армии, освобождавшей Богдановку; Центральный архив Министерства обороны СССР).

И. Сельцер (свидетельское показание в Яд ва-Шем): *В Богдановке... участвовали в расстрелах бывшие советские люди, перешедшие на*

службу к немцам. Помню... начальника милиции Кравец, братьев Слизенко (их потом, при возвращении советской власти расстреляли), Лазаренко Николай (тоже потом расстрелян). Эти пьяные украинцы ходили по баракам, выбивали стёкла, гнали людей на улицу и к яме на расстрел. Меня вместе с другими погнали к яме. Люди стояли над ямой, к каждому подходил немец, стрелял из нагана в ухо и человек падал. Украинцы тоже расстреливали. Одному украинцу понравилось пальто женщины, приведенной на расстрел... Он снял пальто и велел мне отнести его к куче соломы. Я пошёл и к яме не вернулся.

С первого дня из евреев было отобрано 100 мужчин и 124 женщины для уборки после расстрелов. Для различия у них на лбу и на рукаве были повязки белые с знаком моген-довида. Когда я ушёл от ямы, я спрятался среди этих уборщиков. Я сделал себе такие повязки и так пока остался жив. Но таких, как я, оказалось 40 человек. Они были без номеров и без регистрации. Об этом скоро узнали, так как были проверки... Нас повели на расстрел. Я увидел подводу с быками. На подводе лежала солома для сжигания трупов. Я выскочил из толпы и взобрался на подводу... Я влез с большим трудом - отказали ноги, они были толстые и опухшие, видимо, от страха, подействовавшего на сердце.

Я спрятался в соломе. Мне удалось добраться до барака, откуда я увидел, как расстреливали этих людей. Расстреляли 18 человек.

После войны насчитали погибших в Богдановке 54 тысячи. Выжили рабочие: 50 женщин и 127 мужчин-«мортусов» - так называли тех, кто сбрасывал в костёр застрявшие на верху оврага трупы...

Израильский кибуц Лохамей а-Гетаот («Борцы гетто»), при нём музей и образовательный центр. Там слушателям семинаров, от школьников до стариков, напоминают о Катастрофе евреев. Под сенью кибуцных пальм, в прохладе красивого учебного корпуса. В 1995 году на семинаре оказалось несколько переживших Богдановку - измочаленные дальним прошлым ветераны Шоа посреди роскошного северо-израильского ландшафта, пересечённого акведуком, намекающим на античную гармонию природы и человека. Оконное стекло отфильтровало пейзаж от зноя, из покойных кресел в вестибюле здания он смотрится безупречным: мирное светлое небо, чистая зелень травы, кряжистые сосны, кипарисы в струнку, кактусы - и те не столько колючи, сколько безобидно мохнаты. На этом фоне под чай с печеньем ложатся в мой магнитофон два слабых обесцвеченных голоса из той Богдановки: Меир и Бася Файнгольды, «мортус» с женой.

Меир: *Мне было двадцать четыре года. Нас погнали две тысячи человек из Резины, Рыбницы, не по дороге, по стерне, двадцать километров в день. Очень холодно, спали на улице, иногда в конюшне, друг на друге.*

У меня были невеста, мать, два брата, дяди, их дети - семья больше тридцати человек. И все мои попали на подводы, и больше я их не

видел. Я остался с невестой и её матерью, невесте было восемнадцать лет.

Мы шли до Богдановки. По дороге украинцы давали румынским конвоирам деньги или самогон и за это получали право грабить конвоируемых евреев. Украинец берёт нож, отрывает пуговицы. У меня было хорошее пальто, я его испортил, чтобы была подкладка белая видна... Ботинки были высокого качества, коричневые, с пряжкой, я их порезал ножом. Когда украинец подошёл ко мне, он посмотрел и не взял.

...Мы ночевали то в конюшне, то на улице. Один раз в большом складе, без окон, ветер сильный, резкий. Не давали нам всю ночь спать. Украинец ходит всю ночь, ищет, что на тебе есть, отбирает вещи, серебро.

Одну ночь шли под снегом. Это уже начало ноября. Ночевали прямо в поле, в снегу...

Пришли в Богдановку перед вечером. Приходим в бараки. Там такие свежие аккуратные люди, с Килии, красиво одетые. Видно, недавно приехали. Я захожу в барак. «Кто ты?» Я плакал от мороза, от боли в ногах. «Золото, монеты есть?» - «Нет». Тогда не принимают в барак. За золото, за деньги можно было получить место.

***Бася:** Забито было всё, даже свинарники, даже проходы. За место надо было платить. Когда стало полно народу, и человек пришёл ночью, и сильный мороз на улице, и человек просился хотя бы постоять у двери, тогда староста барака, еврей, требовал деньги...*

***Меир:** Не было мне места, не было ничего. Я пошёл в свинарник, там ни крыши, ничего. Туда до нас зашла женщина с дочкой из Бельц. Я взял два камня. Взял шестом солому с крыши, сделал огонь. И так мы были до утра.*

А утром я опять зашёл в барак. Сел. Просто плакал: не было совсем место. А тот староста кричит: «Выйди». Я встал. Весь во вшах. Я до того был чистый, а они здесь все были со вшами.

***Бася:** Там был Логин, украинец, старик, очень порядочный человек. Он мог помочь, тоже, конечно, не за хорошие слова. Если вы, например, дали ему костюм, он мог найти место.*

***Меир:** Я поговорил с Логиным. Мы ему дали какие-то вещи невесты. Он сказал, что в лесу есть землянки для рабочих, и он нас послал туда. Мы нашли одну совсем разрушенную, и на третий день нашли получше. Я отдал ему ещё костюм, и он сказал, что это место будет наше. Это было потом наше место до расстрела.*

Возле нашего леса было маленькое село. В четыре часа утра люди ходили менять вещи в это село. Шум, грязь. Я каждый день ходил искать в селе своих, приходили этапы, я искал почти месяц... И ходил на базар менять вещи на продукты у украинцев. Галоши, брюки - всё меняли. Я нашёл брата, взял его в лес, он там покушал. А в субботу, двадцатого декабря, тихо, мороз, снег. И в тишине слышу: стреляют. А я приготовился идти в село. Когда я зашёл в село, там было человек шестьдесят евреев.

Бася: *Они пришли из других сёл менять вещи, а обратно они боялись идти, там стреляют.*

Меир: *Они просили меня взять одного мальчика, лет двенадцать, я его взял с собою в лес. Я ходил не через центр, где жандармерия румынская, управление, а вокруг. Пришёл к себе в землянку. Приходит полицей Иосиф, украинец, плохой человек. «Завтра, - говорит, - пойдёте на работу». А брат мой в свинарнике, я хотел к нему пойти.*

Бася: *В субботу вечером он вернулся из села и в ту ночь пришла старушка, ей больше шестьдесят лет, здоровая, крепкая, в неё стреляли и не попали, она сделала вид, что она мёртвая, а потом вылезла из ямы. И она сказала: «Евреи, спасайтесь! Нас убивают».*

Меир: *Все плачут, женщины, дети... Обратно заходит этот полицей: «У кого есть часы?» Ни у кого нет... Меня, чтобы не забрали с мужчинами, невеста и её мать положили на доски, накрыли тряпками и сели сверху...*

Двадцать первого декабря начался полный расстрел. Вокруг шесть или восемь полицей на улице.

Бежать дорога только на Одессу. Идти надо скрытно, только ночью. Я поднялся, ещё один человек, мать невесты тоже готова, но невеста отморозила ноги, она лежала. И я остался. И вот ходят по всем баракам, отбирают все вещи, что есть хорошее, костюм раздевают, всё. Идёшь толпой, кольцом конвой. Мороз сильный, плачут женщины, дети... По пять человек ставят на колена перед ямой. Это страх стать на колени... Я сказал невесте и её маме: «Давайте дотянем до вечера как-то».

Бася: *А там была очередь из тысяч людей. Очередь к ямам. Меир им сказал: «Давайте будем так крутиться, чтобы не попасть в переднюю пятёрку. Каждую минуту даёт Бог».*

Меир: *Мы стали в этом шуме каждый раз выходить из очереди, теряться. До двух часов дня. Пришёл в два часа дня начальник с большим кнутом: «Выходи на работу». Взял меня и ещё двух человек - до ям.*

Бася: *Трупы расстрелянные, которые оставались и не падали - так надо было сбросить.*

Меир: *Народ идёт по пять человек. И много полицей, сразу тридцать человек. Идёт конвейер, всё время плачут.*

Бася: *Когда есть семья семь-восемь-десять человек, они просят идти вместе, а их разрывают по пять. Плачут. Разрешают только по пять человек.*

Меир: *Стреляют украинцы. А жандармы - они как охрана.*

Бася: *Люди, бедные, которые стали на колена, они кричали: «Кто останется жить, расскажите, что было с нами».*

Меир: *И так было до вечера. Нас было человек двести рабочих. И я работал, бросал трупы. Рядом с худым толстого, чтобы хорошо горело. Или без порядка... Нервы уже рвутся. Кровь идёт, дым... Холодно... Кушать не думаешь. Ни пить, ни кушать - ничего не хочется. Рядом мешок с хлебом - я оставил, он был со мной...*

Перед вечером увидел: плачет невеста, мать, полицей их гоняет до ямы... Последние идут. Уже было темно. И они приближаются, где я стою. Это колонна, невеста с одной стороны и мать с другой стороны. Полицей гоняет... они хотят обратно... мать плачет... смотрит на дочь... Полицей взял пистолет и стрелял сначала в невесту, потом мать. И кричит: «Рабочие, идите, бросьте трупы». Я подошёл...

Меир плачет. «Может, остановимся?» - спрашиваю. Он машет рукой: «Минуточку...» Заминка, и заново.

Меир: *Я подошёл, взял за руки, другой за ноги... Бросили на низ. Потом начальник говорит: «Идите в дом, будете ночевать».*

Бася: *Он вам не рассказал: не всех они успели пристрелить в этот день. Оставшихся вернули в бараки, а на следующий день опять начали.*

Меир: *В этом здании я нашёл много хороших вещей от тех людей, кого стреляли... Там был один зубной врач, он взял и взрезал вены, чем идти утром на работу...*

Бася: *Были люди, которые не могли выдержать.*

Меир: *А я остался один. Что делать?.. Я вышел на улицу. Темно... Мороз... Куда идти?.. Утром рано они едут. Пьяные от самогона. Гонят на улицу что-то делать. И опять стреляют.*

Бася: *Так стреляли они до двадцать пятого. Четыре дня. До Рождества, Меир.*

Меир: *На Рождество делали перерыв.*

Бася: *А потом опять продолжали.*

Меир: *После девятого января приезжает один жандарм на белой лошади, говорит приказ Антонеску: «Больше не стрелять». Было хорошее настроение. За хорошее слово люди дали ему мешок румынских денег. Но потом каждый день привозили по два-три человека, по десять человек. И после расстрела мы должны были убирать трупы, вещи в бараках - там умирали по пятьдесят-сто человек в день.*

...После больших расстрелов румыны привозили хлеб и меняли на золото, на вещи. Я видел очередь, сотни людей.

Ещё у нас был староста, Лёня, еврей из Одессы - хуже полицаев. Он ходил с палкой будто бы хозяин. Средних лет. Он был с сыном. Как-то в пятницу нас вызывают на площадь, там почти триста человек, только мужчины. Он выходит с палкой и говорит: «Слишком много рабочих, надо выгонять на расстрел». И вот он в пятницу отбирает с нас сто человек, остальные все - на расстрел.

Бася: *Было как-то, что пришёл полицей, и Лёня ему сказал про одного с наших, что у него есть монеты. У него, правда, были американские монеты, и этот еврей Лёня его выдал, и его расстреляли.*

Меир: *Потом я работал в пекарне. Носил тридцать вёдер воды в день, два на коромысле и одно в руке. Из колодца. В гору... По утрам, бывало, едет пьяный полицей, когда издали видит меня с водой, он забавляется, играет - стреляет, а я бегу змейкой, чтоб не попал...*

С водой было плохо. Евреи ходили с бутылкой за водой. А мальчики украинские камни бросали: попадёт - нет бутылки, воды нет...

...Всюду, куда привезли евреев, их убивали. Пулей, голодом, вошью, трудом. В Березовке, в Акмечетке, в Мостовом и рядом с ним в селе Весёлый хутор, в Маренбурге, Новосёловке, Молдавке, в Доманёвских Горках…

Из заявления ***Н. Иванченко*** в Ивановскую районную Чрезвычайную государственную комиссию, 28 августа 1944 г.: *В 1942 году в марте месяце в с. Н. Петровка была препровождена группа евреев в количестве 15 человек... старики, женщины и дети. Сначала их загнали в курник, а потом... повели на расстрел. Перед расстрелом им предложили раздеться до последнего белья и в ужасе и крике расстреливали... Группа евреев были жители Одессы...*

Б. Шульман (профессор, свидетельство в ЧГК, 9 мая 1944 г.): *Все находившиеся в концлагере «Мостовое» евреи были расстреляны местными немцами-колонистами. В концлагере «Веселиново» ограбленные догола евреи голыми были согнаны ко рву, расстреляны из пулемётов...*

В лагере Акмечетка... к 10 июля 1942 г. насчитывалось около 5 000 евреев. В апреле же 1943 года подсчёт показал наличие живых около 100 человек... Массовое вымирание явилось результатом голода, издевательств, побоев и убийств, бросаний в колодец... Лагерь этот носил также название «Лагерь смерти»... помещался в свинарнике, состоявшем из четырёх больших сараев без крыши, без стёкол.

Д. Стародинский (Акмечетка): *В лагере... в основном были так называемые «нетрудоспособные»... обречённые на голодное вымирание... Утром, когда люди хотели выйти из бараков, полицейские не разрешали этого до тех пор, пока им не дадут какие-нибудь вещи... Люди, которым нужно было выйти по естественным надобностям, буквально прыгали от боли. Оправляться внутри барака никто не смел - это каралось смертью... Вшей было столько, что они ползали даже по земле. На мне сохранилась шёлковая трикотажная рубашка... цвет её из голубого превратился в серый, так густо её покрывали вши.*

С. Сушон (Акмечетка): *Мы... жили в свинарнике, в свинской клетке. Такой ряд клеток, проход и напротив другой ряд клеток... Клетка на свиноматку с поросятами, метра два на полтора, не больше. В нашей семь человек, в других шесть, восемь... Крики в этих клетках, скандалы: «Чего ты меня толкаешь?» Где была солома, а где кукурузные палки, на этом спали. Страшная вонь: моча свиней - это ужасный запах, просто ядовитый.*

...Многие сырую муку ели просто так. А мы с братом между двух кирпичей сделали огонь, нашли кусок жести с краской и бабушка на эту жесть выливала тесто, получались такие оладки на воде. Без соли, без сахара, без ничего. Это был деликатес. Когда бабушка пекла оладки, крутился там мальчик, Аркадий Альтман. Одинокий совсем. Он был истощён до того, что у него был на щеке фурункул и оттого, что тела нет, в коже образовалась дырка, и он через неё высовывал язык. И бабушка дала брату клецеле [оладушку], и мне клецеле, и третье клецеле вроде себе взяла, но мы с братом видели, как она за своей спиной отдавала этот блинчик Аркадию.

...Мы ели ещё деликатес: воробьи, суслики. Все ямки, где были суслики, мы обшаривали. У меня долго был шрам, что меня суслик укусил, мы его выкурили из ямки.

Из архивов:

Акт №7
1944 года октября 31-го дня

Мы нижеподписавшиеся... составили настоящий акт в том, что... Когда людей пригнали в лагерь при совхозе «Акмечетские ставки», то администрация лагеря Абрамович, Мойше, Есык издевались над евреями. Раздевали, вытаскивали золотые зубы и все эти вещи меняли на продукты для себя... Люди умирали с голоду. За водой надо было ходить приблизительно за километр, людей пускали по 10 человек, а если получалось больше, то последних расстреливали. Лагерь был обнесен рвом и если заключённые пробирались за ров, то их убивали на месте... Виновники всех злодеяний: начальник лагеря Маня (фамилия не известна), которая особенно издевалась над заключёнными, Абрамович, Мойше и Есык. В последнее время начальником лагеря был Малкин, который сейчас работает в Одессе.

Д. Айзенберг (1923 г. р.; свидетельство об этапе со Слободки): *Нас... погнали до хутора Кутузы... Прожили мы там месяца полтора...*

Приехали днём как-то две подводы с немцами-колонистами... местные русские немцы... Евреи собрались, их всех догола раздели. Немцы пересматривали, у кого хорошие вещи, искали золото, ценности и потом в другую конюшню всех сгоняли, там пересматривали снова...

...стали выгонять партию, человек так 30-40... Стало уже темновато... Нас провели к ямам и начали нас расстреливать. Я потеряла сознание и упала... Очнулась я оттого, что слышу: что-то тянут... Лежала, молчала. Они проверяли, нет ли живых среди мертвецов. Потом они ушли через какое-то время. Поднялась я и ещё какая-то женщина поднялась, девочка лет 11, она ранена была в ногу, и ещё одна девочка маленькая, 4 или 5 лет. Вот мы четверо поднялись и стали уходить. Но куда мы ни шли, нам всё казалось, что обратно попадаем в ямы, ведь это уже была ночь... Шли мы до утра, когда еле-еле начало рассве-

тать, то добрались до [села] Серацкого. Крестьяне нас в сарае спрятали, принесли нам покушать. И мы там двое суток пробыли пока подошёл этап из Одессы, уже другая партия, к которой мы присоединились... шли дальше.

В селе Мостовом нашу партию, уже новую, нагнали немцы и хотели убить евреев. Так вот местные не хотели нас дать... уехали немцы, а эти начали нас гнать дальше и дальше, и мы попали в Лидиевку. В Лидиевке началось то же самое, но я уже была учёная. И когда начали стрелять, я тут же упала. И когда расстреляли всю колонну в Лидиевке, я потом поднялась и ночью постучалась к крестьянке... Она меня впустила, а утром сказала: «Я боюсь тебя держать, но я выведу тебя на дорогу на Доманёвку...» Дошла я до Доманёвки - у меня уже голова не работала. Нас загнали в какую-то школу. Там я вышла напиться воды из колонки, и в это время хватают 10 человек, в том числе и меня, - заложников, потому что там кого-то убили. Вывели нас в лес, а в лесу меня просто пожалел какой-то мальчишка, я была совсем русая такая... он меня вывел и говорит: «Мне тебя жалко стало, ты ещё такая молодая, иди». Из Доманёвки нас взяли на работу. Село это когда-то называлось Старое Головнёво. Нас заставляли, например, делать такую работу: гной, который лежал по 10 лет замёрзший, заставляли чистить, лишь бы мы погибали... Кушать нам почти не давали. В Головнёве нас было 200 человек... 160 человек там умерли. Кто умер, кого забили.

Кто только хотел, тот над нами издевался... Полицейский мог у входа, там, где мы находились, проверить и если находил у нас кочан спрятанный, так он его вытаскивал и бросал корове в коровник. Вы представляете, какими глазами мы смотрели на этот качан... Полицейский украинский, немцев там не было. Там были румыны, они не издевались. Был даже такой румын, который стоял на кагатах. Это там, где на зиму прячут картошку - это такие ямы. Так вот он нам говорил: «Я буду стоять здесь и смотреть, и если полицейские подойдут, то я буду петь».

Е. Хозе: *14 января мы дошли до Доманёвки. Вошли в бывший курятник, без окон, пол покрыт льдом с вмёрзшим навозом. Мы свалились в изнеможении на этот пол. Румын-часовой у входа пристреливал всех, кто пробовал выйти. Немного очнувшись, начинаем затыкать окна тряпками, у кого что есть. Кругом лежат больные, тифозные и сердечные, умирающие. Умерших оттаскивают в сторону. За неимением места и возможности выйти испражняются прямо на них на глазах их близких... Наш этап был первый, который не расстреляли, а обрекли на постепенную мучительную смерть от тифа, голода, побоев.*

В лагере свирепствует начальник полиции бывший коммунист Казакевич. Узнав, что одна еврейка, оставшись босиком, отдала свою обувь за мисочку картошечек, он избивает её до смерти. Другая попросилась к местной в избу и в благодарность за это обшивала хозяйку - он, уви-

дев это, выбил еврейке оба глаза, приговаривая: «Теперь ты шей им...» - и прибавил соответствующее слово. Ещё двух евреев он сбросил с моста в реку и ушёл, только убедившись, что они утонули.

Н. Красносельская: *Не помню, что мы там ели, в Доманёвке. Бурда какая-то... Но помню, что у бабушки был всё время понос, вы меня извините; она была кожи и кости. А у меня, девятилетней, кровоточили дёсны, зубы шатались, выпадали, по всему телу нарывы, и я была лысая.*

Бабушка требовала, чтобы я всё время показывала свою лысую голову. Говорила всем, что я лысая от заразной болезни. И она одевала меня в какую-то размахайку, чтобы выглядеть как можно хуже. Как я теперь понимаю, она меня оберегала от изнасилования.

Д. Стародинский: *Ко времени моего прихода в Доманёвку массовые расстрелы прекратились... Люди сотнями погибали сами. Ежедневно... проводили «чистку», выгоняли больных и ослабевших. Этих людей гнали «на горку» - так назывался барак на возвышенности на окраине Доманёвки. В этом бараке они доживали свои последние часы...*

Это было страшным зрелищем, когда людей гнали «на горку». Они понимали, что оттуда возврата нет... Люди не хотели идти, сопротивлялись, как могли, но их гнали, избивая палками и прикладами... Крики озверевших полицаев смешивались с воплями обречённых людей.

В Доманёвке и окрестных сёлах, по данным историка С. Борового, было уничтожено 116 тысяч евреев - одесских, а также бессарабских, буковинских, румынских. Одесских евреев выжило всего 600 человек - из 120 тысяч, захваченных оккупацией. Полпроцента...

Я шёл... в Доманёвку. Дорога рассекала степь от моих стоп до горизонта. Вблизи дороги стояли полевые цветы самых разнообразных размеров, формы, окраски... Всё это жгуче благоухало почти ничем - воздухом? далью? Небом?

В воздухе стояли и даже как бы летали задним ходом стрекозы. Трепет синих стеклянных крыльев, собственно, и был воздухом степи. Иногда большая, невероятная стрекоза оказывалась на мне. Её хвост трещал на моём плече, скрипел - скрюченный, похожий на растительный стручок, хвост. Я успевал увидеть... глаза-капли, возможно, видевшие и меня. Стрекоза улетала и летала рядом со мной - казалось, стоя в воздухе, как бы упираясь лапками, чтобы не лететь. Я шёл в Доманёвку купить карамели. (Ю. Олеша, «Ни дня без строчки»)

2. ПРАВЕДНИКИ

П. Великанова-Никифорова: *Доктор Гродский очень тяжело переживал действия против евреев. Он стал организовывать множественные передачи в гетто, которые разносили разные русские женщины, то своим друзьям, то детям, которых они растили, то соседям, знакомым...*

Врачебный престиж д-ра Гродского непрерывно возрастал, об этом можно было судить по количеству больных, преимущественно офицеров, румын и немцев, в приёмной перед его кабинетом. Все деньги, которые он зарабатывал лечебной практикой, он тратил на передачи. Один раз я стала невольным свидетелем факта полного опустошения его заграничного портмонэ при выдаче денег носителям завтрашних передач.

Я жила в двух кварталах от его квартиры. Когда перед вечером он снимал белый халат, я с удивлением убеждалась в том, что он носит одни и те же брюки, старые туфли, одну из трёх рубашек и постоянно очень тёмный галстук. Кухарка, готовящая в его квартире еду, мне поведала, что доктор и его супруга не только чрезвычайно экономят деньги на еду, но и не покупают никаких вещей.

Во время второго значительно более страшного похода против евреев [после создания гетто на Слободке] спасительные дела доктора усилились и стали более тайными. Остались три-четыре женщины, ежедневно получающие какую-то сумму денег для передач в гетто.

А. Подлегаева: *Однажды, когда нас не было дома, по доносу соседей пришли румыны с обыском и забрали свекруху. Я с Теряевой стали её искать, но её уже отправили в концлагерь в Мостовое... Мы поехали в Мостовое. Но там её уже не было. Её сожгли со многими, как там сжигали. Сгоняли в сараи евреев, обливали сарай бензином и сжигали... Когда мы вернулись домой, к моему дому подъехали дрожки и там сидел красивый мужчина, похожий на Ленина. Это был Гродский Константин Михайлович. Он представился и объяснил цель своего приезда. Он не сказал нам, откуда он узнал, что мы были в Мостовом, но просил поехать ещё туда и в Доманёвку, где тоже был концлагерь. Гродский сказал, что в Доманёвку попали много видных врачей Одессы. Он очень просил нас отвезти туда помощь узникам.*

Я с Теряевой согласились. Поехали мы туда как спекулянты. Наша первая поездка обошлась нам очень дорого. Мы отдали много вещей, которые не можем преобрести и теперь взамен.

Увидев все ужасы, которые происходили в Доманёвке, мы думали больше не ехать туда. Но выслушав нас, Гродский убедил нас, что если не помочь этим людям, они все погибнут. Он сказал: «Все расходы беру на себя».

Гродский всё своё состояние отдал на спасение евреев. А его жена Надежда Абрамовна носила в поясе юбки зашитый сильно действующий яд. В случае её арестуют - отравиться.

Гродский обеспечил себя свидетельством о крещении, повесил в квартире икону. Еврейство жены маскировалось её караимским паспортом; для надёжности разрушили памятник её отцу на еврейском кладбище.

А. Подлегаева: *В концлагере был профессор Адесман. Он передал с нами Гродскому письмо, где просил помочь, и дал записку к своей медсестре, у которой хранились его вещи и фамильные ценности, мешочек с бриллиантами. Встал вопрос, как доставить ему эти ценности.*

На наше счастье комиссар сигуранции Кодря и вся его семья была больна сифелисом. На нашей улице жила молодая женщина [видимо, еврейка], которая сожительствовала с Кодрей и он наградил её сифелисом. Я её познакомила с Гродским, который лечил её. Спасая её и двоих её детей она попросила нас обратиться от её имени к комиссару сигуранции, чтобы он помог нам спасти её. Таким образом мы стали с Кодрей знакомы. Я этой женщине отдала свои документы церковные и он помог ей уехать в Бендеры. Вспомнив это я пошла к нему на приём с просьбой помочь мне поехать опять в Доманёвку и найти своих друзей. Я сказала, что мы можем познакомить его с известным профессором Гродским, который его вылечит. Кодря познакомился с Гродским и тот лечил всю семью: жену и двое душ детей. Так у нас стало тесное знакомство с нужным человеком. Гродский попросил его сделать для нас двоих пропуск для поездки в Доманёвку за продуктами. Кодря, узнав, что я сидела в тюрьме в 1937 году как дочь врага народа, а отец мой расстрелян, пообещал помочь. Он дал мне и Теряевой справки, что мы работаем в сигуранции секретными агентами.

Гродский забрал у медсестры Адесмана мешочек с бриллиантами, вручил ценности Теряевой, а она отдала их Адесману. Адесман отдал генералу, как его фамилия не знаю. Этот генерал приказал прекратить сжигание людей, а сам на другой день улетел в Румынию.

У нас на Слободке, к сожалению, были и плохие люди. Видя состоятельных евреев, они якобы рискуя жизнью, брали на жительство к себе в дом. А через неделю выдавали их полиции, оставляя у себя их ценные вещи. Узнав об этом, я давала этому комиссару адрес, он шёл и забирал там ценные вещи, отобранные у евреев. Я Гродскому об этом сказала. Кодря хотел делиться со мной, но я решительно отказалась, таким образом он делал всё, что я просила. Мы ездили в Доманёвку 2 года, каждые два месяца. Комиссар был не глупый человек. Он понимал, что мы ездим спасать людей. Он сказал мне: «Шура, никогда не везите при себе никаких записок, чтобы я мог спасти вас в случае поимки».

Когда румынов эвакуировали с Одессы, я пошла к нему домой попрощаться, он мне сказал «Шура, вы очень хороший человек, будте осторожны, в Одессе теперь будут немцы». Я ему была благодарна, что он меня не предал и не посадил. Он сам был против уничтожения евреев и вообще людей.

В Доманёвку добирались поездом до Вознесенска, а потом отшагивали километры степью.

Степь, тьма.

Летом: треск цикад, мешки на натруженной спине, ломит плечи, пот. Зимой: позёмка, холод под ватником, под платком шерстяным... Осенью дождь, ноги тянет, чавкая, липучий чернозём присасывает сапог, каждый шаг рвёт нутро. Что те огни вдали? Там смерть? разбой? насилие?.. Две молодые бабы, хлеб в котомке, одёжа нужная - всё добыча для лихого человека, а мирного вряд ли встретишь. Тиха украинская ночь, не к добру тиха. Но в гетто ждут. Идут две женщины сквозь степь, раз идут, и другой, и десятый, двадцатый... С февраля 1942 г. по март сорок четвёртого ходили, больше двух лет.

П. Домберг (из свидетельства в Яд ва-Шем): *Так они, рискуя жизнью, приходили на базар. Одна продавала вещи, умышленно завышая цены, чтобы не купили, другая проникала в концлагерь и передавала деньги и вещи людям, чтобы их поддержать. Хитростью и изворотливостью ума они достигали нужной цели, спасали многие жизни.*

М. Фельдштейн: *Мы прибыли в Доманёвку... Нам удалось сообщить [Подлегаевой и Теряевой] наш адрес, и они обе начали к нам приезжать раз в два месяца и чаще под предлогом того, что они что-то покупали и продавали в Доманёвке на рынке. Они сами жили впроголодь, но всегда привозили нам продукты... Они собирали там зимние вещи евреев, проносили каким-то чудом через патруль и передавали людям в лагере, спасая от холода. Они покупали за свои деньги самое ценное - хлеб, запекали в хлеб записки и проносили его в гетто, чем подвергали свою жизнь смертельной опасности. Большей помощи, чем в тёплой одежде и еде, трудно себе представить, но они кормили нас и «духовной пищей». Они привозили новости с фронта... Такая информация поддерживала наш дух. Они помогали многим, всех имён я не помню. Это длилось долго-долго, до освобождения Красной Армией. ...Я никогда не забуду того, что А. Н. сделала для нашей семьи, её активной доброты и милосердия. Спасибо за то, что есть и такие люди на свете.*

Одесса под румынами...

«Одесская газета», *1942 год:*

20 января. Статья «Большевизм и иудаизм»: *Иудаизм должен быть искоренён и человечество обезвредит этого коварного, действующего подкупом и ядом, врага.*

29 мая. *20 мая в зале Одесской консерватории состоялся концерт,*

посвящённый 102 годовщине со дня рождения Петра Ильича Чайковского. ...Программа заключала в себе жемчужины из богатого наследия Чайковского. Камерная инструментальная музыка была показана двумя частями изумительного квартета № 1, анданте которого заставило зарыдать Льва Толстого... В центре же внимания... был, конечно, профессор В. А. Селявин... Прекрасная школа, благородная манера пения, проникновенная интерпретация и безукоризненная дикция большого и опытнейшего мастера - всё это восхитило слушателей, устроивших ему овацию.

5 июня. *Вышла из печати брошюра С. Урбану «Еврейская опасность». ...Правильно подчеркнул автор, что Талмуд является не религиозным учением... а специально-политическими установками, направленными на разложение всех других народов.*

20 июня. *Военное командование обращается к населению г. Одессы с просьбой сообщить о местонахождении нижеперечисленных разыскиваемых евреев: Ферайх Бурих,22 лет, сапожник, Нежинская 32, Литвак Владимир, 51 г., сапожник, Ришельевская 76, Голдин Изер... Гуднер Хаим... Голгейм Григорий... Кремжецкий Айзик... Лица, знающие что-либо об этих евреях, должны сообщить о них письменно, опустив заявления в ящики, установленные Военным командованием в местах, указанных выше в нашей газете.*

Из Листов:

Рейзеров Юрий, 1913 г. р., выдан немцам сокурсником по институту, расстрелян в августе 1943 г.

Гринфельд Лёва, 1928 г. р., школьник, пришёл попросить хлеб домой, где жил, расстреляли у ворот.

Медведовская Маня, 1923 г. р., пряталась в русской семье, но за несколько дней до освобождения города была выдана дворником дома и убита.

Дворники - профессионалы предательства. Но и в несметной их рати - Гудкова.

В районную Комиссию... по расследованию злодеяний...
дворника д. 73 по ул. ВоровскогоГудковой

Заявление

...Жильцы дома № 73 по ул. Воровского Краснянская Ольга и Полина и с ними ребёнок были сперва взяты в тюрьму, а потом с приходом наших их измученные трупы были опознаны среди гор трупов на Стрельбищенском поле... Ребёнок был очень сильно ко мне привязан, и я прошу, чтобы всех тех, которые виноваты в гибели невинных людей понесли ответственность, которую заслужили.

Гудкова

*«**Одесская газета»**,* 22 августа 1942 г: *Сообщение военно-полевого суда... Слушались два дела о сокрытии семей евреев Еленой Капитенко и Екатериной Евицкой... Подсудимые были настолько заинтересованы в сокрытии еврейских семей, что, даже не располагая материальными средствами, делились с ними последними крохами, содержа их в течение многих месяцев. Суд приговорил Евицкую и Капитенко к 3 годам тюремного заключения каждую.*

Р. Коркучанская (из писем): *В ноябре 1941 г. со Слободки нас стали угонять в село Берёзовка. Зима была холодная. На ком была хорошая одежда солдаты тут же снимали и многие оказались раздетыми... Нас били прикладами, заставляя двигаться быстрее. Группа слободских мальчишек лет 13-15 кричали вслед «Вот вам курочки, яички» и длинными палками ударяли людей по головам. Выйдя за пределы города, первые ряды колонны вдруг остановились и стали пятиться назад с криком, что впереди обливают людей из мощных шлангов. В панике, обезумевшие, все пытались разбежаться. Маленьких детей стали разбрасывать в разные стороны в надежде, что кто-нибудь их подберёт. Началась стрельба. Меня оттеснили от родителей, и в страхе, не помня себя, я убежала, упала и потеряла сознание. Когда пришла в себя, колонна людей была угнана. Площадь была усеяна трупами. Многие были ещё живы и просили помощи... Родителей и сестру я больше никогда не видела. В темноте я сумела добраться в город в мой дом на ул. Чичерина. Нашу квартиру я застала разграбленной... Я постучалась к нашим соседям... Семья из трех человек: Смирнов Леонид, его жена Женя и 10-летний сын Вова. Они меня пустили в дом. Когда я сняла платок с головы, Леня и Женя ужаснулись. Я была седая. В 16 лет. Как я потом поняла, мои поседевшие волосы спасли мне жизнь. Меня начали спасать...*

За ночь Лёня и Женя под полом выкопали яму, из досок пола сделали крышку и утром меня спустили в эту яму, она была в ширину моих плеч, и я могла только сидеть... Сидячая могила, но я была неизмеримо счастлива... Вход в яму был в самом углу кухни, возле плиты, и поэтому было удобно маскировать крышку от ямы, накрыв ковриком, чтобы не видно было щели, поверх коврика ставили ведро с углём, лопатку и веник. Я в яме сидела круглосуточно и только утром и вечером подымалась наверх. Тогда и пользовалась туалетом в квартире. Остальное время надо было терпеть до потери сознания.

За тот час, что я находилась наверху, мои глаза не успевали привыкнуть к свету и мне приходилось всё делать с закрытыми глазами, как слепой.

Ела два раза в день, в основном, мамалыгу и кипяток... Чувство голода никогда не покидало меня.

Первое время в яме меня донимали земляные жуки, они ползали по моему лицу. Очень долго мне ещё представлялись увиденные и пережитые ужасы, и я начинала кричать. Это было очень опасно и чревато последствиями, и я стала обматывать рот полотенцем. Дышать но-

сом в сырой земле и сидеть без движений стало невыносимо тяжело и я начала болеть.

Так прошёл год. Евреев изгнали из города, и как нам казалось, их уже перестали искать, и тогда решено было показать меня врачу. Я не была типичной еврейской девочкой, но большие карие глаза и чёрные волосы выдавали меня.

Мы с Лёней выбрались и оказалось, что охота за евреями всё ещё продолжалась, так как мы попали в облаву. С двух концов улицы румынские солдаты, шеренгой идя друг другу навстречу, проверяли паспорта у прохожих. Кто не предъявлял паспорт, с тем на месте расправлялись.

У меня паспорта, конечно, не было. Лёня сразу ушёл вперёд, шепнув: «Будут бить - кричи погромче, тогда они ослабляют удары». Я как могла замедлила шаг, чтобы оттянуть время встречи с извергами, чтобы лишнюю минуту пожить.

В эту минуту из дома рядом вышел немецкий офицер. Я тут же направилась к нему, зная, что румынские солдаты боятся немецких офицеров и избегают к ним подходить. Я, как можно бодрее, чтобы голос не выдал моего страха, спросила его по-немецки, который час. На моё счастье у немца были карманные часы, и покуда он их доставал и разговаривал со мной, румынские солдаты прошли мимо и не потребовали документа. Я долго благодарила офицера и стала медленно уходить, боясь ускорить шаг или оглянуться, чтобы не вызвать подозрение. Когда я догнала Лёню, он не мог поверить своим глазам, что я жива, шептал: «Это чудо! Это чудо!». После этого Смирновы решили меня из ямы выпускать на всю ночь. Изменился мой образ жизни, и я стала немного оживать.

Я пришла к Смирновым в тёплой одежде, в зимнем пальто. Поверх туфель боты. Во всём этом я сидела в яме. Но я росла даже в темноте, и постепенно одежда становилась мала... Я вручную сшила себе валенки и мастерила разную одежду.

Смирновы, когда стали меня прятать, рассчитывали, что война скоро закончится и враг будет разбит, но Красная Армия постоянно отступала... и возник вопрос, что со мной делать. Я сама понимала, что так жить всё время нельзя. Разговор был один и тот же: как от меня избавиться. Выпустить меня из дому было опасно, так как меня сразу бы поймали и при пытках я могла выдать своё местонахождение и пострадали бы все живущие в доме. Я решила, чем попасть в руки к фашистам, лучше отравиться. И было решено, что самое безопасное это отравиться, уйдя из дому. Лёня долго искал подходящую отраву, он был человеком осторожным. Моя жизнь, и без того сплошные пытки, стала адом. Я завидовала тем, кто уже погиб. Гетто для меня было недосягаемым раем. Я не могла жить и не могла умереть. Чем больше я чувствовала смерть, тем больше я хотела жить. Я стала подозрительной. Мне казалось, что меня уже хотят отравить, что в каждой порции еды лежит отрава. Я боялась есть, ослабела настолько, что не могла вылезать из ямы.

Но время шло в мою пользу. Фашисты под Сталинградом потерпели поражение. Появилась надежда на выигрыш войны, на спасение. Перестали говорить о моей смерти, этот вопрос отпал. Я начала есть и выздоравливать.

Таким образом мои спасители спасали меня два с половиной года...

За Одесской психлечебницей немалая медицинская слава ещё с 1870-х годов, когда её главный врач А. С. Розенблюм придумал лечить психопатов прививкой возвратного тифа. Но вершиной деятельности больницы сегодня представляются не врачебные достижения, а подвиг семьи Шевалёвых.

Из обращения в Яд ва-Шем ***В. Я. Коган****: Евгений Александрович Шевалёв... к моменту начала войны заведовал кафедрой психиатрии Одесского медицинского института... В период оккупации... он добровольно принял на себя руководство больницей. По указанию проф. Шевалёва на всех сотрудников больницы еврейского происхождения, оставшихся в оккупации, были заведены истории болезни, на основании которых они числились в больнице не как сотрудники, а как душевнобольные... В больнице... нашли своё спасение и другие люди еврейской национальности... которые прибегли к помощи Евгения Александровича. Опасность этого подвижничества была тем более велика, что в одном из помещений больницы расположилась сигуранца. Для постоянного отслеживания ситуации и быстрейшего на неё реагирования Евгений Александрович с семьёй переселился в больницу.*

...Единомышленником и помощником проф. Е. А. Шевалёва был его 22-летний сын Андрей. Он принял на себя инициативу в том, что требовало решительности, твёрдости и неукоснительного следования интересам тех, кто был или значился душевнобольным...

Из воспоминаний сына Е. А. Шевалёва, ***профессора Андрея Евгеньевича Шевалёва:*** *В период оккупации в больнице находилось около 600 больных и из них почти половина были еврейской национальности. Кроме этого была группа здоровых лиц еврейской национальности... на которых с изменением их фамилий как на больных заведены истории болезни.*

В первые дни оккупации... пришли в больницу румынские комиссары и потребовали у Е. А. Шевалёва, чтобы он выделил группу физически крепких больных... вырыть на территории колонии [санаторная часть больницы: сад, виноградник, аптека, жильё сотрудников] окопы-могилы для них самих и всех остальных больных... Огромных усилий стоило Е. А. Шевалёву уговорить румынских офицеров отказаться от этого.

Это был не последний визит с предложениями такого рода, но при-

мерно через месяц... комиссары покинули больницу, произведя обыск за обыском во всех помещениях б-цы и убедившись в том, что без продуктов, воды, медикаментов и отопления все больные всё равно обречены на смерть.

Понимали это Е. А. Шевалёв и руководимый им персонал... Добывались с колоссальным трудом и нередко риском для жизни сотрудников продукты для больных, но их было недостаточно... ...остановить развитие алиментарной дистрофии у группы больных не удалось, и они умерли.

Через три месяца после начала оккупации Е. А. Шевалёв добился от румынских властей того, что больнице начали выделять для питания больных кое-какие продукты.

Истории болезни на здоровых лиц из персонала... еврейской национальности... оформляли, после личной беседы с Е. А. Шевалёвым, несколько заведующих отделениями, соблюдая... максимальную секретность.

...Анонимных доносов в полицию и жандармерию, повидимому, было много и основное их содержание было сообщение о том, что больница укрывает здоровых лиц еврейской национальности. Мы могли об этом судить по появлению много раз проверочных румынских комиссий. К счастью, во всех случаях удавалось убедить эти комиссии в беспочвенности таких обвинений.

Л. Золоторевская (письмо в Яд ва-Шем): *Во время оккупации меня, мою мать, бабушку и тётку угнали в гетто - Одесская область, Берёзовский район, хутор Стадная балка, где 22 марта 1942 года вся семья была расстреляна... Я чудом спаслась, спрятавшись в стогу сена. После расстрела я... тайком пробралась в Одессу и пришла на Слободку в психбольницу... Андрей Шевалёв записал меня в женское отделение для буйных, спрятав под именем Лидии Прозоровой, украинки, страдающей аутизмом.*

При этом он предупредил, что опасность угрожает не только со стороны сигуранцы, расположенной на территории больницы, но и внутри больницы есть провокаторы и доносчики... Все мы боялись таких доносчиков, как, например, доктор К...

Из письма ***В. Коган - А. Кардашу:*** *Посылаю тебе фотографии отца и сына Шевалёвых, о которых ты просил. А. Е. упорно и без всякого жеманства отказывался дать свою фотографию, предлагая только фото отца, но я настояла...*

Эта очередная встреча снова оставила ощущение прикосновения к человеку очень светлому... В разговоре он опять вернулся к поразившему его феномену трансформации человеческого сознания. Антисемитская и кулацкая в то время Слободка, которая сочла для себя осквернением создание там еврейского гетто, оказалась участливо-сострадательной при виде обречённых людей... А. Е. мне рассказал, как он в по-

исках возможной помощи этим людям, надев на себя дорогое заграничное пальто и повязку с красным крестом, стучал тогда в двери слободских домиков, представляясь словами: «Красный Крест. Спасите людей!», стараясь говорить на ломаном русском языке. Вся эта мистификация (пальто, повязка, акцент) должны были произвести впечатление убедительного международного вмешательства. Но, как говорит А. Е., к его изумлению, в этом не было нужды: люди без нажима пускали к себе тех, кого сгоняли в гетто.

Годы заполошной, наперекор житейским заботам и расслабляющему ходу времени, работы привели к знакомству со многими подвижниками, выручавшими евреев в смертельную для них пору. Тема расширилась, повествование растеклось от необходимости вглядеться в лик Одессы и лица одесситов. Книга стала пухлой и, боюсь, сумбурной, но как вышло, так вышло. А целью её остаётся первоначальное: помянуть благодарно всех, спасавших или помогших спасению, чьи имена всплыли при моём копании в свидетельствах той поры.

Из группы Гродского одной Александре Николаевне Подлегаевой какое-то «спасибо», хоть слабенько, но просветило при жизни. О Теряевой и Гродском, умерших давным-давно, в Яд ва-Шем речь и не заходила. Спасённым евреям было невдомёк, что можно просить почестей тем, кого нет в живых. А учреждениям да инстанциям еврейским, кто обязан спасителям евреев поклониться, - им за повседневными заботами часто не до тех, кто истлел. Так вышло, что среди Праведников народов мира числит Израиль из группы Гродского лишь Александру Подлегаеву: о ней спасённая Е. Хозе успела сообщить при её жизни, да и то признание опоздало: пока судили-рядили, умерла старая Праведница. И Шевалёв Андрей Евгеньевич не узнал, что его отец и он сам награждены. Обидно...

Андрей Шевалёв убегал от славословия, Ивановы и Татаровский признания не добивались, доктор Гродский о себе - спасителе не упоминал, потомки А. Подлегаевой подробности её геройства только от меня и узнали - Праведники поклона не ищут. Он - за нами.

Анастасия (или Ната, Наталия - пишут свидетели по-разному) Фёдоровна Теряева, Константин Михайлович Гродский, вам, как и другим, обойдённым официальным признанием, кому ни дерева именного, ни медали, ни льготы мало-мальской, - вам только эта вот книжка негромкая, памятник самодельный, грубо сколоченный, каждому, чьё имя мы не удосужились расслышать в глухоте прошедших десятилетий, и каждому, кто на этих страницах назван.

Сергей Кургинян

ТЕРАКТ НА ДУБРОВКЕ

События 2002 года и их ретроспективный анализ

ЧАСТЬ 1. ДУБРОВКА И БОЛЬШАЯ ИГРА

23 октября 2002 года в Москве был захвачен театральный центр, расположенный на улице Дубровка. Уже на следующий день после этого захвата я публично заявил, что речь идет не о простом теракте, а о полномасштабной попытке государственного переворота. Вскоре после событий на Дубровке я эту же оценку случившегося повторил в Израиле во время одной из антитеррористических конференций.

Вся информация, поступившая в мое распоряжение за прошедший год, только подтверждает изначально сделанную оценку. Вкратце напомню, как я тогда аргументировал версию попытки государственного переворота, осуществленной с помощью теракта в здании на Дубровке *(рис. 1)*.

Я говорил тогда о том, что российская элита расколота на две группы, а президент Путин (как, впрочем, и любой другой лидер в современной России) фактически обязан соблюдать баланс между этими группами и может действовать только в узком коридоре, определяемом условиями такого баланса *(рис. 2)*.



Рис. 1. Общая схема

Но что это за группы? Возможны два описания.

Первое - приближенное, но, наверное, более понятное для неспециалистов.

Второе - значительно более точное, но требующее дополнительных пояснений.

Условная «гирька» личного потенциала Путина. Возможность управлять процессом, перекладывая эту «гирьку» на ту или иную чашу весов. Если весы наклонятся так, что этого потенциала не хватит для уравновешивания диспропорции между слабой и сильной группой, то у Путина остается два варианта выхода: номер 1 - потерять равновесие и власть; номер 2 - сместиться в сторону сильной группы

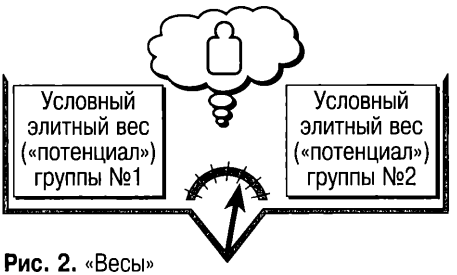


Рис. 2. «Весы»

Вначале я воспользуюсь приближенным описанием, оговорив, что оно является именно таковым. С этой оговоркой можно считать, что группа №2 - происламская, а группа №1 - антиисламская *(рис. 3)*.

Почему я считаю это приближение недостаточным (что-то оно все-таки раскрывает, и поэтому назвать его абсолютно ошибочным я не могу)? Потому что все процессы, происходящие в России в последние 10 лет, и особенно после 11 сентября 2001 года, подтверждает одно мое крайне мрачное предположение. А именно - что современный мир не только стоит перед вызовом со стороны исламской цивилизации (того, что раньше называли Восток). Бесспорно, этот вызов есть. Но он не исчерпывает проблемы. Сама по себе исламская цивилизация, при всей ее мощи и накаленности, все же не обладает необходимым потенциалом вооружения для сокрушения своих противников (в ряду которых постоянно фигурируют Израиль и США), поскольку у нее нет для этого ни современной индустрии, ни современных технологий.

Этим потенциалом (а также финансово-индустриальной мощью, превышающей мощь США, потенциалом современного образованного населения, превышающего потенциал США) обладает только объединенная Европа. (На горизонте уже маячит Китай. Но это вопрос отдельный.)

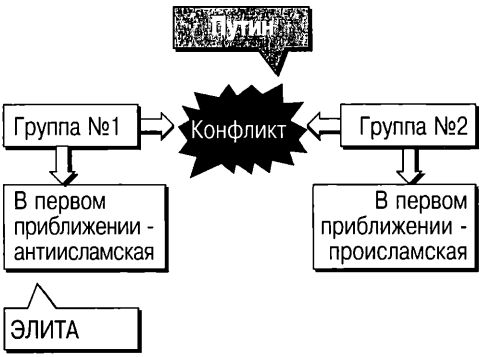


Рис. 3. Первое приближение

Если даже предположить, что Европа объединится сама по себе и окажется в этом объединенном состоянии вполне респектабельной, - угроза США уже налицо: образуется современное государство, способное претендовать на лидерство. Лидерство вытекает из всего: из численности населения, объема промышленной продукции и т. д. Сама возможность такого альтернативного лидерства уже содержит серьезную угрозу для США, ведь американская мощь далеко небеспроблемна. Существует масса факторов неустойчивости, и воз-



Рис. 4. США и объединенная Европа

никновение нового претендента на лидерство резко обострит эти факторы. При таком развитии событий США могут не просто потерять лидерство, а буквально взорваться изнутри под грузом проблем, связанных с фактом появления подобного конкурента.

Таким образом, для США сама объединенная Европа - это угроза *(рис. 4)*.

Однако вся мрачность (и даже - весь ужас) ситуации состоит в том, что Европа при сохранении нынешнего мегатренда не хочет ограничиться собственными объемами в рамках так называемой интеграции, а, напротив, - стремится соединить свои индустриальные возможности с сырьевыми возможностями исламского мира. Это соединение, именуемое «Евразия» и исторически маркируемое такими старыми концепциями, как ось Берлин-Багдад, вовсе не снято с повестки дня. При этом реальная возможность создания такого мегаконгломерата безальтернативно предполагает распад России, уничтожение России как субъекта истории и ее поглощение другими, более мощными сущностями *(рис. 5)*.



Рис. 5. Европа, ислам и Россия

Нет нужды доказывать, что мощность евро-исламского конгломерата будет больше, чем мощность конгломерата собственно европейского, и что европейская промышленность, опирающаяся на полностью подконтрольные сырьевые ресурсы (как исламские, так и российские), станет для США уже не просто серьезным, а суперсерьезным вызовом. Гораздо важнее подчеркнуть, что к этому все не сводится, что реальный альянс ислама и Европы на костях разрушаемой этим альянсом России обязательно приобретет соответствующую окраску. И эту окраску уже никак нельзя будет совместить с какой-либо респектабельностью.

Лучшим подтверждением безальтернативности подобного идеологического мегатренда является все то, что происходит у нас на глазах после 11 сентября 2001 года. Мы видим, что идеологический альянс Европы и ислама на-

бирает обороты и что этот альянс возникает именно на почве двойной - европейской и исламской - ненависти к Израилю (даже США оказываются при этом отодвинутыми на второй план) - *рис. 6.*



Рис. 6. Реальность евро-исламского объединения в XXI веке

Еще два соображения по поводу российских политических тенденций, находящихся в определенном соотнесении с вышеназванными процессами.

Пока что Россию не удалось вывести на рубежи реальной комплексной модернизации, что составляло цель ряда элитных групп, выдвигавших проект, альтернативный коммунистическому. Налицо, скорее, обратная тенденция - тенденция демодернизации. Эта тенденция никак не совместима с нормальной жизнью российского общества и устойчивостью Российского государства. Она порождает множественные разочарования - как на низовом уровне, так и на элитном. Открытым остается вопрос о том, что представляет собой современное российское общество. Является ли оно сильно деформированной нормой или разворачивающейся системной патологией?

В сущности, это основной вопрос современной России. Эта проблема комплексная; поясню ее на конкретном примере. Сейчас часто обсуждается криминализация тех или иных слоев российского общества. Но дело не в криминализации как таковой. Те процессы, которые проходили в России в последние 10 лет, не могли не стимулировать собственно криминализацию в ее нормальном, непатологическом виде. Это происходит во всех странах мира, берущихся за трансформации такого масштаба.

Вопрос гораздо болезненнее. А именно - не перейдена ли в ходе этих трансформаций черта между нормальной криминализованностью российского общества и его системной криминализацией? Любое общество криминализовано, и с этим можно бороться известными методами. Есть общества, которые криминализованы значительно выше нормы. И мы знаем, как в таких случаях преодолеваются опаснейшие тенденции. Но есть качественное различие между криминализованностью и криминальностью. И если речь идет о криминальности самого общества, то проблема воистину тяжелейшая. Такая метаморфоза общества начинает программировать все дальнейшие тенденции. Она сама по себе способна создавать устойчивый отрицательный мегатренд; но она существует не сама по себе, а тут же входит в суперпозицию с другими патологиями и порождает новые патологии.

Как это сказывается на политическом рельефе? Крайне важно по-

нять, что российская политическая элита неоднородна, ибо в ходе борьбы с коммунизмом сформировался консенсус весьма различных по содержанию антикоммунистических сил.

На первом месте в череде этих сил стоят силы собственно либеральные - те, для кого коммунизм был проявлением тоталитаризма. На втором месте силы центристские - они воспринимали коммунизм как несостоявшуюся утопию («красивая сказка» - слова президента Путина). На третьем месте силы собственно националистические, надеявшиеся получить сильное национальное модернизированное государство на обломках империи. На четвертом месте - силы конфессионального (православного) радикализма. На пятом - силы фашистские (для которых коммунизм это не тоталитаризм, а крайнее проявление страшного и зловещего сионизма).

Что такое в этом смысле российский процесс на фоне отрицательного мегатренда, порожденного аномальностью, как минимум, существенного сегмента российского общества? Это смена идейно-политического лидерства в рамках существующего элитного антикоммунистического консенсуса. Это последовательная дискредитация сил, не справившихся с грузом государственных и социальных проблем. И это - эскалация радикализации *(рис. 7)*.

Для тех, кто действует в российской политике и понимает ее законы, этот процесс достаточно очевиден. В него прекрасно вписывается многое из того, что происходит в последнее время. В том числе широко обсуждаемый феномен Ходорковского. Либеральная группа в России, действительно, находится на спаде. И, скорее всего, это необратимая тенденция. Данная группа слишком многое взяла на себя, слишком откровенно доминировала (по крайней мере, в открытой политике). И оказалась ответственной за все издержки.

Является ли этот процесс всего лишь естественным следствием неких объективных закономерностей?

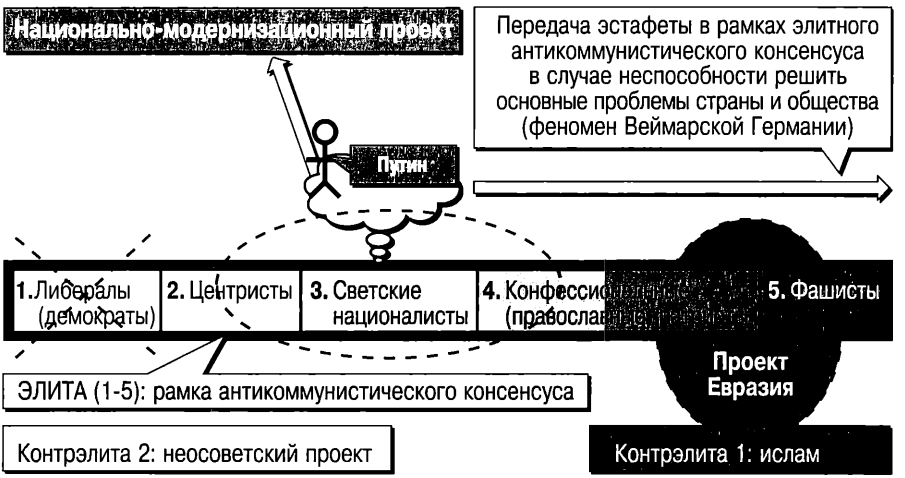


Рис. 7. Тренд

Нет, это не только естественный процесс, так как группы 2-3-4 фактически приносят группу 1 в жертву во имя модернизационного проекта построения сильного национального государства. Недавно по этому поводу совершенно недвусмысленно высказался предыдущий президент России Ельцин. Он сказал, что Гайдар, Чубайс и другие были им и его сподвижниками выдвинуты на роль камикадзе. Что этим камикадзе не сообщили, в чем состоит их роль. Потому что, как сказал Ельцин, «они же должны были работать». И что теперь, по оценке Ельцина, отсечение 1-й группы носит разумный и необратимый характер (в чем и состоит историческая роль Путина).

Речь идет о системном отсечении группы. Марксисты сказали бы об отсечении и надстройки, и базиса.

Как мы все понимаем, ориентация на США (а через это в какой-то степени и на Израиль) была прерогативой большей части представителей 1-й группы. И вся идеология этой ориентации выстраивалась в рамках заявленного 1-й группой политического и идеологического языка. Крах этой группы (а он не за горами) фактически демонтирует язык данных коммуникаций.

И тогда вопросом жизни и смерти станет наличие другого политического языка и других коммуникативных политических дискурсов для обеспечения тех же коммуникаций. В противном случае, так называемый проект «Евразия» окажется безальтернативным *(рис. 8)*.

Из последней модели прямо вытекает, что Путин является для евразийцев угрозой и актуальной, и потенциальной, и стратегической, и тактической. В самом деле, успех проекта Путина означал бы, что отрицательный мегатренд остановлен и что дрейф в сторону фашистов и православных псевдорадикалов (прекрасно совмещающихся с исламом в рамках той же Евразии) окажется прерванным. А это угрожает слишком многим стратегическим интересам, и не нанести удара по



Рис. 8. Альтернативы

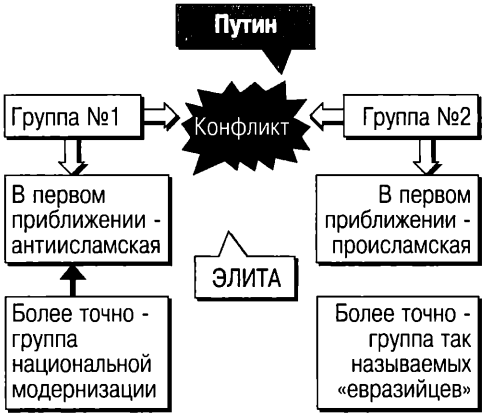


Рис. 9. Уточнение

Путину эти интересанты просто не могут.

Все, что мы рассматривали, всего лишь позволяет теперь перейти от первого приближения к более точному раскрытию действительного содержания конфликта между ключевыми российскими элитными группами и - правильно назвать стороны в данном конфликте *(рис. 9)*.

А теперь два очень существенных тезиса.

Прежде всего - о политическом стиле и позиции Путина. Путин не имеет реального потенциала для того, чтобы действовать по принципу «если враг не сдается, его уничтожают» *(рис. 10)*.

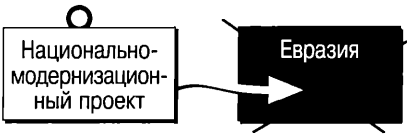


Рис. 10. Вариант с позиции силы

Дело даже не в политической решимости или определенности - дело в правилах российской элитной игры. Для того чтобы подавлять противника, Путину надо продемонстрировать успехи в осуществлении того проекта, в интересах которого он должен этого противника подавлять. Для этого нужно полностью отождествить себя с этим проектом. Нужно оформить это как идеологическую позицию. Путин к этому не готов.

И существенным слагаемым в этой неготовности является то, что в международной сфере наблюдается явная асимметрия во всем, что касается позиции интересантов рассматриваемых двух основных российских (а опосредованно и мировых) проектов.

Исламский мир (а в последнее время особенно Саудовская Аравия) ведет себя крайне комплиментарно по отношению ко всему, что связано с его потенциальным российским политическим союзником, то есть с евразийским проектом.

Так же ведет себя и Европа.

Что касается США, то, как я уже говорил, прежде всего, нет понимания того, что диалог может быть только новым, что он не может идти в русле Гайдара-Козырева, в духе начала 90-х годов. И, во-вторых, нет понимания того, на чем может основываться этот новый диалог, как может выглядеть этот новый язык.

И, наконец (и это, самое существенное, очень четко ощущается в России), у США нет полной определенности по поводу их собственной позиции. США выиграли в Ираке войну, понимаемую как обычная во-

енная кампания. Но шансы, что они при этом проиграют войну политическую, лишь увеличиваются. Испугавшиеся Буша противники уже объединили усилия. Непрозрачные, но очень мощные механизмы остановили следующий шаг, напрашивавшийся после иракской победы. США не приступили к обещанным жестким действиям в Саудовской Аравии. А без этих действий стояние в Ираке (достаточно невнятное, с идеологической точки зрения) будет накапливать негативы.

Как бы там ни было, позиция Путина не относится к числу тех, которые можно назвать «позицией силовых решений». Скорее, это позиция другого типа. Путин дает состояться конкуренции между данными двумя проектами, сам находясь как бы над схваткой. При этом его тяготение к национально-модернизационному проекту достаточно очевидно. И, тем не менее, Путин предоставляет сторонникам двух проектов возможность самой разной аргументации в пользу этих проектов. Дело не в том, что Путин так понимает игру. Таков - для всей российской элиты - главный и непреодолимый стереотип понимания большой элитной игры.

Путин не хочет преодолеть этот стереотип или не может?

У меня нет готового ответа. Но, в любом случае, ведется следующая игра *(рис. 11)*.

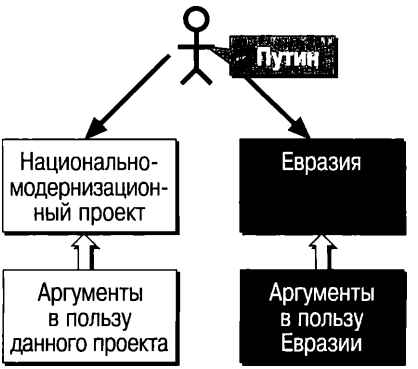


Рис.11. Игра «Баланс

Что я имею в виду под аргументами?

Прежде всего, конечно, не аргументы в некой словесной дискуссии. Речь идет о гораздо более крупных и жестких вещах. Они могут носить характер «позитивных предложений». Самый яркий пример - в последний год российская пресса (да и телевидение тоже, государственное в том числе) все более накаляются тем, что можно назвать «арабский инвестиционный соблазн». Речь идет о том, что Саудовская Аравия, разочаровавшись в США, якобы выводит оттуда весь свой финансовый потенциал в объеме чуть ли не 200 млрд долларов. И что все это может стать «инвестициями в Россию», если будут достигнуты соответствующие стратегические договоренности.

Это сильный аргумент! Немногие в России могут сегодня устоять перед соблазном такого золотого дождя. И если этот соблазн каким-то образом материализуется, положение антиевразийской группы вряд ли будет благополучным. Тогда Путин (что бы он ни думал на самом деле) должен будет считаться с новой конъюнктурой, вызванной новыми позитивными аргументами.

Однако аргументы не обязательно должны быть позитивными, они могут быть и негативными. Переведет ли Саудовская Аравия в Россию некие безумные деньги под инвестиции - вопрос, мягко говоря, крайне

проблематичный. А вот то, что, по минимальным оценкам, Саудовская Аравия тратит миллиард долларов в год на подрывную деятельность в Поволжье, - это точно. Нет ни одного профессионального эксперта, который назовет цифру меньше миллиарда долларов в год. Есть вполне профессионалы, которые удваивают и даже утраивают эту сумму. Но я предпочел бы в этом вопросе не завышать планку. Да это и не нужно! Потому что на такие деньги в сегодняшней России можно проводить подрывную деятельность в любых масштабах. И она проводится.

Созреют ее плоды - это будет мощный негативный аргумент: «Не станете на нашу сторону - мы взорвем страну изнутри. И ничего вы с этим поделать не сможете».

А теперь - о соотношении всего этого с нашей конкретной темой.

Что я имею в виду, говоря о большой политической подоплеке теракта на Дубровке? Я говорил и говорю об этом теракте как о негативном аргументе некоей евразийской группы. Аргументе, предъявленном президенту России в виде критической для него угрозы в Москве.

Чтобы разобраться в этом более детально, нужно всмотреться в отдельные аспекты той, дубровской, истории.

ЧАСТЬ 2. ДУБРОВКА - СЮЖЕТЫ И ПЕРСОНАЖИ

Итак, 23 октября 2002 года в Москве был захвачен театральный центр на Дубровке. Захватом руководил чеченский террорист Мовсар Бараев. Это племянник еще более известного террориста - Арби Бараева. Арби Бараев возглавлял крупное чеченское бандформирование под названием «Исламский полк» и считался одним из самых оголтелых садистов и изуверов. Одновременно Арби Бараев был и одной из наиболее двусмысленных фигур в среде чеченских боевиков, а эта среда буквально начинена двусмысленностью. Специалисты не раз обращали внимание на то, что Арби Бараев - объявленный в розыск особо опасный преступник - появлялся в Москве открыто. И сопровождался как высокостатусное официальное лицо.

Обращалось также внимание и на встречи Арби Бараева в ходе этих московских визитов с очень высокими московскими, я бы сказал, неофициально-официальными покровителями. Факт наличия подобных покровителей именно у Арби Бараева не вызывает сомнения, так же как и факт наследования Мовсаром Бараевым всех возможностей своего дяди. В том числе и этих высоких московских, весьма двусмысленных покровительств.

Что это означает на политологическом языке?

А вот что *(рис. 12)*.

Следует также зафиксировать, что к моменту ликвидации своего дяди Арби Мовсар Бараев стал одним из основных чеченских террористов

новой генерации. Мало того, племянник, в отличие от дяди, сумел вписаться в престижные международные интерфейсы. Он успел, к примеру, пройти специальное обучение у арабского террориста Хаттаба. И стал его приближенным. Это притом, что на тот момент Хаттаб обладал в Чечне, пожалуй, наибольшими возможностями. Вытекающими, в том числе, из его международного статуса (обеспечивающего очень многое: от финансовых потоков до линий международных коммуникаций). Почему Хаттаб сделал ставку на Мовсара Бараева? Потому что Хаттабу как иноземцу не хватало полностью контролируемых посредников, обладающих хорошими связями внутри автохтонного чеченского общества. Сам Хаттаб не был вписан в чеченскую тейповую элиту. Это, конечно, давало ему особый «равноудаленный» статус. Но это же ограничивало его, Хаттаба, политические возможности.

Итак, Хаттаб, как говорится, «положил глаз» на Мовсара Бараева, учитывая автохтонный потенциал дяди Арби и вытекающий из этого авторитет самого Мовсара в чеченской среде. Давайте вдумаемся, что из этого с неизбежностью вытекает. У Хаттаба - одни покровители. У семьи Мовсара Бараева - другие. Глубокая связь между теми, кому оказано покровительство, вполне предполагает диалог между самими покровителями *(рис. 13)*.

Наследство дяди и опека Хаттаба помогли Мовсару Бараеву консолидировать несколько мел-

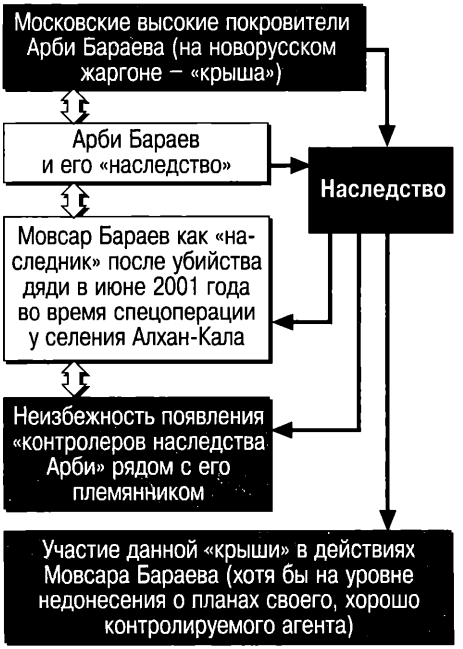


Рис. 12. М. Бараев - логика преемственности и парадоксы поведения

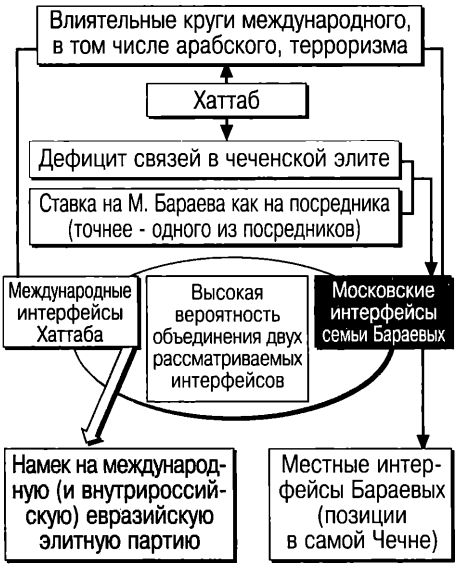


Рис. 13. «Суперпозиция»

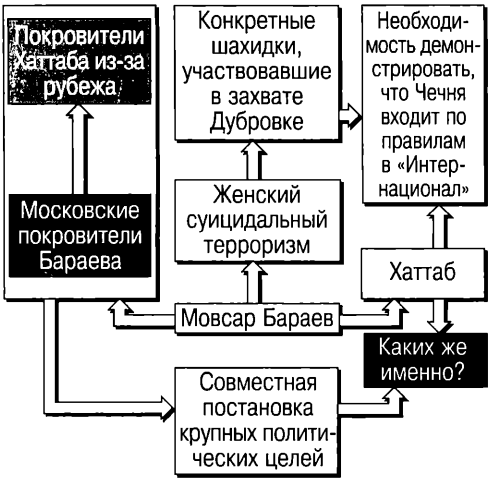


Рис. 14. Средства и цели

ких чеченских террористических групп и выдвинуться в число немаловажных фигур чеченского террористического сообщества. При этом Хаттаб поручил Мовсару Бараеву заняться новым для Чечни «ремеслом»: суицидальным терроризмом. Более того, внутри этого, нового для чеченцев, террористического ремесла Бараеву выделили совсем уж новую, почти неприличную для чеченца, «нишу»: женский суицидальный терроризм.

Нельзя сказать, что один Мовсар Бараев занялся неблагодарным занятием пересаживания арабской моды на чужую ей чеченскую почву. Этим не брезгует и другая - очень крупная и очень двусмысленная чеченская фигура - Шамиль Басаев. Но, с легкой руки Хаттаба, Бараев стал, безусловно, одним из «пионеров» в деле подготовки женщин-самоубийц *(рис. 14)*.

Мне уже случалось отмечать, что многие убитые на Дубровке женщины-смертницы были беременны. Причем примерно на одном сроке. Это мне сообщили эксперты, которым я склонен доверять. Эти же эксперты (имеющие, помимо прочего, свои источники получения информации касательно всего, что происходит в лагерях по подготовке женщин-самоубийц) утверждают следующее.

В женской чеченской субкультуре суицидального терроризма распространены адресации к индийскому фильму «Террористка», в котором Мали, террористка из тамильской группы «Тигры Тамил Илама», готовится совершить убийство индийского лидера. И в этот момент узнает, что она беременна. В результате Мали не совершает самоподрыва. «Террористка» - талантливый фильм с известными актерами и сентиментальным сюжетом. Это один из лучших продуктов индийской контрпропаганды. Тренеры в лагерях по подготовке чеченских «умных бомб» (так называет Мали в фильме ее тамильский тренер) не боятся показывать этот фильм чеченкам. Напротив, чеченок пытаются через такой показ как бы дополнительно разогреть: «Она не смогла, а вы сможете! Мы вас научим!»

Эксперты обращают внимание на то, что научить, конечно, можно. Но - трудно. Барьер суицида в ситуации беременности, конечно, можно сломать, но - для этого надо быть профессионалом высочайшего класса. Откуда может появиться такой профессионал на чеченской сцене? И как он должен себя вести, к чему апеллировать? К исламской традиции? Но она в Чечне вообще недостаточно релевантна. А применитель-

но к вопросу о женском суицидальном терроризме эта традиция, что называется, «совсем не работает». Значит, нужны какие-то искусственные построения, обладающие одновременно некоторой особой, в том числе метафизической, убедительностью. Для построения подобных конструкций, для придания им абсолютной, психопрограммной убедительности нужны совсем не чеченские психологи. И вряд ли здесь стоит увлекаться даже более вероятным чисто арабским следом.

Специалисты должны были экспортироваться из более сложных систем. К таковым я отношу систему европейскую, идущую навстречу исламу. А также систему московскую - постольку, поскольку речь идет об уже обсуждавшейся мною московской внутренней элитной евразийской партии.

Но есть ли другие свидетельства ее соучастия в происходящем?

Расколотость российской элиты мешает России решить острейшие социальные и политические проблемы. Но эта же расколотость позволяет кое-что выявить, не обращаясь к закрытым источникам, что в данном случае было бы некорректно. Дело в том, что российские элитные кланы обмениваются друг с другом через особо сконструированные для этих обменов СМИ - некими особыми месседжами. Эти послания резко отличаются от обычных статей - они начинены фактурой. Авторство подобных месседжей всегда фиктивное. Опытные эксперты сквозь это фиктивное авторство надежно верифицируют несколько «специальных перьев», создающих подобного рода послания.

Это не означает, что единственный значимый материал для верификации представлен этими посланиями особого рода. Но из соображений такта и политической корректности я буду апеллировать именно к этому, а также просто к логике происходивших событий.

События на Дубровке начались вечером 23 октября 2002 года. За четыре дня до этого, 19 октября, состоялся другой теракт. Тот, который немедленно был признан обычной криминальной разборкой и персосмыслен уже после событий 23 октября. Возможно, правильная оценка этого теракта сразу после его совершения изменила бы ход событий, и Дубровка не состоялась бы. Но правильная оценка тогда была невозможна. И не потому, что профессионалы не могли дать такую оценку, а потому, что она была не нужна.

Итак, теракт на Дубровке - 23 октября. Теракт в «Макдональдс» - за четыре дня до этого, 19 октября. Что еще (свершившееся или предотвращенное) располагалось в той же временной окрестности и осуществлялось в рамках той же причинно-следственной логики?

Специалисты утверждают, что в этом же коротком временном интервале планировались взрывы около концертного зала имени Чайковского, у ресторана «Пирамида», а также на автостоянке на Звенигородском шоссе.

Исполнять все это должна была группа чеченских террористов Аслам-бека Хасханова. Эта группа действовала в рамках того же плана, что и другая группа, которая и захватила театр на Дубровке. Из действовавших при захвате театра на Дубровке на связи с группой № 2, возглавляемой

Асламбеком Хасхановым, находился известный террорист Руслан Эльмурзаев (он же Абу Бакар).

Эти взрывы удалось предотвратить. Предотвратили их не какие-то суперспецслужбы, а простые милиционеры из МУРа. Это к вопросу о роли личности в истории. Особенно о роли, так сказать, заурядной личности - не входящей ни в какие внутренние элитные партии и просто выполняющей свой долг.



Рис. 15. Цепь терактов

30 октября такая личность обнаружила у концертного зала им. Чайковского машину «Жигули», буквально начиненную взрывчаткой. Чуть позже эта же личность обнаружила два автомобиля, начиненных взрывчаткой, на автостоянке на Звенигородском шоссе. Сходным способом был предотвращен и другой теракт.

Итак, мы имеем поле террористических наработок в узком временном пространстве. Поле это состоит из двух состоявшихся терактов и трех предотвращенных *(рис. 15)*.

Все понимают, что одно дело - единичный теракт, а другое - такая цепь. Тем более, если есть не только единая логика, но и единый субъект. А он есть! Цепь терактов осуществляли две группы террористов. Одна группа - Эльмурзаева (он же Абу Бакар). Другая - Хасханова *(рис. 16)*.

Выход на остальных произошел 22 ноября 2002 года. В этот день в подмосковной деревне Черное были обнаружены один из членов террористической группы Хампаш Собралиев, а также то самое проблематичное лицо. Им оказался бывший майор ГРУ, военнослужащий воинской части № 54607 Арман Менкеев.

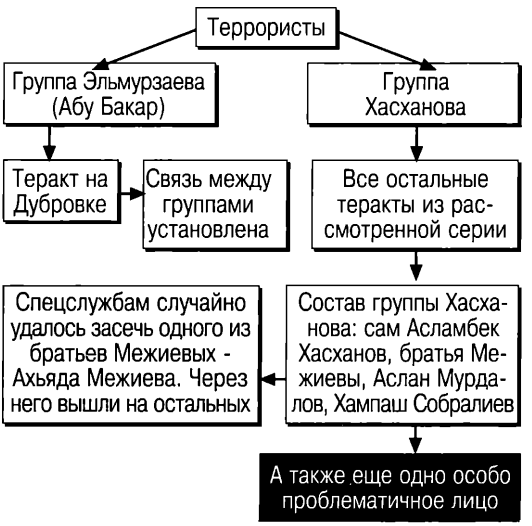


Рис. 16. Террористы

Воинская часть №54607 - это знаменитая Чучковская бригада спецназа ГРУ. В цели бригады входило:

• ведение автономной разведки в глубоком тылу противника и уничтожение мобильных средств ядерного нападения (именно появление этих средств на вооружении стран НАТО привело к созданию Чучковской бригады);

• ведение разведки в местах сосредоточения войск противника;

• проведение диверсий и организация партизанского движения в тылу врага;

• уничтожение видных военных и политических деятелей противника.

Все это в совокупности и есть тот самый нормальный терроризм, о котором не говорят из соображений политкорректности. И которого не может не быть - хотя бы в качестве подготовительных действий на случай предполагаемой войны.

Чучковская бригада, увы, не избежала участи всех военнослужащих Советской армии, испытавших на себе, с нашей точки зрения, давление бреда так называемого радикального монетаристского реформирования.

Из эксцессов, связанных с бригадой, огласку получило заявление прокуратуры в 1994 году по факту хищения сотен килограммов тротила. Опять же в этом нет ничего особенного - это просто российский быт.

Офицеры Чучковской бригады проходили прекрасную подготовку. Они в совершенстве владели всеми видами огнестрельного оружия и знаниями по подрывному делу. Арман Менкеев, родившийся в 1963 году в семье казаха и чеченки, попал в Чучковскую бригаду после службы в воздушно-десантных войсках. Воевал в Чечне. Был награжден медалью. В 1999 году вышел в отставку. Получил от министерства обороны военную пенсию в размере 1490 рублей, то есть 50 долларов в месяц. Оказался без квартиры, без средств к существованию.

В этой истории тоже нет ничего особенного. По данным Ассоциации ветеранов спецназа, в начале 1990-х годов каждый второй уволившийся из спецслужб попадал в криминальную среду.

Итак, Арман Менкеев был арестован вместе с членами группы Асламбека Хасханова. При аресте был изъят пистолет Макарова, полтора грамма кокаина. На приусадебном участке был найден пистолет Стечкина с глушителем, два аппарата полевой связи, три бинокля, две радиостанции иностранного производства и пояса шахидов. Взрывчатка и заготовки для поясов шахидов, по оценкам экспертов, идентичны тем, что использовались на Дубровке.

Вся группа Асламбека Хасханова по-прежнему остается главным обвиняемым в деле о вышеуказанных терактах. Выведен из числа обвиняемых только Арман Менкеев. Он вышел на свободу в октябре 2003 года.

В апреле того же года Генпрокуратура РФ обвинила заместителя начальника 2-й оперативно-розыскной части МУРа, полковника милиции Евгения Тараторина в разглашении следственной тайны и злоупотреблении полномочиями при расследовании теракта на Дубровке: Тараторин осмелился выступить по телевидению и рассказать о масштабе готовившихся террористических операций. И, что хуже всего, - затронул вопрос об отсутствии взаимопонимания между спецслужбистскими ведомствами.

Тараторин представлял опасность потому, что, вцепившись в дело «Макдональдса», мог докопаться до доказательств, что теракт на Дубровке - не одиночное действие одиночной чеченской банды.

Тараторин, вероятно, небезупречен. Но в нынешней России это фактически ничего не значит. А вот иногда... Арест Тараторина по так называемому «делу оборотней» состоялся 23 июня 2003 года. Через четыре месяца на свободу вышел арестованный Тараториным Арман Менкеев, а дело о «Макдональдсе» зашло в тупик.

Я привожу здесь лишь те данные, которые обсуждает широкий круг экспертов. Данные, которые в ходе взаимных месседжей выплеснулись в такие специфические органы российской печати, как «Совершенно секретно», «Версия» и т. д.

Историей Менкеева и Тараторина дело не исчерпывается. В октябре того же года та же «Версия» начинает обсуждать арест адвоката, ранее работника ФСБ, Михаила Трепашкина. И здесь снова фигурирует тема сопровождения действий чеченских террористов некими высокими покровителями.

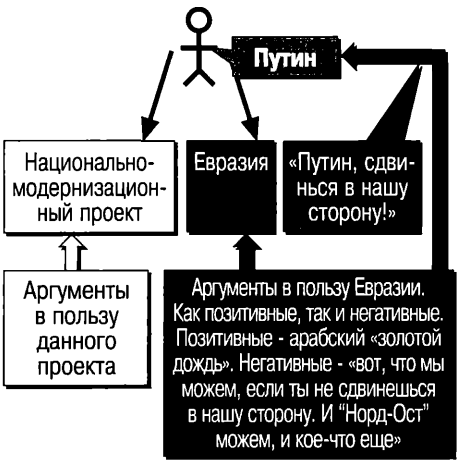


Рис. 17. Негативные аргументы

Соотносится ли вся эта моя логика рассуждений хоть както с пресловутыми расследованиями Березовского? Ничуть. Березовский пытается ухватить за руку спецслужбы и своего личного врага Путина. Я же, напротив, считаю, что все, произошедшее на Дубровке и вокруг нее, носило очевидный характер заговора против Путина. Характер несостоявшегося государственного переворота или, еще точнее, - характер негативного аргумента *(рис. 17)*.

Таковы негативные аргументы. Даже без историй со спецслужбистами (а они представляются важными) к числу этих аргументов относилось еще очень и очень многое. Что же главное из этого многого?

Первое. На Путина оказывалось беспрецедентное политическое дав-

ление с тем, чтобы он начал переговоры с Масхадовым и вывел войска из Чечни. То, что для Путина и то, и другое было бы политическим самоубийством - абсолютно очевидно.

Второе. Была организована беспрецедентная по накалу, массовости и истерике информационно-психологическая кампания в поддержку террористов, захвативших Дубровку. Она носила согласованный, неслучайный характер. Все нормы поведения СМИ во время теракта были перечеркнуты. По бесстыдности это превышало стандарты первой чеченской кампании и передач пресловутого НТВ.



Рис. 18. Аргументы

Теперь - о позитивных аргументах все той же евразийской партии. Еще раз вернусь к хронике негативных аргументов - и впишу в них аргумент позитивный *(рис. 18)*.

Мы видим, что визит в Москву принца Турки аль-Фейсала, многолетнего шефа службы общей разведки (главной спецслужбы Саудовской Аравии), состоялся день в день с терактом на Дубровке. Именно ведомство Турки аль-Фейсала финансировало и тренировало моджахедов в Афганистане. В этом смысле Турки аль-Фейсал (наравне со своими американскими и пакистанскими партнерами) является создателем нынешнего террориста № 1 Усамы Бин-Ладена. В кругах спецслужб Турки аль-Фейсал считается также создателем самого проекта «Аль-Каеда». Со времен Уильяма Кейси (главы ЦРУ при Рейгане) и в течение всего последующего периода принц Турки возглавлял проект под названием «Ислам против СССР». Но, может быть, он переменил позицию после распада СССР и крушения коммунизма? Ничуть не бывало! Именно служба общей разведки Саудовской Аравии являлась главным иностранным покровителем, вдохновителем и организатором всех действий арабских наемников в Чечне. Эта же спецслужба активно выстраивала и продолжает выстраивать радикальное исламское подполье во всех регионах России, прежде всего в Поволжье. Вообще - не надо иллюзий. Может быть, для каких-то сил в США исламское движение, выстраиваемое принцем Турки сразу на многих уровнях (знаменитый фонд «Медина» и т. п.), играло подсобную роль и было нацелено только против геополитических конкурентов. Но это не касается целей самого выстраиваемого исламско-



Рис. 19. Соотношение целей

го движения. Самый яркий пример - события 11 сентября 2001 года *(рис. 19)*.

Итак, с визитом в Москву (который готовился с июля 2002 года в условиях повышенной секретности) приезжает хозяин мощной исламской системы. О чем он собирается говорить? Только об интересах этой системы. А в чем ее интересы?

В ходе визита Турки аль-Фейсала об этих интересах говорится уже напрямую. О том, что Саудовская Аравия нуждается в новом стратегическом партнерстве. Что после 11 сентября отношения с США разорваны, что этот разрыв имеет три аспекта.

Аспект первый - нефть. Саудовская Аравия не хочет давать США никаких поблажек в вопросах поставки аравийской нефти. Между тем, США делают неловкие попытки переориентироваться на другую нефть, в том числе и на нефть России. Задача саудидов в этих условиях - не позволить России совершить подобную переориентацию. Что значит - не позволить? Во все времена это значит только одно - продемонстрировать кнут и пряник. Кнут - это демонстрация возможных действий большой исламской системы в случае, если Россия не образумится. Один из вариантов демонстрации - теракт большого масштаба (Дубровка) или даже серия терактов.

Теперь о прянике.

Аспект второй в том, что касается переориентации Саудовской Аравии, - это деньги. И эксперты на неафишируемых встречах, и журналисты соответствующей ориентации в соответствующих печатных органах России прямо пишут об этом. Саудовская Аравия, мол, вынуждена изымать свои активы из США и рассматривает возможность перемещения этих активов в Россию. Речь идет о сотнях миллиардов долларов.

Кто-то скажет, что у саудидов таких денег нет, и они ничего никуда не собираются переводить. Кто-то скажет, что если такие деньги и будут переведены, то только под вариант полного политического контроля над Россией (т. е. переведены они будут какому-нибудь исламскому ставленнику, псевдохалифу на побегушках у саудидов).

Но это все - один дискурс, а есть российская специфика. Суть ее в

том, что устоять перед обаянием сотен миллиардов долларов в России сейчас мало кто может. Это и вопрос корысти, это и вопрос идеологии. Политическому лидеру всегда могут вежливо намекнуть: «Как же так? Ждали-ждали стратегических инвестиций из любых рук, а тут инвестиции сами к нам плывут, а мы от них откажемся?»

И тут как раз приходит время третьего аспекта. Куда, по рассматриваемому мифу (или полумифу), саудиды хотят вкладывать деньги в условиях стратегической переориентации с США на Россию? Оказывается, в военно-промышленный комплекс. Ибо третий аспект (и это тоже прямо обсуждалось в России в ходе подготовки визита Турки) в том и состоит, что Саудовской Аравии нужна защита от потенциальной американской интервенции. Что? У русских проблемы с армией и ВПК? Саудиды дадут деньги, русские решат проблемы и в ответ окажут военную помощь! Подчеркиваю: я здесь ничего не выдумываю. Я фиксирую то, что обсуждалось совершенно открыто.

Значит, если русские согласятся, они получат рай земной - совершенно новое поле возможностей. А если они откажутся - они получат ад, или поле негативных возможностей.

Визит Турки аль-Фейсала в Москву готовил Григорий Львович Бондаревский. Он родился 25 января 1920 года в Одессе. В 16 лет поступил в местный университет, потом перевелся в МГУ. Уже в 1940 году (то есть в 20 лет) был рекомендован в аспирантуру. За один год написал кандидатскую диссертацию. Какая тема? «Багдадская железная дорога» (т. е. то самое евразийство - ось Берлин-Багдад). Оценка диссертации была высочайшей. Во время войны Бондаревский находился в войсках связи, действовавших в Иране. В том числе был среди тех, кто обеспечивал знаменитую Тегеранскую встречу.

В 1945 году Бондаревский демобилизовался. И - оказался в Ташкенте. Что ждет демобилизованного молодого офицера? Какая-нибудь скромная должность, наверстывание упущенного. Бондаревский прямо после демобилизации (в 25 лет, с как бы потерянными пятью военными годами) становится заместителем министра иностранных дел Узбекской ССР. И не только заместителем министра! Здесь же он создает и возглавляет факультет Востока Среднеазиатского государственного университета. То есть - годы службы в ходе войны не были потерянным временем, а создали трамплин для колоссального и почти беспрецедентного карьерного роста. Для этого за спиной должна встать мощная элитная группа! А такая группа не рассасывается. Сталин может умереть, десталинизация может произойти - но группа остается.

В 1956 году Бондаревский переезжает в Москву. Он - одна из звезд специального востоковедения. Уже в преклонном возрасте и в постсоветский период Бондаревский является советником правительства, членом экспертного совета Госдумы по безопасности, чуть ли не главным исламоведом. И по-прежнему - интеллектуальным конфидентом мощных групп в российской элите.

Бондаревский был высочайшим специалистом и блестящим оператором во всем, что касалось широкого круга исламских вопросов. Для многих он был просто непререкаемым авторитетом. И то, что именно он готовил визит принца Турки в Москву, - говорит о многом. Тем более что в списке доверительных встреч, которые должен был провести принц Турки, значились встречи с руководителями российских спецслужб.

Могут возразить, что Турки - отставник. Допустим. Кстати, когда он ушел в отставку? Наверное, важно отметить, что он ушел в отставку 1 сентября 2001 года. То есть за 10 дней до теракта в Нью-Йорке.

Кроме того, специалисты настаивают, что Турки не отставник, а, напротив, важнейший коммуникатор, один из координаторов многоаспектной политической войны, ведущейся сейчас разными международными силами против президента США Буша. Именно на такую политическую войну (то есть на поддержку конкурентов Буша в США, а не на прямую конфронтацию с США) сделана ставка после войны в Ираке.И на этом пути есть весьма серьезные продвижения.

Итак, Турки аль-Фейсал приехал 23 октября 2002 года. Обозначил свое присутствие. И тут же уехал. Те, кто знает Восток, сумеют оценить тонкость такого появления и растворения.

Турки уехал, а Путин остался наедине с проблемой теракта на Дубровке.

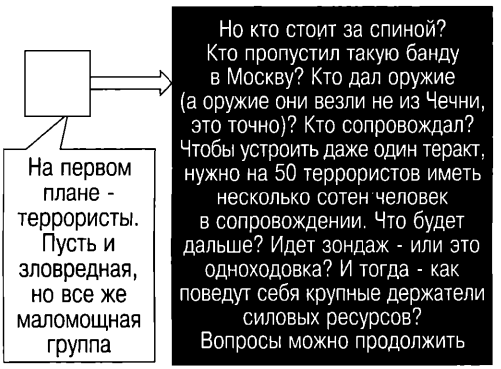


Рис. 20. Ключевая проблема

Этот теракт произвел на Путина сильнейшее впечатление. Ситуация на время превратилась в почти неконтролируемую. Потом, однако, она была взята под контроль.

В чем были трудности для Путина? Не в том, чтобы нанести удар по террористам. Путин понимал, что у него нет альтернатив. Путин человек достаточно волевой и жесткий и умеет по-бойцовски реагировать в самых критических ситуациях. Но Путину надо было эту ситуацию осмыслить, ему надо было понять, кто стоит за спиной террористической группы. А он хорошо понимал, что за спиной стоит нечто очень серьезное *(рис. 20)*.

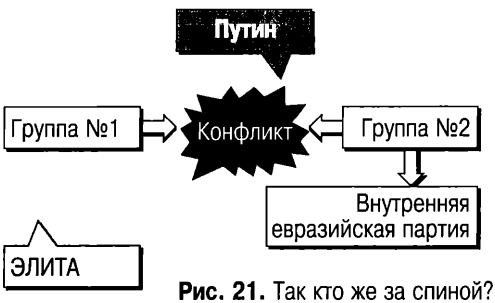


Рис. 21. Так кто же за спиной?

Ясно было, что за спиной стоит та самая группа №2, которую мы рассмотрели вначале *(рис. 21)*.

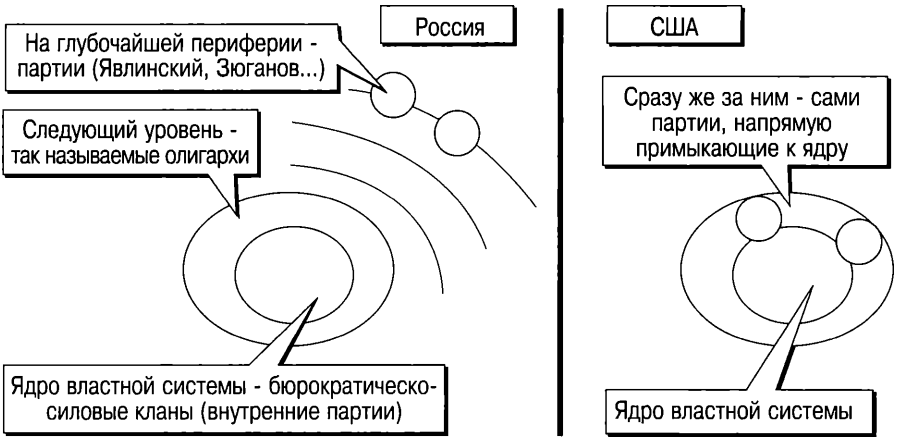


Рис. 22. Несоответствие

Внутренняя партия в России - это совсем не то же самое, что партия обычная. В России обычные партии - на глубокой периферии политического процесса. И в этом отличие России от США и других стран с реальной партийной системой *(рис. 22)*.

Иными словами, когда мы говорим о евразийской партии, мы не имеем в виду те имитации, которые производятся для решения вопросов оперативного зондажа, - евразийская партия не здесь (*рис. 23*).

Путинская оценка показала, что евразийская партия пока не переходит к фронтальной лобовой атаке. Что имеет место не война, а игра. Зондаж ситуации и возможностей.

Тогда и последовал ответ. Игровой подход объясняет многое. Например, то, почему террористки не взорвались. Ведь не пущенный газ воспрепятствовал этому, а отсутствие команды. Потому что команда давалась не Мовсаром Бараевым и не его начальниками в стане чеченских террористов. Команда давалась из места, как-то связанного с внутренней партией.

А вот что последовало за этим? *(рис. 25)*.

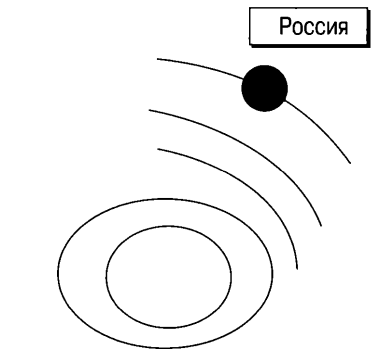


Рис. 23. Ошибка в размещении.

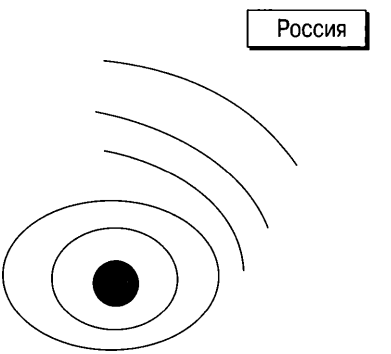


Рис. 24. Правильная позиция

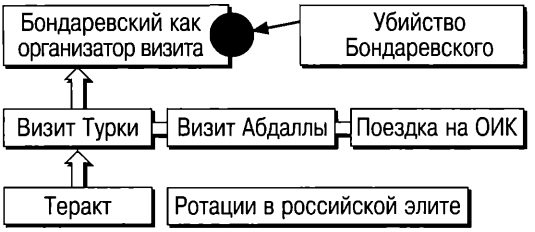


Рис. 25. Динамика

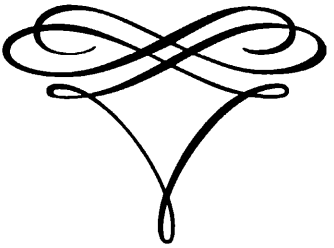
Летом 2003 года Бондаревский готовил и визит наследного принца Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдельазиза Аль Сауда, который был намечен на начало сентября. Но что-то в этом визите кое-кого не устраивало. И Бондаревский был убит 7 августа 2003 года у себя в квартире. Видимо, старая советская школа Бондаревского не предполагала определенных диалоговых конфигураций. И элита заменила фигуру на шахматной доске. Абдалла вновь развернул ту же тему: стратегическое партнерство, стратегические инвестиции, защита от США. И вновь как бы растворился. Но уже после встреч в верхах.

А затем в Малайзии произошел знаменитый инцидент. Имеется в виду пресловутый антисемитский монолог премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, произнесенный в присутствии Путина. Как говорит герой знаменитого советского фильма: «Восток - дело тонкое». И очень деликатное, добавим мы от себя. Точнее, деликатное, когда хочет. Если бы Махатхиру Мохаммаду нужно было продемонстрировать поддержку Путину, он никогда бы не допустил никаких бестактностей. Но он сделал именно то, что ему было нужно. Он хотел не поддержать, а скомпрометировать, поставить в двусмысленное положение. И именно это и сделал. Потому что если когда-то исламский мир и вся эта большая мировая Евразия и сделают ставку на что-нибудь в России, то ставленники будут другие. И это в России всем очевидно.

Но игра евразийской партии продолжается. Башкирский лидер Муртаза Рахимов находится сейчас в очень сложном положении. И очень зависим от конъюнктуры, прежде всего - от Путина. Путин сделал все возможное, чтобы с достоинством свести к минимуму инцидент с выступлением Махатхира Мохаммада. Однако Рахимов начал защищать малазийского премьера. Он что, не знает правил российской дворцовой игры? В том-то и дело, что он их знает и понимает, что за его поведением следит не только Путин, но и евразийская партия. И тут уже важно, какой страх перевесит. Это как лакмусовая бумажка, как стрелка на особых политических весах.

Стрелка колеблется. Это очень тревожные колебания. Потому что от того, где в итоге остановится стрелка, зависят судьбы наших народов. А возможно, и судьба всей нашей цивилизации.

Конечно, можно занять позицию наблюдателя. Но вряд ли это дальновидно. Да, колебания стрелки не дают особых оснований для оптимизма. Но тем важнее правильно все оценивать и адекватно реагировать на динамику важного, очень важного политического процесса.



Владимир Буковский

СОВЕТИЗАЦИЯ ЕВРОПЫ

- Известно, что ты активно выступаешь против идеи объединенной Европы. Что именно не устраивает тебя в этой идее?

- Многое из происходящего сейчас в Европе тревожит меня. Да и не только меня, а всех, кто способен видеть дальше своего носа. Фактически тут поэтапно и целеустремленно отстраиваются структуры для создания новой (а для нас - во многом старой) идеологической диктатуры. Она пока очень мягкая, но по структуре очень напоминает Советский Союз. Такая же изначально недемократическая.

Ибо что такое СССР? Это Союз Советских Социалистических Республик. А - Европейский союз? Это - союз социалистических республик. (Я окрестил его ЕССР - и кличка прижилась в определенных кругах.) Ведь до относительно недавних выборов в Италии и Австрии это был, в сущности, союз социалистических республик. И создавался он соответствующим образом - путем принуждения (хотя и не всегда явного), угрозы создания невыносимых экономических условий не желающим войти в состав ЕССР.

Согласно пресловутой доктрине Брежнева, на страны социалистического содружества, отклонявшиеся от «верного пути», оказывалось мощнейшее давление. То же самое в ЕССР. Когда Австрия сошла с социалистического пути, ее подвергли остракизму, на нее оказывали всестороннее экономическое давление, ей объявили дипломатический бойкот. Когда к власти в Италии пришел Берлускони, во Франции и Германии зазвучали такого рода заявления: «Это очень плохо, но на этот раз мы не будем объявлять бойкот». В смысле - Италии. Очень мило с их стороны!

Как управлялся СССР? Пятнадцатью членами Политбюро, которых никто не избирал и которые никому не были подотчетны. Как управляется Европейский союз? Двумя дюжинами комиссаров, никем не избираемых, которые назначают и переназначают друг друга и никому неподотчетны.

Советская модель социализма была нацелена на ликвидацию нацио-

нального государства как такового, на создание новой исторической общности - советского народа. К тому же стремятся и архитекторы ЕС, обосновавшиеся в Брюсселе, - поэтапно ликвидировать, путем поглощения, национальные государства. Чтобы не было ни англичан, ни французов, ни прочих разных шведов, а пусть будет единая историческая общность - европейцы.

Мне порой возражают, указывая на то, что СССР был идеологической системой, а ЕС создается, исходя из прагматических соображений. Однако в основе ЕС заложена довольно жесткая идеология, нетерпимая ко всем видам оппозиции. Это идеология увековечения социализма как единственно верного учения, а также идеология политкорректности, подвергающая остракизму всякого, кто ею пренебрегает. То есть уже наличествует то, что можно назвать интеллектуальным ГУЛАГом: всякий, посмевший высказать мнение, не совпадающее с насаждаемым комиссарами ЕС, - будь то вопрос о национальных меньшинствах, иммиграции, абортах, феминизме или другой - становится изгоем и в смысле карьеры, и в смысле возможности публиковаться или получить грант на исследования...

И такого рода совпадениям между СССР и ЕССР несть числа. Взять хотя бы коррупцию. Известно, что она в той или иной мере существует во всех странах. Как правило, процесс разрастания коррупции идет снизу вверх, от низовых структур, постепенно разрастаясь и усиливаясь, - к верхним. Таков «естественный» путь распространения этой болезни. Социалистическая коррупция - это нечто иное, поскольку она заложена в самой системе. Она распространяется сверху вниз. Так как советские верхи занимались распределением и перераспределением государственных благ, это не могло не сопровождаться всеми видами коррупции - сверху донизу. И что же? Сейчас полно свидетельств того, что в Европейском союзе действует в точности советская, а не «нормальная» модель коррупции.

Пока архитекторы ЕС действуют относительно мягко. Но, боюсь, это всего лишь пока. Логика развития такого рода структур и такого рода идеологии заставляет опасаться, что недалек день учреждения репрессивного аппарата. К примеру, уже вовсю идет подготовка к созданию Европола, у которого, в частности, будет право экстрадиции без суда.

- Этот Европол инкорпорирован в Интерпол?

- Нет, это совершенно иная структура, с иной нацеленностью... К примеру, у Европола будет право экстрадиции на основании 32 пунктов. Обычно законы об экстрадиции покрывают четыре-пять пунктов, а тут вон какой охват - многих можно под эти пункты подвести. Взять хотя бы статьи о «расизме» и «ксенофобии», которые прямо-таки напрашиваются на расширительное толкование.

- То есть?

- То есть, если ты активно выступаешь против дальнейшей интеграции Европы, то тебе могут пришить ксенофобию. А если ты против массовой иммиграции из стран «третьего мира», - то быть тебе расистом. Аналог статей 70-й и 190-й.

Это куда опаснее, чем может себе вообразить лишенный нашего опыта западный обыватель. Если вы попадете в компьютер в какой-либо стране как нарушитель закона за «пропаганду ненависти», вас могут вывезти под конвоем из вашей собственной страны без какого-либо предварительного слушания в суде, без возможности защитить свои права на основе законов вашей страны. Так что мне понятно, кто куда поедет.

Если это не начало ГУЛАГа - тогда что это?

- Но вот же Россия требует выдачи Березовского, а Англия не очень-то спешит...

- Если бы это зависело от Блэра, он бы давно уступил. Блэр у нас очень любит Вову, другом своим кличет. Он бы всех выдал, если бы не суд. А суд в Англии пока еще независим от властей.

...Короче говоря, Европа понемногу советизируется. Англии это тоже касается. А это уже напрямую затрагивает и меня, потому что я здесь живу. Так что Советский Союз настиг меня и здесь.

- И когда, по-твосму, все это началось?

- Началось еще в 80-х годах. А инициатором этого процесса на Западе был Социнтерн, объединяющий социалистические и социал-демократические партии Европы. Да и не только Европы. Израильские социалисты тоже там представлены.

В сущности, изначально это была идея слияния Европейского союза с советской Россией. Так называемая идея «конвергенции». Этой сладкой западной мечте уже не один десяток лет: дескать, когда-нибудь большевики вернутся в лоно социал-демократии, поумнеют, станут более гибкими, создадут социализм «с человеческим лицом». А на Западе к тому моменту социалисты окончательно придут к власти, и тогда-то и произойдет конвергенция. Исчезнет разделение мира, не будет войн, богатых и бедных, и наступит счастье на веки вечные. Стоит повнимательнее присмотреться к нынешним европейским структурам, как поразишься их схожести с соответствующими советскими. Почему? Да потому, что их умышленно отстраивали таким образом, чтобы они могли состыковаться с советскими. Горбачев первым заговорил о создании общего европейского дома. А что это такое - общий европейский дом? Я в свое время раздобыл соответствующие документы ЦК, из которых стало понятно, почему переговоры были нацелены на выстраивание европейских структур таким образом, чтобы они могли состыковаться с советскими.

- То есть в СССР эти идеи начали реализовывать при Горбачеве?

- Да. А до него Кремль и слышать не хотел об этом. Только в середине 80-х годов, когда власти осознали, что стоящие перед страной проблемы настолько велики, что без помощи Запада с ними никак не справиться, Москва пришла к выводу, что конвергенция - это выход. Вот тогда-то там и заговорили о «новом мышлении», которое не что иное, как перепевы все тех же социал-демократических идей.

Свидетельств тому много. Вот всего лишь один пример - книга бывшего члена секретариата Социалистического Интернационала Богдана

Дени «Конец холодной войны», вышедшая в 1990 году. Суть ее в том, что возможный развал Советского Союза вовсе не означает окончательного поражения левых в Европе, не означает, что теперь на авансцену должен выйти «дикий капитализм». Если левые, дескать, консолидируют свои силы и возьмут под контроль проходящие в Европе процессы, если они скоординируют свои действия с Советским Союзом в нужном направлении, то они смогут обратить поражение в победу. Такова основная мысль этой книги, опубликованной, напоминаю, еще в 1990 году.

И что характерно - Горбачев, встречаясь с западными лидерами социал-демократического толка, то и дело поднимал вопрос о сотрудничестве в построении общего европейского дома. Вот всего лишь один пример. В ноябре 1989 года тогдашний министр иностранных дел Франции Ролан Дюма и Горбачев на встрече обсуждали вопрос о синхронности реализации этого плана (обсуждали, так сказать, вообще, стратегически, - как и положено государственным мужам; тактику, детали потом прорабатывают чиновники рангом пониже). Дюма: «Ну что ж, мы в Европе уже сумели построить первый этаж этого дома». Горбачев: «Нет, это еще не весь этаж, это только пристройка к нему». Дюма соглашается: «Да, можно сказать, что это пристройка, но она возникла в процессе возведения и других этажей. У нас должна быть общая архитектура, общая концепция, и нам надо построить все эти этажи так, чтобы они соответствовали один другому».

- Говоря о Европе, ты имеешь в виду все европейские страны?

- Не все, но многие - в той или иной мере. Но прежде всего это Франция и Германия.

Я пытаюсь что-то делать - езжу по разным европейским странам, встречаюсь с нужными людьми и организациями. Их, кстати говоря, много - тех, кто понимает, чем нам всем грозит этот проект. Их здесь называют «евроскептики». В Англии даже есть партия, вполне влиятельная, - United Kingdom Independence Party. Я знаю все эти организации и в постоянном контакте с ними. К сожалению, объединение их - дело трудное. Но, ты же знаешь: наша судьба - браться за безнадежные дела. Которые, как потом оказывается, не столь уж и безнадежны.

- А как тебе результаты недавних выборов в России?

- Ничего неожиданного не произошло. Может, сам Путин и не хотел такой слишком уж очевидной демонстрации своей всесильности, но у всякого процесса есть своя инерционная логика, а у всякого самодержца есть лакеи, холуи, которые норовят опередить «прогресс».

- Не чревато ли это возвращением к советским временам?

- В полной мере это невозможно. В принципе. Как вообще ничего нельзя вернуть назад. Ситуация не та, времена не те, не те уже люди... Мне и раньше случалось не раз говорить об этом. Например, как можно восстановить советский режим, не закрыв страну? Не говоря о прочем, рухнет весь бизнес. Да и технически это невозможно. Взять хотя бы границу с Украиной... А что делать со спутниковым телевидением,

Интернетом? Это какой же институт террора нужен?! А для его создания надо иметь определенную критическую массу фанатиков. И где их взять, если даже ГБ коррумпировано сверху донизу. Ну вот, например, придут они сейчас ко мне с обыском, я им скажу: «Ребята, вот вам пять тысяч долларов. Уйдете отсюда?». Они - мне: «Дай десять - уйдем»... В стране, которая полностью коррумпирована, широкомасштабный, систематический террор невозможен.

- Насколько, по-твоему, неизбежно было то, к чему Россия сейчас пришла?

- Трудно сказать. Но шанс направить события в иное русло был упущен дюжину лет назад. Решающие годы были 90-91-й. Тогда была возможность полностью демонтировать советскую систему. Устроить аналог Нюрнбергского трибунала над коммунистами (о чем мы и говорили Ельцину), демонтировать КГБ. А Ельцин отдал ГБ в руки Бакатина, который всего лишь принялся расчленять комитет: пограничников отдельно, разведку отдельно... Я говорил Бакатину, что это - напрасные хлопоты. Зубы дракона так не уничтожишь. И вот они снова выросли… Я это в известной мере почувствовал на себе - мне, например, вот уже 8 лет закрыт въезд в Россию. Визу не дают. Видать, старые мои опекуны позаботились. Саша Литвиненко - бывший подполковник ФСБ, а теперь лондонец - рассказывал мне, что в училище КГБ они два дела по косточкам разбирали: по внешней разведке - Пеньковского, а по внутренним делам - мое. Он это помнит, и они - тоже.

Вопреки популярной на Западе иллюзии, Россия вовсе не на пути к демократии и рыночной экономике. Все, кто хотел что-то понять, могли бы прийти к верному заключению еще во время последних президентских выборов, в ходе которых народу дали возможность выбирать между коммунистом Зюгановым и полковником КГБ Путиным. Это и есть демократия по-российски.

Никуда не денешься, надо признать, что КГБ победил. После десяти лет колебаний, нерешительных реформистских попыток власть вручили КГБ, и тот принялся стремительно восстанавливать свой контроль над всей страной, а заодно и вернули былую советскую символику - гимн и красный флаг в армии. Независимые СМИ закрываются одно за другим. Десять лет в России не было политзаключенных - теперь они есть...

В начале 90-х казалось, что сторонники базисных реформ сумеют чего-то добиться. Но это только издалека так казалось, - стоило мне побывать там, как я почувствовал, что дальше словоговорения дело не пойдет. Не было решимости победить. И в этом вопросе, я считаю, что старина Макиавелли был прав, сказав: начав войну, необходимо наголову разбить врага; нельзя оставлять его в живых, раненным и кровоточащим, - это слишком опасно. Война не может считаться выигранной, если ваши враги остались у власти. Давайте представим себе, что в 1955 году (десять лет спустя после Второй мировой войны) бывший гестаповский офицер избран канцлером Германии и публично провозглаша-

ет, что он гордится своим прошлым (как это сделал Путин). Или - чтобы бывшие нацистские коллаборанты (подобно бывшим западным коммунистам) организовывали по всей Европе массовые демонстрации в защиту военных преступников. Посчитали бы мы, что Вторая мировая война окончилась победой западной демократии? Конечно же, нет.

И невозможным это оказалось потому, что нацисты были разбиты и отстранены от власти, а сам нацизм был осужден Нюрнбергским трибуналом, и в Германии была осуществлена денацификация.

А поскольку советская система не была демонтирована, множество былых структур осталось нетронутыми. Более того, сохранилось прежнее мировоззрение у большинства народа, так как он не воспринимает падение старого режима как естественное и неизбежное. Такого рода взгляды более всего укоренены среди военных, в ФСБ и в среде государственной бюрократии. В результате Россия сегодня - шизофреническое государство, одна нога которого в прошлом, а вторая в воздухе.

Тип теперешних правителей - тот же самый, старый. Большая часть их - бывшие сотрудники КГБ районного масштаба, со всем набором комплексов, свойственных такого рода людям. Они коротают время, уверяя друг друга, что Россия все еще великая держава, и, подобно всем гангстерам, жаждут, чтобы им оказывали уважение.

Но основная проблема все-таки в том, что в России так и не сформировалось гражданское общество. Это тоже было упущением начала 90-х годов. Тогда нужна была конфронтация с властью, а общество испугалось. Режим рухнул сам. А нужно было размежевание, стенка на стенку - тогда появились бы новые структуры, новые лидеры. То есть нужно было пройти через серьезную конфронтацию с властными структурами. И люди были готовы к этому, но некому было бросить клич. Я приехал в Россию первый раз в 91-м году. Страна кипела. А в Москве интеллигенция говорила разговоры. А в Верховном Совете - я там побывал - обсуждают, кому когда выступать. Мы предлагали объявить всеобщую забастовку. Да куда там!.. Кровопролитием, дескать, пахнет. Но, уверен, что до крови дело бы не дошло. Это была всего лишь отговорка. И в результате - был упущен уникальный исторический момент. А теперь Россия плетется в будущее со старой номенклатурой во главе. Но придет она лишь к дальнейшему развалу страны, но не по национальному принципу, а по экономическому. Я об этом еще в 93-м году писал и с Бжезинским это обсуждал, - он потом эту идею подхватил.

У этого процесса есть историческая причина. Российская государственность так толком и не сложилась. Правильно писал Ключевский, что Российская империя сформировалась в результате того, что народ бежал от власти, а власть бежала за ним. Народ бежал от крепостного права, от рекрутчины, по религиозным причинам, а власть за ним гналась. Так добежали до естественных границ - Китай, Персия, Турция… Ведь кто такие казаки - беглые крестьяне. Поэтому и не сложился фундамент государственности. Например, Англия - маленькая страна, тут далеко не

убежишь. Вот дошли здесь до естественных границ, и общество стало воевать с властью. Так появилась Великая хартия, ограничившая власть абсолютного монарха. А российская реакция была - не сопротивляться власти, а бежать от нее, благо было куда. В результате Российское государство строилось с крыши, а не с фундамента. У нас никогда не было местного самоуправления.

Возьмем, к примеру, Америку. Что там происходит в Белом доме, половина страны и не знает, и не интересуется. Потому что не в Белом доме решаются жизненные проблемы страны. Все решается в каждом штате, им, в общем, Вашингтон не очень нужен. Когда нет развитой системы местного самоуправления, страна обречена. Не может страна, раскинувшаяся на 12 часовых поясов, нормально жить, если ею руководят из Кремля. Тебе надо срочно дорогу провести, а надо ждать разрешения из Москвы.

До революции пытались решить эту проблему, создали земства, но большевики все это развалили. В результате Россия практически распалась к 1918 году. Ленин с Троцким склеили эти куски - штыком, террором, демагогией. И этот полутруп прожил 73 года. СССР никогда не был живым государством. Меня всегда поражало в молодости, насколько это все мертвечина. Как только центральная власть ослабла, все вернулось к сценарию 1918 года. Так в истории всегда бывает - на чем она прервалась, к тому и вернулась. И все начало распадаться. А поскольку реформ не предвидится, то будет дальнейшая фрагментация.

Например, зачем Дальнему Востоку Москва? И вот как-то вечерком местный губернатор сидит с местным командующим военным округом. Как водится, выпивают. «Иван Иваныч, - спросит командующий, - вам Москва что-нибудь дает?» - «Нет, только налоги выжимает. А вам?» - «Даже сапоги не шлют». - «Так что мы дурью маемся? Давай я буду правительством, а ты - командующим армией». Что сделает Москва? Пошлет войска? Солярки не хватит. Все распадется, когда еще более ослабнет центр, а это произойдет, когда упадут цены на нефть.

Страна нуждается в федерализации - чем больше ты дашь местному самоуправлению развиться, тем лучше это будет для страны. А Путин, наоборот, - ищет спасения в укреплении вертикали власти. Ай да молодец! Мы тут ломаем головы, на какие части распадется страна, а он создал семь регионов, и теперь мы знаем, на какие куски она распадется. Он же не понимает ничего, кроме своих гебистских дел.

- В 80-х годах ты, помнится, был частым гостем в Белом доме, и к тебе прислушивались в самых высоких кабинетах...

- То были иные времена... Теперь я туда не ходок. Тем более что на всей территории Белого дома запрещено курить.

(Вопросы задавал Эдуард Кузнецов)

Владимир Прибыловский
Юрий Фельштинский

ОПЕРАЦИЯ «НАСЛЕДНИК»

Штрихи к политическому портрету В. В. Путина

ГЛАВА ПЕРВАЯ*
WHO IS MR. PUTIN

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ БИОГРАФИЯ

9 марта 2000 года при взлете в Шереметьевском аэропорту в Москве разбился самолет Як-40, на борту которого находилось девять человек: президент холдинга «Совершенно секретно» Артем Боровик, глава холдинга АО «Группа Альянс», чеченец по национальности Зия Бажаев, два его телохранителя и пять членов экипажа.

Як-40, около года назад арендованный Бажаевым у Вологодского авиапредприятия через столичную авиакомпанию «Аэротекс», должен был лететь в Киев. В сообщении комиссии по расследованию происшествий на воздушном транспорте говорилось, что вологодские авиатехники перед взлетом не обработали самолет специальной жидкостью против обледенения, а его закрылки были выпущены всего на 10 градусов при необходимых для взлета 20 градусах. Между тем утром 9 марта в Шереметьево было всего четыре градуса мороза, без осадков, и обрабатывать самолет жидкостью «Арктика» не было необходимости. Кроме того, Як-40 без проблем можно было поднять в воздух и при выпущенных на 10 градусов закрылках: удлинился бы разбег, и взлет стал бы «ленивым». Судя по тому, что самолет рухнул примерно в середине взлетной полосы, которая в Шереметьево имеет длину 3,6 км, разбег у самолета был штатный - около 800 метров.

* Глава из книги, которую авторы намерены завершить в ближайшие месяцы.

Сразу же после гибели Боровика и Бажаева в СМИ было высказано предположение, что катастрофа не была несчастным случаем и что взрыв самолета организовали российские спецслужбы. Дело в том, что Боровик (через Бажаева) в эти дни активно собирал материал о детстве Путина, причем публикация этого материала должна была состояться 12 марта 2000 г., перед самыми президентскими выборами. Что же собирался опубликовать Боровик? Чем были так встревожены Путин и те, кто продвигал его к власти?

Боровик располагал информацией о том, что настоящей (биологической) матерью Путина является не Мария Ивановна Путина (Шеломова), 1911 года рождения, а совсем другая женщина - Вера Николаевна Путина, 1926 года рождения, уроженка города Ачора (Пермской области), по сей день проживающая в селе Метехи, Каспского района Грузии, примерно в часе езды от Тбилиси. С трех до девяти лет жил в Метехи и нынешний президент России Владимир Владимирович Путин.

Под видеозапись Вера Николаевна рассказала следующее:

Происхождением я с Урала. Там же получила образование в техникуме. Во время учебы я познакомилась с одним парнем. От него в 1950 году я родила Вову. Его отца я даже не хочу вспоминать. Он меня обманул. Я уже была беременна, когда узнала, что у него есть семья. Я сразу же ушла от него. Целый год Вову фактически растили мои родители. Потом, когда я была на практике в Ташкенте, я познакомилась с моим [нынешним] мужем, Георгием Осепашвили. Он был в армии тогда. Когда я вышла за него замуж, мы переехали в Метехи, и через некоторое время моя мать привезла Вову сюда. Тогда ему было три года.

Но вскоре, когда у нас пошли собственные дети, муж был недоволен, что Вова находится здесь. Бить он его не бил, просто не хотел, чтобы Вова находился здесь, - кто хочет чужого ребенка? Один раз сестра мужа даже тайком от меня отдала Вову какому-то бездетному майору. Я его еле отыскала и вернула обратно. Пришлось отвезти Вову к моим родителям, которые хотели, чтобы я сохранила свою новую семью. Фактически получилось, что я поменяла Вову на девочек. После этого я больше не видела Вову, хотя постоянно искала его и спрашивала у родителей - где он. Никто ничего мне не хотел говорить. Позже я узнала, что Вова, уже будучи в КГБ, запретил всем говорить мне, где он находится.

<...> Я, конечно, слышала, что Вова работает в КГБ, а потом в правительстве России. Иногда о нем говорили мои дочери, постоянно говорят мои односельчане. Но теперь его детство засекречено, и он не хочет признавать во мне мать. <...> Здесь ко мне приезжали люди из КГБ, они забрали все мои семейные фотографии и сказали, чтобы я никому не говорила о Вове[1].

В 24 февраля 2000 года пространное интервью с В. Н. Путиной опубликовала тбилисская газета «Алиа». В основном своем корпусе оно базировалось на той же видеозаписи:

- Вы уверены, что и. о. президента России В. Путин - ваш сын?

- Не знаю, что сказать? Во-первых, я это чувствую. При этом он похож на меня. <...>И то наводит на подозрение, что отчество то же, его же имя - он Владимир Владимирович.

- Там, в документах, как было зафиксировано имя отца?

- Никак. Я дала ему мою фамилию, и везде он был просто Владимир Путин.

Чуть позже В. Н. Путина назвала в интервью имя отца Володи: Платон Привалов. Образование метехский Володя Путин получил в местной средней школе. Удалось побеседовать и с одноклассниками Путина. Так, бывший его одноклассник начальник проектной организации Каспского района Габриэль Даташвили рассказал, что дружил с Володей и что в классе оба они были отличниками:

В школе мы оба были отличниками и очень дружили. Кроме меня у него фактически не было друзей. <...> Он был очень тихим, скрытным ребенком. После уроков часто уходил на рыбалку или приходил ко мне, и мы играли вместе: в войнушки, фехтовали, в лахти играли и боролись. У меня была одна фотография, он мне подарил ее, когда уезжал отсюда. Там была такая надпись: «На память Габриэлю от Вовы». <...> Если Путин помнит период жизни в Метехи, он должен помнить и меня.

Продолжение интервью с Даташвили также опубликовано в газете «Алиа»:

- Опишите физически вашего одноклассника Вову.

- Маленький, слабый мальчик, русые волосы и голубые глаза. <...> Потом его мать, г-жа Вера Путина, увезла его обратно в Россию к своим родителям. <...> Как я знаю, причиной этого были трудности в семье. Вдобавок у г-жи Веры появились новые дети. Когда Вову увезли в Россию, уже были две девочки: Софья и Люба. Потом, в 1961 году, родился мальчик, после него еще две девочки.

- То есть у Владимира Путина четыре полусестры и один полубрат?

- Так выходит.

Один из жителей Метехи рассказал, что во время рыбалки Путин сильно поранил палец:

- Вова стоял у школы и навзрыд плакал. В подушечке указательного пальца левой руки торчал крючок для ловли рыбы. Его нельзя было вытащить, если не вырвать кусок мяса. Кровь лила ручьем. «Не бойся, сынок, пройдет», - говорил я, успокаивая его, и в это время вытащил крючок, но рана была такая, что не могла не оставить шрама.

Еще одной особой приметой были две явные выпуклости по углам лба (прикрытые прической). Говорили, что метехские школьники из-за этого даже дразнили Володю «чертом».

В параллельном классе с Путиным училась Дали Гзиришвили:

- Он был маленьким, слабым ребенком, с резкими, как у матери, дви-

жениями. Я даже не знала, что его зовут Владимир. Называла просто - Вова, и все звали его таким именем. А мать называла его Вовкой. <...> Я уверена, что и. о. президента России - наш Вовка. Не может быть, что это не он. Очень на мать похож.

Нора Гоголашвили, преподавательница начальных классов, так вспоминала своего ученика Путина:

- Тихий, грустный, замкнутый ребенок. Из игр больше всего любил борьбу. Почти всегда был чем-то недоволен. Физически не работал, но очень хорошо учился. В семье было очень трудно. <...>В школу Вова ходил в штопаной одежде. Его называли моим приемным сыном. Если его кто-нибудь обижал, его защитником была я. Я очень его жалела. <...> Очень жаль его было. Как кошка прилипал ко мне.

Самбист Олег Иадзе, тоже из Метехи, встречался с будущим президентом на соревнованиях по самбо:

- Да, был случай, когда встречались. Но он с самого начала был угрюмым и замкнутым. Здоровался лишь в том случае, если с ним здоровались. Представляете, такие отношения у него были и с русскими. Холодная личность. Чтобы подойти и самому заговорить, это было не в его природе.

- А вы сами не заговорили с ним?

- Нет. Я же сказал, очень замкнутый человек. Тогда он работал в КГБ и молчал как могила. Я видел его только на соревнованиях. <...> Между прочим, был такой случай, его полусестра звонила его дяде, и тот сказал, что Вова в российском правительстве стал большим человеком. Но тот ли Вова Путин, исполняющий ныне обязанности президента России, трудно сказать. Но на метехскую Путину похож, как две половинки яблока. Вот это я могу сказать.

Правда, здесь имеются расхождения. В ряде публикаций указано, что Путин подошел к Иадзе, поздоровался и сказал: «С Метехи и меня кое-что связывает»[2]. Очередной приезд журналистов к В. Н. Путиной пришелся на 11 марта 2000 года - день похорон Артема Боровика. Вера Николаевна, похоже, понимала, что из-за информации, которой она владеет, начинают гибнуть люди. «Я боюсь, что из-за меня Володя не станет президентом», - сказала она. Журналистов было два десятка, в том числе с российского НТВ. Проверили паспорт В. Н. Путиной, метрику, фамилии родителей, еще раз уточнили имя отца Путина - Платон Привалов. Всё происходящее записывалось на пленку несколькими камерами, в том числе НТВ (репортаж НТВ так никогда и не был показан).

Побывали журналисты и у сестры Путина (по материнской линии) Софьи (Софико) Георгиевны Осепашвили, 1954 года рождения, медработника туберкулезной больницы в Тбилиси. Посмотрев на фотографию 14-летнего Путина, опубликованную к тому времени в книге «От первого лица», Софья сказала:

- Посмотрите на него и на меня - если это не мой брат, покажите мне моего брата. <...> Я посылала ему телеграммы в Ачору, в его комиссариат. Сначала мне говорили, что такого Путина у них нет, а потом сказали, чтобы я его больше не искала. Оказывается, он в это время уже работал в КГБ.

Итак, В. Н. Путина отвезла сына к своим родителям: Анне Ильиничне и Михаилу Илларионовичу. Те, в свою очередь, почти сразу передали его своему бездетному родственнику Владимиру Спиридоновичу Путину, который и стал приемным - согласно этой версии - отцом будущего президента России. Владимир Спиридонович увез Володю в Ленинград, а Вере Николаевне сказали, что сына отдали в интернат[3].

В плане образования годы обучения в местной грузинской школе оказались потраченными впустую. В Ленинграде вместо четвертого класса Володя, которому через месяц с небольшим исполнялось 10 лет, пошел 1 сентября 1960 года в первый класс. Именно тогда пришлось изменить год его рождения в метрике, с 1950 на 1952, видимо, чтобы не травмировать ребенка. С этого момента и ведет отсчет официальная биография Путина: с 1 сентября 1960 года.

После публикации первой статьи о матери Путина в грузинской газете «Алиа» осторожная московская пресса заметалась. С одной стороны, тема достаточно сенсационная. С другой - все-таки будущий президент. Первая публикация появилась на следующий день после выхода «Алии» - 25 февраля 2000 г. В газете «Сегодня» в статье «Мать лейтенанта Шмидта» тбилисский автор Михаил Вигнанский с подкупающей добросовестностью описал, как «десятки людей осаждают президентскую администрацию и редакции газет, утверждая, что они родственники и. о. президента», и что даже в такой стране, как Франция, «некий человек в 80-е годы направлял длинные послания в различные государственные службы, утверждая, что он родственник экс-президента Валери Жискар д'Эстена».

28 февраля 2000 года агентство «Има-Пресс» сообщило, что в Грузии, кроме матери и. о. президента России, проживающей в Метехи, объявилась еще и родная сестра Путина - 48-летняя Софико Осепашвили (дочь В. Н. Путиной).

Добросовестный Вигнанский и на эту статью откликнулся почти немедленно: 1 марта 2000 года он опубликовал в «Сегодня» статью «У и. о. президента России в Тбилиси есть и. о. сестры».

Пришлось высказываться по поводу родства Путина и тогдашнему президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе, которого осаждали журналисты. Он предложил предоставить Путину «право самому разобраться в этом вопросе»[4].

2 марта статью под названием «Сколько матерей у Путина?» опубликовал «Собеседник». Газета провела «собственное расследование» и «официально заявила»: «Владимир Путин родился и вырос в городе на Неве». И все-таки из пространной статьи никак не вытекало, что Путин родился и вырос в Ленинграде.

Но сначала: официальная биография Путина.

БИОГРАФИЯ ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, русский. Был третьим ребенком в семье (два первых сына его родителей умерли в младенческом возрасте - первый перед войной, второй - во время блокады, от дифтерита).

Отец, Владимир Спиридонович Путин, родился в 1911 году в Санкт-Петербурге, откуда вся его семья уехала в начале Первой мировой в село Поминово Тверской области. Мать Мария Ивановна Путина (в девичестве Шеломова) родилась в соседнем селе Заречье, также в 1911 году. Отец служил в Красной Армии подводником, в довоенной юности был деревенским комсомольским активистом. Родители Путина поженились в 1928 году; перед войной переехали из Тверской области в Петергоф. С началом войны отец пошел на фронт добровольцем, служил в истребительном батальоне НКВД. Мать в начале блокады с помощью своего брата Ивана Ивановича Шеломова, морского офицера (умер в 1973 году), перебралась из Петергофа в Ленинград.

Дед по отцу, Спиридон Иванович Путин, всю жизнь работал поваром (сначала в подмосковных Горках, «где жил Ленин и вся семья Ульяновых. Когда Ленин умер, деда перевели на одну из дач Сталина... И Сталина тоже пережил и в конце жизни, уже на пенсии, жил и готовил в доме отдыха Московского горкома партии в Ильинском»[5]. Дед умер в 1979 году, бабка, Ольга Ивановна, - в 1976 году. Предки Путина по прямой отцовской линии жили в Тверской области с начала XVII века в селах Тургиново и Поминово. Первый известный предок Путина, бобыль Яким Никитин, жил в деревне Бородино Тургиновского прихода и был крепостным боярина Ивана Никитича Романова, дяди царя Михаила Федоровича. Бабка по матери, Елизавета Алексеевна Шеломова, была смертельно ранена случайной пулей во время наступления немцев в Тверской области в октябре 1941 года.

В 1950-е годы Путин-старший служил в военизированной охране Ленинградского вагоностроительного завода им. Егорова, позже работал мастером на этом же заводе, был секретарем партбюро цеха. М. Путина работала после войны санитаркой, дворником, приемщицей товара в булочной, сторожем, уборщицей в лаборатории. Оба умерли от рака, мать - в начале 1999 года, отец - 2 августа 1999; похоронены в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.

ОБРАЗОВАНИЕ

С 1960 по 1968 годы Путин учился в школе-восьмилетке № 193 на канале Грибоедова в Ленинграде, был председателем совета пионерского отряда. После 8-го класса поступил в среднюю школу № 281 в Советском переулке (спецшкола с химическим уклоном на базе Технологического

института), которую окончил в 1970 году. В 1970 году поступил на международное отделение юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ), которое окончил в 1975 году. Тема дипломной работы: «Принцип наиболее благоприятствуемой нации в международном праве». Кандидат экономических наук (тема диссертации, защищенной 27.6.1997 года в Санкт-Петербургском Горном университете: «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений»).

В ЛГУ Путин вступил в КПСС и оставался ее членом до августа 1991 года. В 1985 году окончил московскую Высшую школу КГБ («101-я школа»; она же - Краснознаменный институт им. Ю. В. Андропова; ныне - Школа внешней разведки).

ПОТЕРЯННЫЕ ГОДЫ

Согласно официальной биографии, Путин родился 7 октября 1952 года, когда его матери Марии Ивановне Путиной был 41 год, что случалось довольно редко. В Советском Союзе женщины в таком возрасте, как правило, не рожали. В школу Володя пошел в первый класс в Ленинграде 1 сентября 1960 года, когда ему было почти 8 лет. Его школьный ленинградский друг Вячеслав Яковлев - один из немногих свидетелей того, что Путин рос в Ленинграде, - утверждал: «грузинского периода у и. о. президента быть не могло, потому что мы вместе учились с 1 по 10-й класс. С Володей мы пошли в первый класс 193-й школы в 1959 году. Помню, он пришел с мамой, неся огромный букет роз. Жили мы тогда в одном дворе и вместе ходили в школу и домой. Кстати, до школы я Володю тоже видел во дворе с родителями»[6].

Это единственная не слишком убедительная фраза о дошкольном периоде Путина. К тому же, Яковлев ошибся на год, видимо, прибавив стандартные 7 лет к 1952 году рождения Путина. Путин пошел в первый класс 193-й школы не в 1959, а в 1960 году.

Правдоподобнее звучит другое свидетельство. «У нас с Путиным разница в четыре года. Мне, наверное, лет двенадцать было, когда я его впервые заметил во дворе», - вспоминал сосед Путина по переулку Вячеслав Ченцов[7]. Иными словами, до первого класса, до восьми лет, во дворе Путина не помнили.

Согласно неофициальной биографии Путина, он родился 7 октября 1950 года, когда его матери Вере Николаевне Путиной было 24 года. В школу Володя пошел в Метехи и учился там с 6 до 9 лет, закончив три класса. И именно по этой причине три года из жизни Путина необходимо было «потерять». Их удачно потеряли следующим образом. В Метехи Володя пошел в школу 1 сентября 1957 года, когда ему почти исполнилось семь лет. По окончании третьего класса, летом 1960-го, Володе было 9 лет. Затем Володю отправили к родителям Веры Николаевны и вскоре - к его

новым родителям. К 1 сентября 1960 года Володя уже жил в Ленинграде, и 7 октября 1960 года ему исполнялось 10 лет. В этот момент и была переписана метрика Путина с 1950 на 1952 год рождения. Когда Володя 1 сентября 1960 года пошел в ленинградскую школу, ему снова было 7 лет (7 октября 1960 года, согласно метрике, Володе исполнилось восемь).

Кстати, газета Артема Боровика «Версия» все-таки опубликовала статью о грузинском периоде жизни Путина под названием «Генацвале Путин». Случилось это 25 апреля 2000 года[8]. Путин к тому моменту уже был избран президентом, а Боровика с Бажаевым похоронили. Политической остроты в публикации этого не было. Статья повторяла многое из ранее публиковавшегося, но была и новая информация:

Отправляясь в экспедицию в село, Ваха Ибрагимов взял с собой фотографию 14-летнего Володи Путина - из книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным», недавно опубликованной издательством «Вагриус». Это самая ранняя известная фотография будущего президента России. Первым делом фотографию показали Вере Николаевне Путиной.

- Вы знаете этого мальчика?

Видеокамера фиксирует: у женщины начинают трястись руки, она плачет.

- Где вы взяли? - тянется к фотографии. - Отдайте мне!

- Кто это?

- Он, он. Это он!

Снимок показывают Софье Осепашвили, сводной сестре Володи Путина.

- Ну что вы меня спрашиваете? Посмотрите на него и на меня!

Несомненно, они похожи. У Софьи сохранился другой снимок, здесь Володе семь лет. Снимок сохранился лишь потому, что Софья живет в Тбилиси, а не в Метехи. В январе 2000 года в село приезжали сотрудники МГБ Грузии, они, по словам сельчан, выспрашивали все о Володе Путине. Сотрудники МГБ забрали у Веры Николаевны фотографии ее сына и предупредили: она не должна никому рассказывать о нем. <...>

Дали Гзиришвили- сверстница Володи. Они жили по соседству.

- Вы узнаете этого мальчика?

- Это он, Вовка. Он был такой белобрысый, волосы ежиком. Я знала, что он не Георгия сын. Было его очень жалко, я помогала ему, они жили очень бедно. Приносила ему яблоки, груши, виноград - все, что могла. Он всегда брал. Мы вместе играли у реки в лахти, в бурти. Он был грустный такой, часто уходил на рыбалку. Ему дядя Гоги вытащил крючок, застрявший в руке. Должна была остаться отметина. Он очень злился и плакал, когда его материли. Сельчане знали, что это злит его, и материли, а он злился и плакал. Здесь, на фотографии, он постарше, но это он, точно он.

Нора Гоголашвили, школьная учительница, тоже узнает Володю по фотографии.

Дядя Гоги, тот самый, что вытаскивал рыболовный крючок из руки

мальчика, обижается, когда его переспрашивают, уверен ли он, что на снимке Володя Путин.

- Да, да, он! Я ему вытаскивал крючок, он очень плакал. Я его обнял, успокоил и крючок вырвал. Должен был остаться маленький шрам. Вот здесь! - дядя Гоги показывает на подушечку указательного пальца левой руки.

Володя Путин, живший в селе Метехи, занимался борьбой - чтобы научиться защищаться от людей, от их насмешек и издевательств. Сотрудник КГБ Владимир Путин преуспел в самбо и дзюдо. Володя Путин, живший в селе Метехи, проводил дни у реки с удочкой в руках, уединяясь от людей. Майор внешней разведки Владимир Путин, будучи резидентом в Германии, состоял в дрезденском обществе рыболовов-любителей. У Веры Николаевны Путиной походка странная, характерная, «утиная». Избранный президентом Владимир Путин сам иронизирует по поводу своей «утиной» походки[9].

ПУТИН В КГБ

После окончания ЛГУ в 1975 году Путин был по распределению направлен в КГБ СССР и около 5 месяцев работал в секретариате Ленинградского управления КГБ, где, по его словам, «подшивал дела какие-то»[10]. С февраля по июль 1976 года он учился на курсах переподготовки оперативного состава, после этого полгода, до начала 1977 года, работал в Ленинградском УКГБ, по его словам, в «контрразведывательном подразделении... занимался иностранным элементом»[11], а по свидетельствам сослуживцев, - в «пятерке», 5-м отделе Ленинградского УКГБ, входившем в систему Пятого Главного управления, которое курировало «борьбу с идеологическими диверсиями противника» и слежку за диссидентами. Затем он обратил на себя «внимание сотрудников внешней разведки», после чего получил предложение перейти в Первое Главное управление (ПГУ, внешняя разведка) и был направлен на годичные курсы переподготовки в Москву. По возвращении в Ленинград «четыре с половиной года» (1979-83) служил в 1-м отделе Ленинградского УКГБ.

В 1984 году, получив звание майора, Путин был направлен в московскую Высшую школу КГБ (Краснознаменный институт им. Андропова), где учился под псевдонимом «Платов». В Высшей школе КГБ был старшиной отделения, специализировался на германоязычных странах (Австрия, Швейцария, ФРГ, ГДР - 4-й отдел ПГУ КГБ СССР). По окончании Высшей школы КГБ Путин был в середине 1985 года командирован в представительство КГБ в ГДР, где работал директором Дома советско-германской дружбы в Дрездене. Жил там на улице Радебергерштрассе[12]. Курировал со стороны КГБ поведение советских студентов в ГДР. В число обязанностей Путина одно время входил контроль за секретарем дрезденского отделения Социалистической Единой партии Германии (СЕПГ) Хансом Модровым (будущим последним лидером

СЕПГ и ГДР), а также отслеживание антикоммунистических акций протеста в ГДР[13]. В ГДР находился до начала 1990 года.

По версии Юрия Шутова (бывшего помощника Анатолия Собчака, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга), из ГДР Путин был возвращен в Ленинград из-за того, что «был замечен в несанкционированном контакте с представителем агентурной сети противника»[14]. Но что именно стояло за столь расплывчатым обвинением - неясно.

По возвращении из ГДР в начале 1990 года Путин получил должность помощника проректора ЛГУ по международным связям, на которой оставался до своего назначения председателем Комитета по внешним связям (КВС) петербургской мэрии летом 1991 года. В качестве помощника проректора Путин курировал иностранных студентов и аспирантов в ЛГУ. Бывший генерал КГБ Олег Калугин определял должностные функции Путина в университете как «резидент КГБ». В том же году вместе с проректором ЛГУ по международным связям Юрием Молчановым Путин участвовал в организации совместного предприятия ЛГУ и компании «Procter & Gamble» (P&G). За 1% доходов, отчисляемых ЛГУ, компания «P&G» получила один из особняков ЛГУ на Университетской набережной под торговлю американским мылом и стиральным порошком.

ПУТИН - ВТОРОЕ ЛИЦО В МЭРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Через своего начальника - проректора Ю. Молчанова и тогдашнего ректора ЛГУ Станислава Меркурьева Путин возобновил знакомство с Собчаком. Впрочем, Собчак в своем последнем прижизненном интервью рассказывал, что он помнил Путина «как хорошего студента» и сам пригласил его работать к себе, случайно встретив в университете[15]. Петербургский журналист и политолог Борис Вишневский считает, что Путин был приставлен к Собчаку от КГБ[16]. А «Московский комсомолец» выдвигал даже версию о том, «в университете к В. В. в руки якобы попал какой-то компромат на Анатолия Александровича... что позволило ему в дальнейшем манипулировать мэром»[17].

Собчак после своего избрания (12 июня 1991 года) мэром Санкт-Петербурга назначил (28 июня) Путина председателем Комитета по внешним связям (КВС) Санкт-Петербургского городского правительства.

По мнению Вишневского, в августе 1991 года Путин «сыграл определенную роль в непростых переговорах, которые Собчак тогда вел с руководством ленинградского КГБ, стремясь добиться хотя бы нейтралитета "органов" в отношении городских властей, выступивших против ГКЧП»[18]. После ликвидации ГКЧП Путин написал заявление об отставке из органов и в начале 1992 года был переведен в действующий резерв КГБ в звании подполковника запаса.

В конце 1991 - начале 1992 г. Путин выступил инициатором продовольственного снабжения Санкт-Петербурга из-за границы в обмен на экспорт.

4 декабря 1991 года он подписал письмо с таким предложением в Комитет по внешним экономическим связям (КВЭС) министерства экономики. Поскольку «единственным источником поступления продуктов в регион с января по февраль 1992 года может стать их импорт в обмен на экспорт», Путин просил предоставить петербургской мэрии квоту в размере 124 миллиона долларов на экспорт сырья (леса, нефтепродуктов, лома цветных металлов, 14 тонн редкоземельных металлов), а для возглавляемого им КВС Путин просил «право на распределение квот и выдачу лицензий»[19].

1 февраля 1992 председатель КВЭС Петр Авен визировал письмо Путина, а 25 марта 1995 года Минэкономики предоставило КВС Санкт-Петербурга право подписывать экспортные лицензии. Еще до получения официального разрешения Путин подписал четыре документа: две лицензии для компании «Невский дом» на вывоз нефтепродуктов и для малого предприятия «Ленинградское общество "Красный Крест"» на вывоз алюминия и редких металлов; и два контракта - поручение Международному коммерческому центру Григория Мирошника вывезти 150 тонн нефтепродуктов в обмен на мясо, картофель и сахар и поручение акционерному обществу «Фивекор» экспортировать 50 тыс. кубометров леса в обмен на сухое молоко. Кроме этого, не менее 13 лицензий и договоров до получения официального разрешения Минэкономики подписал от имени КВС заместитель Путина А. Г. Аникин. В четырех случаях договоры заключались от имени КВС с формулировкой «в лице Путина В. В.», но подписывались Александром Аникиным.

Так или иначе, было очевидно, что КВС, выдавая лицензии и квоты, занимается противозаконной деятельностью. Председатель Санкт-Петербургского горсовета Александр Беляев обвинил Путина в том, что в Комитет по внешним связям мэрии были перенесены типичные методы работы КГБ: на все фирмы собирается информация, которая затем перепродается, в том числе иностранцам.

10 января 1992 года решением 13-й сессии Петросовета была создана специальная депутатская рабочая группа во главе с председателем комитета Петросовета по продовольствию Мариной Салье и Юрием Гладковым по расследованию деятельности КВС. Комитет утверждал, что сырье, в том числе редкоземельные металлы, с разрешения КВС продавалось за границу по демпинговым ценам, существенно ниже рыночных. В частности, в договоре КВС с российско-германским СП «Джикоп» (основной акционер - гражданин Германии Питер Бахман), которому КВС выдал лицензию на вывоз 13 997 кг редкоземельных металлов, цена на 1 кг скандия устанавливалась в 72,6 немецкой марки, тогда как цена скандия на мировом рынке была в 2000 раз выше - 150 тыс. немецких марок (сам Путин этот договор не подписывал, его подписал один из его замов). Цены на другие редкие металлы были занижены в 7, 10 и 20 раз.

В договорах КВС для фирм предусматривались комиссионные. В договоре от 3 января 1992 с МП «ЛОКК», подписанном лично Путиным, комиссионные составляли 25% (540 000 долларов). В договоре с «Интерлесбиржей», заключенном «в лице председателя Комитета Путина В. В.» и

подписанном Аникиным, комиссионные составляли 50% (5 983 900 долларов). В договоре КВС с МО «Святослав» комиссионные за реализацию 20 тыс. тонн хлопка также составляли 50% (12 000 000 долларов). Приводились также случаи выдачи лицензии на вывоз сырья под очевидно фиктивные поставки продовольствия (поскольку продукты в город не поступили). Часть договоров умышленно заключалась с такими формальными нарушениями, которые делали эти договоры юридически ничтожными, и, соответственно, добиться от фирм их исполнения (реальных поставок продовольствия) по суду было невозможно.

Рабочая группа М. Салье рекомендовала мэру отстранить Путина от занимаемой должности и передала материалы своего расследования в городскую прокуратуру и в Контрольное управление Администрации президента. О результатах расследования был официально извещен также председатель КВЭС П. Авен. Руководитель Контрольного управления Юрий Болдырев 31 марта 1992 наложил на докладную рабочей группы резолюцию: «В Управление поступили материалы от депутатов Городского совета Санкт-Петербурга, свидетельствующие о необходимости отстранения от занимаемой должности председателя Комитета по внешним связям города Владимира Владимировича Путина. Прошу не рассматривать вопрос о его назначении на любую другую должность до принятия Управлением решения по данному вопросу».

Прокуратура в деятельности Путина преступного умысла не усмотрела, хотя прокурор города Владимир Еременко направил Собчаку представление о «некорректно составленных договорах КВС и неверном оформлении некоторых лицензий». В результате заместитель Путина Аникин был вынужден оставить свой пост, а часть заключенных под эгидой Путина сделок была расторгнута.

В начале 1992 года Путин был назначен заместителем мэра Санкт-Петербурга с сохранением за ним поста председателя КВС. Как утверждает депутат Государственной думы от КПРФ Елена Драпеко, «все знали, что... факсимиле Собчака находится именно у Путина, и он в отсутствие мэра всегда принимает самостоятельные решения»[20].

В качестве председателя КВС Путин лично курировал создание в 1992 году Петербургской валютной биржи, подписание в 1992 году договора о консультировании мэрии крупной международной аудиторской фирмой «KPMG», инвестиционный проект по организации производства в Санкт-Петербурге «Кока-колы». Путин способствовал также приходу в город ряда немецких компаний, в частности, при его содействии был открыт «BNP-Drezdner Bank» (Rossija) - один из первых иностранных банков на территории страны.

Драпеко утверждает, что Путин имел отношение к скандальной приватизации завода «Победа»: «при его прямом участии в городе активно проводилось то, что мы сейчас называем бандитской приватизацией. Достаточно вспомнить скандальную историю с кирпичным заводом "Победа", который был продан немецкой фирме за 20 миллионов рублей»[21].

В 1992 году во главе городской делегации Путин посетил Франкфурт-на-Майне, где он и другой член делегации, Владимир Смирнов (друг и компаньон «авторитетного» петербургского бизнесмена Владимира Кумарина-Барсукова), убедили группу франкфуртских инвесторов создать немецкую компанию «S. Peterburg Immobilien und Beteilgungen Aktiengesellshaft» (известную также как «SPAG»), которая через посредство дочерних российско-немецких компаний занялась бы инвестированием в петербургскую недвижимость. Четыре чиновника петербургской мэрии, в том числе Путин, вошли в состав «консультативного совета» «SPAG». Фирму «SPAG» возглавил адвокат Рудольф Риттер, а петербургское АО «Знаменская», гендиректором которого был В. Смирнов (а членом правления - Кумарин-Барсуков), стало петербургским филиалом «SPAG'a». 200 акций «SPAG'a» получила в собственность мэрия, от имени которой Путин передал их в управление В. Смирнову[22].

При содействии Путина В. Смирнов и его компаньоны Владимир Якунин и Юрий Ковальчук приняли в 1992 году участие в поставке за рубеж партии цветных металлов через АО «Корпорация Стрим».

В 1999 году фирма «SPAG» в связи с причастностью к ее деятельности нового российского премьера Путина подверглась проверке со стороны германской Федеральной разведывательной службы BND. По результатам проверки BND обвинила Риттера в том, что он занимался отмыванием денег как для российских криминальных группировок, так и для колумбийских наркоторговцев - кокаинового картеля Кали. В мае 2000 года Риттер был арестован в столице Лихтенштейна Вадуце, а летом 2001 года ему были официально предъявлены эти обвинения[23]. Внештатным советником фирмы «SPAG» Путин формально оставался до марта 2000 года[24].

По поручению Собчака Путин готовил проект постановления о контроле за пребыванием в Санкт-Петербурге иностранных граждан. В проекте был предусмотрен комплекс мер для выявления лиц, проживающих в городе без регистрации, запрет на проживание их в гостиницах и на торговлю на рынках. Правда, проект встретил противодействие федерального Минюста и не был утвержден.

Во время противостояния президента Б. Ельцина и российского парламента во главе с Р. Хасбулатовым в сентябре-октябре 1993 года Путин по поручению Собчака организовал переброску в Москву полка спецназа, который участвовал в блокировании Белого дома и зачистке здания мэрии и гостиницы «Мир», где находились сторонники Хасбулатова[25].

Путин курировал также деятельность управления по связям с общественностью, юридического управления и городских силовых структур. Он считался в санкт-петербургских властных кругах «серым кардиналом». Почти все ключевые решения мэрии проходили экспертизу Путина.

В сентябре 1993 года Путин был назначен председателем Наблюдательного совета Агентства для организации, разработки, реализации программ и работ по развитию транспортно-экспедиционной таможенной инфраструктуры в СПб.

В марте 1994 года Собчак создал в Санкт-Петербурге городское правительство, став его председателем. Первым его заместителем был назначен Путин.

В апреле 1994 года Путин вошел в Наблюдательный совет Санкт-Петербургского банка реконструкции и развития.

В марте-апреле того же года Путин курировал от городской исполнительной власти избирательную кампанию по выборам Городского (Законодательного) собрания и создание подконтрольного мэрии блока «Весь Петербург». Расставив своих кандидатов почти по всем округам, блок «Весь Петербург» получил только 4 мандата из 24.

В августе 1994 г. Путин подписал от имени мэрии распоряжение, по которому Петербургская топливная компания (совладелец - Кумарин-Барсуков) получила право монопольной розничной торговли бензином, включая поставки бензина всем муниципальным службам.

В конце апреля 1995 года премьер-министр Виктор Черномырдин поручил Собчаку создание в Санкт-Петербурге регионального отделения «правоцентристского» Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом Россия» (НДР), организовать которое распорядился президент Ельцин. Оформление петербургского НДР Собчак перепоручил Путину. В начале мая Путин возглавил оргкомитет Санкт-Петербургского отделения НДР, тут же был избран председателем его совета, а на учредительном съезде НДР 12 мая в Москве избран членом совета ВОПД НДР. Летом-осенью 1995 года Путин руководил проведением кампании НДР по выборам в Государственную думу. Во время этой кампании ему удалось привлечь в избирательный фонд НДР 1 миллиард 100 миллионов (неденоминированных) рублей, предоставленных по большей части санкт-петербургскими банками (тогда как из центрального избирательного штаба НДР было перечислено только 15 миллионов рублей)[26].

Выборы, несмотря на помощь Москвы и финансовые вливания санкт-петербургских банков, были проиграны - НДР заняло третье место и получило всего два мандата.

Считается, что только благодаря способностям Путина к закулисному решению вопросов и его налаженным отношениям с городскими законодателями удалось в 1995 году добиться утверждения большинством депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга городского бюджета на 1996 год. В обмен на утверждение бюджета депутаты получили право на так называемые депутатские «резервные фонды».

В марте 1996 года Путин вошел в штаб Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийского движения общественной поддержки президента, в которое объединились организации, выступавшие за переизбрание Ельцина президентом РФ. По этому поводу лидер питербургского «Яблока» Игорь Артемьев направил заявление в прокуратуру Санкт-Петербурга, утверждая, что участие Путина в работе отделения нарушает закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» и, в частности, ограничение, направленное на «воспрепятствова-

ние использованию служебного положения отдельными должностными лицами в целях создания преимуществ для отдельных кандидатов». Прокуратура не дала ход этому заявлению, приняв объяснение Путина, что он вошел в Движение общественной поддержки не как первый вице-мэр Санкт-Петербурга, а как руководитель региональной организации НДР.

Весной 1996 года Путин занимался избирательной кампанией Собчака по выборам на пост губернатора Санкт-Петербурга. Путину Собчак поручил убедить депутатов городского Законодательного собрания перенести выборы с 16 июня на 19 мая, чтобы соперники не успели провести избирательную кампанию. Ранним утром 13 марта 1996 года Путин привез в Законодательное собрание президентский указ, разрешавший выборы мэра 19 мая, и проект решения о переносе выборов, а затем «на протяжении недели буквально "выкручивал руки" городскому парламенту: кого-то уговаривал, кому-то откровенно обещал руководящую должность в мэрии, кого-то просил смириться с неизбежным»[27]. Усилиями Путина 20 марта - в последний день, когда можно было легально перенести выборы, - большинство депутатов проголосовало за перенос выборов (при этом председательствовавший на заседании первый вице-спикер С. Миронов фальсифицировал кворум).

В ходе этой избирательной кампании бывший председатель Петросовета А. Беляев обвинил Путина в причастности к хозяйственным нарушениям, а также в том, что он имеет недвижимость на атлантическом побережье Франции. В ответ Путин подал в суд иск о возмещении морального ущерба в размере 200 млн рублей, но, как оказалось, иск был подан не по месту жительства ответчика, и рассмотрение дела было из-за этого отложено. В одной из газет по этому поводу появилась статья под ехидным заголовком «Должен знать разведчик, где живет его ответчик». После вторичной подачи иска суд вновь был отложен - на этот раз по процедурным мотивам[28].

ПУТИН В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ЕЛЬЦИНА

После поражения Собчака на выборах Путин ушел в отставку со своих постов в правительстве Санкт-Петербурга, но получил приглашение от управляющего делами президента Павла Бородина стать его заместителем. Неоднократно утверждалось, что Бородину (или непосредственно президенту) Путина рекомендовал Анатолий Чубайс, как, впрочем, и противоположное - что Чубайс будто бы уклонился от протежирования Путина, когда тот его об этом попросил[29]. В должности заместителя управделами президента РФ Путин курировал зарубежную собственность Управления делами. Именно в это время все бывшее имущество СССР и КПСС за границей было поставлено на учет и переоформлено: передано фактически в собственность Управления делами президента. Бизнесмен Филипп Туровер (свидетель по швейцарскому «делу Бородина») публично обвинял Путина к причастности к финансовым махинациям на этом посту:

«Когда он приступил к так называемой классификации собственнос-

ти бывшего СССР и КПСС за рубежом в 1997 году, тут же были созданы всевозможные подставные фирмы, АО и ООО. На эти структуры и оформлялась большая часть самой дорогой недвижимости и другие зарубежные активы. Таким образом, до государства зарубежная собственность дошла в весьма общипанном виде»[30].

26 марта 1997 года указом президента Ельцина Путин был назначен заместителем руководителя Администрации президента РФ - начальником Главного контрольного управления (ГКУ) президента.

На IV съезде НДР 19 апреля 1997 года Путин был избран членом нового политического совета ВОПД НДР. Однако уже 21 июня Третья конференция Санкт-Петербургского регионального отделения НДР удовлетворила просьбу Путина об освобождении от должности председателя совета в связи с его назначением руководителем ГКУ, оставив Путина представителем Санкт-Петербургского отделения в общероссийском политсовете НДР.

25 мая 1998 года Путин был назначен первым заместителем руководителя Администрации президента РФ, ответственным за работу с регионами. До начала июня он оставался также начальником Контрольного управления Администрации президента. 15 июля он возглавил Комиссию при президенте РФ по подготовке договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. С тех пор не был подписан ни один такой договор.

ПУТИН - ДИРЕКТОР ФСБ

25 июля 1998 года указом президента Путин был назначен директором Федеральной службы безопасности России. 1 октября 1998 года Путин был введен также в состав постоянных членов Совета безопасности РФ. В качестве руководителя ФСБ Путин произвел ряд кадровых и структурных изменений, упразднил два крупнейших управления ФСБ: экономической контрразведки (УЭК) и контрразведывательного обеспечения стратегических объектов (УКРОСО), создав вместо них шесть новых управлений. Путин добился регулярного финансирования ФСБ и (непосредственно у Ельцина, минуя бюрократическую лестницу) повышения зарплаты сотрудникам ФСБ, уравняв их с работниками СВР и ФАПСИ. 29 марта 1999 года Путин был назначен секретарем Совета безопасности РФ с сохранением должности директора ФСБ.

В период директорства Путина в ФСБ в России были совершены следующие крупные преступления (почти все оставшиеся нераскрытыми):

- убийство на даче под Смоленском президента Ассоциации российских производителей бриллиантов Александра Шкадова (1.8.1998); покушение на мэра Махачкалы Саида Амирова (8.8.1998);
- взрыв у здания приемной ФСБ на Лубянке (13.8.1998). По обвинению в организации этого взрыва в 1999 году был арестован Александр Би-

рюков из левацкой группы «Новая революционная альтернатива», признанный впоследствии параноидальным шизофреником;
- убийство главного редактора журнала «Юридический Петербург сегодня» Анатолия Левина-Уткина (20.8.1998);
- убийство во дворе центральной мечети Махачкалы муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова и его брата (21.8.1998);
- убийство в Подмосковье президента Российского общественного фонда инвалидов военной службы Алексея Вуколова (3.9.1998);
- очередное покушение в Махачкале на Саида Амирова (4.9.1998);
- убийство в Санкт-Петербурге заместителя председателя городского Комитета по потребительскому рынку Евгения Агарева (28.9.1998);
- похищение в Грозном (29.9.1998) и убийство (3.10.1998) заместителя представителя правительства РФ в Чечне Акмаля Саидова;
- убийство радиоуправляемой миной президента АО «Петербургская топливная компания», бывшего кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга Дмитрия Филиппова, доверенного лица Геннадия Селезнева (умер 13.10.1998 года от ран, полученных 10 октября);
- ранение в Санкт-Петербурге в результате покушения советника и спонсора Селезнева Михаила Ошерова (16.10.1998);
- убийство в Москве гендиректора ЗАО «Томск-Нефть-Восток» Александра Берлянда (20.10.1998);
- убийство в Московской области следователя спецпрокуратуры Юрия Кереся (20.10.1998);
- покушение в Грозном на муфтия Чечни Ахмед-Хаджи Кадырова (26.10.1998);
- убийство заместителя гендиректора АО «Челябэнерго» Николая Щапина (1.11.1998);
- убийство начальника транспортной милиции Новороссийска Евгения Федорякина (5.11.1998);
- убийство в Москве советника губернатора Кемеровской области Александра Гонтова (18.11.1998);
- убийство в Санкт-Петербурге Галины Старовойтовой (28.11.1998);
- покушение на первого зампрефекта Центрального округа Москвы Петра Бирюкова (28.11.1998);
- убийство в Чечне трех англичан и одного новозеландца (иностранные специалисты были похищены 3.10.1998 года, а их обезглавленные тела обнаружены 10 декабря);
- покушение на адвоката Петра Кучерену (16.12.1998);
- взрыв автомобиля у посольства США в Москве (17.1.1999);
- поджог здания УВД в Самаре (10.2.1999). Во время пожара погибло 57 сотрудников УВД;
- убийство в Москве редактора журнала «Российский адвокат» А. Полякова (4.3.1999);
- похищение в Грозном полномочного представителя МВД России генерала Геннадия Шпигуна (5.3.1999);

- погром в синагоге в Новосибирске (в ночь с 8 на 9.3.1999);
- взрыв на рынке во Владикавказе (19.3.1999). Более 60 человек убито, более 100 ранено (19.3.1999);
- покушение на первого заместителя главы администрации Омской области Андрея Голушко (22.3.1999). Голушко тяжело ранен;
- попытка обстрела из гранатомета посольства США в Москве (28.3.1999). Один из террористов впоследствии дал интервью, в котором рассказал об участии в теракте, был арестован и осужден;
- убийство в Махачкале заместителя генерального прокурора Дагестана Курбана Булатова (31.3.1999);
- повторный взрыв под стеной здания приемной ФСБ на Лубянке (4.4.1999). По обвинению в организации этого взрыва были впоследствии осуждены три девушки из подпольной группы «Новая революционная альтернатива»;
- убийство в Санкт-Петербурге главного координатора ЛДПР по Петербургу и Ленинградской области Геннадия Туманова (9.4.1999);
- покушение на председателя Республиканского суда Карачаево-Черкесии Ислама Бурлакова (13.4.1999);
- попытка взорвать офис Иосифа Кобзона в гостинице «Интурист» (26.4.1999). Ранено 16 человек;
- минирование еврейского театра «Шалом» в Москве (10.5.1999);
- покушение на заместителя начальника Северо-Западного РУБОПа Санкт-Петербурга полковника Николая Аулова и его жену (26.5.1999). Оба тяжело ранены выстрелами из снайперской винтовки;
- второе покушение на муфтия Чечни Ахмед-Хаджи Кадырова (конец мая 1999);
- убийство атамана реестрового Всевеликого войска Донского Геннадия Недвигина (6.6.1999);
- убийство мэра г. Дедовска Московской области Валентина Кудинова (22.6.1999);
- убийство мэра г. Кызыла, лидера тувинского отделения партии ДВР Генриха Эппа (21.6.1999);
- обстрел из гранатомета дома приемов ЗАО «ЛогоВАЗ» (8.8.1999).

В конце 1998 - начале 1999 г. генеральный прокурор Юрий Скуратов под давлением премьер-министра Е. Примакова санкционировал возбуждение ряда дел о коррупции, затронувших интересы ближайшего окружения президента Ельцина (так называемой Семьи), в том числе управделами Кремля Павла Бородина. Путин принял активное участие в дискредитации Скуратова. Неустановленными лицами была произведена секретная видеозапись «человека, похожего на генерального прокурора» в компании с двумя проститутками. От имени президента Путин потребовал от Скуратова во избежание скандала добровольно покинуть свой пост. После отказа Скуратова запись сексуальных развлечений «человека, похожего на генпрокурора» была продемонстрирована

по государственному телеканалу РТР. Видеозапись руководителю РТР Михаилу Швыдкову предоставил лично «человек, похожий на директора ФСБ» Путина. Несколько позже пленка была также продемонстрирована по каналу ОРТ в программе Сергея Доренко.

7 апреля 1999 года директор ФСБ Путин сообщил в своем выступлении на телевидении, что предварительная оценка экспертов ФСБ и МВД признала видеозапись сексуальных развлечений генпрокурора подлинной, и вновь высказался за добровольную отставку Скуратова[31]. Он также заявил, что «мероприятие», зафиксированное на видеопленке, оплачивалось «лицами, проходящими по уголовным делам», расследуемым генпрокуратурой, и потребовал «объединить» материалы двух уголовных дел: дела по ст. 285 УК РФ («злоупотребление служебным положением») против Скуратова и дела по ст. 137 («вмешательство в частную жизнь») - против лиц, незаконно следивших за генпрокурором. В конечном итоге лица, сделавшие скандальную видеозапись, остались официально неизвестными, а идентичность Скуратова и «человека, похожего на генерального прокурора» не была установлена юридически. Правда, видеозапись имела своим результатом фактическое отстранение Скуратова от должности. Исполняющим обязанности генпрокурора стал нынешний генпрокурор страны Владимир Устинов.

15 июня 1999 года Путин по случаю 75-летия со дня рождения Юрия Андропова участвовал в возложении венков на его могилу на Красной площади.

9 августа 1999 года указом президента Путин был назначен первым заместителем председателя правительства. В тот же день другим указом Ельцина кабинет Сергея Степашина был отправлен в отставку, а Путин назначен временно исполняющим обязанности главы правительства. Такая последовательность назначений объяснялась тем, что, согласно закону, только вице-премьер мог быть назначен на пост и. о. председателя правительства.

В своем телеобращении Ельцин уже 9 августа назвал Путина своим преемником на посту президента РФ: «Сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом, XXI, веке предстоит обновлять великую Россию. Это секретарь Совета безопасности России, директор ФСБ - Владимир Владимирович Путин... Я в нем уверен. Но хочу, чтобы в нем были также уверены все, кто в июле 2000 года придет на избирательные участки и сделает свой выбор». В телеинтервью в тот же день Путин заявил, что принимает предложение Ельцина и будет баллотироваться на пост президента в 2000 году.

16 августа 1999 года Государственная дума утвердила Путина председателем правительства.

Подводя итог первым месяцам правления Путина, «Новая газета» писала: «Давным-давно в весьма демократической стране престарелый президент вручил должность канцлера-премьера молодому энергичному преемнику. После этого загорелся рейхстаг... Историки так и не ответили

на вопрос, кто его поджег, история показала, кому это было выгодно». В России же «престарелый Гарант вручил должность премьер-министра преемнику, которому еще предстоит демократично избраться. Тут же взорвались жилые дома, началась новая чеченская война, которую воспевают обер-лжецы»[32]. Эти потрясшие страну события были очевидным образом связаны с выдвижением еще одного человека: 16 августа 1999 года директором ФСБ был назначен Н. П. Патрушев. И началось...

1. Исследованием грузинского периода жизни Путина в Грузии занимается Ваха Ибрагимов. В 2000 году в Иверии небольшим тиражом вышла книга В. Ибрагимова «Тайная биография президента России». Им же были взяты у В. Н. Путиной и жителей села Метехи многочисленные видеоинтервью, любезно предоставленные В. Ибрагимовым в наше распоряжение.
2. *Ольга Ларионова.* Сколько матерей у Путина? \\ «Собеседник». 2.3.2000.
3. *В. Ибрагимов.* Тайная биография президента России. С. 69.
4. «Сегодня». 1.3.2000.
5. От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. М.: М.: Вагриус. С. 7.
6. «Собеседник». 2.3.2000.
7. Там же.
8. «Версия». 25.4.2000.
9. Там же.
10. От первого лица... С. 43.
11. «КоммерсантЪ». 10.3.2000.
12. «Версия». № 3 (77). 25-31.1.2000.
13. «МК». 18.8.1999.
14. «Новый Петербург». 24.2.1998.
15. «Литературная газета». № 8 (5778). 23-29.2.2000.
16. «Известия». 12.12.1999.
17. «Московский комсомолец». 18.8.1999.
18. «Известия». 12.12.1999.
19. «La Repubblica». 13.7.2001.
20. «Новые Известия». 26.12.2002.
21. Там же.
22. «Newsweek». 3.9.2001.
23. «La Repubblica». 13.7.2001; «Newsweek». 3.7.2001.
24. «Le Monde». 25.6.2000.
25. «Литературная газета». № 8 (5778). 23-29.2.2000.
26. «Санкт-Петербургские ведомости». 1.12.1995.
27. «Известия». 12.8.1999.
28. «Комсомольская правда». 27.7.1998.
29. «Профиль». № 32. 1999.
30. «Новая газета». № 49. 27.12-2.1.1999.
31. «КоммерсантЪ». 8.4.1999.
32. *Михаил Соколов.* За что обменяли Бабицкого \\ «Новая газета». 10.2.2000.

Марк Амусин

ОСТРОВ ЭКО И ЛИТЕРАТУРНАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Когда-то много лет назад была у меня мысль: написать книгу или хотя бы статью об Острове в литературе. Как с течением времени, со сменой исторических и культурных эпох менялись образ и идея Острова, связанные с ним символические смыслы. Начать можно было бы (всегда с чего-то приходится начинать) с «Робинзона Крузо». Дефо живописал обустройство одиночкой острова-дома, истово славил руки и голову трудолюбивого человека-муравья, Homo Faber, которому в итоге только общества себе подобных не хватало для полного счастья.

Остров Монте-Кристо у Дюма - символ исполнения желаний, источник богатства, делающего его обладателя, романтического героя, богоравным распорядителем человеческих судеб.

Дальше последовали бы столь же хрестоматийные «Таинственный остров» и «Остров сокровищ». У Верна - детская научно-популярная энциклопедия, построенная на базе рационализма и социального оптимизма. У Стивенсона - стихия безудержной авантюрности, оттененная легкой задумчивостью автора по поводу неоднозначности человеческой природы.

Дошла бы очередь и до «Острова доктора Моро» Уэллса. Всего ничего прошло после звездных времен Верна, а как переменилось отношение к науке, в какой мрачно-фантасмагорической тональности изображает Уэллс и ее плоды, и ее опасную подчиненность человеческим, слишком человеческим влечениям и комплексам...

Романы Конрада - «Лорд Джим», «Победа» - приносят на Остров психологическую усложненность раннемодернистской прозы. Герой, романтический затворник или мизантроп, бежит от прогнившей европейской цивилизации или от собственной дурной славы. Однако большой мир, во всей своей пошлости, грубости и вероломстве, врывается в это убежище - и пастораль оборачивается трагедией.

А дальше - «Повелитель мух» Голдинга, с новым уровнем аллегорического моделирования, выявляющего неизбывную порочность человеческой природы и общества через приключения ватаги английских мальчишек, заброшенных на тихоокеанский атолл. И «Остров» Олдоса Хаксли, с утопией восточного миросозерцания, социальной педагогики и наркотиков, совместно пытающихся противостоять натиску агрессивно-деляческой западной цивилизации.

Да много кой-чего можно было бы написать об «островах в океане» и островитянах, выстраивая на этой основе генеалогическое древо тем, идей и приемов, одушевлявших западную «философски структурированную» литературу на протяжении десятилетий и веков. Но вот появился очередной литературный остров - «Остров накануне» Умберто Эко. Теперь достаточно написать о нем. Ибо опус Эко задуман и осуществлен как «система систем», как сумма наличного, накопленного философско-литературного опыта, как некий - пусть усмешливый, ироничный - синтез парадигм Острова, а заодно - и всевозможных научных концепций, литературных жанров, стилей и повествовательных стратегий.

Как это сделано? Роман построен в форме мемуарно-дневниковых записей молодого дворянина - итальянца Роберта де ла Грив, датированных сороковыми годами XVII века. Повидал за свою недолгую жизнь Роберт немало. Его - еще мальчишкой - зацепила краешком лавина Тридцатилетней войны. Он участвует в обороне городка Казале, сражаясь на стороне французов против испанской армии, теряет отца. Потом Роберт попадает в Париж, приобщается там к новейшим научным, философским, эстетическим веяниям (на дворе - эпоха Барокко), болеет и выздоравливает, влюбляется в салонную чаровницу, проходит этап воспитания чувств...

И все это - лишь подступ к главным фабульным событиям, к шпионско-географической эскападе, увенчивающейся попаданием героя на необитаемый корабль, севший на мель вблизи необитаемого же острова где-то посреди Тихого океана. С этого, собственно, действие романа и начинается. А потом - воспоминания о прошлом перемежаются с разнообразными приключениями плоти и духа, которые герою приходится претерпеть по воле автора на борту «Дафны», у берегов удивительного, реально-ирреального острова.

В рекламной аннотации на суперобложке говорится о «простоте» этого повествования по сравнению с предыдущими романами Эко. Это верно - с точностью до наоборот. «Остров накануне» задуман и выстроен намного сложнее, изощреннее, чем «Имя розы» и «Маятник Фуко». В первом своем романе Эко взял загадку серийных убийств из арсенала Агаты Кристи, перенес ее в средневековую Италию, облепил историческими подробностями, нашпиговал текст скрытыми или полуявными литературными цитатами, культурными аллюзиями, спрыснул конан-дойлевским сиропом - и бросил этот аппетитный, хоть и не слишком хорошо пропеченный «колобок» на поживу читателям и критикам. В «Маятнике Фуко» сюжетные приключения и исторические экскурсы нанизаны

на стержень конспирологического расследования. Единственный нетривиальный ход там - герои сталкиваются в жизни с фантастическим Планом, возникшим в их коллективном воображении. Да, к этому добавляется еще рефлексия автора-семиолога о «пределах интерпретации»

«Остров накануне» - конструкция несравненно более сложная, многослойная и богатая. Это относится к «плану содержания» в той же мере, что и к «плану выражения». Попробую обосновать это утверждение. Что же есть в романе? Внимание прежде всего привлекает сверкающий стиль - языковое преизобилие, пышные метафоры и тропы, смелые и вычурные сравнения. Словом, барочная стихия письма, роскошное словоизвержение. Щекотка и лихорадка красноречия, самораздражение и самоуслаждение языка - оральная мастурбация, сладострастный перебор риторических приемов и позиций, стилевых средств... Автор предается этой стихии с улыбкой, но выдерживая все правила и конвенции стилизации.

А какое многообразие жанров присутствует в романе, сложно сочетаясь, наслаиваясь друг на друга, отрицая один другой! Здесь и батально-историческая фреска с четкими контурами обстоятельств времени и соответствующих психологических типов. И экскурсы в область геополитики, соперничества тогдашних европейских сверхдержав. И куртуазная история любви (собственно, любовное влечение и томление, сублимированные по всем правилам тогдашней изящной словесности, служат субстратом всего повествования, но об этом позже). И шпионско-авантюрная линия. И рассказ об освоении одиночкой необитаемого корабля. И целая серия научных монологов и диалогов на темы тогдашних астрономии, космогонии, теологии и географии. И фантасмагорические видения, посещающие больное и разгоряченное воображение героя.

Вглядываясь пристальнее в эту жанрово-тематическую окрошку, мы обнаруживаем в ней обычную для Умберто Эко цитатную насыщенность. Да такую, какая нам и не снилась в его предыдущих романах. Иногда целые страницы здесь оказываются лишь слегка измененными переложениями отрывков из Галилея и Гассенди, Сирано де Бержерака и Паскаля. Название каждой из глав романа отсылает к какому-нибудь беллетристическому сочинению, научному, философскому или богословскому трактату, популярному в XVII веке.

Но и с цитатами здесь ведется игра неоднoплановая. На язык описываемой эпохи Эко со вкусом перелагает многие понятия и представления нашего времени, будь то из области психоанализа, семиотики или структурного анализа текстов. На такой, например, лад: «Двойник, или Сосий греческой комедии, это отражение, которое у героя маячит за плечами или предшествует ему во всяких обстоятельствах. Изумительная уловка, при которой читатель отождествляет себя с персонажем и делит с ним смутную боязнь Брата-Противоборца... Брат и противоборье не иным являются, как отражением боязни, которую всякий питает к самому себе, к тайникам своей души, где содержатся неудобовысказуемые страсти или, как называют их в Париже, концепты, глухие невыразимые концепты.

Поелику доказано, что есть неуловимые помышления, которые впечатлеваются в душу, даже когда душа не сознает того...». Помещая привычные культурные термины и символы в остраняющий контекст языка другой эпохи, Эко - совершенно в духе теорий русских формалистов - нарушает инерцию, освежает читательское восприятие.

Не довольствуясь простым или осложненным цитированием, Эко в своем романе развертывает исподволь многие центральные мотивы современной западной культур-психологии, среди которых: диалектика «я» и «другого», размытость индивидуальной идентичности, связь религиозных переживаний и представлений с эротическим субстратом, временные парадоксы... Текст полнится намеками и кивками в сторону Камю и Фрейда, Деррида и Эйнштейна, Бодрийяра и Харолда Блума.

Двойничество - один из сквозных мотивов книги. Роберт с детства выдумал себе «дубля», якобы своего незаконнорожденного брата-близнеца Ферранта, на которого и привык сваливать свои ошибки и проступки, а позже, в зрелом возрасте, - вину за свои житейские невзгоды и экзистенциальные поражения. Этот невинный вымысел возымеет далеко идущие жизненно-нарративные последствия...

Текст романа организован как система прихотливых уподоблений, отождествлений, подстановок, означиваний. Эко словно демонстрирует технику отыскания/порождения связей между отдаленными предметами, явлениями и понятиями. Любовный пыл героя изначально направлен, естественным образом, на женщину - Лилею, Возлюбленную Госпожу, как он пышно именует ее в соответствии с литературным кодексом эпохи. К ней обращены записки Роберта, ей он посвящает свой риторический жар, свой литературный темперамент, описывая попеременно, но одинаково образно и цветисто, то окружающий его экзотический природно-предметный мир, то обуревающие его любовную тоску и томление. «Нелегкое занятие, - замечает автор, - реконструировать действия и чувства героя, безусловно пышущего настоящей страстью, но неясно, выражающего ли то, что чувствует, или то, что в его времена требовалось чувствовать согласно правилам...» И тут же вносит в это общее рассуждение современный скептико-релятивистский корректив: «Хотя что знаем мы о разнице между страстью ощущаемой и страстью выражаемой, и какая из них первична?» Иными словами, можно ли провести грань между жизнью и текстом, человеческими чувствами, мыслями - и их языковым, словесным выражением, можно ли отдать онтологический приоритет одному из членов этих оппозиций?

Так вот, постепенно эротическое влечение, стремление к обладанию распространяется у героя сначала на корабль, с которым он неразрывно связан. Роберт испытывает гордость и довольство своим безраздельным обладанием - а после ревность, ужас и гнев, когда оказывается, что некто, Посторонний делит с ним власть над судном. Присутствие на борту другого, «не-я», словно нарушает девственность «Дафны». Потом влечение перекидывается на остров, близкий и недостижимый, который, к тому же,

оказывается вскоре наделенным удивительным свойством: поскольку остров расположен относительно героя по ту сторону 180-го меридиана, там всегда вчера, иное хронологическо-бытийное состояние, другой онтологический статус... Позже у Роберта появляется еще один подменный объект, трансформирующий, отвлекающий на себя любовную страсть, - якобы обитающая на острове Пламяцветная голубка (или Апельсиноокрашенная, или Оранжецветная, или Апельсинная летунья, или Порхающая Багряница), которая становится средоточием помышлений и вожделений Роберта. Одна из глав романа - «Театр эмблем» - оборачивается историческим экскурсом в сферу средневековой и ренессансной эмблематики, истории гербов, иероглифов и символов, эзотерических толкований различных образов и понятий - и одновременно наглядным пособием по семиотике, по универсальной теории и практике означивания, выделения признаков, наделения смыслами. Многоразличье в единичности, единство многообразия, нескончаемая череда смысловых трансформаций и переходов, указывающая на связь всего со всем под знаком «знаковости»: «Недостижим Остров, утрачена Лилея; разуверение в каждом упованьи; не выпадало ли незримой Оранжецветной Голубке стать medulla aurea, философским камнем, пределом пределов, летучим, как все алкаемое?»

Так что же перед нами - витрина, в которой выставлен ходкий (нынче или несколько десятилетий назад) философско-беллетристический товар? Каталог европейского интеллектуализма? Сертификат авторской эрудиции? Да стоит ли такое предприятие усилий на написание или даже прочтение? Тем более, что созданное автором «месиво, крошево» вышло и вправду крутым и трудным для усвоения.

Войдем, однако, и в положение автора. Сегодня в простоте и наивности уже нельзя и абзаца написать - он грозит обернуться фальшью, плагиатом, куском масс-культуры. Разумеется, давление инерции, традиции, наработанных и избитых приемов ощущается в каждый момент «литературного процесса». Однако в нынешний период, на стыке и смене веков, отторжение традиционного письма происходит особенно бурно. Сегодняшний роман не может - ну никак не может - следовать вековым канонам мимезиса, делать вид и убеждать читателя, будто все в нем написанное - истинная правда, прямое продолжение жизни, только выраженное типографскими литерами, упакованное в переплет и обложку.

В этой кризисной ситуации мыслимы самые различные способы ее преодоления. В совокупности они образуют ту расплывчатую, многоликую, протеистичную субстанцию, которую именуют постмодернизмом. (Предлагаю определение: постмодернизм как способ существования литературы в максимально неблагоприятных экологических условиях.) Вспомним хотя бы два таких способа, благо они реализуются в русской словесности. В. Сорокин отрицает наличную литературу (впрочем, как и жизнь) путем ее оскверняющей имитации, кощунственного воспроизведения. В его перелицовках жанровых инвариантов (бытовая проза, психологическое повествование, соцреалистический производствен-

ный роман) или индивидуальных писательских стилей музей восковых фигур соединяется с кунсткамерой. А еще он любит пропускать через мясорубку, дезинтегрировать любые блоки литературного языка, словесные структуры, и неспешно, пристально наблюдать, как дергаются, извиваются, слепо и конвульсивно сокращаются комки и обрезки. Однако во всем этом гораздо более ощущается пафос подведения черты и опускания занавеса, нежели дерзание и порыв к неведомым горизонтам. Да Сорокин и сам признает, что литература как таковая его не интересует, что он ставит опыты на ее полуразложившемся трупе.

В ностальгических шлягерах Б. Акунина все намного пристойнее и приятнее. Автор словно спрыскивает почтенные литературные формы живой водой детектива, забирает традиционное психологически-бытоописательное повествование в рамку приключенческой фабулы, умело наносит на полотно остраняющие детали - здесь чуть исказит историческую перспективу, тут укрупнит и выделит план, там подмигнет читателю-зрителю из-за спины персонажа и перебросится с посвященным скрытой цитатой, хоть и не слишком глубоко запрятанной, - и в целом исключительно культурная картинка, отрадная и веселящая душу, получается.

Чем-то это напоминает и методы Эко, но игра итальянца все же - другого уровня сложности и изощренности. Путеводная нить, которая одновременно сшивает все слои и пласты романа, придает высшее единство клубящемуся многообразию его содержимого - это метафикциональная стратегия, metafiction, предполагающая саморефлексию текста, его рассуждение о собственной природе и статусе в качестве главного средства обновления литературы. Здесь не обойтись без дефиниций, хотя бы лаконичных: «...metafiction - это термин, обозначающий художественный текст, сознательно и систематически подчеркивающий свой статус артефакта с целью провоцирования вопросов о взаимоотношениях между вымыслом (fiction) и реальностью. Осуществляя критику принципов собственного построения, такие произведения не только анализируют фундаментальные структуры художественного повествования, но и исследуют возможную фикциональность мира за пределами вымышленного литературного текста». Это - определение известной английской исследовательницы подобной стратегии Патрисии Во.

Думаю, нет нужды подробно напоминать просвещенному читателю о хрестоматийных образцах метапрозы. Предвестия ее встречаются еще у Сервантеса, крестным отцом метода можно считать Стерна, а расцвела она в произведениях Жида, Унамуно, О'Брайена, Кортасара, Кальвино, Джона Барта и Пинчона. Да и в русской литературе ушедшего века, уж на что она была повязана путами мимезиса, метафикционализм дал яркие плоды в книгах Константина Вагинова и Андрея Битова (ограничимся хотя бы этим).

Главные приемы этой стратегии - «текст о тексте» и «текст в тексте». С одной стороны, в произведениях этого рода присутствуют комментарии относительно языковой и нарративной природы литературного опуса,

технологии его порождения и построения, способов его воздействия на читателя. С другой - предполагается сложная структура произведения, присутствие в нем разных онтологических уровней, разных планов реальности: «нормальная» действительность, внутренний текст, сон, галлюцинация, фантасмагория. Главное - что при этом границы между данными внутритекстовыми слоями зыбки и проницаемы, фабула и персонажи осциллируют между ними. Происходят и парадоксальные «замыкания» между планами и уровнями: автор общается со своими героями, образы из обрамляемого текста переходят в обрамляющий, и наоборот...

Великий магистр литературной игры Борхес не только дал несколько впечатляющих образцов такой стратегии, но и лаконично сформулировал суть ее перверсивной притягательности: «Почему нас смущает, что карта включена в карту, и тысяча и одна ночь - в книгу о "Тысяче и одной ночи"? Почему нас смущает, что Дон Кихот становится читателем "Дон Кихота", а Гамлет - зрителем "Гамлета"? Кажется, я отыскал причину: подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним читатели или зрители, тоже, возможно, вымышлены».

Вернемся, однако, к нашему Острову. Обе составляющие метафикциональной стратегии наглядно представлены в романе. Эко с самого начала демонстрирует сложносочиненный характер своего повествования. Записки записками, но они как-то попали в руки автору, или, выражаясь осторожнее, - повествующей инстанции. Поначалу эта инстанция отводит себе скромную роль читателя, комментатора, «редактора» Робертовых откровений, соотнося их, например, со своим личным опытом: «Роберт пишет вместо "люки" "пушечные порты", но это я готов ему простить охотно, потому что так было в морских приключениях, которые я читал мальчишкой». Но вскоре автор, даром, что фиктивный, начинает обнаруживать свое присутствие в тексте, хозяйскую свою распорядительность: «Думаю, из-за этой неподвижности вот уже добрых сто страниц я рассказываю о событиях, предварявших высадку Роберта на "Дафну", а на самой "Дафне" не даю случиться ничему».

Автор словно танцует медленный менуэт с произведением. Он то сливается с ним, растворяясь в повествовательной субстанции, то делает шаг назад или в сторону и с холодноватой грацией кружит повествование перед собой, рассматривая и комментируя его. Вот он встревает в рассуждения героев о местонахождении Острова и потерпевшей крушение у его берегов «Дафны», солидно отмечает - с высоты современных познаний в географии и картографии - неточность позиционирования, выполненного героями, и тут же, самовольно и иронично, постановляет: быть посему. «Уточнения нерелевантны для нашей пугливой повести. Отец Вандердроссель гарантировал Роберту, что "Дафна" на сто восьмидесятом меридиане, который - антипод антипода... Какая разница, лежит ли Остров там в реальной жизни? Мы вникаем в повесть, где главные герои уверены, что это так, а чтобы вникнуть в повесть (вот догма из са-

мых либеральных), нужно отрешиться от недоверия». Так Эко втягивает нас в обсуждение конвенций, возникающих между автором, текстом и читателем в процессе восприятия литературного произведения.

Здесь легко можно найти и отзвуки бурных дискуссий о природе автора, о правомочности самого этого понятия: «...я прихожу к выводу, что в Казале, потеряв и отца и самого себя на войне, имевшей много смыслов и никакого смысла, Роберт научился видеть всеобъемлющий мир как хитросплетение ошибок, за которым уже не стоит Автор; а если Автор и есть, он как будто теряется, переиначивая себя со слишком многих точек зрения». Впрочем, в соответствии с господствующим в романе принципом дополнительности, двуединства и двусмысленности, это рассуждение можно прочесть и как обоснование прогрессирующего агностицизма героя, его разуверения в догматах религии.

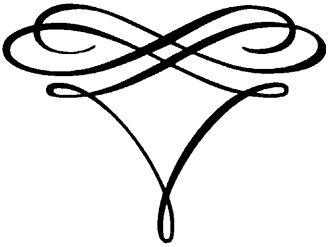
Конвенции, условности, конструкции... Предельной остроты и напряженности эта игра достигает ближе к концу романа. Роберт, опять ввергнутый в одиночество на борту «Дафны», начинает - для самоуспокоения или саморастравы - сочинять роман, в котором представляет в зеркальном (кривозеркальном) отражении и собственную жизнь, и обрамляющее повествование, - роман, написанный Эко. Не удивительно, что героем этого повествования становится двойник и воображаемый супостат героя Феррант. «Текст в тексте» становится одновременно «текстом о тексте» - свободным рассуждением о природе и назначении литературного вымысла, о мотивах, побуждающих к «писанию», о странной психологической ситуации пишущего. На первый взгляд решение сочинить роман порождено стремлением Роберта избыть, сублимировать владеющую им ревность, порожденную, в свою очередь, роковой и непреодолимой разлукой с любимой. Кроме того, герой намеревается с помощью романного вымысла прояснить запутанную связь обстоятельств, приведших его к такому печальному положению. И вместе с тем - заместить существующую хаотичную реальность придуманной и упорядоченной.

Эко рефлексирует здесь о парадоксальном онтологическом статусе художественного текста - по отношению к «подлинному документу», к внетекстовой реальности, к читателю: «...есть ли что недостовернее в мире, нежели История, повествуемая в книгах, где два автора описывают одно сраженье, но столь несоразмерны несоответствия двух рассказов, что кажется, будто речь ведется о двух битвах, не об одной? И есть ли что достовернее, нежели Сюжет Романа, в развязке которого любая Загадка получает свое Объяснение, подчиненное закону правдоподобия? ...автор романа прибегает к любому изощрению, лишь бы читатель не только наслаждался, воображая то, что не происходило, но и в какой-то миг забыл бы, что занят чтением, и поверил, что это действительно произошло». Сам-то Эко занят сочинением вымыслов совсем другого рода, он ни на страницу не дает читателю забыть о том, что тот читает книгу. Но это систематическое нарушение миметической конвенции как раз и призвано создать для читателя «эффект погружения», пусть и на другой основе.

В конце концов роман должен как-то кончаться - и роман «Остров накануне», и встроенный в него текст, сочиняемый Робертом. Финал, придуманный Эко, в высшей степени характерен. Желая спасти героиню своего романа, возлюбленную, Лилею, от смерти на необитаемом острове, к которой ее закономерно подводил сюжет, Роберт решает: он сам, автор и демиург, должен войти в созданный им мир. Погибнув во внешнем, обрамляющем тексте, он обретет вечное бытие, достигнет Острова, соединится с Лилеей в тексте внутреннем, в реальности другого порядка. Действительность и вымысел (внутри романа Эко, напомню) обретают тождество, смыкаются под знаком текстовости: «Но Роберт, как мы уже наблюдали, отлетая мыслями в Страну Романов, стороннюю его собственному миру, сумел взаимоналожить две вселенные и перекрестить их законы. Он считал, что сумеет добраться до Острова, поскольку так ему воображалось; и воображал, что Лилея прибудет на Остров после того, как доберется он, поскольку такова была его сочинительская воля... Таким образом он обретал возможность достичь Острова, на следующем основании: в противном случае Роберт не знал бы, о чем дальше рассказывать рассказ».

Поглощение вымыслом реальности - коронный прием метафикционалистов всех времен (смотри, например, финал романа Вагинова «Труды и дни Свистонова»). Подлинный смысл этого парадоксального акта - в утверждении онтологического равноправия, эквивалентности книги и жизни, воображенного и сущего. И даже более того. Оглядывая ретроспективно все многосложное и разноуровневое устройство романа Эко, можно заметить, что все наполняющие его риторические построения и символические образы на разные голоса говорят о феномене литературы. Все уподобления и различения, бинарные оппозиции, олицетворения, трансформации, диалектические восхождения и регрессии служат восхвалению уникальной и непостижимой природы текста, который своим богатством, изощренностью, затейливостью способен посрамить однонаправленную и безальтернативную действительность. Продуцирующая, мироустроительная власть автора открыто сопоставляется здесь с творящей активностью Создателя, пусть и, как всегда у Эко, в ироническом ключе: «...перекос был в Божьем вчера, а Богу, несомненно, удавалось как-то иначе улаживать связанные со временем вопросы, со временем и с сюжетами; так сочинитель может писать несколько разных повестей с одинаковыми персонажами, но помещать их в неодинаковые ситуации и этим варьировать свой рассказ».

Преизобилие вариаций, пересекающихся смысловых и сюжетных планов - специфическое качество «Острова накануне». Нестойкого или малоопытного читателя оно может привести в отчаяние или отпугнуть. Но, как говорили древние греки, плавать по морям необходимо. Всякий, кто готов испытать свои силы и интеллектуальную любознательность, приглашается к плаванью.



Александр Этерман

РОЗА ВЕТРОВ

Томас Джефферсон, автор вечнозеленой американской «Декларации независимости», в преамбуле к ней написал следующее:

«Когда, в ходе событий, имеющих человеческую природу, для одного народа становится необходимым разорвать политические узы, связывающие его с другим... простое уважение к общечеловеческому мнению требует, чтобы он объявил, какие причины побудили его к отделению».

Такого рода исповедание веры должно предварять всякое произведение, в финале которого обнаруживается преступник или выясняется истина.

Имснно поэтому, наверное, начав попросту, с «Декларации», американцы удостоились следующего прозрачного замечания Умберто Эко («Имя розы»):

«Провидение так распорядилось, что всесветская власть, которая при сотворении мира обреталась на востоке, постепенно с течением времени передвигалась все сильнее к западу, тем и нас извещая, что кончина света также приближается, ибо гонка событий в мире уже дошла до пределов миропорядка».

Что может лучше засвидетельствовать его правоту, нежели Pax Americana, которому мы все ныне, незадолго до светопреставления, свидетели? Но о чем думал Эко, предаваясь столь занимательной географической эсхатологии? О двупартийном парламентаризме?

«В числе прочего я говорил, - рассказывал арестант, - что всякая власть является насилием над людьми, и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть».

А Эко рассуждает так:

«Чудеснейшее доказательство Божественного великодушия - предоставить возможность суждения по политическим вопросам даже тем, кому неведом авторитет римского понтифика и кто не исповедует тех

наисвятейших... тайн, которые исповедует христианский народ! Существует ли более восхитительное... подтверждение того неоспоримого факта, что мирская власть и государственная юрисдикция ничего не имеют общего с церковными правами и законом Христовым, и что они установлены Господом вне какого бы то ни было богословского волеизъявления и даже раньше, нежели на земле установилась общая святая религия».

Каким образом герои Эко, подставив римского папу вместо римского же императора, продолжили дискуссию о власти, начатую героями Булгакова, прямо с того места, на котором они остановились? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вскрыть литературные корни романа «Имя розы».

РАЗУМЕЕТСЯ, РУКОПИСЬ

Вначале была, как ни странно, книга.

16 августа 1968 года Эко приобрел в Праге книгу - «Записки отца Адсона из Мелька, переведенные на французский язык по изданию отца Ж. Мабийона» (Париж, типография Ласурсского аббатства, 1842).

«В довольно бедном историческом комментарии сообщалось, что переводчик дословно следовал изданию рукописи XIV века, разысканной в библиотеке Мелькского монастыря... Через несколько дней город был занят советскими войсками. Мне удалось в Линце пересечь австрийскую границу; оттуда я легко добрался до Вены, где, наконец, встретился с той женщиной...»

Эко пишет, что его «вместе с той женщиной» занесло в окрестности Мелька, и они не преминули посетить тамошний монастырь: «Никаких следов рукописи отца Адсона в монастырской библиотеке не оказалось».

Вскоре «та женщина» навсегда исчезла - заодно с драгоценной книгой. К счастью, за прошедшие дни Эко успел перевести ее с французского на итальянский.

В Париже Эко попытался отыскать произведение отца Ж. Мабийона. Никаких следов его не обнаружилось. Хуже того, никто не печатал такой книги в типографии Ласурсского аббатства. Заметим, по-французски l'Abbaye de la Source означает «аббатство Источника». Похоже, что и типографии там никогда не было.

Эко пишет:

«...Я располагал только собственными записями, внушавшими довольно мало доверия... Но... как-то в 1970 году, в Буэнос-Айресе, роясь на прилавке мелкого букиниста... я наткнулся на испанский перевод брошюры Мило Тамешвара "Об использовании зеркал в шахматах"... Это был перевод с утерянного оригинала, написанного по-грузински (первое издание - Тбилиси, 1934). И в этой брошюре я совершенно неожиданно обнаружил обширные выдержки из рукописи Адсона Мелькского...»

Грузинский первоисточник ссылался не на отца Мабийона, а на отца Анастасия Кирхера, но и в его трудах ни единого упоминания об отце Адсоне не нашлось. Однако Эко все же решился опубликовать свой итальянский перевод, предварив его следующими словами:

«Переписывая повесть, я не имею в виду никаких современных аллюзий... Это и позволяет мне рассказать совершенно свободно... историю Адсона Мелькского, и ужасно приятно и утешительно думать, до чего она далека от сегодняшнего мира, откуда бдение разума, слава Богу, выдворило всех чудовищ, которых некогда породил его сон... Это повесть о книгах... прочитав ее, следует, наверное, повторить вслед за великим Кемпийцем: "Повсюду искал я покоя и в одном лишь месте обрел его - в углу, с книгою"».

Сходным образом «в книгах не видал вреда» г-н Ларин, отец небезызвестной Татьяны, все больше оттого, что сам их не читал. Его дочери, как известно, не удалось обрести покой с книжкой в руках. Впрочем, Булгаков устами грузинского первоисточника уже рекомендовал нечто подобное литератору, которому покой был, как мы помним, предписан:

«Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером?»

В УГЛУ, С КНИГОЮ

В горном итальянском аббатстве пять монахов умирают один за другим. Умирают вполне упорядоченным образом - в строгом соответствии с признаками казней, описанных в Апокалипсисе. Там семь трубных звуков предвещали о бедствиях - граде, крови, воде, поражении небесного свода, нашествии ядовитой саранчи и т. д. Сообразуясь с этой последовательностью, монахи и умирают.

Это аббатство знаменито, прежде всего, своей библиотекой - крупнейшей в христианском мире. Любознательные монахи из разных стран приезжают сюда учиться. Однако главные герои романа - Вильгельм Баскервильский (по определению, Шерлок Холмс) и Адсон (Ватсон) приезжают в аббатство, выполняя некое дипломатическое поручение. Разумеется, они начинают расследовать трагическую гибель первого монаха - единственного, погибшего до их приезда, - а затем и все остальные.

Вскоре выясняется, что убийства совершаются в ходе борьбы за овладение загадочной книгой. Вообще, монастырская библиотека содержится в обстановке строгой секретности, наводящей на мысль, что там что-то скрывают. Может быть, ключи от счастья: ведь звание библиотекаря - это ступенька на пути к званию аббата.

Вся история занимает семь дней. На седьмой день Вильгельм выясняет, что монахи убивают друг друга из-за второй части «Поэтики» Аристотеля, по-видимому, сохранившейся в одном-единственном эк-

земпляре. Финал у романа драматический: драгоценная книга и монастырь вместе со своей бесценной библиотекой сгорают дотла. Но, как выясняется, сгорают напрасно - ибо рукописи не горят.

ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ

Мы будем доказывать кровное родство романа итальянского (далее - ИР), романа русского - «Мастер и Маргарита» (ММ) и ряда других произведений. Мы убеждены в том, что родство с булгаковским опусом - кровное родство, а не свойство. То есть - если бы не общие предки, ни тот, ни другой просто не существовали бы. О свободе вступления в брак тут нет и речи - налицо общие родимые пятна. И вообще, кровное родство начинается с имен.

Вспомним, что проницательнейшие исследователи творчества Булгакова Майя Каганская и Зеэв Бар-Села (далее - МЗ) уже отмечали:

«...Роза, и только она - цветочный герб романа: Мастер - "Я розы люблю"; "не любил запаха розового масла" - Пилат».

Эко также заметил, что роза является и предметом любви, и предметом ненависти, более того - символом пытки. Поэтому, ссылаясь на одного из авторов, расшифровывать писания которых Воланд будто бы приехал в Москву, он и помянул цветок дважды, разнеся упоминания как можно дальше друг от друга. Один раз в заглавии романа - «Имя розы», а второй - в его последней фразе: «Роза при имени прежнем - с нагими мы впредь именами». Другими словами: роза останется розой, даже когда от нас самих ничего не останется.

Как мы увидим, вопрос о цветах и названиях еще не исчерпан. И вообще, нет ли тут коварного промежуточного цитирования?

МЗ:

«Вынесенные на титульный лист, они (заглавия. - *А. Э.*) как бы отделены от самих книг и относятся к книге не более, чем инвентарный номер к функции вещи, на которую он прибит... Но если заглавия не обусловлены содержанием, то чем-то они должны быть обусловлены!

Выставим в ряд... "Записки о Галльской войне", "Блеск и нищета куртизанок", "Белая берёза", "Слово о полку Игореве", "Красное и черное"... "Уже написан Вертер" и так далее... Чем дальше от нас во времени отстоит заглавие, тем оно простодушнее... "Слово о полку Игореве" сказано о полке Игоря и так далее, вплоть до самого нового времени. В новом-то времени и начинается неразбериха: "Война и мир" - что за война, с кем война? "Красное и черное" - что это?.. В чем... причина древнего благочестия и нынешней порчи нравов?

А дело в том, что древние в заглавие выносили жанр: повесть, песнь, сказание, слово, комедия, ода. Заглавие - вот что регламентировало поведение героя, позицию автора и реакцию читателя...

Новое время разделило жанр и заглавие - оно создало подзаголовок:

"Анна Каренина" (роман), "Мертвые души" (поэма), "Сага о Форсайтах" (роман)... Но, если оценка мира - жанр - перенесена в подзаголовок, то что же осталось в заголовке? В заголовке остался мир... Реальность нового времени, в отличие от реальности древних, перестала быть единой для всех. Древний читатель обладал столькими способами переживания единой реальности, сколько было жанров; новый - столькими реальностями, сколько есть авторов... Заголовок есть первая рецензия, написанная самим автором...

Пробежав мимо "Идиота" - романа о человеке редкого ума... уже смирившись с коварством заголовков... мы влетаем в новейшее время и недоуменно замираем "Над пропастью во ржи", бессильно пытаемся что-то различить "Там за рекой, в тени деревьев"...

Современные названия строятся так, чтобы не оставалось ни малейшей иллюзии относительно их жанровой природы - они цитаты. Произошло радикальное смещение литературы в филологию: литература XX века представляет себе действительность как форму отраженного литературного сознания, как текст в ряду других текстов, требующих для своего понимания филологического анализа, то есть сопоставления и соединения с уже написанными другими текстами. Какой именно текст избран для сравнения - указано в цитате, вынесенной в заглавие».

Эко, не довольствуясь собственной «рецензией», написал в послесловии к ИР:

«Автор не должен интерпретировать свое произведение... Этой установке, однако, противоречит тот факт, что роману требуется заглавие. Заглавие, к сожалению, - уже ключ к интерпретации... Заглавие "Имя розы" возникло почти случайно и подошло мне, потому что роза как символическая фигура до того насыщена смыслами, что смысла у нее почти нет... Название, как и задумано, дезориентирует читателя... Даже если он доберется до подразумеваемых номиналистских толкований последней фразы, он все равно придет к этому в самом конце, успев сделать массу других предположений. Название должно запутывать мысли, а не дисциплинировать их».

Оба рассуждения о названиях выдают трогательную заботу о заглавии романа. Но какого романа?

На наш взгляд, ММ должен был называться иначе.

Беседуя с Иванушкой в сумасшедшем доме, мастер сказал:

«Пилат летел к концу, к концу, и я уже знал, что последними словами романа будут: "...Пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат"».

Обратите внимание - не роман летел к концу, а Пилат. Что же до пресловутой «последней фразы», то она действительно встала на *свои места*. Ею завершается как микророман о Пилате (гл. 26), так и сам роман ММ (гл. 32), а также, на всякий случай, и эпилог романа. То есть все, что могло ею закончиться, - закончилось.

Следовательно, последняя фраза романа многозначительна. Более

того, по ней можно и даже должно судить о том, как роману следовало называться - и начинаться.

В самом деле, если ММ и роман о Понтии Пилате столь демонстративно и многократно одинаково заканчиваются, логично предположить, что они и начинаются/называются одинаково или сходно, - лишь в таком случае, согласно авторскому замыслу, они стали бы семиотически неразличимыми. ММ для романа о Пилате, увы, не подходит, стало быть, общее название надо искать в частном романе. А как назывался/начинался роман о Пилате? Несомненно, «Понтий Пилат»/фразой о Понтии Пилате. Доказательства? Пожалуйста.

Во-первых, глава 2, с которой, собственно, и начинается повествование о прокураторе, так и называется/начинается - «Понтий Пилат»/«В белом плаще с кровавым подбоем... в крытую анфиладу... вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат».

Во-вторых, советские критики, возражавшие против попытки воинствующего богомаза протащить в печать апологию Иисуса Христа, требовали ударить не по христианству, а по пилатчине. Не стоит переоценивать советских критиков - роман они громили чисто заголовочно. В чем, с их точки зрения, провинился Пилат, затесавшийся в эпоху Иисуса Христа? Да ни в чем особенном. Лишь в том, что роман был назван его именем.

В-третьих, сам Воланд счел это обстоятельство потрясающим:

«- А скажите, почему Маргарита вас называет мастером? - спросил Воланд...

- Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, который я написал.

- О чем роман?

- Роман о Понтии Пилате...

- О чем, о чем? О ком? - заговорил Воланд, перестав смеяться. - Вот теперь? Это потрясающе!»

Вот оно, заглавие: «Роман о Понтии Пилате» или лучше «Повесть о Понтии Пилате».

Эко немедленно усмотрел связь между заглавием/началом и последней фразой романа. Поэтому-то «цветочный символ» романа и стал его заглавием, а требующая номиналистских толкований последняя фраза легла на свое место.

Однако это еще цветочки.

Вот как начинается роман Булгакова «Белая гвардия» (в первооригинале - «Белый крест», вдобавок посвященный Л. Е. Белозерской):

«Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская - вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс».

А вот как он кончается:

«Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и

мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, даже когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?»

Роза при имени прежнем - с нагими впредь именами. Теперь уже без кавычек.

СЕДЬМОЕ НЕБО (ТО ЕСТЬ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВО)

1

Начнем еще раз. С той же самой цитаты:

« - О чем роман?

- Роман о Понтии Пилате...

- О чем, о чем? О ком? - заговорил Воланд, перестав смеяться... И вы не могли найти другой темы? Дайте-ка посмотреть...

- Я, к сожалению, не могу этого сделать, - ответил мастер, - потому что я сжег его в печке.

- Простите, не поверю, - ответил Воланд, - этого быть не может. Рукописи не горят. Он повернулся к Бегемоту и сказал:

- Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман.

Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей».

Итак, по словам Воланда, рукописи не горят - точь-в-точь как у следователя из орвелловской утопии «1984».

Однако что это за постановка вопроса? Воланд хочет посмотреть на роман, а мастер извиняется - я-де сжег его в печке и предъявить не могу. Ну, а если бы не сжег? Ясное дело, его бы реквизировали при аресте или, в лучшем случае, так и лежал бы он в подвале. Чего Воланд пристает?

Но и это не все. Вспомним - роман о Пилате был опубликован («Иван догадался... что какой-то другой редактор напечатал большой отрывок из романа того, кто называл себя мастером»). Пусть не целиком, но все же. Стало быть, он уже не рукопись. А кстати, в редакцию-то он был передан целиком! Вот там бы и поискать! Ан нет - рукописи не горят! И приходится Бегемоту предъявлять сожженные мастером экземпляры. Зачем?

Да в том, что фразочка про рукописи - не о романе мастера. Но главное: рукопись не горит только в одном случае - если ее текст может быть восстановлен, вроде как мы восстановили название романа. В конце концов, читаем же мы тексты, написанные на давно утерянных языках. Отчего не прочитать утерянный текст, написанный на понятном языке?

Правда, далеко не все тексты восстановимы. Продолжим цитату:

«- ...меня все равно в больнице хватятся, - робко ответил он Воланду.

- Ну, чего они будут хвататься! - успокоил Коровьев, и какие-то бумаги и книги оказались у него в руках, - истории болезни вашей?

- Да.

Коровьев швырнул историю болезни в камин.

- Нет документа, нет и человека, - удовлетворенно говорил Коровьев...»

Вот что может произойти с текстом.

Но при чем тут Эко?

Да притом, что он по профессии - семиотик, специалист по рукописям, которые не горят. И в Булгакове он сразу же распознал коллегу. Более того - он своим профессиональным оком узрел в булгаковском романе вещи, которые от нас, русских читателей, ускользнули. Поэтому в ИР таинственная рукопись идентифицируется и восстанавливается, а затем сгорает заодно с библиотекой и самим аббатством - точно так же, как Маргарита и Азазелло сжигают подвальчик мастера заодно с его романом, убедившись, что он знает роман наизусть. Такое сожжение - паче гранита - лучший путь в бессмертие.

2

Вильгельм обнаружил записку, зашифрованную покойным Венанцием и сообщавшую, как проникнуть в спецфонд («предел Африки»), где и прячут таинственную книгу.

Разумеется, он эту записку без труда расшифровывает. И все же...

«Адсон: А какую систему употребил Венанций, мы не знаем.

Вильгельм: Прежде всего при разгадывании тайного послания полагается разгадать, что же в нем говорится».

Это действительно один из важнейших принципов дешифровки текстов, написанных на забытых языках, но никак не декодирования тайнописи - откуда может быть известно, о чем она? То ли дело угадать смысл надписи на топоре: «топор», - как сделал перводешифровщик угаритского языка.

«Адсон: А точно ли это выписка из той таинственной книги?

Вильгельм: Я уверен, что Венанций списывал в сокращенном виде места сочинения, добытого из предела Африки... Следовательно, надо выяснить, что написано в книге, которой у нас нет.

Адсон: И вы способны по нескольким строчкам восстановить содержание книги?

Вильгельм: Когда я читал этот листок, меня не покидало чувство, будто я что-то подобное где-то уже читал. Мне даже вспоминались фра-

зы, почти совпадающие с некоторыми из этих... Но я не могу вспомнить... Наверное, надо почитать другие книги... Книги часто рассказывают о других книгах. Иногда невинная книга - это как семя, из которого вырастает книга опасная. Или наоборот...

Адсон: В свете этих размышлений библиотека показалась мне еще более устрашающей».

Нам тоже долго мешали спать странные фразы, подозрительно похожие на прочитанные ранее. Чтобы избавиться от кошмаров, нам пришлось разворошить целую библиотеку.

3

Мы уже знаем: книга мастера имеет отношение к реальности. Когда Иванушка рассказывает о своей встрече с чертом, мастеру только и остается, что возопить: «О, как я все угадал!» Что же он такое угадал?

А вот что: «Вчера на Патриарших прудах вы встретились с Сатаной... Его нельзя не узнать, мой друг!.. А Берлиоз, повторяю, меня поражает... Хотя в защиту его я должен сказать, что, конечно, Воланд может запорошить глаза и человеку похитрее».

Какой, к черту, Воланд? Разве у черта нет других имен? Да и обличий? Да и кто сказал, что его нельзя не узнать? Это товарища Сталина нельзя не узнать. А черта можно. См. Гете, «Фауст».

Но все равно: каким образом мастер не только опознал таинственного профессора, корифея всех наук, но и установил его анкетные данные?

Да куда уж проще! Воланд, может быть, и не герой романа о Пилате, но, во всяком случае, его адресат. По просьбе, может быть, даже по звонку мастера он и принял новое обличье.

Роман был адресован Воланду. В специальной литературе уже обсуждался вопрос о том, каким образом мастер надписал конверт. Письмо дошло - но ответ настиг мастера в сумасшедшем доме.

Так или иначе, с этого момента частный роман дирижирует большим романом. Действие ММ разворачивается параллельно декламации «Повести о Пилате» - сначала Воландом, потом Гипносом (сон Иванушки), а затем Маргаритой по вновь обретенной рукописи. После вторично произнесенных слов «пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат» мюзикл ММ завершается. За его рамками остаются только серия пожаров и позорное бегство большинства действующих лиц и исполнителей из Москвы.

В ИР булгаковский сценарий в точности повторяется.

Представление, устроенное Князем Тьмы в монастыре, направляется дирижерской палочкой Иоанна Патмосского, автора Апокалипсиса. Монахи гибнут так, как должно будет погибнуть человечество. За убийствами стоит старый монах Хорхе Бургосский, большой любитель оного Апокалипсиса. Стоит - но не совершает, ибо они успешно совершаются сами. Однако после пятой по счету смерти сценарий

заканчивается. Шестое пророчество меняет фронт, предает Хорхе в руки Вильгельма, и аббатство сгорает вместе со своей драгоценной библиотекой.

4

Итак, явный метроном ИР - Апокалипсис. Не случайно аббатство располагает крупнейшей в мире коллекцией изданий Апокалипсиса и комментариев к нему. Вполне апокалиптичны истории ересей, которыми полна книга. Апокалипсисом пугают бедных монахов. Наконец, стихи из Апокалипсиса упорядочивают залы библиотеки.

Ну, а Булгаков?

Его отношения с Новым заветом весьма нестандартны. Так, наиболее явные цитаты из Евангелия в ММ - это выдержки из допроса Иешуа Пилатом.

Евангельские тексты лежат в романе только перед прокуратором. В весьма несимпатичной форме - в форме доноса... Иешуа, разумеется, все отрицает. На Храм не посягал. Глупостей не говорил. Осла, и того не было.

Кроме того, напомним: после того, как Маргарита, мастер и Азазелло сожгли роман вместе с особнячком, произошло следующее:

«Трое черных коней храпели у сарая, вздрагивая, взрывали фонтанами землю... Кухарка, простонав, хотела поднять руку для крестного знамения, но Азазелло грозно закричал с седла:

- Отрежу руку!.. Тотчас из окошечка подвала повалил дым. Снизу донесся слабый, жалкий крик кухарки:

- Горим».

Стало быть, против нечистой силы крестное знамение не помогает. Симпатии автора явно на стороне черта. Тем более что он говорит цитатами из товарища Сталина и с грузинским акцентом.

5

Сколько романов написал Булгаков? Один, конечно. Раскроем единственное, по сути, первое и последнее произведение Булгакова - «Белую гвардию».

С чего начинается роман, мы уже знаем. А дальше - смерть матери.

«Как-то, в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал:

- Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму забывать, а тут еще такое тяжелое время...

- ...Что сделаешь, что сделаешь, - конфузливо забормотал священник... - Тяжкое, тяжкое время, что говорить, - пробормотал он, - но унывать-то не следует... Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу, по специальности, конечно, больше все богословские...

Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу, и прочитал: "Третий ангел вылил чашу в источники вод, и сделалась кровь..."».

Сообразуясь с этим предсказанием, Эко засунул одного монаха в бочку со свиной кровью, а второго в ванну с водой.

А в главе 19-й Турбин оказывает медицинскую помощь больному сифилисом Русакову:

«Полное облегчение, уважаемый доктор, мы получаем только там, - больной вдохновенно указал в беленький потолок. - А сейчас ждут нас всех испытания, коих мы еще не видели... ибо сказано: третий ангел вылил чашу в источники вод и сделалась кровь...

- ...Убедительно советую, поменьше читайте Апокалипсис... Повторяю, вам вредно...».

Цитатой из Апокалипсиса роман и заканчивается - вернее, последнее в нем, что не сон:

«И увидел я мертвых и великих... и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими... и смерти не будет, уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

У Эко пророчество выглядит как цитата из Булгакова:

«...Но время назрело. Ты ведь слышал семь труб?

- Какие семь труб?

- Ты что, не слышал, как погиб первый мальчик? Рисовальщик? Первый Ангел вострубил, и сделались град и огнь, смешанные с кровью, и пали на землю. Второй Ангел вострубил, и третья часть моря сделалась кровью... Разве не в кровавом море утонул второй мальчик? Жди третьей трубы! Смерть придет от вод!»

Ангелов поминает, в основном, Хорхе, рассуждающий не столько о судьбах монастыря, сколько о судьбах человечества, и, как и герой Булгакова, стремящийся напугать:

«Как будто не слышаны самые крайние, самые последние из сведений! Те, что в устах последнего Ангела, пророчащего в последней книге Священного Писания!..»

В последней книге Священного Писания! Той самой, о которой старейший обитатель итальянского монастыря Алинард, перефразируя Булгакова, свидетельствует: «В книге Иоанна ключ ко всему».

Ключ! Разумеется, как и в любой книге, если на ней построить другую книгу. А то как понимать следующее:

«...После некоторого молчания Воланд обратился к мастеру: - Так значит, в арбатский подвал? А кто же будет писать? А мечтания, вдохновение? - У меня больше нет никаких мечтаний и вдохновений тоже нет, - ответил мастер... - меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал. - А ваш роман, Пилат? - Он мне ненавистен, этот роман, - ответил мастер, - я слишком много испытал из-за него...» Равнодушие, можно сказать, к литературе. Но о чем говорит после этого мастер с Иванушкой - расставаясь с ним навсегда?

«Иванушка посветлел и сказал:

- Это хорошо, что вы сюда залетели. Я ведь слово свое сдержу, стишков больше писать не буду. Меня другое теперь интересует, - Иванушка улыбнулся и безумными глазами посмотрел куда-то мимо мастера, - я другое хочу написать...

Мастер взволновался от этих слов...

- А вот это хорошо, это хорошо. Вы о нем продолжение напишите!»

Стало быть, продолжение. Продолжение романа о Понтии Пилате и крушении Римской империи - вот что взволновало мастера, лицемерившего перед Воландом. Что же это за продолжение такое? Да это милый Булгакову и Эко Апокалипсис. Оттого-то, повышая квалификацию, и стал поэт Иван Бездомный сотрудником Института истории и философии профессором Иваном Николаевичем Поныревым. В просторечии - Иоанном Патмосским.

6

То, что один поэт может написать, другой может прочитать. Отсюда и опасность цитирования: цитата есть цитата есть цитата... Никогда не знаешь, добрался ли ты до первоисточника.

Тем более опасной оказывается попытка свести флору и фауну цитат к одному лишь роду или семейству. Например, к русской литературе.

МЗ писали, что среди всякой чепухи Иешуа надиктовал Левию Матвею «два заманчивых обещания»: «...мы увидим чистую реку воды жизни... человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл...» Ничтоже сумняшеся, они обвиняют Иешуа в близком знакомстве с русской классикой:

«Мы еще увидим небо в алмазах» (А. П. Чехов).

и

«И даль туманную романа
Он сквозь магический кристалл
Уже неясно различал» (А. С.Пушкин).

Иешуа и, правда, знаком с более поздней классикой. Например, с такой фразой:

«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл...»

Как заведено у Булгакова, Иешуа, минуя Евангелие, дословно цитирует Апокалипсис (гл.22, ст.1). В былые времена каждый гимназист проходил новозаветные тексты, и они были у него на слуху. В наши времена, увы, это уже не так. Булгаков, подсовывая Иешуа хрестоматийный текст, находился в нестандартном положении. Люди его поколения, безусловно, помнили «чистую воду реки жизни» не хуже, чем «дядю самых честных правил». Те же, «кого испортил квартирный вопрос», вполне могли принять эту воду за минеральную. Булгакова это устраивало.

7

Пространственно-временное тождество Москвы и Ершалаима в ММ тривиально. Назначение его неочевидно.

Оба города накрывает одна и та же гроза. Мало того, она настигает их в один и тот же момент.

Действие ершалаимской части романа происходит в полнолуние, 14-го Нисана, в канун весеннего еврейского праздника Песах.

А когда Воланд прибывает в Москву?

«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина...»

Дело также было в полнолуние:

«Совершенно отчетливо была видна в высоте полная луна, но еще не золотая, а белая».

Давно известно, что совпадение тут полное, то есть речь именно о пасхальном полнолунии: действие ММ начинается в еврейскую и перекрывает православную Пасху 1927 года. Берлиоз и Бездомный гуляли у Патриарших прудов в тени «чуть зеленеющих лип». Стало быть, в мае - или в ирреальном времени. Да и в ирреальную погоду: и в Ершалаиме, и в Москве невероятно жарко. Выдвигалось даже предположение, что атмосферу обоих городов разогревает присутствие черта, т. е. адское пламя.

Датирование романа 27-м годом позволяет дать хорошее объяснение не совсем евангельскому возрасту Иешуа. Предыдущее (но не первое) было дано МЗ, отметившими, что в русской литературе уже был один Христос, и как раз 27-летний - князь Мышкин. Снова во всем виновата русская литература: возраст Иешуа - 27 лет - цитата.

Не вступая в спор, спросим: в каком году и в каком возрасте погиб евангельский Христос? В 33-м году собственной эры, на 33-м году жизни. Если так, сколько было бы ему лет, если бы он погиб в 27-м году? Двадцать семь. Этим тонким наблюдением мы обязаны Э. Куранту.

И опять Эко ничего не упустил: действие ИР происходит в конце ноября... 1327 года. Как мы не догадались раньше!

Вернемся к тождеству Москвы и Ершалаима. Речь идет о внешнем сходстве городов, а значит, и о внутреннем тоже. Обратим внимание: оба города рассматриваются сверху:

«...Перед прокуратором развернулся весь ненавистный ему Ершалаим с висячими мостами, крепостями и - самое главное - с не поддающейся никакому описанию глыбой мрамора с золотою драконовой чешуею вместо крыши - храмом Ершалаимским...

Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим - великий город, как будто не существовал вовсе.

Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете. Через все небо пробежала одна огненная нитка.

...Воланд указал рукою в черной перчатке с раструбом туда, где бесчисленные солнца плавили стекло за рекою, где над этими солнцами стоял туман, дым, пар раскаленного за день города.

Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами над пышно разросшимся за много тысяч этих лун садом».

Не всегда даже определишь, о каком городе речь. Все эти цитаты восходят к одному источнику. К Апокалипсису, разумеется:

«И вознес меня... на высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим... Светило его подобно драгоценнейшему камню... Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов... Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями... Улицы города - чистое золото, как прозрачное стекло».

Ангелов Булгаков назвал идолами, да и вообще он относится к городу отрицательно. Отсюда и «драконова чешуя». Дракон - это Сатана, существо, с которым ведется упорная борьба. Писатель переадресовывает драконовы свойства Небесному Иерусалиму, который считает врагом человечества.

Что-то ему в нем упорно не нравится.

СЛЕДСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Иешуа, как мы знаем, был знаком с позднейшей литературой, но евангельские тексты вызывали у него сильнейшее недоумение. Зато у Пилата в руках находилось что-то вроде конспекта Евангелия, сообразуясь с которым он подсудимого и допрашивал. Евангелие от Булгакова - нечто вроде следственного дела. Так же, как Апокалипсис от Эко.

Как ни странно, можно точно ответить на вопрос о том, на какую из евангельских версий ориентировался Булгаков. Разумеется, речь о несиноптическом Евангелии от Иоанна.

Согласно Матфею, Марку и Луке, суд над Иисусом и его распятие совершились в праздник Песах, в пятницу 15-го Нисана.

Совсем иначе обстоит дело у Иоанна.

Во-первых, по Иоанну, Иисус был арестован не в пасхальную ночь, а в ночь на 14-е Нисана. Ведь уже после ареста «...от Каифы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху». Стало быть, пасхальная ночь еще впереди. И действительно, последняя вечеря у Иоанна не упоминается.

Во-вторых, Иисуса распяли в предпраздничную пятницу 14-го Нисана, самое раннее в шестом часу, в точности, как в ММ:

«Тогда была пятница пред Пасхою, и час шестый... Тогда, наконец, он предал Его им на распятие».

Но суть дела не во времени и не в пространстве. Именно у Иоанна Пилат и Иисус ввязались в философскую дискуссию, закончившуюся, как часто бывает, предательством. Как мы знаем, они сошлись на вопросе об истине:

«- А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?..

- Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины...

- Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину?.. Что такое истина?..

- Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова...»

После этого Пилат приказал развязать арестованному руки.

От Иоанна, глава 18:

«Пилат отвечал: ...Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?

Иисус отвечал: ...Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.

Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в нем».

Итак, герои заспорили об истине, только содержание спора у Иоанна осталось за кадром. Богословские обвинения сами собой отпали. Достигнув взаимопонимания, Иисус и Пилат обмениваются следующими веселыми репликами:

«- Чем ты хочешь, чтобы я поклялся? - спросил, очень оживившись, развязанный.

- Ну, хотя бы жизнью твоею, - ответил прокуратор, - ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это!

- Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? - спросил арестант, - если это так, ты очень ошибаешься.

Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:

- Я могу перерезать этот волосок.

- И в этом ты ошибаешься, - светло улыбаясь... возразил арестант, - согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?

- Так, так, - улыбнувшись, сказал Пилат, - теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Ершалаиме ходили за тобой по пятам...»

Странно: перерезать волосок вполне может и не тот, кто подвесил... Отчего это утверждение так понравилось Пилату?

У Иоанна история короче:

«Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и имею власть отпустить Тебя?

Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы

не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе.

С этого времени Пилат искал отпустить Его...»

Это чуть понятнее: всякая власть от Бога, поэтому Пилат, в рамках своей компетенции, имеет право судить Иисуса. А вот те, кто поставил Иисуса в положение подсудимого, - настоящие грешники.

Интересно - но все еще недостаточно убедительно. Чуть легче становится лишь после знакомства с апокрифом, именуемым Евангелием от Никодима, где дискуссия принимает неожиданно знакомые черты:

«И так сказал Иисус Пилату: Я на то рожден и на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине, и всякий, кто от истины, услышит голос Мой. Пилат сказал: что есть истина? Иисус ответил: Истина приходит с неба. Пилат сказал: значит, нет истины на земле? Иисус сказал Пилату: взгляни, как те, кто говорят истину на земле, судимы теми, кто имеет власть на земле».

Итак, и подвесить, и перерезать могут только Небеса; Пилат в восторге, ибо его земные прерогативы признаны превосходящими небесные. Еще немного - и обвиняемый будет освобожден.

Но тут всплывают политические обвинения, немедленно решившие судьбу подсудимого.

Все это отсутствует у Матфея, Марка и Луки, зато присутствует у Иоанна и у Булгакова.

И, разумеется, у Эко, подробно изобразившего суд инквизиции.

ПОЖАРЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

И у Булгакова, и у Эко к пожарам слабость. Литературу, впрочем, они любят еще больше, чем пожары. С их точки зрения, текст, откуда бы он ни взялся, порождает события, а не наоборот. Однако факт: как только заканчивается магическое влияние текста, немедленно начинаются пожары.

Смыслоносные пожары мы находим и в «Бесах», и в «Золотом теленке», и, разумеется, в ММ и ИР.

Самое удивительное в сих пожарах - это их обязательность, всенепременность. А всенепременный пожар - это поджог. Совершенный, например, чтобы скрыть преступление. Или получить страховку. Или хоть моральное удовлетворение.

В «Золотом теленке» так и сказано:

«Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов он запылал, подожженный сразу с шести концов».

В «Бесах» и того хлеще. Во-первых, «...нас и собрали тут нарочно, чтобы там поджечь», а, во-вторых, «...пожар в умах, а не на крышах домов».

В ММ: «Тогда огонь! - вскричал Азазелло, - огонь, с которого все началось и которым мы все заканчиваем».

Трудно отказаться от удовольствия привести еще одну цитату из Достоевского: «Пожар испугал нашу заречную публику именно тем, что поджог был очевидный».

Эко также признается в поджоге без всякого стеснения:

«...вентиляция была необходима для пожара. Этот-то момент, то есть что Храмина в конце концов должна сгореть, мне был ясен с самого начала».

Итак, вот она, пожарная общность, еще одним боком приобщающая Эко к русской литературе.

Все? Нет. Невозможно не отметить еще один литературный пожар, всем пожарам пожар, который тоже был «ясен с самого начала». Это, разумеется, пожар Москвы, захваченной Наполеоном в 1812 году, - как он описан Л. Н .Толстым:

«Как ни лестно было французам обвинять зверства Растопчина и русским обвинять злодея Бонапарта или потом влагать героический факел в руки своего народа, нельзя не видеть, что такой непосредственной причины пожара не могло быть, потому что Москва должна была сгореть, как должна сгореть каждая деревня, фабрика, всякий дом, из которых выйдут хозяева и в который пустят хозяйничать и варить кашу чужих людей».

Поскольку принять это утверждение буквально никак невозможно - ведь и не думают сгорать дачные поселки ни зимой, когда они пусты, ни летом, когда в них живут чужие люди, - остается только отнести предысторию московского пожара в разряд символических, или, что то же самое, литературных.

ТОЛСТОЙ КАК ЗЕРКАЛО

Что бы ни имел в виду В. И. Ленин, называя Л. Н. Толстого «зеркалом русской революции», это сравнение многозначительно. Зеркало - вещь мистическая и удивительная. Борхес заметил, к примеру: «Зеркала и совокупление отвратительны». Почему отвратительны - потому, что умножают сущности. Следует ли из этого, что вождь Великой русской революции приписал классику дьявольские черты?

Когда мы спросили Майю Каганскую, почему она игнорирует Толстого, Майя ответила так: «Потому, что у Толстого отсутствует демоническое, непосюстороннее». То есть: он обходится логикой и причинностью, и потому - без культурологии.

- А как называлось имение Болконских? - спросили мы.

- Лысые Горы, - ответила она. - Неужели в самом деле?

Увы, Толстой так же грешит демонологией, как и Достоевский. Толстовские заимствования у Булгакова даже многочисленнее, чем достоевские. Немудрено: Толстой ему социально ближе.

МЗ отметили:

«Переименовав Голгофу в Лысую Гору, он (Булгаков, разумеется. - *А. Э.*) подсказал, что искать истоки иерусалимского сюжета надо в другом Городе, на границе другой империи».

Город - это Киев «Белой гвардии», и Лысая гора в нем - не роскошь, а элемент городского быта. В Киеве Гоголь положил начало отечественной дьявольской теме. Оттого-то Толстой и поселил в Лысых Горах семейство, которому потом кочевать по русской литературе. Так что еще неизвестно, кого цитирует Булгаков - Гоголя или Толстого.

Ну, и что оставалось Эко, вспомнившему, что бунтовщик и ересиарх Дольчин, современник Вильгельма, вместе со своей армией обосновался... на Лысой Горе (Bold Mountain), где и выдерживал осаду в течение трех лет? Немедленно вставить его в роман - авось кто-нибудь заметит.

ТРЕУГОЛЬНАЯ ШЛЯПА

Не найти в «Белой гвардии» толстовские цитаты может только ленивый: ибо герои романа заимствованы автором из «Войны и мира». Алексей Турбин - это Андрей Болконский, с его амбициями и ранениями, Лариосик - Пьер Безухов из первого тома, а Елена Турбина - его первая жена Элен. Любопытства ради попробуем обосновать хотя бы последнее утверждение.

Во-первых, надо обладать немалым нахальством, чтобы назвать красивую рыжеволосую героиню Еленой Васильевной - в точности как толстовскую блондинку. Булгаков делает все, чтобы этот намек не остался незамеченным.

Больной сифилисом поэт Русаков, любитель Апокалипсиса, бормочет, рассматривая свое тело перед зеркалом:

«Боже мой... Ах, этот вечер! Я несчастлив. Ведь был же со мной и Шейер, и вот он здоров, он не заразился. Может быть, пойти и убить эту самую Лельку?»

Лельку. А, между прочим, близкие называли Элен не иначе, как Лелей. «Друг мой Леля», - обращается к ней отец. Или: «Послезавтра Лелины именины». А муж очень хотел ее убить.

Это не значит, что Русаков заразился сифилисом от Елены Турбиной-Тальберг. Существовала какая-то другая Лелька. Но об отношении Булгакова к героине это родство, безусловно, кое-что говорит. И Елена Турбина, и Элен, и Лелька - падшие женщины. Да и Алексей Турбин влюблен в падшую женщину - Юлию Райс, одну из любовниц поэта, авантюриста и террориста Михаила Шполянского, также происшедшего из русской литературы - из «Евгения Онегина»:

«Неприлично походить на Онегина. Ты... слишком здоров... В тебе нет благородной червоточины, которая могла бы сделать тебя действительно выдающимся человеком наших дней...»

Но ведь падшие женщины в русской литературе ведут свою родословную не от бедной Лизы, а от двух толстовских красавиц: Наташи Ростовой и Элен Безуховой.

Ростову назвал падшей Андрей Болконский: «Я говорил, что падшую женщину нужно простить. Я не говорил, что могу простить...» Элен назвал «низкой женщиной» сам Пьер.

Е. Э. отметила, что образ Элен впечатлил и авторов «Двенадцати стульев» - с нее списана Эллочка-людоедка. Дабы усилить сходство, авторы спародировали одно из качеств Элен - лаконичность, доведя его до абсурда.

Но если все прочие романы Булгакова суть лишь переложения «Белой гвардии», то где, к примеру, в ММ Алексей Турбин? И где разместились в «Белой гвардии» герои ММ - хотя бы Иешуа и Пилат?

Как ни странно, ответ на эти вопросы лежит прямо на поверхности.

Единственный диалог философа с прокуратором начался очень эффектно:

«Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить:

- Добрый человек! Поверь мне...»

В ответ последовало «...кентуриона Крысобоя ко мне» - и бичевание. И все это за доброе слово, которое и кошке приятно.

Однако даже бич Крысобоя не излечил арестованного от навязчивого словечка. Мало того, что он несколько раз называет «добрым человеком» Пилата, - добрые люди у него и те, кто свидетельствовал против него, и некие Дисмас, Гестас и Вар-равван, и даже Крысобой. Разумеется, оттого, что «злых людей нет на свете», есть только несчастливые.

Вернемся к столь же единственному диалогу между доктором Турбиным и поэтом-сифилитиком Русаковым.

«- Кто направил вас ко мне?

- Настоятель церкви Николая Доброго, отец Александр... Я у него исповедался, и беседа святого старика принесла мне душевное облегчение...

- Сколько, доктор, вы берете за ваш святой труд?

- Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово "святой"...

- Нельзя зарекаться, доктор, ох, нельзя, - бормотал больной, напяливая козий мех в передней...»

Итак, у Русакова на каждом шагу святые, а у Иешуа - добрые. Мало того: за Иешуа ходит следом Левий Матвей с «козлиным пергаментом» и «непрерывно пишет». Ну, а Русаков - сам по себе обладатель козьего меха, который он то напяливает, то снимает.

Но с кем же беседует Русаков? С милым, интеллигентным, прогрессивных взглядов врачом? Да нет, все это наносное:

«- Тут, видите ли, доктор, один вопрос... Социальные теории и... гм... вы социалист? Не правда ли? Как все интеллигентные люди?..

- Я, - вдруг бухнул Турбин, дернув щекой, - к сожалению, не социа-

лист, а... монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова "социалист"».

Ну, а что произошло между Иешуа и Пилатом?

«- В числе прочего я говорил, - рассказывал арестант, - что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесаря, ни какой-либо иной власти».

На этот прогноз Пилат реагирует так:

«- На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной власти, чем власть императора Тиверия! - сорванный и больной голос Пилата разросся».

Для полноты сходства прокуратору оставалось только дернуть щекой.

Любопытно, что монархистом, вроде Турбина, является и наш знакомец Вильгельм Баскервильский - он принадлежит к партии императора Людовика, сражавшегося против папы римского Иоанна XXII. К партии светского монарха, боровшегося с духовной властью.

СЕРЫЙ ПОХОДНЫЙ СЮРТУК

Что же, Иешуа и Пилат - это всего только Русаков и Алексей Турбин в новой упаковке? Да - ибо этих героев объединяет нечто более могущественное, чем цитата.

«Война и мир», роман, задуманный как история первой русской революции (1824 года), таковым не стал. Толстой не довел его до Декабрьского восстания, ибо книге воочию грозило вырождение. Так что это в чистом виде роман о внутренней жизни империи. И не о революции, а об эволюции - эволюции отношения главных героев к имперской идее.

Честолюбивый Андрей Болконский поклоняется Наполеону и мечтает его победить. Отрезвленный Аустерлицем и смертью жены, он пытается повлиять на судьбу России при помощи административных реформ. Осознав неудачу, переходит к реформам аграрным - в пределах собственных владений. Но как только война вторгается в империю, он бросается ее защищать, да еще разражается сентенцией, которую любят цитировать националисты: в критические моменты России должны служить не иностранцы, а русские.

Столь же честолюбивый Алексей Турбин вернулся с фронта для того, чтобы разобраться в происходящем и построить новую жизнь. Он понимает, что империю развалила странная теория о равенстве и братстве, подозрительно напоминающая христианское учение. Но, в отличие от других, он не верит, что император спасся, и не торопится на Дон, к Деникину. А когда к Городу приближается единственная армия, которая по-настоящему угрожает империи - армия ее взбунтовавшихся подданных, - он встает на защиту империи, хотя и не питает симпатии к ее нынешней оболочке. Разумеется, отсюда недалеко до перехода на сторону большевиков.

В истории с Пилатом Булгаков доводит имперскую тему до конца. Разумеется, Пилат - судья, борец за истину, инквизитор. Однако прежде всего он защитник империи.

Вне всякого сомнения, империи что-то угрожает. Наверняка это какая-то диссидентская еврейская теория. Сами евреи ощущают угрозу гораздо острее, чем Пилат. Поэтому они так дружно и неожиданно объявляют, что нет у них царя, кроме кесаря, и уничтожают соплеменника, собравшегося поразить нелюбимую римско-эллинистическую вселенную.

Вильгельм - такой же следователь и инквизитор, как Пилат. Такой же защитник империи, здравого смысла, старинных зданий и библиотек. Соответственно, ему суждено потерпеть столь же сокрушительную неудачу. Его вмешательство вместо того, чтобы спасти аббатство, становится настоящей причиной его гибели. Если бы не он, дело кончилось бы смертью нескольких не в меру любознательных монахов. А теперь наступает Пожар. Более того: вслед за аббатством гибнет и прекрасная имперская идея. Людовик Баварский, едва заняв Италию, вынужден оттуда бежать, легаты Иоанна XXII с триумфом вернулись в Рим, а Вильгельм с Адсоном побрели на север, в Мюнхен.

Аналогично Пилат вместо того, чтобы предотвратить гибель империи и победу нелепой теории, немало способствует ее торжеству.

«Я полагаю, - отозвался Пилат, - что мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров и солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью, и первый, кто об этом позаботится, буду я».

Увы, не позаботился, и Иешуа поговорил-таки с солдатами. Это им он заявил, что считает трусость одним из главных человеческих пороков. Спектакль всемирно-исторического масштаба состоялся.

Если бы Пилат поддался добрым побуждениям и отправил Иешуа в кейсарийский дворец или же, как намеревался, велел его задушить в подвале, гибель Римской империи не была бы на его совести.

КАРТОЧНЫЕ ДОМИКИ И ДРУГИЕ НЕТОЧНОСТИ

Роман Эко, разворачивающийся в Италии, выплескивается одним боком в Германию, а другим, естественно, во Францию. О первой говорится с любовью, о второй - с ненавистью. Через ткань ИР проглядывает еще одно повествование - сериал М. Дрюона «Проклятые короли».

Дрюон описал гибель Франции Филиппа IV Красивого, доминировавшей в Европе во время действия ИР, подчинившей себе папский престол и заставившей святого отца переехать из Рима в Авиньон.

Вот что он пишет:

«В начале XIV века Франция была наиболее могущественным, самым густонаселенным... государством во всем христианском мире... И

уже казалось, что вот-вот для Европы настанет французский век. Как же могло случиться, что сорок лет спустя эта самая Франция была разгромлена на полях сражений страной, население которой было в пять раз меньше?.. Что так круто повернуло ее судьбу?»

Погибель на Францию навело, вернее, накаркало обыкновенное проклятие, то есть удачная фраза. Согласно романтическим историографам, Жак де Молэ, последний магистр ордена тамплиеров, сожженный Филиппом Красивым на костре, перед смертью предал анафеме род своего мучителя. Филипп вскоре неожиданно скончался - ну, и пошло-поехало.

Эко заинтересовался механизмом проклятия, обрекшего на уничтожение главную ветвь династии Капетингов вместе с их державой. «Проклятые короли» умирали, а страна бедствовала, пока, по словам Дрюона, «не загорелся новый костер, на который взошла как искупительная жертва Жанна д'Арк, и не унесли воды Сены проклятие Великого магистра».

Каким образом ввел он в ИР дрюонову линию? Очень изящно.

Эко решил всюду, где это возможно без ущерба для романа, расходиться с Дрюоном во мнениях. В частности, он придает политическим воззрениям своих героев антифранцузский характер. Вот примерная цитата (можно подумать, что речь идет о евреях, но нет):

«Француз и подданный французского короля (а люди той зловредной земли всегда выгадывают для своих и не способны понять, что мир наше общее духовное отечество)...».

Определив характер отношений своих героев к дрюоновой историографии, Эко ставит нам изящную ловушку. Прежде чем в нее попасться, приведем две типичные цитаты из высоколобых отзывов на книгу Эко.

Бразильский теолог Леонардо Бофф писал:

«Бесспорно, автор использует все культурные реалии эпохи (с изобилием деталей и эрудиции), соблюдая величайшую историческую точность».

Юрий Лотман писал:

«Исторический момент, к которому приурочено действие "Имени розы", определен в романе точно».

Точно-то точно - да только правильно ли?

Вот с чего начинает свой исторический экскурс и заодно роман Адсон:

«...В 1314 году пять немецких государей во Франкфурте избрали Людовика Баварского верховным повелителем империи... Через два года в Авиньоне был избран новый папа... и нарекся Иоанном XXII. Француз... он поддержал Филиппа Красивого против рыцарей-храмовников... все ради их сокровищ, кои папа-вероотступник с королем присвоили».

Увы, это тягчайший анахронизм. Процесс тамплиеров завершился 18 марта 1314 года сожжением Жака де Молэ. Папой римским был тогда еще Климент V, которого магистр проклял перед смертью вместе с королем. Он умер в апреле 1314 года, однако Иоанн XXII сменил его на авиньон-

ском престоле только через два года. К тому времени короля Филиппа IV Красивого уже не было в живых: он умер в ноябре все того же 1314 года. Таким образом, его соучастником Иоанн XXII быть не мог.

У Дрюона все совершенно точно. Эко, как мы видим, предпочел сфальшивить - разумеется, сознательно, ибо перепутать год гибели тамплиеров так же невозможно, как, скажем год Октябрьской революции.

Затем с легкой руки Дрюона начинают умирать один за другим проклятые монахи в обреченном монастыре, пока от него не остались одни головешки, а девица, очаровавшая Адсона, «грозная, как целое войско», на наш взгляд, недурная пародия на Орлеанскую деву, не угодила в лапы святейшей инквизиции и, по-видимому, на костер.

Добавим, что Иоанн XXII, черная тень которого простирается над романом Эко, - довольно либеральный гасконский кардинал, посаженный на папский престол Филиппом V, сыном Красивого. Дрюон и Эко живо обсуждают как неприятие Иоанном XXII концепции о бедности Христа, так и его собственную еретическую теорию о несуществовании в наше время рая и ада, из которой следует, что наказание за грехи откладывается до Страшного суда. Мало того, почти одновременно с событиями, описанными в ИР и датированными ноябрем 1327 года, у Дрюона происходит нечто релевантное. В конце сентября приходит к трагикомическому концу история английского короля Эдуарда II.

Согласно Дрюону, сей король-гомосексуалист был убит, как бы выразиться помягче, - через то самое место, которым грешил. Конкретнее - ему загнали раскаленный прут в задний проход. Это событие сопровождалось выдающимся филологическим достижением, не оставившим равнодушным ни одного семиотика: убийцам короля был послан приказ со знаменитым «Убить нельзя помиловать» (в латинском оригинале «Eduardum occidere nolite timere bonum est» - «Эдуарда убить опасаться не доброе дело»), разумеется, не содержавший запятых. Не исключено, что гомосексуальной темой в ИР мы обязаны королю Эдуарду.

ПОДВОДИМ ИТОГИ? ЕЩЕ НЕТ...

Из всего этого можно выстроить такую теорию: Эко польстился на булгаковское «рукописи не горят», российские литературные пожары, сообразил, что все это, см. Дрюона, не к добру, а к гибели имперских образований, и создал попурри из разноязыких текстов, этакую семиотическую жемчужину.

Эта теория, увы, игнорирует одно важное обстоятельство. А именно: колоссальную роль в романе играет другой искусник - Хорхе Луис Борхес. Столь большую, что его просто невозможно было не затолкать в роман.

О наличии Борхеса в романе Эко сообщает в послесловии:

«Все меня спрашивают, почему мой Хорхе и по виду, и по имени вы-

литый Борхес и почему Борхес у меня такой плохой. А я и сам не знаю. Мне нужен был слепец для охраны библиотеки... Но библиотека плюс слепец, как ни крути, равняется Борхес. В частности, потому, что долги нужно выплачивать. К тому же именно через испанские толкования и испанские миниатюры Апокалипсис завоевал средневековье».

Что же мы тут имеем? Ненавязчивое признание: Хорхе - это Борхес. Эко обыгрывает сходство имен до неприличия. Конкретно: на латинице Борхеса зовут Jorge L. Borges. А монах Хорхе (разумеется, испанец) на латинице Jorge of Burgos. Это уже не сходство, а совпадение.

Отчего он плохой - вопрос бессмысленный. Однако совершенно ясно, почему он *такой плохой*! Эко (в шутку или всерьез) возвел Борхеса генеалогически и этимологически к знаменитой фамилии Борджиа (Borgia). Почему? Прежде всего, из-за абсолютного созвучия, а затем и из вредности. Дело в том, что папы и герцоги Борджиа, отравители и развратники, были не итальянцами, а испанцами, и настоящее звучание их фамилии - Борха! Были (или слыли, или вошли в историю) Борха - Борджиа интеллигентными, но «очень плохими», и защищали они свои владения в Италии примерно теми же средствами, что Хорхе - библиотеку.

В любом случае, Эко выстраивает для нас следующий символический ряд: библиотека, слепец, долги, которые необходимо выплачивать, испанские толкования. В этой цепочке не хватает одного - центрального - звена.

Начнем с библиотеки, заимствованной из наизнаменитейшего рассказа Борхеса «Вавилонская библиотека», переведенного на все языки мира.

Вот как Эко начинает свое описание монастырской библиотеки:

«...Комната, как сказано, была о семи стенах. В четырех из них между вмурованными в камень столпами открывались просторные двери-проемы, увенчанные полукруглыми арками. Вдоль глухих же стен шли огромные шкапы, аккуратно уставленные книгами. Над каждым прибита дщица с номером; то же отдельно над каждой полкой. Несомненно, здесь воспроизводилась та самая цифирь, которую мы видели в каталоге... На одной из стен поверх арки тянулась надпись крупными литерами: Apocalipsis Iesu Christi».

Далее выясняется, что из каждой семигранной комнаты можно перейти в одну или несколько соседних. И так далее - на первый взгляд, до бесконечности. На самом деле число комнат было конечным, но они образовывали лабиринт. Кое-где были установлены зеркала, иногда для маскировки потайных дверей, иногда для того, чтобы пугать незваных гостей. Каждую комнату украшала латинская надпись, разумеется, цитата из Апокалипсиса. Сами эти цитаты не имели значения - «работали» лишь первые их буквы, идентифицировавшие комнаты и участвовавшие сразу в двух пасьянсах.

Во-первых, они изящно складывались в названия стран и частей све-

та, так что комнаты библиотеки составляли как бы атлас земного шара. Если вспомнить, что Восток именовался здесь Fons Adae (Источник Адама, Рай), а Греция - Acaia (Ахайя), то есть границы библиотечного пространства уходили за мифологический и хронологический горизонты, становится ясно, что библиотека представляла собой некоторым образом Вселенную.

Во-вторых, они служили каталогом, ибо в комнатах, буквы которых входили в название той или иной страны, хранились книги, в этой стране написанные. Таким образом, библиотечная Вселенная оказалась изящно поделенной на культурологические клеточки.

Ну, а теперь Борхес:

«Вселенная - некоторые называют ее Библиотекой - состоит из огромного, возможно, бесконечного числа шестигранных галерей... Из каждого шестигранника видно два верхних и два нижних этажа - до бесконечности. Устройство галерей неизменно: двадцать полок, по пять длинных полок на каждой стене... К одной из свободных сторон примыкает узкий коридор, ведущий в другую галерею, такую же, как первая и как все другие... Рядом винтовая лестница уходит вверх и вниз и теряется вдали. В коридоре зеркало, достоверно удваивающее видимое».

По словам Борхеса, некий гениальный библиотекарь открыл основной закон Библиотеки: она содержит все неповторяющиеся тексты, которые могут поместиться в книге толщиной в четыреста страниц.

После этого открытия усилия библиотекарей сосредоточились на поиске каталогов. В самом деле: где-то на полках Библиотеки находится полный ее каталог. Наряду с ним Библиотека содержит массу иных ценных экспонатов: правдивый рассказ о нашей собственной смерти, лживые рассказы о ней же, второй том «Мертвых душ», перевод его на все языки, утерянные трактаты древних, а также историю происхождения Вселенной.

И последнее: страница, раскрытая сейчас перед читателем, уже содержится во многих книгах Библиотеки, причем как с хвалебными, так и с ругательными отзывами.

Если вспомнить, что монастырская библиотека Эко по определению содержит все книги мироздания, в том числе и якобы несуществующие (например, вторую часть «Поэтики»), становится ясно, что Эко даже не процитировал Борхеса, а просто создал самую реалистическую модель Вавилонской Библиотеки, какую мог.

НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО

Итак, материальная среда ИР (Библиотека) взята у Борхеса. Но как быть с внутренней пружиной романа? Как ни странно, она тоже позаимствована у Борхеса, давным-давно, в прекрасном рассказе «Поиски Аверроэса» описавшего погоню за «Поэтикой» Аристотеля.

Что же искал арабский философ?

Он всего лишь пытался понять «Поэтику». Причем безуспешно, хотя и располагал ее полным текстом - и «Трагедией», и «Комедией». Дело в том, что он, выросший в эллинизированной арабской культуре, не знал, что такое театр, и не понимал значения слов «трагедия» и «комедия». Результатом его поисков, если верить Борхесу, было такое определение: «Аристу именует трагедией панегирики и комедией - сатиры и проклятия».

Борхес в конце рассказа говорит: «...Я хотел описать процесс одного поражения». Ровно того же хотел и Эко, только вместо эстетической задачи он поставил перед собой задачу эпическую. Он искал яркий пример ложного успеха, иными словами, несгораемую рукопись, аналог рукописи Булгакова, природа которой была ему, в отличие от нас, ясна. Этот пример он и позаимствовал у Борхеса. Эко соблазнился «поражением Аверроэса» ради контраста с кажущимся достижением Вильгельма.

Араб, не знавший, что такое театр, не сумел разобраться в аристотелевых пассажах, даже располагая их полным текстом. Вильгельм, знакомый лишь с первой частью книги, без труда восстановил содержание второй. Его достижение было бы признано выдающимся, если бы не одно маленькое обстоятельство: восстановленная *книга не горела*, она жила собственной жизнью, чреватой опасностью для окружающих. Прочитанная, она уничтожила все вокруг. Именно поэтому достижение Вильгельма оказалось мнимым: «Я гнался за видимостью порядка, - признается он, - в то время как должен был знать, что порядка в мире не существует». Вернее, за меру порядка приходится платить сверх цены этой меры. Сравним результаты! Побежденный Аверроэс мирно жил в своем прохладном и просторном доме. Вильгельму мирная жизнь и не снилась.

Вернемся к нашей неполной цепочке. Вначале она выглядела так: библиотека, слепец, долги, которые необходимо выплачивать, испанские толкования. «Слепец» - это, естественно, Борхес, долги которому необходимо выплачивать. Но за «Вавилонскую библиотеку» Эко ему ничего не должен - он ее процитировал. Долг образовался вследствие безмолвной эксплуатации «Поисков Аверроэса». Поэтому в цепочке не хватает звена: после «долгов» должно стоять «Аверроэсов Аристотель». Не просто «Аристотель», а истолкованный в Испании. Ведь, как правильно и подробно рассказывает Борхес, Аверроэс жил и работал в Кордове, «столь же светлой, как Багдад или Аль-Каир» - на берегу полноводного Гвадалквивира.

РУКОПИСЬ, КОТОРАЯ НЕ ГОРИТ

В нашей истории, сознаемся, также не хватает звена.

Эко честно говорит: «Мне хотелось отравить монаха».

Что и говорить, намерение похвальное. Однако вот любой психоаналитик сказал бы: да он мечтает разделаться с христианством. Только за что?

Категорически отвергая роман мастера в качестве кандидата в «рукописи, которые не горят», мы исходили из простой и строгой посылки: он был опубликован. Но что же, в таком случае, не горит? Воистину наше положение не из легких - ведь партия, исполняемая несгораемым текстом в ММ, должна повторяться в ИР.

Начнем, в таком случае, с конца. В ИР «несгораемой» является вторая часть «Поэтики». Именно вторая - ибо первая еще как горит. Где горит? Да в неумелых арабских руках, раз наличие текста не гарантирует его правильную интерпретацию. Мало того, она горит вместе со второй частью! Таким образом, имманентная сохранность второй части не безусловна, а, напротив, возможна, только если первая правильно понята. Зато в таком случае ее жги не жги - не поможет. Любой специалист восстановит почем зря.

То, что Вильгельм счел возможным заявить Хорхе, быть может, отчасти верно, но настолько непочтительно, что последовавшее наказание не выглядит незаслуженным:

«Так постепенно в моем сознании стала вырисовываться вторая книга Аристотеля. Вернее, то, чем она должна быть. Я могу пересказать тебе ее почти целиком, даже не читая».

Хамство? Безусловно. Тем не менее, Эко точно сформулировал, чем должна быть «несгораемая» рукопись: необходимым и естественным развитием известной книги, многоважной и детально знакомой, - ее второй частью. При этом безмолвно предполагается, что ничего принципиально нового во второй части нет, что она является лишь симметричной разработкой тем первой части. Такое выхолащивание Аристотеля неоправданно, но в нашем случае не имеет значения - Эко ставил игровые, а не исследовательские задачи.

Так или иначе, он провел партию безукоризненно. Главное, он отважно вынес Апокалипсис - метроном романа - за скобки семиотической реконструкции. Все совпадения между ходом событий в монастыре и Откровением Иоанна - чистая случайность, только запутывавшая следствие. Апокалипсис задает ритм - и только ритм.

У Булгакова нас ждет буквально то же самое. Роман мастера, разумеется, не несгораемая рукопись, а лишь апокалиптической природы метроном. Об этом мы уже говорили. Но все-таки - что там у него не горит?

Хотя и Иешуа, и Пилат едва ли сознавали свою историческую миссию, народ, в огромном количестве собравшийся у прокураторова дворца, явно ощущал важность момента:

«- Неужто ты скажешь мне, что все это, - тут первосвященник поднял обе руки... - вызвал жалкий разбойник Вар-равван?»

Первосвященник хорошо понимал, из-за чего идет на неприятный конфликт с римской властью. Он ничего не боялся. Он знал, что защищает Империю, и истина скоро выйдет наружу. Не случайно упрямые евреи кричали: «Нет у нас царя, кроме кесаря!» Их могло побудить к тому лишь полное совпадение интересов Рима с их собственными инте-

ресами, еще не осознанное Пилатом. Вообще, по Булгакову, в этот момент одни только евреи и понимали, чем пахнет дело.

Впрочем, а что в этом удивительного? Ведь в то время одни только евреи жили в силовом поле Ветхого завета, и никто, кроме них, не сознавал, что в воздухе носится продолжение - Новый завет. Пилат, естественно, оказался в положении Аверроэса: неспособный понять существующий текст, он не сознавал, что вокруг него происходит. С другой стороны, всякий, кто был знаком с Ветхим заветом, просто не мог не начать *восстанавливать* новый текст. Вторую часть. Несгораемую - ибо, по существу, давно уже написанную.

Главной обязанностью Пилата было предотвращение евангельского сюжета, ибо последний означал бесславный конец Pax Romana. Точно так же главной обязанностью Вильгельма была ликвидация разгоравшегося внутри аббатства конфликта. Как мы знаем, затаившийся в его недрах убийца аббатству не угрожал. Но в той же степени Иешуа не угрожал Римской империи!

Вильгельм, непозволительно увлекшись расследованием, превратил его в дешифровку несгораемой рукописи и доигрался до полной катастрофы.

Пилат, не решившийся ни удавить «странного разбойника», ни помиловать его, «влетел», как и Вильгельм, в исторический сценарий. Он выпустил из бутылки новозаветного джинна, того самого, рукописного и несгораемого, - и погубил Империю.

Булгаков, создавая роман о Пилате, анатомировал гибель совсем иной империи - Российской. Римская гибла у него так, для примера. Но ведь обе империи умерли, вне всякого сомнения, от одной и той же болезни - отсюда и сюжет, отсюда и параллель. Россию сгубила на глазах у Булгакова социальная теория, как две капли воды похожая на ту, которую проповедовал пилатов подследственный - «настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-нибудь другой власти». Попросту не будет ни бедных, ни богатых, ни правителей, ни подданных - с построением коммунизма империя отомрет. Рассуждение Булгакова вдвойне изящно, ибо бьет по двум мишеням сразу.

У Эко реал-политики нет. Его аббатство - вещь в себе и, как таковая, модель чего угодно - хоть библиотеки, хоть империи. Но мы уже знаем, что он не устоял перед булгаковским имперским мифом и обзавелся собственным, французским, - с легкой руки Дрюона. Стало быть, нашел русский след в палестинском романе... Все понял, все угадал...

Понимая, что самое трудное - это закруглить не желающее заканчиваться повествование, откроем труд Философа - «Поэтику» - на последней из дошедших до нас страниц:

«О трагедии и эпопее, о видах их и частях - сколько их и в чем их различие, о причинах их удачности и неудачности, об упреках [поэзии] и возражениях на них ограничимся сказанным...»

Ограничимся.

Михаил Эпштейн

ГОВОРИТ ЛИ ФИЛОСОФИЯ ПО-РУССКИ?

1

Между русским языком и философией - отношения глубокой ревности и трагизма. Русская мысль влюблена в западную философию, но сумела ли она создать понятийный аппарат для самостоятельной работы в родном языке? Возможны ли Гегель и Хайдеггер, Сартр и Деррида на почве русского языка - или он может мыслить только художественно, как у Достоевского и Платонова? В чем слабость и сила русского языка как орудия гуманитарной мысли?

В переводе на русский язык все расплывается, как будто на вощеной бумаге, все видится как бы сквозь туман или тусклое стекло. Но в русском языке есть огромная воля к мышлению вопреки трудности ясного выражения мыслей. Русский язык насядет на какое-нибудь понятие и будет выкручивать ему руки, пока оно не сдастся или не издохнет. В русском языке - огромная воля к перетолкованию и даже забалтыванию понятия, к бесконечному повтору, кружеву вариаций, чего не терпят более ясные и логические языки. По-русски одну и ту же вещь нужно выговорить много раз - и тогда она приобретает расплывчатый объем, которого другим языкам передать не удается, поскольку сказанного один раз уже достаточно. Русский язык переводит не только с других языков, но и с самого себя. Любое толкование кажется ему недостаточным, и потому одно и то же понятие толкуется снова и снова, то с одной точки зрения, то с другой, то в ругательной, то в хвалебной, то в иронической тональности.

Начну с журналистики. Американские читатели русских газет и журналов поражаются тому, как мала информативная насыщенность того или иного вполне просторного материала. Чем же занята его площадь? Многократными переносами факта из одного метафорического ряда в другой, из одной стилевой тональности в другую.

Приведу пример из журнала «Огонек»: статья в январском выпуске 1992 г. посвящена Ельцину как «Человеку 1991 года». Я проходил ее со своими американскими студентами - она включена в учебник русского языка, составленный по материалам «Огонька» в пору его расцвета, и я отобрал ее как самую доступную и кристально ясную. Излагается факт очень простой и всем известный - сначала Ельцин разделял власть с Горбачевым, а потом вытеснил его из политики. Одной строчки достаточно для сообщения этого факта - и все равно информативная его ценность равна нулю, поскольку данный номер журнала вышел несколько недель спустя после описанных в нем событий. Цитирую дословно самые яркие места:

Ельцин: *Победил в прыжках в высоту на болоте... Не перепиливал ли он сук, на котором сам сидел?.. Усилия Ельцина и его сторонников совпадут с приливом исторической энергии? Или реформаторы будут все время попадать своей ниткой мимо ушка иголки?.. Он извлечет идеологию российского возрождения из воздуха, в котором носятся поднятые вверх тучи песка и пыли. Без решения этой задачи не изменишь направления едущего под откос поезда.*

Горбачев: *Поистине сжимал в руках шагреневую кожу - чем больше возрастала его формальная власть, тем быстрее таяла кожа. Генсек - Председатель - Президент - Президент с чрезвычайными полномочиями... Все выше и выше по осыпающемуся песчаному бархану...*

Страна: *Лоскутное одеяло разорвалось на глазах всего мира... Лифт больше не может спускаться - некуда! Должен начаться подъем*[1].

Американцу, даже хорошо знающему русский язык, трудно понять, что же хочет сообщить автор статьи и почему для выражения одного и того же он прибегает к столь разным выражениям и идиомам. Почему Ельцин прыгает на болоте и одновременно сидит на суку, или почему Горбачев, сжимая шагреневую кожу, поднимается по песчаному бархану. В этом материале сгущены особенности российской прессы, которые так резко отличают ее от американской: избыток метафоризации при нехватке новой информации. Русский язык занимается тем, что переводит одни и те же факты и понятия с русского на русский. Это *самопереводящий* язык. То, что сказано один раз по-русски, бывает настолько смутно, непонятно или даже бессмысленно, что приходится это еще раз переводить - на тот же самый язык. На этом свойстве русского языка была построена советская идеология, которая занималась успешным переводом с русского на русский, называя патриотов националистами, а националистов - патриотами.

2

В этом искусстве самоперевода русский язык может достигнуть высот, недоступных другим языкам. Он замечательно умеет размывать понятие, и чем больше переводит его с себя на себя, тем больше оно ока-

зывается многослойным, туманным - и по-своему выпуклым, поскольку в него вложено десяток разных интонаций и возможных смыслов. Не только советская идеология, но и знаменитые бахтинские понятия «полифония» (многоголосие) и «гетероглоссия» (иноязычие, разноязычие) - тоже теоретические поросли русского языка, поскольку одно и то же предложение - логически и лингвистически равное себе - может соответствовать совершенно разным высказываниям. Михаил Бахтин приводит пример того, как одно и то же простое предложение - «Солнце взошло» - может соответствовать множеству разных высказываний: и о том, что пора вставать, и о том, что вставать еще рано[2]. Разумеется, в любом языке одно и то же предложение может приобретать разный смысл в контексте, но то, что М. Бахтин ставит акцент именно на существенной свободе смысла высказывания от его словесного состава, - это уже подсказка теоретику со стороны его родного русского языка.

Вообще вся полемика Бахтина с соссюрианской семиотикой и структурализмом есть полемика русской словесной гибкости против «острого галльского смысла». Ключевое понятие Бахтина, как раннего, «волошиновского» периода (1920-е), так и позднего периода «Речевых жанров» (1950-60-е), - это *высказывание* в его отличии от: а) предложения как лингвистической единицы, и б) суждения как логической единицы. «Предложение как единица языка лишено способности определять непосредственно активную ответную позицию говорящего... Только став целым высказыванием, отдельное предложение приобретает эту способность. <...> Предложение, как и слово, обладает законченностью значения и законченностью грамматической формы, но эта законченность значения носит абстрактный характер и именно поэтому и является такой четкой...»[3]. Бахтин все время демонстрирует, как высказывание выливается за границы формальной структуры предложения, выходит за пределы логики и грамматики. Это и есть самосознание семантически мягкого языка в его борьбе с более жесткими, грамматически и логически организованными западными языками, и прежде всего французским, дух которого выразился в Ф. де Соссюре и во всей традиции французского структурализма.

Постструктурализм стал новой фазой размягчения европейских гуманитарных языков, и тут-то русский язык и гуманитарная мысль могли бы пристроиться и занять свое место. Но «пристроился» в теоретическом сознании Запада только Бахтин, и именно в связи с размягчением языков, куда стало возможным впустить и «полудикого» россиянина. Конечно, в более строгую европейскую эпоху его не пустили бы и на порог гуманитарной науки, но в 1970 - 1980-е гг. западный культурный язык стал размягчаться, и тут у русского языка появилось будущее, и Бахтин его первая ласточка. Высказывание, идеология, полифония, бесконечное умножение речевых смыслов на одну и ту же логико-грамматическую основу - вся эта кипучая деятельность перетолковывания, свойственная русскому языку, вдруг оказалась востребованной на Запа-

де. Причем интерес к высказыванию у Бахтина не просто совместим с интересом к идеологии, но именно высказывание и объявляется у Волошинова-Бахтина единицей идеологического мышления. Таким образом, *идеологическая* и *полифоническая* проработка грамматики совпадают у раннего Бахтина, впоследствии расходясь в его интерпретациях на официальную (советскую) идеологию - и неофициальную полифонию (у Достоевского) и карнавализацию речи (у Рабле).

Но в истоке своем эти концепции *идеологизации* и *карнавализации* языка сходятся, поскольку выдергивают его из грамматической структуры предложения и приписывают ему бесконечную гибкость в выражении внеязыковых, «социальных» значений и ценностей:

«*Всякое высказывание, как бы оно ни было значительно и закончено само по себе, является лишь моментом непрерывного речевого общения... Но это непрерывное речевое общение само, в свою очередь, является лишь моментом непрерывного всестороннего становления данного социального коллектива. <...> Язык живет и исторически становится именно здесь, в конкретном речевом общении, а не в абстрактной лингвистической системе форм языка...*»[4].

Заметим, что Бахтин-Волошинов настаивает на континуальной природе языка: «непрерывное речевое общение... непрерывное становление... речевой поток... неуловимое речевое целое». Здесь мы видим в теоретически ясной форме, как русский язык наплывает на грамматику, - и разваливает, расплавляет ее, сводит на нет, делает бескостной служительницей меняющихся социальных оценок или персональных установок.

В своей известной статье «Лингвистика и поэтика» Роман Якобсон упоминает актера театра Станиславского, который на прослушивании должен был по заданию режиссера создать сорок различных высказываний из фразы «Сегодня вечером». Впоследствии, уже в Америке, этот актер, прошедший школу Станиславского, записал в учебно-научных целях 50 высказываний, состоящих из одного этого двусловного предложения, причем подробно охарактеризовал эмоционально-психологическую подоплеку каждого. Якобсон с благодушием структуралиста замечает, что «все эти эмоциональные оттенки легко поддаются лингвистическому анализу» (но попытки такого анализа не предпринимает)[5]. «Нетушки, - сказал бы Бахтин, - там, где начинается высказывание, лингвистика кончается, ей там просто нечего делать».

Но каким способом, в рамках какой дисциплины рассматривать эти 50 высказываний, идентичных по своему словесному составу («Сегодня вечером»), сам Бахтин так и не решил. В 20-е гг. он называет эту дисциплину идеологией, или теорией идеологии, или социологией, или житейской идеологией, позднее - металингвистикой, теорией речевых жанров. Если вдуматься, то лингвистике здесь и в самом деле нечего делать, - она может только анализировать неполное предложение «Сегодня вечером». Но то, что придает этой лингвистической единице 50 разных смыслов, превращает ее в 50 высказываний, - это не

содержится в языке, а содержится во всех типах отношений между людьми - и психологических, и социальных, и моральных... Говорит ли «Сегодня вечером» молодой человек девушке, или генералиссимус - генералу, или антрепренер - актеру, - внелингвистическая специфика этих высказываний определяется сферой любовных, военных, театральных, возрастных, профессиональных отношений и ситуаций. Тут нет и не может быть какой-то одной науки, но сумятица и чересполосица самых разных дисциплин. Если предложением занимается лингвистика, то высказыванием, поскольку оно выходит из структурной плоскости языка в объем разнообразных межчеловеческих отношений, должны заниматься и история, и социология, и психология, и идеология, и этика. Сколько типов отношений, столько и типов высказываний. Соответственно лингвистика, как наука о языке, распыляется в облако разнообразных дисциплин, как только на место предложения встает высказывание.

Неудивительно, что Бахтину, который на протяжении полувека, с 1920-х годов до самой смерти, работал над теорией речевых жанров, так и не удалось сколь-нибудь систематически очертить эту теорию в рамках какой-то определенной, нелингвистической дисциплины. И это судьба не только бахтинского мышления, которое в полемике с западным «абстрактным объективизмом» выходит за пределы научности вообще, но, возможно, и всякой гуманитарной дисциплины, которая, врастая в русский язык, теряет контуры своей дисциплинарности, становится вольным кочевьем понятий.

3

Кстати, научный стиль самого М. Бахтина хорошо иллюстрирует его собственные идеи о высказывании. Как замечает крупнейшая истолковательница и переводчица Бахтина в англоязычном мире Кэрол Эмерсон, сам Бахтин пишет «высказываниями, а не предложениями», и отсюда - огромный труд передачи Бахтина на английском языке, который требует гораздо более грамматически и композиционно расчлененных форм выражения: «Это не тот род прозы, который находит себе готовое воплощение в английском языке. А значит, читатели и переводчики склонны подходить к ней без должного внимания, вплоть до возможных предложений отредактировать, упростить или сжать бахтинские тексты»[6].

Упростить и сжать... Дело в том, что в бахтинских текстах на протяжении многих страниц варьируется одна и та же мысль, повторяется во все новых словосочетаниях и терминах. На русский слух это звучит очень хорошо, поскольку в русской речи воспринимается ее коммуникативная заразительность, энергия высказывания, напористое умножение вариаций одного смысла, разбросанных по всему пространству книги или статьи.

И наоборот, сходные, почти тождественные мысли у Бахтина разделяются большими промежутками, где разговор переходит на другие темы - потом возвращается к прежним. Русской мысли свойственна такая развинченность дискурсивного стержня, который вращается и сгибается в разных направлениях, не выпрямлен в сторону временной и логической последовательности: «...Точки и запятые больше служат знаками интонации, чем ранжируют иерархически части предложения или сигнализируют его окончание. Бахтинские предложения фактически имеют конгениальную [его собственным идеям] бесформенность голоса, который может прерваться в любой момент»[7].

Русский язык любит синонимические повторы, наслаждаясь тем, как одно и то же может по-разному выражаться. На этом основан и фольклорный распев-повтор словесных формул, и язык церковных служб, где один и тот же молитвенный смысл предстает в многочисленных метафорических переложениях. Православные службы сложились, разумеется, в недрах греческого - великого философского языка, языка Платона и Аристотеля. Но философия начала говорила по-гречески почти за тысячу лет до возникновения византийских церковных канонов, тогда как русский письменный и литературный язык сам сложился внутри этих канонов и, соответственно, испытал решающее воздействие эстетики заклинания и повтора.

Английскому интеллектуальному слуху воспринимать такой длинный распев - наворот одних и тех же мотивов - чрезвычайно утомительно. Этот слух ищет предельно ясной, единократно выраженной информации, и если на 10-й странице повторяется в новых выражениях то, что уже сказано на 5-й, он отключается, перестает воспринимать и уважать источник речи. Строй русской мысли - вращательный, английской - поступательный. *Русское слово более магично, заклинательно и потому склонно к повтору. Английское слово более информативно, сообщательно и потому избегает повторов.*

Знаменательно, что Кэрол Эмерсон защищает Бахтина от непонимания англоязычных читателей аргументами, взятыми у самого Бахтина:

«*По поводу склонности к повторам Бахтин сам свой лучший советчик. Все его понимание слова и специфики высказывания ставит под сомнение само понятие повтора. Ничто не возвращается, одно и то же слово может накапливать, усиливать, даже пародировать то, что ему предшествовало, но оно не может быть тем же самым словом, если оно стоит в другом месте*»[8].

Этим широким аргументом можно оправдать как узорчатую, орнаментальную речь самой изысканной выделки, так, при желании, и беспредметное многословие, хождение мысли по кругу. Важно то, что перед нами столь радикальная разница языковых культур и интуиций, что для оправдания одной из них в глазах другой приходится брать теоретические аргументы у той же самой культуры, подлежащей оправданию, т. е. судить ее по закону, ею над собой признанному. Да и сам Бахтин от-

мечает: «Моя любовь к вариациям и к многообразию терминов к одному явлению. Множественность ракурсов. Сближение с далеким без указания посредствующих звеньев»[9].

4

С точки зрения английского языка, бахтинские тексты чудовищно многословны - притом, что они представляются нам чудом ясности и сжатости на фоне гораздо более размытой и многословной традиции русской метафизической прозы - И. Киреевский, А. Хомяков, Н. Федоров, П. Флоренский, С. Булгаков, С. Франк... Вот какие мыслители составляют подлинный кошмар для английского переводчика: мысль тянется страницами, главами, но вычленить ее концептуальное ядро и проследить ступенчатое развитие, расчленить на логически связанные пропозиции, артикулировать как ABC или 1) 2) 3) - крайне затруднительно. Любое summary обернется невнятицей или скопищем общих мест. Казалось бы, непонятное, темное, замысловатое - это противоположность самоочевидному, избитому. Но именно такова почти вся русская мысль в англоязычном переводе и восприятии. Она неприлично запутана, изощрена, но когда ее распутываешь, то не находишь почти ничего, кроме выспренних банальностей. Пушкин в переводе на английский удручающе банален, но, по крайней мере, ясен, а вот его философские соотечественники словно сговорились «вешать лапшу» на западные уши.

Скажем, одно из главных направлений русской философии, общепризнанный знак ее своеобычия - софиология. Но что такое София у русских мыслителей, даже у яснейшего из них, Владимира Соловьева, остается непонятным для внешнего мира. То это мировая душа, то идеальное человечество, то вечная женственность - набор равно отвлеченных и плохо соотнесенных характеристик. Павел Флоренский, в своем единственном завершенном большом философском труде «Столп и утверждение истины», посвящает Софии одну из глав - 80 страниц. Вот как впервые вводится - определяется предмет в начале главы (но не раньше пяти страниц лирического вступления и общеметафизической настройки):

«*София есть Великий Корень цело-купной твари* [...т. е. ***всецелостная*** тварь, а не просто ***вся***], *которым тварь уходит во внутри-Троичную жизнь и через который она получает себе Жизнь Вечную от Единого Источника Жизни; София есть перво-зданное естество твари, творческая Любовь Божия, "которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам" (Рим. 5:6); поэтому-то истинным Я обоженного, "сердцем" его является именно Любовь Божия, подобно как и Сущность Божества - внутри-Троичная Любовь. Ведь все - лишь постольку истинно существует, поскольку приобщается Божества-Любви, Источника бытия и истины... В отношении к твари София есть Ангел-*

Хранитель твари, Идеальная личность мира. Образующий разум в отношении к твари, она - образуемое содержание Бога-Разума, "психическое содержание" Его, вечно творимое Отцом через Сына и завершаемое в Духе Святом: Бог мыслит ***вещами****...»*[10].

Здесь на совершенно ином уровне мы видим то же, что и в статье из «Огонька»: предмет мысли многократно прокручивается через ряд уподоблений, которые концептуально почти ничего к этому предмету не добавляют, а напротив, постепенно размывают его, уводят от всякой конкретности. София - это корень целокупной твари; естество твари; Любовь Божия; Источник бытия и истины; Ангел-Хранитель твари; Идеальная личность мира; «психическое содержание» Бога-Разума... Сами по себе понятия, которые привлекаются для определения Софии, достаточно общи и концептуально отвлеченны, но, приравниваясь друг другу, они образуют очень широкое, всеобъемлющее понятие - собственно «Софию», - содержательность которого стремится к абсолютному нулю. Просто-напросто уравнять, через запятую, естество твари с Любовью Божией, корень твари с источником бытия и истины - значит, стереть всякую определенность этих понятий и заведомо отменить ту работу расчленяющей мысли, которая в точке каждого из этих определений должна была бы только начаться. Если София - «корень» твари, то чем он отличается от ствола и кроны? Если «Любовь Божия», то чем она отличается от «Бога-Разума»? Чем «корень целокупной твари» отличается от «*перво-зданного* естества твари»? Если же это все одно и то же, то и говорить не о чем, и определять нечего - достаточно мистического созерцания, типа брахманической медитации, где все становится Одним, а Одно - всем, и тогда все равно, как это называть: «Брахман», или «Ом», или «София».

Наконец, в заключение главы, подводя итог 70-страничному рассуждению, Флоренский дает последнее определение Софии:

«*София, - эта истинная Тварь или тварь в Истине - является* ***предварительно*** *как* ***намек*** *на преображенный, одухотворенный мир, как незримое для других явление горнего в дольнем»*[11].

Такое суждение вполне могло бы выступить и на 70 страниц раньше, поскольку оно столь же предварительно и туманно, как и ранее приведенные. Добавляется еще одно определение - чтобы раствориться в том неопределенном, что представляет собой София; и тем менее определенном, чем больше автор пытается его определить. Сама перестановка слов: «истинная Тварь или тварь в Истине» - показывает, что порядок здесь безразличен, что главное - это заглавные буквы у слов, а как они сочетаются, несущественно для Софии. «Явление горнего в дольнем» - но ведь это можно сказать в разной степени и про Иисуса Христа, и про Дух Святой, и про символ, и про красоту, и про любовь, и про истину. Так и получается, что замысловатость в подборе совершенно разных определяющих - тут и «ангел-хранитель», и «корень твари», и «любовь Божия», и «преображенный мир», и «горнее в дольнем» - столь же оша-

рашивает поначалу, как в конце концов удручает своей абстрактной беспредметностью. Чрезвычайно пестрый и широкий подбор многих определяющих - и скудное содержание самого определения. Очень может быть, что понятие Софии вообще невыразимо - но зачем же делать его столь невыразительным? Итог этого опустошающего нагнетания понятий можно подвести так: немотствующее многословие.

5

По этой же причине русский язык не слишком пригоден для афористики, где царствуют романо-германские языки. Русская речь течет и не кончается, а афоризм требует законченности. Свободный порядок слов намекает на устность, напевность, незастылость, некоторую даже неписьменность языка. Недаром именно в русской литературе - у Гоголя, Лескова - сложился сказ, литературное воспроизведение форм устной речи. Даже само слово «сказ» на европейские языки не переводится, а транскрибируется «skaz», настолько эта «устная письменность» - своеобразно русское явление. Русский язык, кажется, не вполне сложился в письменный, в нем много устности, интонационной свободы, слова легко переставляются, как если бы зависели от собеседника, от мимолетных обстоятельств речи, а не ложились навечно на бумагу. Для афоризма нужны твердо на своем месте стоящие слова, у которых не может быть поправки, перестановки или продолжения, а русская речь именно что любит себя поправлять, переиначивать. Русские говорят, все время оговариваясь («как бы»), как бы деконструируя сказанное.

Синтаксическая сцепленность русских лексических единиц, западающих друг в друга своими подвижными окончаниями (флексиями), тоже может затруднять афористическую чеканность высказывания. В русском языке одно слово неполно без другого, зовет и требует продолжения, это ряд наклонностей, «падежей», поддерживающих друг друга своим согласным падением, ряд одушевляющих друг друга недостатков.

В русской литературе нет ни одного значительного автора-афориста, который целенаправленно работал бы в этом жанре. Нет русских Ларошфуко и Лихтенбергов, Паскалей и Уайлдов. Единственный их русский соперник - Козьма Прутков, который выворачивает жанр афоризма наизнанку, демонстрируя глупость так называемой мудрости, напыщенную бессодержательность ее величественно застывших форм. «Нельзя объять необъятное». «Смотри в корень». Афористическая форма здесь берется как материал для игры и саморазоблачительной тавтологии.

Афоризм - это отдельно стоящая мысль, которая применима везде и всегда, а русский язык не любит этих обособленных мыслеобразований и либо глумится над ними, либо растворяет в обильных, захлебывающихся словесных потоках.

Сентенция по-русски звучит высокопарно, смешно, ей не хватает ес-

тественности, «случайности», влитости в поток речи. *Из-речение* - то, что выделяется **из** речи, а русская речь ничего из себя не отпускает, в ней поток и захлест всегда торжествуют над отточенностью и застылостью письменных форм «изреченности».

Поэтому чистая афористика в России развивалась преимущественно как юмористический жанр: изречение как бы заведомо подсмеивается над своей изреченностью. Таковы Козьма Прутков, Эмиль Кроткий и их последователи, эстрадные авторы, включая Михаила Жванецкого. Самый выдающийся афорист славянского мира, Ежи Лец, тоже подсмеивался, выкрутасничал, как бы пародировал величественность своего жанра, адресуя его тоталитарному обществу и его застывшим формам цитатности, выворачивал их наизнанку, имитируя их монументальность.

Кстати, тоталитарная идеология отчаянно нуждается в афоризмах и старается извлечь их из любого годного текста, обрубив корни и веточки и оструга в до гладкого хлыстика. «Че-ло-век! Это - великолепно! Это звучит... гордо!» - даже Горький, большой любитель афоризмов, пытался как-то оживить речь своего персонажа (Сатина в пьесе «На дне»), черточками и запинкой-многоточием придать ей разговорность, но идеология отсекала эти сказовые «живинки» и вырубила просто и кратко: «Человек - это звучит гордо».

Русской речи, чтобы совершить прыжок, требуется большой разгон. Она долго разогревается, бормочет, шепелявит, спрашивает, сомневается, дразнится, несет несусветное, прежде чем дерзнуть и *изречь*. Почти все так называемые «изречения» русских авторов взяты из больших текстов, т. е. вынуты из контекста, где они были вписаны в конкретную речевую ситуацию, а не возвышались над ней, как монументальные «вечные слова». Из пьес Грибоедова, Чехова и Горького, из романов Достоевского, из стихов и статей Пушкина, из стихов Маяковского и Пастернака, из прозы Платонова, Булгакова и Вен. Ерофеева, из дневников и дневниковой прозы В. Розанова и М. Пришвина... И, конечно, из грозной политической риторики В. Ленина.

Вот, например, одно из самых известных русских изречений - «Красота спасет мир» Достоевского. Но сам Достоевский от себя ничего подобного не говорил. И даже его герой князь Мышкин (в романе «Идиот»), которому обычно приписывается это высказывание, сам его не произносит. Оно именно приписывается ему в романе другим персонажем, Ипполитом, причем со слов третьего персонажа, Коли. И даже в такой «вырубленной» форме этого утверждения нет - есть только вопрос.

Вот этот отрывок из третьей части романа. Ипполит говорит:

«*Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет "красота"? Господа, - закричал он громко всем, - князь утверждает, что мир спасет красота! А я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблен. Господа, князь влюблен; давеча, только что он вошел, я в этом убедился. Не краснейте, князь, мне вас жалко ста-*

нет. Какая ***красота спасет мир****? Мне это Коля пересказал... Вы ревностный христианин? Коля говорит, что вы сами себя называете христианином».*

Как видим, то, что стало афоризмом, здесь плывет и качается на волнах диалогической речи. Никогда Достоевский не изрекал «Красота спасет мир» и, скорее всего, сам поморщился бы от столь великолепной сентенции.

6

По терминологии Василия Налимова[12], на семантической шкале языков русский язык окажется на полюсе мягкости, наряду с языком дзена и абстрактной живописи. Любое понятие русский язык превращает во что-то виртуальное, слегка фантастическое. В нем больше возможностей, чем реальности, больше намека, чем значения, больше угадки, чем знания, больше домысла, чем осмысления. Это бескостный язык, сплошь из мяса и слюны, но без костей. Но этим русский язык оказывается вхож в область семантической размытости, куда вхожи и другие «безъязыкие» языки, например, сновидений, медитаций, элементарных частиц, обнаруживающих волновые свойства. Как заметил еще Владимир Набоков, «телодвижения, ужимки, ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы... выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски...» (Постскриптум к русскому изданию «Лолиты»). Все здесь перечисленное отличается зыбкостью, текучестью. Может быть, в каком-то отдаленном будущем, когда многовариантность и расплывчатость станут важными и определяющими свойствами коммуникационно переработанной реальности, русский язык, к тому времени морфологически упрощенный, а лексически усложненный, станет одним из главных языков виртуального мира. Ведь перебалтывание смеси в пробирке - тоже полезное занятие, если при этом образуется новое вещество.

Человек, мыслящий по-русски, всегда чувствовал себя гадким утенком среди настоящих мыслителей - таких, как Платон, Декарт, Спиноза, Гегель, Шопенгауэр, Хайдеггер. Они строили свои системы философии и методы философствования, а русский мыслитель шатался между ними, вытягивал яркие ниточки из той или другой ткани и заново сплетал обрывки. Куражился, заносился - но, в общем-то, тосковал, поскольку ему негде было преклонить главу. То, что делали русские мыслители, - это была не философия, не лингвистика, не какая-либо вообще наука, а создание *мыслительной среды* - среды обитания для разных умов, где они могут общаться между собой, находить общие темы и вопросы... Русские мыслители писали друг другу письма, то есть, в полном соответствии с бахтинской теорией, строили не предложения, а высказывания.

Именно такой тип размыто-коммуникативной деятельности языка

может оказаться продуктивным в будущем. Философские системы прошлого сейчас напоминают одинокие великолепные замки, торчащие на поверхности пустыни. Вот там возвышается крепость Декарта. Вот обнесенный рвом замок Канта. Вот циклопическое сооружение Гегеля. А вокруг - пустота, дикость, степные травы: сюрреалистический пейзаж. Да и вся философия предыдущих тысячелетий представляется доурбанистической фазой в истории мысли. Строили отдельные здания, изящные, величественные, - или же разрушали одни здания, чтобы на их месте возвести другие, более прочные, современные.

Но сейчас изменился сам тип архитектурного сознания в философии, сама архитектоника мышления. Уже нельзя строить отдельные здания (системы) - нужно создавать среду обитания, логические объемы и переходы, которые часто остаются незамеченными, потому что мы живем в них, как горожанин - в многоплановой, волнисто-континуальной искусственной среде. Здания, построенные раньше, не утрачивают своего значения, но они соединяются тысячами переходов, подвесных мостов, многоуровневых эстакад и развязок - и уже не выглядят столь пугающе одинокими и величественными, как раньше, когда они возвышались в голой степи.

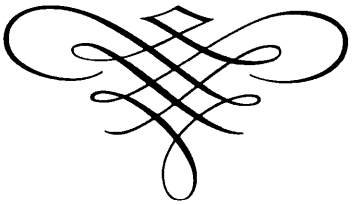
Вот здесь и приходит черед русского языка - средомыслия и кривомыслия, обходного мышления, в отличие от прямомыслия философических наук. Русский язык плохо приспособлен для сооружения отдельных зданий мысли. Ему недостает точности и однозначности. Он постоянно уклоняется от прямой сути, куролесит, колобродит, несет околесицу. Это язык кривых пространств, язык не Евклида, а Лобачевского, язык отступлений, а не сухого и точного пересказа. По-русски всегда получается немножко вранье, а уж от народа ли у языка такой характер, или у народа от языка - Бог весть. Так или иначе, русский язык в создании мыслительной среды, с ее расплывающейся предметностью, может оказаться вполне подходящим инструментом - лекалом, по которому вычерчиваются кривые. Образчик кривизн, уклонений и несообразностей. Но ведь и мыслительная среда, в отличие от мыслительных сооружений, подчиняется не строгости отвеса и геометрии кирпично-табличной кладки, а мерилам широты и распахнутости. Русский может далеко завести - и незаметно привести обратно, в нем много круговых петель, как в языке, постоянно сменяющем свои значения. Русский язык меньше рассекает и больше гладит и шарит в пространстве, движется ощупью, руководится не зрительной, а осязательной интуицией. Все его семантические поля и ореолы чрезвычайно размыты, и порой для того, чтобы понять, что имел в виду русский мыслитель, нужно заглянуть в английский перевод, сделанный хорошим специалистом.

Русская философия, быть может, оттого так долго не начинала говорить на своем языке, что избегала говорить о плотском в его непосредственной осязаемости, в чем она и может выразить свою самобытность. Русский язык своими длинными, как бы осязаемо продлеваемыми слова-

ми превосходно передает протяженность вещей и чувственную развернутость и непосредственность самого осязания. Это язык касаний, прилеганий, оглаживаний; он тягуч, прилипчив, осязателен к материальной поверхности вещей, к тягучести, клейкости, шероховатости. Русским языком хорошо можно описывать тину, тягучесть, вязкость, болотистость, трясину, упругость, всасываемость, втягиваемость, затянутость, липкость, приставучесть, зыбление - всю ту консистенцию влажной земли, которая столь сходна с консистенцией плоти в ее любовной истоме, дрожании, расплавленности, текучести, облегании другой плоти.

На первом этапе строительства интернетовской сети как технического сооружения безусловное первенство принадлежит английскому, потому что это язык мореплавателей, и не случайно первый массовый сетеход (браузер) назывался «Навигатором». Строить корабли - этому русские учились у англичан, как, впрочем, и многому другому. С самого начала весь технический словарь сети - английский. Но когда этот этап сооружения Здания подойдет к определенной точкс и начнстся плаванис по сети, этакое вселенское кочевье умов - вот тогда и русский может оказаться не последним наречьем кочевого самосознания. На нем можно далеко кричать, так что звуки тают в воздухе и расходятся долгим раскатистым эхом. Русские песни протяжны - и это свойство может когда-нибудь пригодиться для создания размытых полей сознания, где английскому языку будет не хватать именно протяжности, раскатистости, тягучести.

1. «Огонек». Новый этап истории \\ Сост. Мария Лскич. Lincolnwood (Illinois). National Textbook company, 1994. С. 3-4.
2. *Бахтин М. М.* Проблема речевых жанров \\ Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 262-263.
3. Там же. С. 261, 263.
4. *Волошинов В. (М. Бахтин).* Марксизм и философия языка \\ Философия и социология гуманитарных наук. СПб.: Аста-Пресс, 1995. С. 313.
5. *Jakobson R.* Language in Literature \\ Ed. by Krystyna Pomorska and Stephen rudy. Cambridge (MA), London: The Belknap Press of Harvard University Press. P. 67.
6. *Emerson C.* Editor's Preface, in Mikhail Bakhtin. Problems of Dostoevsky's Poetics, ed. and transl. by Caryl Emerson. Minneapolis: U. of Minnesota Press, 1984. P. XXXIY.
7. Ibid.
8. Ibid. P. XXXY.
9. *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 361.
10. *Флоренский П. А.* Столп и утверждение истины \\ Собр. соч. Т. 1. М.: Правда, 1990. С. 326.
11. Там же. С. 391.
12. *Налимов В.* Вероятностная модель языка. М., 1979.



Эдуард Бормашенко

СЕРЫМ ПО СЕРОМУ

> Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов... Их поминутные возмущения, непривычка к законам гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства постоянного надзора для удержания их в повиновении.
>
> ...чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов.
>
> *А. С. Пушкин. Капитанская дочка*

Взору любознательного путешественника, пересекающего зеленую линию, отделяющую Израиль, международно-признанный, от Израиля, праведно и гневно осуждаемого мировой общественностью, предстает занятная картина. Еврейские поселения перемежаются арабскими селами, «двоюродных братьев» разделяет порою расстояние ружейного выстрела, и потому контрастность картины особенно бьет в глаза. Ухоженные, беленькие домики поселенцев, крытые черепицею, окруженные невесть откуда взявшейся и нетипичной для здешних мест зеленью, более всего напоминающие сахарные избушки под пряничными крышами из уютной немецкой сказки о Гансе и Гретель, неожиданно прерываются грязными, серыми будками ишмаэльтян: ни кустика, ни цветочка, ни деревца, только пыль вперемешку с пластиковыми кульками, перегоняемая режущим самарийским ветром. Короче, любителям живописной бедности и ближневосточной экзотики есть на что посмотреть.

Эти два мира не могут существовать вместе, как не могли делить общее пространство усадьбы, построенные «по проекту Растрелли», и крестьянские избы, кишевшие вчера еще поротыми мужиками. Усадьбы

исчезли, вместе с усадьбами из России на долгие годы (если не навсегда) ушли культура и процветание. Целый клубок обстоятельств делает мирное сосуществование невозможным, об одном из них, не бросающемся в глаза, но важном, и пойдет речь.

СОВЕТСКОЕ - ЗНАЧИТ РАЦИОНАЛЬНОЕ

Крах Советской империи перекроил не только политическую, но и интеллектуальную карту мира, причем самым неожиданным образом. Невинно пострадавшим оказался *рационализм*, и без того к концу XX века переживавший не лучшие времена. Распадающийся на куски коммунистический монстр подтолкнул уже падавшего. Ближайшим и самоочевидным следствием победы Запада стало сокращение финансирования фундаментальной науки: яйцеголовым, засевшим в цитаделях точного знания - университетах, центрах ядерных исследований и обсерваториях, пришлось затягивать пояса. Ученым и раньше-то не слишком доверяли - проверить, чем там они занимаются и на что тратят народные деньги, непросто, но после Бомбы приходилось к ним прислушиваться. Развал Союза эту необходимость отменил.

Менее очевиден был рациональный характер идеологического противостояния систем: Советы, пыжась, убеждали себя и других в том, что они не хуже Запада, и публиковали на отменной мелованной бумаге толстенные тома, в которых *доказывалось*, что по количеству чугуна и стали, больничных коек и прожитых лет на душу населения социализм имеет явные и несомненные преимущества (карты, разумеется, передергивались шулерами от статистики). Когда сравнение было не в пользу СССР, из колоды извлекался джокер *духовности*, переводя дискуссию в плоскость внерациональную, ибо, что это за штука такая и чем ее меряют, не ясно, но в целом необходимость доказывать, приводя внятные количественные аргументы, не оспаривалась. Взаимоотношения марксизма с рационализмом - непросты, но претензия на то, что марксизм и есть истинный рационализм, была заявлена классиками учения, и общий колорит противостояния был задан: приходилось учитывать тракторы, балетные фуэте и олимпийские медали. Рациональный характер противостояния предопределил и то, что мир, балансировавший на грани ядерной катастрофы, все-таки не взорвался, - самоубийство в программу жадных до жизни партработников не входило.

Конфликту цивилизаций, официально объявленному 11 сентября 2001 года, по-видимому, суждено разыграться в ином ключе. Заведомое неравенство сил, экономическая и военная импотенция исламских стран делают невозможным выяснение отношений в рациональном поле. Более того, идеологи террора и не пытаются его вести на чужой территории. Седобородым шейхам, просветленным Кораном, ясно, что, да-

же взорвав еще сто небоскребов в США и десятки супермаркетов и автобусов в Израиле, они не смогут нанести ни США, ни Израилю военного поражения. Ставка делается именно на *духовную* победу. Разложившийся и зажравшийся Запад не сможет выдержать противостояния с одухотворенными сынами ислама. Надо попытаться понять: так ли необоснованна эта ставка?

> - Не желала бы я встретиться с вами, когда у вас в руках револьвер, - кокетливо поглядывая на Азазелло, сказала Маргарита. У нее была страсть ко всем людям, которые делают что-либо первоклассно.
>
> *М. Булгаков. Мастер и Маргарита*

> Если быть рационалистом - значит предпочитать богатых духом нищим духом, то я рационалист.
>
> *Л. Фейхтвангер. Сыновья*

Эту песню не задушишь, не убьешь, и поется она так: именно оттого, что мы наги и убоги, мы несем в себе духовную субстанцию, недоступную самодовольным и сытым. Весь антизападный интеллектуальный блок, будь то неоевразийцы-дугинцы, исламисты или славянофилы, щиплет все ту же струну: да, наш народ гол и бос, и быт его страшен, но потому-то русские (арабы, чеченцы…) и избраны и призваны, что иначе оправдать этот дикий, бестолковый быт никак невозможно. То есть, мы вот не умеем гвоздя ровно забить и портки аккуратно пошить, но тем и горды, ибо вопиющая западная эффективность для нас не указ. Не хотим мы этой эффективности, и вовсе не случайно Дугин учиняет разнос именно Декарту, справедливо связав успехи бездуховных капиталистов именно с торжеством рационализма. Дугин же и осмыслил духовное родство всех сирых и бестолковых, с надеждою поглядывая на все тех же просветленных шейхов.

Я, подобно булгаковской Маргарите, люблю людей, первоклассно делающих свое дело, и ненавижу криво забитые гвозди и расползающиеся портки, и именно потому отношусь к противостоянию серьезно, не обольщаясь подавляющим военным и экономическим преимуществом либеральных демократий. Ибо демократическая грызня, привычка при виде опасности засовывать голову в песок и готовность интеллигенции оправдать любое безобразие, сводящаяся к лоханкинско-

му «а может, в этом и есть сермяжная правда», могут создать подходящую рамку для самоубийства Запада.

Всего сто лет назад кучка одухотворенных террористов (при явном неравенстве сил не в их пользу) поставила на колени стремительно взлетавшую Россию, чуть позже горстка просветленных расистским откровением бандитов оседлала самую культурную страну мира - Германию. Двум этим гангстерским бандам совместными усилиями удалось превратить XX век в кошмар. А ведь в начале века ничто не предвещало грозы, грядущее столетие грезилось «золотым веком», разве что Достоевский чуял, что XX век окажется куда страшнее века XIX. А теперь вдумаемся в то, что его бесы просто альтруисты и филантропы по сравнению с деятелями 11 сентября.

Зализав послевоенные раны, мир кое-как обустроился на новых началах, именуемых: прагматизм и либерализм, скорее представляющих собой *правила поведения*, нежели идеологию. Неосознанной философской подкладкой того и другого была великая традиция рационального мышления, вступившая сегодня в период тяжкого кризиса, не позволяющего с избыточным оптимизмом смотреть в век грядущий. В природе этого кризиса мы попытаемся разобраться, ибо именно на освободившееся при отступлении рационализма поле с надеждой поглядывают исламисты - в занятии этого поля и должна состоять предвкушаемая духовная победа.

РАЦИОНАЛЬНОЕ КАК УПРАЖНЕНИЯ В СЛОЖНОСТИ И РАЗЛИЧЕНИИ

Резонно было бы начать наше изыскание с четкого определения его предмета. В самом деле, какое именно мышление претендует на эпитет *рациональное*? Несмотря на кажущуюся прозрачность ситуации (мы все с легкостью произносим: вот это объяснение - рационально, а это нет), попытка втиснуть рационализм в рамки сколь-нибудь толкового определения не удается, что-то существенное ускользает. Привычная связь рационализма с точными науками при более внимательном рассмотрении оказывается ни необходимой, ни достаточной для формирования отсекающего определения. Рациональными могут быть и филологическое, и историческое исследования, и комментарий Священного писания. Попытка свести рационализм к способу мыслить, непременно возведенному на декартовском «мыслю - следовательно, существую», тоже не удается - рационализм давно вырвался из рамок чистого картезианства.

Рав Адин Штейнзальц и профессор Амос Функенштейн, размышляя о рационализме, дают ему парадоксальное определение: рационализм - это форма существования *открытого* знания. Они же подмечают: только два древних общества провозгласили и реализовали идеал открытого знания - еврейское и древнегреческое. В «Социоло-

гии Невежества» Штейнзальц и Функенштейн приводят солидную фактическую базу, подтверждающую их неожиданную посылку. В самом деле, греки изобрели процедуру и механизмы публичного обсуждения самых разнообразных проблем, полисная жизнь грека была в первую очередь жизнью гражданской. Еврейская культура превратила знание Торы в *ценность*, подлежащую хранению всем еврейским народом от мала до велика, вне всякой зависимости от социального статуса и благосостояния: в идеале еврейская жизнь представляет собой непрерывное учение, открытое для любого в учении заитересованного индивидуума. Герману Вуку в библиотеке Конгресса попалось издание Мишны с любопытным экслибрисом: «Общество лесорубов Бердичева для изучения Мишны». Ключевым моментом еврейской истории, согласно Штейнзальцу и Функенштейну, стало решение об отмене платы за обучение в центрах изучения Торы в Явне во времена рабана Гамлиэля.

Обратим внимание, для нас это очень существенно, в формуле Штейнзальца понятие *знания* куда шире понятия науки, в привычном смысле этого слова; несущественно, что именно изучается: законы природы, математика или Талмуд, важно, чтобы знание было открытым. В трактовке Штейнзальца, рациональность знания обусловлена именно его *социологией* - лишь в общественном контексте выявляется характер знания. Те же авторы отмечают, что мистицизм, напротив, всегда тяготел к концентрации в узких кругах посвященных. Любопытно, что «всепобеждающее учение» - марксизм, даже в последние годы его функционирования в качестве советской государственной идеологии, подпадает под определение Штейнзальца и Функенштейна (каждый мог изучать произведения классиков) и потому - рационален.

Принимая открытость знания в качестве критерия его рациональности, я попытаюсь продлить мысль, понимая открытость не только в качестве *общедоступности*. На мой взгляд, принципиальное значение для формирования критерия рациональности имеет открытость в качестве индивидуальной установки, интенции познающего ума. Открытость сознания миру и жадный интерес к бытию во всех его проявлениях.

Я хочу пояснить свою мысль наблюдением В. Г. Черткова, путешествовавшего на поезде с Л. Н. Толстым. Толстой «загляделся в окно на красный закат… он, видимо, любовался зрелищем. Немного погодя он, не двигаясь с места, посмотрел на свои часы и затем стал поминутно их вынимать. Очевидно, он хотел проследить, сколько времени потребуется для того, чтобы диск солнца скрылся за горизонтом. Когда перед окном поднимался густой лес или насыпь, он нетерпеливо высовывал из окна голову, чтобы узнать, долго ли протянется это препятствие, мешавшее его наблюдению».

Комментируя эту сценку, Марк Алданов проницательно напишет:

«глубокий старец, одной ногой стоящий в могиле, должен зачем-то знать, сколько времени потребуется диску солнца, чтобы скрыться за горизонтом. Люди гораздо моложе его прилегли отдохнуть, а он стоит с часами в руке и что-то нетерпеливо изучает. Это вот жадное любопытство к явлениям внешнего мира создает Пастеров и Лавуазье, когда оно не создает Толстых и Гете». Я думаю, что такая личная открытость миру и есть отличительный признак рационального мышления вообще.

СТАВКА - РЕЛИГИОЗНЫЙ РАЦИОНАЛИЗМ

> То, что с точки зрения эмпирии кажется лишь бесконечным идеалом, мечтой о «новом небе» и о «новой земле», которые лишь некогда должны явиться или прийти, - обнаруживается в последней бытийственной глубине в качестве вечной реальности. Иначе и не может быть, ибо все «должное», всякая ценность в первооснове бытия совпадают с самой реальностью.
>
> *С. Л. Франк*

С некоторым нажимом проговорю еще раз: связь рационализма с точными науками не так непременна, как мы привыкли думать. Рациональным может быть и отношение к священным текстам (не понижающее статус их священности!). Наблюдая за религиозными людьми, я установил некую типологию: есть верующие, получающие неизъяснимое наслаждение от самого чтения или произнесения священного текста без всякой связи с буквальным пониманием прочитанного, их отношение к Книге мало отличается от музыкального - душу наполняет сама гармония звуков или вязь букв, невнятность текста их вовсе не смущает (а то и вдохновляет). Но среди религиозных людей есть и другие: которые просто не могут выдавить из себя слова молитвы или Священного писания без точного понимания смысла. Их интересует *значение* произносимых слов, то есть тот мостик между словами и вещами, наведением которого две тысячи лет без особого успеха занимается философия, они - рационалисты в самом точном значении этого слова, их кредо сформулировано Ансельмом Кентерберийским: «Я верую, для того чтобы понимать».

Здесь необходимо уточнить, что именно имеется в виду под пониманием. В несравненном «Пикнике на обочине» братья Стругацкие бросили зло, но по сути верно: у человека есть «потребность понять, а для этого знаний не надо. Гипотеза о боге, например, дает ни с чем не срав-

нимую возможность все понять, абсолютно ничего не узнавая». Так вот, подобное понимание не устраивает религиозного реалиста именно в силу своей безбрежной и оттого подозрительной всеобщности, ему подавай сложный, непрерывно расщепляющийся и ветвящийся в своей сложности и интересный именно своей сложностью мир, в котором без знаний делать нечего. Наш герой самого высокого мнения о Б-жественном разуме, пронизывающем мироздание, его жизнь проходит в светлом изумлении человеческой способностью проникать в суть вещей в непрерывном познающем, различающем усилии ума. Рационалист, набрасывая сеть понимания на мир, по необходимости включает в него подмножество вещей, вещный мир приходится знать, иногда против воли (Толстой, если верить рассказу Черткова, проповедуя отказ от вещей, ни на минуту не переставал ими интересоваться).

Знаменитая декартовская формула «я мыслю - следовательно, существую», на которой пророс рационализм, на самом деле не образует отсекающего критерия рационального мышления. Декарт говорит нам вот что: для меня нет ничего более близкого, чем моя собственная мысль. Сейчас, сию минуту я мыслю, это и есть единственное доступное мне абсолютно надежное, достоверное знание, представляющее собой тот кирпичик, на котором можно возвести корпус сколь угодно разветвленных наук. Итак, согласно Декарту, в первом исходном усилии «дверь открывается вовнутрь», и только вовнутрь, по той простой причине, что опереться, кроме как на собственное сознание, мне не на что. Тем не менее, хорошо известно, что на подобном корне недурно поднимаются побеги мистического знания. Разглядывание глубин и высот собственного сознания - любимое дело людей, на дух не переносящих ничего рационального, иногда и не убежденных в том, что внешний мир «на самом деле» существует.

Но решающее движение к тому, что сегодня принято именовать рационализмом, сделал именно Декарт. Я ощущаю некоторое неудобство, предлагая тысячу первую вариацию на тему cogito ergo sum, и все же наберусь окаянства нарушить правила философского приличия: декартовская формула соединяет бытие и мышление о нем в «Я», но за один шаг до этого объединения четко их *различает*. Жесткое отделение духа от материи, материи от пространства, воображения от реальности оказалось приемом невероятной эффективности и продуктивности. Декарт знает, что ни в мире, ни в нашем воображении не присутствуют чистые состояния, но для того чтобы эффективно мыслить и о мире, и о сознании, нам необходимо себя вести так, как если бы чистые состояния различались; именно с этого толчка «запускается» машина точного знания. Декарт в «Страстях Души» с нажимом пишет о том, что именно оттого, что душа и тела так тесно связаны между собой, необходимо их четкое разграничение. Мераб Мамардашвили и вовсе определит культуру в самом широком смысле, как «упражнения в сложности и различении». Рациональное мышление вырабатывает некий вариант бритвы Оккама,

формулируемый примерно так: *не обобщай без самой крайней на то необходимости*, признавая неустранимую сложность реальности и несводимость ее к самым изощренным схемам.

В точности указать, куда именно нацелено острие нашего созерцания - внутрь сознания или вовне, не просто. Заглядывая в «потаенное» собственной души, мы все же вынуждены перерабатывать сырье информации, поступившей извне, а, выглянув наружу, вынуждены рассматривать мир через очки сознания. Рационализм начинается с того, что в трезвом уме и светлой памяти, отдавая себе отчет в том, что узел, образуемый реальностью и сознанием, нерасплетаем, мы будем вести себя так, как если бы это различение было возможно.

Свирепый враг Декарта Александр Дугин (иногда кажется, что эта вражда сродни ленинскому чувству к Богу - имеет личный характер) не случайно нападает на декартовскую страсть различать. Различение создает сложный мир, Дугин волит мира понятного, причем понятного не в смысле его интеллектуальной прозрачности, но подломленного под заранее скроенные схемы. От дугинской критики можно, в конце концов, и отмахнуться - передержки и натяжки торчат из его велеречивого философствования на каждом шагу. Более серьезный и не менее непримиримый ненавистник картезианства Паскаль в одном из фрагментов «Мыслей» (84, Издательство имени Сабашниковых, 1995 г.) неожиданно упрекает философствование Декарта в *бесполезности* (с подобным упреком, высказанным другим авторитетным философом Платону, мы встретимся чуть позже), очевидно, имея в виду его бесполезность для духа. В самом деле, Паскалю периода «Мыслей», не слишком убежденному в существовании внешнего мира, знание об этом мире, естественно, кажется бесполезным.

Можно обратить внимание на любопытное обстоятельство: сквозная тема «Мыслей» - тема суеты и суетности. Паскаль настойчиво возвращается к Екклезиастовскому припеву: «все суета» - и в самом деле, по внимательном рассмотрении выходит, что куда ни кинь - кругом тлен и томление духа (как верно написал М. Алданов: там, где дуют ветры вечности, *любые* человеческие сооружения не прочнее карточных домиков). Паскалем отчетливо заявляется монопольная претензия на *духовность*, вырабатываемая в *противостоянии реальности*. Декарта, напротив, тема суетности, кажется, вовсе не интересует, он попросту не различает проблемы там, где ее видит Паскаль, и хладнокровно советует для тренировки разума учиться у обойщиков и прочих ремесленников, занятых систематическим трудом, вырабатывающим навык спокойного наблюдения и классификации. Декарт знает, что можно несуетно клеить обои и суетно размышлять о Тв-рце мироздания.

Паскаль - и его многочисленные последователи, безотносительно к их конфессиональной принадлежности, - пропускает не слишком сложный ход - *реальность несуетна*; солнце, дерево, хлеб, кошка - несуетны.

Станиславский говорил, что если в самый напряженный момент спектакля из-за кулис выбежит невесть как там очутившаяся ободранная кошка - самый великий трагик обречен, публика будет смотреть на кошку, кошка перехватит внимание своей абсолютной естественностью. Вместилище суетности исключительно внутри нас, трудно понять, как же, сосредоточив зрение на изгибах собственной души, мне удастся изгнать злого духа суетности.

Мне с трудом верится и в то, во что верит Паскаль и наследовавшие ему (как, впрочем, и не связанные с христианством) мистики, а именно в то, что, отворяя дверь сознания внутрь и лишь только внутрь, мы совершенствуем душу. Куда ближе к истине был Толстой, в изумительном фрагменте, посвященном последним дням князя Андрея, написавший вот что: «княжна Марья... уловив выражение его лица и взгляда... вдруг оробела и почувствовала себя виноватою. "Да в чем же я виновата?" - спросила она себя. "В том, что живешь и думаешь о живом, а я!.." - отвечал его холодный, строгий взгляд. В глубоком, *не из себя, но в себя* смотревшем взгляде была почти враждебность, когда он медленно оглянул взглядом сестру и Наташу».

Откуда же эта странная враждебность? Не оттого ли, что, поверяя живое мерою смерти, не избежать отчуждения от мира посюстороннего? Думаю, мысль Толстого тоньше, сложнее. Жизнь должно поверять мерою смерти, Толстому этого разъяснять не приходилось. Царь Петр наказывал Никите Демидову: «Работать тебе с крайним и тщательным радением, напоминая себе смертные часы». Лучше не скажешь, совсем недурно оставить наше жизненное мельтешение перед последним окончательным экзаменом, на котором нам предстоит держать ответ перед Тем, у кого не спишешь, не сжульничаешь. Все дело - в «глубоком, не из себя, но в себя смотревшем взгляде». Похоже, что князю Андрею не удается там рассмотреть чего-либо, оправдывающего существование живого. Сопутствует ли враждебность к близким вознесению духа? Едва ли.

Культура созерцания реальности, толкового различения сущностей уберегает от суетности ничуть не менее остекленелого взгляда, застывшего на вечности. Эта культура, в конечном счете, позволила нам осознать фундаментальное единство мироздания на головокружительном уровне теории относительности и квантовой механики, нанесших на реальность кружева понимания поразительной тонкости и изящества. Созерцание этого единства доставляет религиозному реалисту вовсе несуетное чувство причастности к Б-жественному разуму. Мераб Мамардашвили высказал почти кощунственную мысль, написав, что рационалист убежден в том, что его мышление о мире отличается от Б-жественного количественно, но не качественно, т. е. нам, разумеется, недоступно одновременное созерцание всех элементов, упорядочивающих мироздание, но нет ни одного уголка в этом гигантском хозяйстве, недоступного для нашего разума. Как же нам не интересоваться этим хозяйством

(а имя ему *реальность*), если оно насквозь пронизано и согрето светом Б-жественного присутствия?

Рационализм непременно связан с тем, чтобы «дверь открывалась и вовне». Другое дело, что, ежели дверь открывается только вовне, мы получаем нечто вполне убогое, вроде марксизма или иного тупого материализма. Если дверь открывается лишь внутрь, то сужение мысли до мистицизма неизбежно. И здесь я хочу поговорить о том виде рационализма, который мне и близок, и дорог - о *религиозном рационализме*, предполагающем возможность двери-вертушки, не перекрывающей наглухо ни путей в подземелья сознания, ни выхода наружу. Может быть, и правы те мыслители (вроде А. Пятигорского), которые говорят о том, что *одновременно* нельзя быть и внутри, и снаружи, формулируя это, допустим, так: жить и мыслить одновременно невозможно. Так ведь одновременно и не нужно. Разумевший в философии Декарт советовал уделять интеллектуальному созерцанию не более нескольких часов в месяц, посвящая остальное время занятиям практическим.

Уверенность в изоморфизме Б-жественного и человеческого разумов (именно в этом смысле следует, по-моему, понимать то, что мы созданы по образу и подобию) подвигала всех религиозных рационалистов (от Аристотеля до Канта) на странное занятие, ехидно осмеянное Воландом: поиск *доказательств* бытия божьего. Здесь стоит обратить внимание на то, кто ехидничает. Булгаков прекрасно понимал, что плохи дела тогда и там, где *не ищут* таких доказательств. Для набожного рационалиста такой поиск - дело самое естественное и родное, мир должен быть так устроен, чтобы Его присутствие было для нас доказуемо.

РЕЛИГИОЗНЫЙ РАЦИОНАЛИЗМ - ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ ВЗРОСЛЫХ

> Все люди от природы стремятся к знанию. Доказательство тому - влечение к чувственным восприятиям.
>
> *Аристотель. Метафизика*

Разговор о религиозном рационализме по справедливости следует начинать с Аристотеля. Аристотелю досталось роскошное философское наследство - платоновская теория идей. Рождение религиозного реализма началось с преодоления Аристотелем волшебства платоновской мысли - возражая Платону, Аристотель говорит вот что: идеи, краеугольный камень платонизма, «ничего не дают ни для познания… ве-

щей... ни для познания их бытия». Иначе говоря, идеи *бесполезны* для познания материального мира. Апелляция к пользе странна в устах философа: философии по определению положено быть любовью к мудрости, безотносительно к тому, полезна мудрость или нет. Но для Аристотеля мудрость изначально ценна лишь в том случае, если она хоть както, пусть косвенно и опосредованно, соприкасается с реальностью. Реальным же бытием для Аристотеля обладают только единичные вещи. Сама великолепная теория форм у Аристотеля вспомогательна по отношению к его безудержному эмпиризму.

Подобное отношение к мудрости едва ли приемлемо для мыслителя, которого этот мир *не интересует* и который куда лучше себя чувствует в сияющих чертогах мира идеального. Я думаю, что до конца времен, отпущенных Тв-рцом всего сущего человечеству, будут рождаться люди с темпераментом Платона и темпераментом Аристотеля. Им всегда будет трудно договориться - реализм Аристотеля не вдохновляет тех, кто выше всего ценит *последовательность* мышления, быть может, в ущерб *правдоподобию*. Последовательность и строгость мысли, достижимые в мире идеальном, встречают неустранимые трудности при переходе к миру реальному. Классический рационализм, порожденный Аристотелем, настаивал на том, что синтез правдоподобия и последовательности возможен, возможны гармония, золотая середина, в идеале обеспечивающие и гармонию мира и человека.

Рационалисты Аристотель, Декарт, Рамбам, Лейбниц, Кант поражают гармоничностью своих личностей, ошибочно, ох, как ошибочно принимаемой за холодность, бесстрастность. Религиозный реализм - мучителен для своего носителя, хоромы (в «хоромах» ведь тихонько притаился «храм») чистого мышления манят своим великолепием, выбираться из них наружу в несовершенный и слишком уж часто разочаровывающий мир так не хочется, так и подмывает забить дверь, ведущую наружу, наглухо. Рационализм - метастабилен (и оттого редок!), малейший толчок сбрасывает мыслящего либо в материализм, либо в мистицизм.

Рассел несправедлив к Аристотелю, описывая его метафизику, как «...разбавленные здравым смыслом взгляды Платона. Аристотеля трудно понять потому, что нелегко соединить взгляды Платона со здравым смыслом». Стоит ли попрекать Аристотеля «здравым смыслом» - тоненькой ниточкой, соединяющей философа с реальностью? Я не знаю, по-моему, не стоит, но в том, что непротиворечивый синтез «здравого смысла» и любой из теорий сознания (и не только платоновской) затруднителен, - Рассел прав. Аристотель, жадный, как никто из философов, до реальности, волил такого синтеза. Достаточно долгое время считалось, что ему он удался, по мнению Рассела, этого не произошло. Но, так или иначе, Рассел нащупывает в своей критике слабину религиозного рационализма: порознь созерцание реальности и вглядывание в себя иногда удаются мыслящему недурно,

попытка навести мост от одного к другому удается хуже и реже, успехи в подобном великом объединении куда как скромны за всю длинную историю размышлений о мире.

Подлинный рационалист взыскует «великого объединения», «вечной реальности», в терминах С. Л. Франка (порою надрываясь в поиске, подобно Эйнштейну), эта воля к единству неустранимо религиозна, ибо основана на уверенности в том, что нет отдельного бога для мира вещей и еще одного божества для наших мыслей о мире. Признак кризиса западной цивилизации не состоит в отсутствии такого всеобъемлющего синтеза, но в отсутствии воли к нему.

В другом месте, учиняя разнос Аристотелю, Рассел пишет: «Ошибки его предшественников были славными ошибками юности, которой свойственны попытки достичь невозможного; его ошибки - это ошибки зрелого возраста, когда нельзя уже освободиться от привычных предубеждений». Здесь с Расселом трудно спорить, в самом деле, религиозный рационализм - естественная религия взрослого человека, наделенного вполне развитыми душою и интеллектом, когда накоплено уже многое, а *интерес* к реальности еще не пропал.

Я подметил, что юности и старости столь же присущи грубый материализм и мистицизм. Жадно познавая мир в молодости, нам иногда некогда заглянуть в себя, материализм органичен молодому интеллекту; впрочем, юношеский экстремизм часто забрасывает еще не сложившийся разум и в мистику. Это естественно: впечатления, доставляемые созерцанием идей, зачастую ярче, контрастнее серой информации, поступающей извне.

Корни этого мистицизма залегают глубоко, в самом раннем нашем детстве. Ребенок просто *не умеет* справляться с реальностью и оттого отправляется в пластичный мир грез, послушный его фантазии. Принято умиляться фразе Эйнштейна: «Я посмотрел на мир глазами ребенка», между тем в устах физика такое заявление звучит, по меньшей мере, странно: ребенок, подобно всемогущему демиургу, воздвигает и крушит миры, не слишком заботясь о мире всамделишном. Сегодня сладкая растроганность по отношению к ребенку общепринята, между тем иудаизм весьма скептичен по отношению к духовному миру детства. Этот скепсис вовсе не противоречит традиционному чадолюбию, мы же любим детей не за что-то, а за то, что они наши. Просто Мудрецы трезво относились к внутреннему миру ребенка, которому органичны и эгоизм, и жестокость, именно оттого, что мир этот замкнут на себя. Недавно я нашел неожиданное подтверждение своим соображениям в книге петербургского психолога М. В. Осориной «Секретный мир ребенка». Осорина пишет о том, что ребенок уходит в «мир понарошку», *удваивает мир*, потому что

не справляется с миром реальным. В своей Швамбрании он неограниченный и безнаказанный властитель, любящие его вознаграждены, а злодеи наказаны.

Между тем запрет на удвоение мира лежит, согласно Мерабу Мамардашвили, в основе любого грамотного философствования. Взрослый не волен рассуждать вот эдак: в иной реальности любимая не будет мне изменять, родина оценит и настоящий читатель прочтет мои труды. Здесь Родос, здесь прыгай! Тот же Мераб Мамардашвили писал о том, что не может без ужаса представить себе собственное возвращение в детство. Вкус к рациональному, дифференцирующему, различающему созерцанию реальности вырабатывается с годами, мир становится менее ярок (моноэмоции всегда самые яркие), но более сложен и оттого интересен, беда в том, что с годами реальность начинает утомлять, в особенности утомляют люди. Один из героев Алданова говорит: люблю наблюдать людей, мистер Бэббит так же интересен, как и Гамлет. Я искренне завидую такому взгляду на человечество, мистер Бэббит мне становится все менее интересен, наверное, с годами пропадет интерес и к Гамлету. Русская классическая литература, заставив нас полюбить «маленького человека», лукавила; маленький человек, воспетый Чеховым, Толстым и Достоевским, интересен оттого, что о нем писали Чехов, Толстой и Достоевский, никак не попадающие в разряд «маленьких».

На смену интересу к людям, как правило, приходит интерес к мыслям (если вообще не пропадает интерес к жизни). Величайшую радость можно испытать, разглядывая отменно отшлифованное рассуждение, острый интеллектуальный ход (я люблю перебирать в уме даже старые, давно мне знакомые идеи - наверное, нечто подобное испытывает ювелир, запуская руку в чашу с ограненными камнями, доставая и любуясь по очереди лучшими экземплярами). И вот тут-то нас и подстерегает волчья яма мистики. Ведь для того, чтобы любоваться мыслью, ей вовсе не обязательно быть мыслью о чем-то - напротив, чем дальше она от реальности, тем, быть может, совершеннее. Нарастание мистической струи в сознании с возрастом, по-видимому, совершенно неизбежно, со всеми сопутствующими явлениями: в частности, утратой интереса к реальности, переходящей во враждебность. Принято думать, что Ньютон на старости лет «впал» в толкование Апокалипсиса. Надо полагать, что Ньютон был неравнодушен к Апокалипсису и в юные, и в зрелые годы, со временем, по-видимому, лишь сместился центр тяжести его духовной жизни, реальность, а вместе с ней физика, стали интересовать его все менее, а Священное писание все более (люди Ньютона никогда особенно не интересовали).

Мне думается, что в жизни цивилизаций действует нечто вроде биологического филогенетического закона: история развития индивида повторяет историю развития цивилизации: молодая культура тянется к мистике и грубому материализму, в зрелые годы ей присущ религиоз-

ный реализм, и на закате она возвращается к мистицизму и материализму. Мистагог числа Пифагор - характерная фигура юной греческой цивилизации, на ее взлете - религиозный рационалист Аристотель. На склоне столь же закономерен вдохновенный мистик Плотин. Оценивая философскую значимость плотиновской философии, Рассел проницательно заметил: «она представляет лучше, чем любая другая философия, важный тип теорий. Значение философской системы можно оценивать по разным основаниям. Самый первый и очевидный довод тот, когда мы считаем ту или иную философскую систему истинной... Но истина не единственное достоинство, которым может обладать метафизика. Метафизика может иметь красоту...». Утрата интереса к истине всегда идет рука об руку с утратой интереса к реальности и назойливым обращением к примитиву и простоте в качестве эстетических критериев. Реальность всегда *сложна*, эстетика - дело темное: на мой вкус прекрасны Талмуд, теория относительности и квантовая механика - сложные для понимания и обращенные к реальности. Практика иудаизма вырабатывает у набожного еврея тонко дифференцирующее мышление, замкнутое на реальность, - необходимо непрерывно различать, различать, различать; в этом состоит один из многочисленных секретов изумляющей свежести веры Авраама, Ицхака и Яакова. Античная цивилизация на определенном этапе утратила интерес к реальности, предпочтя полноту мистического созерцания блеклому окружающему миру и подготовив собственное самоубийство; за сложность окружающего нас бытия надо бороться.

На заре современной западной цивилизации логична грандиозная фигура мистика и платоника Августина. Реальность поначалу абсолютно не интересует христианский мир, истинное для нее - церковь, собор, в них вкладываются духовные силы (сегодня, на закате западной культуры, на полном серьезе снобы твердят, что именно тогда, в раннем средневековье, и был истинный расцвет, интеллектуалы стонут по иконам, готике и картинам Джотто). Начиная с Фомы Аквинского, западная духовная культура решительно разворачивается в сторону Аристотеля, и начинается победное шествие религиозного реализма, плоды которого проедаются по сей день.

Декарт, разумеется, - ключевая фигура в становлении религиозного рационализма. Для его дальнейшего взлета большее значение, чем поминаемое всуе cogito ergo sum, имел сформированный и заданный трудами Декарта канон рационального мышления, предполагавший *одновременное следование критериям прозрачности, строгости, последовательности и правдоподобности*. Правдоподобность, замкнутая на здравый смысл мыслящего, играет здесь особую роль, наводя мост между миром и мышлением о нем. Декарт сыпал физическими гипотезами не менее Аристотеля, его жадно интересовала реальность. Декарт воспитан иезуитами, о которых в приличном обществе принято говорить дурно, «иезуитство» нагружено тяжким отрицательным смыслом, а

ведь иезуиты пытались (и небезуспешно) развернуть церковные институты к миру, жизни, реальной политике.

Великолепный посткартезианский взлет религиозного рационализма в XVII-XVIII веках напрямую связан с успехами точных наук: «основным лейтмотивом этого периода была кажущаяся предустановленная гармония между "разумом" и "миром". Великие открытия в области высшей математики и их непосредственное применение к явлениям природы наполняли философов того времени неколебимой уверенностью в существенно *интеллектуальной природе мироздания*. Поэтому deus intellectualis был основной темой философии Лейбница не в меньшей степени, чем Спинозы» (К. Ланцош).

На пике своего развития европейский религиозный реализм дает изумительную фигуру Канта. Затертая кантовская максима, трактующая о двух вещах, наполняющих душу, - звездном небе над нами и нравственном законе в нас, - по сути, требует той самой двери-вертушки, поочередно отворяющейся внутрь души и вовне, в мир. Может быть, я и пережимаю, но я не уверен в том, что без звездного неба над нами возможен и нравственный закон внутри нас.

У меня есть некоторые основания думать, что я не слишком исказил кантовский ход мыслей. В доказательство я приведу менее знаменитое, но более тонкое рассуждение на тему, необычную для современного читателя, а именно соображения, высказанные Кантом о мире грядущем. «Человеческой природе и чистоте нравов, - пишет Кант, - по-видимому, более соответствует обосновывать ожидание будущего мира (оправдание Бога в мире) на чувствах благородной души, чем поддерживать ее доброе поведение надеждами на другой мир». Вот прекрасный образчик религиозного рационализма; я обожаю возиться с этой мыслью: само существование мира грядущего обуславливается чувствами сбывшейся, реальной, благородной души. Оттого что на самом деле существуют такие души, мир грядущий *должен быть* (реальность души и интеллектуальная природа мироздания для Канта все еще несомненны). Любопытно, что русская культура через сто лет после Канта, слегка запаздывая, на верхнем своем взлете, даст великолепные образцы религиозного реализма: философию Франка и Бердяева.

Вслед за Кантом начинается снижение, мистицизм Гегеля и материализм Маркса («кухаркина философия», по ядовитому определению Алданова) - тому свидетельство, это начало конца. Если верить Гегелю, «философия приходит… слишком поздно. В качестве мысли о мире она появляется лишь тогда, когда действительность закончила свой процесс образования и завершила себя… Когда философия начинает писать своей серой краской по серому, это показывает, что некоторая форма жизни постарела, и своим серым по серому философия может не омолодить, а лишь понять ее; сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек». Этот литературно великолепный пассаж наиболее подходит к самой философии Гегеля, философии заката и утраты

интереса к реальности, но вовсе не по отношению ко всякой философии. С конца XIX века начинается стремительное упрощение и огрубление духовной и общественной жизни Европы, завершившееся тотальным истреблением европейской аристократии. Снижение вкуса носило обвальный характер, примитив марксизма овладевает умами интеллектуальной элиты.

А за Аристотелем в XX веке прочно закрепляется репутация философа скучного (только ленивый не издевался над его теорией золотой середины). По-моему, это совершеннейший вздор, блестки неподдельного остроумия вкраплены у Аристотеля в разделах, трактующих самые сухие предметы. Остальным рационалистам тоже не слишком повезло - ну, в самом деле, они ведь не обещают «изменить мир», не советуют «подталкивать падающих» и не верят в то, что последняя истина о бытии рождается на кушетке психоаналитика.

То, что сегодняшнему интеллектуалу Аристотель скучен, свидетельствует о том, что ему скучен мир. Тот же интеллектуал, по моим наблюдениям, охотно читает всякий эзотерический вздор, за версту отдающий литературной и философской безвкусицей. Но вот отчего мир стал скучен, отчего не интересно открывать окно сознания наружу, стоит поразмышлять.

НОСТАЛЬГИЯ ПО САЙРУСУ СМИТУ

Кризис рационализма в первейшую очередь связан с обозначившимся застоем науки и техники. Говорить о неблагополучии в этой сфере вроде бы и неудобно, могущество окружающей нас техники кажется попросту беспредельным, и, тем не менее, я думаю, что мы в самом деле вползаем в полосу весьма неожиданных проблем.

Одной из самых затрепанных книг у меня дома был жюль-верновский «Таинственный остров». Я обожал Сайруса Смита, знавшего о вещном мире все: как выплавить из сырой руды чугун и сталь, из тюленьей шкуры соорудить кузнечный мех, соткать материю. В общем, было совершенно ясно: мир и этот Инженер созданы друг для друга. По молодости лет я не замечал ни его набожности, ни той радости, с которой он обнаруживает среди самых необходимых вещей, подброшенных капитаном Немо, Библию.

Где-то в 90-х популярный в те времена журналист Ярослав Голованов проделал любопытный эксперимент: он приволок в Московское высшее техническое училище кусок железной руды и, обратившись к студентам, попросил выплавить чугун. Студенты дружно начали советовать выстроить доменную печь и т. д. и т. п. Голованов быстро убедился в том, что никто из них, окажись в положении Сайруса Смита, топора бы не изготовил. Нехитрое тестирование показало, что ни одну из инженерных задач, блестяще решенных Смитом, современный студент

не решил бы. Покопавшись в себе, я с ужасом обнаружил, что ничем не отличаюсь от прочих студентов. Схоластический характер нынешнего научно-технического образования немало способствовал утрате интереса к реальности. Вспухание виртуальной компьютерной реальности только подлило масла в огонь.

Но сегодня дело усугубилось *социальными пределами*, по-видимому, положенными технике. «Таинственный остров» был написан в 1875 году, и все самое интересное было впереди: самолет и компьютер, полет на Луну и теория относительности. Сегодня Сайрусу Смиту, блестяще закончившему самый престижный технический университет, предстоит за хорошую зарплату до конца дней дорабатывать узел NNN в уже тридцать лет летающем «Боинге-747».

У современного общества нет реальной *потребности* в совершенствовании техники. В самом деле, такая ли уж большая разница - я перелечу из Тель-Авива в Нью-Йорк за восемь или за пять часов? Ну, можно выдумать стереосистемы с еще более чистым звуком или трехмерное телевидение, но способность моего уха различать звуки уже и не требует лучшего, нежели лазерное воспроизведение, а глазу не так уж необходимо третье телевизионное измерение. Техника, в самом деле, сейчас пишет серым по серому, а инженерной науке не только для того, чтобы развиваться, а хотя бы поддерживать саму себя на уже достигнутом уровне, необходим непрерывный приток молодых людей с ясными головами и, что не менее важно, честолюбием Наполеона и Цезаря, без них никакое дело не движется. Но сегодня таким, обуреваемым страстями юношам делать в технике, в общем, нечего. Античная цивилизация погибла оттого, что мир вокруг стал казаться ее носителю слишком скверным, утомленный и разочарованный греко-римский мир перестал бороться за существование. Цивилизации современного Запада грозит иная опасность: мир стал слишком хорош.

Но самый неожиданный удар нанесла рационализму наука - оказалось, что одновременное следование декартовским критериям строгости и прозрачности, последовательности и правдоподобия невозможно. Физические теории, прибавляя в строгости и последовательности, все более утрачивают и прозрачность, и правдоподобие, обращаясь к внеинтуитивным или весьма далеким от интуиции образам и представлениям. Более того, оказалось, что чем дальше располагаются новые теории от здравого смысла и привычной нам реальности, тем они продуктивнее. Создается нехорошее и крепнущее представление о том, что новейшей теоретической физике внешний мир тоже не интересен.

Математика, требуя последней, изысканной строгости, дошла в своем развитии до того, что стало невозможным проследить от начала и до конца строжайшие доказательства теорем (на это жаловался уже Герман Вейль). Я и не пытался глубоко вникнуть в разгадку величайшей математической тайны - теоремы Ферма, недавно успешно

доказанной. Меня устрашила длина и запутанность доказательства, но ужас состоит в том, что сами математики говорят о том, что проследить за ходом мысли героя, раскусившего загадку загадок, непросто, и, скорее всего, лишь десяток человек в мире выполнили эту работу в полном объеме. Нестрогость ньютоновско-лейбницевского анализа бесконечно малых сегодня видна даже студенту, но тому же студенту видна и продуктивность мысли классиков, не слишком озабоченных строгостью рассуждений.

Можно вслед за Мерабом Мамардашвили меланхолически констатировать тот факт, что классический идеал рациональности рухнул. Было бы грустно, если бы это крушение обозначило начало конца современной цивилизации.



...можно с полным правом считать, что самим нынешним существованием монотеизма мир как на Востоке, так и на Западе, обязан Маккавеям.

Б. Рассел. История западной философии

Не верил я в стойкость юных, не бреющих бороды.

Р. Л. Стивенсон (перевод С. Я. Маршака)

Взору путешественника, пересекающего зеленую линию, предстает занятная картина... Вызывающе процветающие еврейские поселения окружены серой нищетой арабских деревень. Я никогда не был в доме у арабских соседей, но те, кто бывал, говорят, что внутри картина разительно, скачкообразно меняется: чисто, красиво, богатые ковры и обстановка. Несложно догадаться, что внешний мир араба просто не слишком интересует. Забавно, но примерно такой же перепад можно встретить на улицах Бней-Брака или Меа-Шеарим: изумительные антисанитария и нищета снаружи и благолепие вкупе с благообразием внутри. Это больше, чем случайное совпадение, здесь - символ. Символ презрения к вещному миру, не стоящему особой заботы, истинный мир, заботливо лелеемый и ухоженный, - весь внутри.

Важно отдавать себе отчет в том, что в подобной ситуации компромисс с арабскими соседями невозможен, ибо всякий компромисс осуществим лишь на почве некой реальности; с человеком, находящимся всецело внутри себя в мире символов и знаков, можно договориться лишь только, если ты полностью принимаешь эту систему символов, то есть, ежели весь Израиль примет ислам, тут мы и договоримся. Поскольку такая ситуация малореальна, то и перспективы мирного про-

цесса выглядят не блестяще. Короче, политического решения проблемы нет, вопреки тому, в чем нас пытаются убедить средства массовой информации. Кстати говоря, именно толика реализма, присущая религиозному населению Израиля, спасает страну от внутреннего взрыва. Рав Невенцаль, объясняя, почему не следует кидать в субботу камни в нарушителей этого священного дня, привел слова Яакова, сказанные им после Шхемского побоища: «смутили вы меня, опозорив меня среди жителей этой страны - кнанеев и призеев. Я же малолюден: соберутся против меня, и поразят меня, и истреблен я буду с домом моим» *(Берешит, Ваишлах, 26, 30)*.

Мораль ясна: не следует бросаться в драку с заведомо ничтожными шансами на победу. Арабов этот аргумент вовсе не убеждает, реальное соотношение сил для них не имеет значения. В этом их слабость, но в этом и сила. В поведении героев 11 сентября очень много от жестокости мальчишек, не понявших устройства и не справившихся со сложной игрушкой, крушащих все, что под руку попадется. Я уверен в том, что взрослые, тертые, битые мужики всегда имеют преимущество перед обнаглевшими подростками, несмотря на их молодость и несравненный задор, фора эта состоит именно в знании мира, его реалий и правил поведения, нужно только отдать себе отчет в том, чему мы противостоим и с кем имеем дело.

Надо дикость назвать дикостью, а не инакомыслием, отсталость - отсталостью, а не альтернативной культурной позицией, перестать стонать с оттяжкой перед примитивом и размазывать по столу сопли «политической корректности». А то ведь «Ньюйоркер» напечатал бы, пожалуй, и «Капитанскую дочку» с прогрессивными купюрами. Бродский, менее, чем кто-либо другой, страдавший ксенофобией, задолго до 11 сентября резюмировал духовное состояние исламской цивилизации, сказав «режу - следовательно, существую». Можно долго и умно рассуждать о славном прошлом ислама, о причинах его нынешнего духовного коллапса, но реальное положение вещей сегодня удовлетворительно описывается формулой Бродского.

Преимущество реализма становится бесспорным, когда опирается на уверенность в собственной правоте, религиозную по сути, ибо правота не может быть подперта чем-то, кроме все той же правоты. В сегодняшнем Израиле религиозный реализм (он же рационализм), по сути, представлен лишь движением «вязаных кип» - религиозных поселенцев. Страстный интерес к Эрец-Исраэль, составляющий сердцевину идеологии «вязаных кип», имманентно рационален, ибо замкнут на внешний мир. Мистицизм основателя учения Рава Кука никак не служит помехой, напротив, гармонично занимает положенное ему место, открывая дверь сознания внутрь и предотвращая огрубление идеологии до плоского материализма. Предлагаемая работа - попытка рефлексии на тему «отчего я "вязаная кипа"». Ну, не люблю я криво забитых гвоздей и расползающихся портков, не люблю, когда серым по серому. Яс-

но, что, приглушая свет, льющийся извне, можно добиться яркой картины, за счет иного света, того, что внутри нас. Тривиальность подобного решения делает его для меня неприемлемым, а для западной цивилизации губительным.

После 11 сентября стало очевидно, что контекст израильско-арабского противостояния куда шире, чем этого хотелось бы евреям, - нам опять приходится плясать посредине исторической сцены. Так было уже не раз: в памяти немедленно всплывает восстание Маккавеев, вряд ли видевшееся современникам чем-то большим, нежели сельский бунт против иноземного диктата. По мнению такого авторитета, как Рассел, победа Маккавеев вылепила физиономию современной цивилизации. Если бы тогда победил Антиох, не было бы ни христианства, ни ислама.

Парадокс сегодняшней ситуации заключается в том, что Израиль защищает ценности западной цивилизации, равнодушной нынче к этим самым ценностям. Немедля встает неприятный вопрос: не оказались ли мы зазря пристегнуты к чужому делу, так ли уж нам дорога культура Эсава, чтобы рисковать за нее головой? Мне долго не давал покоя этот вопрос, и сейчас я бы ответил на него так: мне безразлична и судьба Эсава, и его цивилизации, одарившей человечество Освенцимом, оружием массового уничтожения и масс-культурой. Но мне отнюдь не безразличен тот мир, что во мне, и потому я вынужден защищать восхитительную сложность мира внешнего, тонкую структуру окружающей меня реальности, во многом порожденную все той же западной цивилизацией, включающую изощренно сложные механизмы общественной жизни, университетскую свободу, парламентаризм и независимую прессу. Разумеется, лучше бы в парламенте заседали люди ответственные, с чувством собственного достоинства английских лордов, а народ из всего газетного потока сам бы предпочел статьи добросовестных, серьезных публицистов (всего лучше мои). За неимением гербовой приходится писать на простой бумаге; реальность не такова, какой бы мы хотели ее видеть, но оттого-то она и реальность.

Несложно себе представить, что невыносимое нервное напряжение, создаваемое террористами, продуцируемый ими экономический и общественный хаос заставят нас подумать о самом простом выходе: о твердой руке, которая наведет порядок, - успех террора может выглядеть и так. Выходцев из СССР трудно соблазнить благолепием примитива, мы хорошо помним о том, что скандалов нет там, где о них не пишут, и колдунов больше всего там, где их сжигают (Мальбранш). Как оказывается, за тонкую структуру бытия приходится бороться.

Михаил Хейфец

ОН НЕ МОГ ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ?

Этот очерк был завершен тридцать с лишним лет назад. Вскоре его конфисковали сотрудники КГБ во время обыска в мой квартире: меня тогда, в частности, подозревали даже в том, что им пользовался А. И. Солженицын при создании «Архипелага ГУЛАГ»...

Я считал эту работу похороненной в архивах на Литейном проспекте, дом 4.

В 2000 году я побывал в США и случайно обнаружил одну из копий моего «Ульянова»: рукопись тайно вывез после моего осуждения мой друг и соавтор Ю. Гурвич, который (в свое время) взял ее, чтоб переработать в пьесу... Я совсем забыл об этом!

Сказанное ниже - конечно, отнюдь не оправдание террора... Общеизвестно, что именно террор XIX века стал, в известном смысле, предтечей нацистского и коммунистического отношения к политическим убийствам! Однако...

Итак, старый текст, который первоначально назывался «Мы пойдем другим путем»...

- Чем вы заняты?

- Пишу очерк об Александре Ульянове.

Интеллигентная гримаска возникает на физиономии собеседника, пожилого доцента-историка. Он удостаивает меня пояснением:

- Это - отработанная тема.

И ведь доцент прав, не возразишь... 99% оригинальных материалов по делу вышло в свет лет 40-45 назад. Посему и в кругах профессионалов-историков научное изучение моей темы считают законченным. А я таки лезу в архивы, в старые публикации, в полузабытые монографии современников героя и все продолжаю удивляться: какое множество «белых пятен» в этой якобы «отработанной теме»!

Некоторые из тайн, видимо, останутся навсегда неразгаданными. Каким способом, например, руководитель террористов Шевырев узнал про марш-

руты императорской кареты?.. Или - почему Александр III и его «фактотум», обер-прокурор Синода К. Победоносцев, вовсе не желавшие казни «вторых первомартовцев», дали, в конце концов, санкцию на пять виселиц?

Вопросов накопилось много, и потому-то я иронически отношусь к сегодняшним разговорам об «отработанности» моей темы…Чтобы окончательно этот тезис прояснить, приведу каждому известный пример - относительно знаменитой фразы: «Мы пойдем другим путем». Уж эту-то фразу каждый в СССР знает, даже если ничего другого про Александра Ульянова он не читал! Кто не видел в начальной школе репродукцию с картины П. Белоусова, где высокий и статный (по классицистическим канонам!) гимназист Володя Ульянов возвышается над плачущей матерью, держащей в руках письмо, видимо, о казни ее первенца в Шлиссельбурге, и произносит:

Это слово, крепче клятв солдатом поднятой руки:
«Брат,
мы здесь
тебя сменить готовы..
Победим,
но мы пойдем
путем другим».
В. Маяковский. Владимир Ильич Ленин

Давайте поразмышляем: ну мог ли в 1887 году гимназист Володя Ульянов сказать нечто похожее? Тем паче - своей матери…

«Все мы держались после нашего несчастья тем, что щадили друг друга», - вспоминала его сестра Анна. Через 19 лет из Шлиссельбурга вышел «подельник» Александра, Михаил Новорусский, и встретился с матерью покойного товарища. «Анна Ильинична, - вспоминал он, - предупредила меня, что мать ее до сих пор не может вспоминать сына без слез… Я представился ей (матери. - *М. Х.*), не назвав себя... Так все время, до утра, я и остался у них неведомым для Марии Александровны гостем». Вот, значит, как относились к чувствам матери в семье даже 19 лет спустя! Так мог ли сын произнести при матери нечто, напоминающее отречение от старшего брата, - причем сразу после казни?!

Однако поэт не выдумал этот эпизод, он просто зарифмовал отрывок из речи младшей сестры Ленина, Марии, произнесенной ею на пленуме Моссовета 7 февраля 1924 года:

«Весной 1887 года мы получили известие о казни старшего брата. Особенно запечатлелось мне выражение лица Владимира Ильича в эти минуты, когда он сказал: "Нет, мы пойдем не таким путем". Выражение лица при этом у него было такое, точно он жалел, что брат слишком дешево отдал свою жизнь, не использовал ее так, как можно было сделать на благо рабочего класса».

Напомню: Марии Ильиничне, Маняше, как звали эту девочку дома, было в пору гибели старшего брата… восемь лет! Понимала ли она то, что видела и слышала? Кто они такие - «мы», те, кто должен пойти «не таким путем»? «Движения общественно-политического в Симбирске тогда не было»,

- вспоминала ее старшая сестра, Анна. Не было у Володи Ульянова знакомого, с которым он мог бы решать, как идти - таким или «не таким путем».

Второй вопрос: что, собственно, значило - «не таким путем»? Маняша пояснила, что речь шла о борьбе за «благо рабочего класса», о социал-демократическом выборе юного Ленина. Но рабочего класса в захолустном Симбирске вообще *тогда* не было. И жизнь подсказать «не такой путь» никак Володе не могла. Книги? Но он тогда любил читать другие книги: «Летом (1886 года. - *М. Х.*) , - вспоминала Анна, - мы отмечали с Сашей, удивляясь этому, что Володя может по нескольку раз перечитывать Тургенева... Читать Маркса Володя начал уже в 1888-89 гг. в Казани». Итак, «определенных политических взглядов у Володи в то время не было», - утверждает сестра, которой было тогда все-таки не 8, а 23 года!

Еще свидетельница тех событий - друг семьи, учительница Кашкадамова вспоминает: «Когда приходилось говорить с Володей о брате, он повторял: "Значит, он должен был так поступить, он не мог поступить иначе"».

Предлагаю гипотезу, которая объясняет, что именно мог сказать Володя Ульянов в присутствии младшей сестры, что восьмилетняя девочка запомнила механически и перетолковала на свой лад много лет спустя.

Это могла быть поразившая воображение Володи цитата из последнего слова его кумира - старшего брата Александра: «Жизнь показала самым наглядным образом, что при существующих условиях *таким путем идти невозможно* (т. е. самым желательным - путем мирной пропаганды и ненасильственных изменений. - *М. Х.*)».

Самое ценное, что оставила наследникам группа народовольцев 1887 года, была, как выразился руководитель отряда бомбистов Осипанов, «заветная часть нашего нравственного бытия» - их общественный темперамент, их любовь к свободе и к своему народу.

«ГОСПОДА, ПОЖАЛУЙТЕ В УЧАСТОК»

В тогдашней прессе на террористический акт «второго первого марта» вовсе не найти откликов. Даже отрицательных, клеймящих откликов и то нет! Лишь пламенный Михаил Катков в «Московских ведомостях» намекнул публике - мол, студентов-цареубийц направляли секретные службы... из Берлина. От канцлера, так сказать, посланы, от князя Бисмарка.

Трудно найти в российской истории более выразительное доказательство беспомощности всесильной тайной полиции, чем ее борьба с заговором 1887 г.!

Для начала, однако, - изложу факты.

Первого марта 1887 года в полдень полицейские агенты схватили на Невском проспекте шестерых молодых людей, показавшихся подозрительными. Взяли ради чистой «профилактики». Когда первого из них привели в охранное отделение на Гороховой, он выхватил из подмышки толстенную книгу и швырнул на пол. «Какой дерзкий!» - возмутился хозяин кабинета, следователь. Но его помощник, подобравший словарь с пола, нащупал в переплете

вмонтированную туда самодельную бомбу! В те самые минуты по Невскому, мимо места, где произвели задержание, промчался в карете царь - на панихиду по отцу, убитому шесть лет назад в этот самый день. Следовательно, цареубийство полиция предотвратила, не зная *ничего*. Чисто случайно…

Впрочем, честность историка вынуждает меня отметить, что случайность арестов стоит считать относительной. В бездарной и разболтанной системе всегда можно обнаружить некое звено, оставшееся от былого налаженного аппарата, которое из-за малочисленности его штата, из-за замкнутости внутри своего коллектива, по инерции прежних времен пока еще работает четко. Подобное звено в полицейском аппарате спасло в тот день от смерти государя-императора Александра III. Называлось оно на полицейском жаргоне - «черным кабинетом».

«Черный кабинет», а попросту почтовая цензура, был учрежден в России «матерью Отечества» (Екатериной II). Он размещался на углу здания Санкт-Петербургского почтамта, в третьем этаже. В контору можно было попасть лишь через шкаф в кабинете старшего цензора. Там работало двенадцать человек, подчиненных непосредственно самому министру внутренних дел. То есть дюжина человек на всю столичную почту! Но это были специалисты высочайшего класса, владевшие в совокупности всеми языками тогдашнего цивилизованного мира (каждый из них, говорят, знал не меньше десяти языков, а один полиглот владел 26 языками!). Скорость их работы потрясает: в час каждый сотрудник просматривал до пятисот писем! Техникой, правда, обеспечили по последнему слову XIX века: аппарат для вскрытия писем паром работал на электроспирали, фотографирование дипломатических посланий велось с помощью магниевой вспышки, что касаемо изготовления фальшивых печатей, то я приведу мнение специалиста, бывшего цензора Майского, которое он высказал в 1918 г., в №7 журнала «Былое»: «...нигде в мире "черный кабинет" не работал так чисто, как в России... Письма, перлюстрировавшиеся в России, как бы хитро они ни были заделаны, не сохраняли в себе ни малейшего следа вскрытия даже для самого пытливого взгляда… А что касается подделки печатей, то только изобретенный русским секретным чиновником способ дает безукоризненные оттиски». По словам Майского, «за полезные и примененные в деле открытия» изобретатель этого чудо-способа, равно как и автор электроаппарата для вскрытия писем паром, были удостоены высокой награды - ордена святого Владимира.

Впрочем, если верить цензору, к внутриполитическим делам его коллеги относились несколько халатно… Профессионалов интересовала, прежде всего, дипломатическая почта! Во-первых, искусство состояло в том, чтобы раздобыть дипломатический пакет у спецкурьера. Далее - надо было вскрыть конверт незаметно, вопреки ухищрениям отправителя. Сфотографировать его содержимое - за закрытыми ставнями, в дыму, при магниевой вспышке, а потом в богатейшей коллекции печатей подобрать подходящую и запечатать конверт таким образом, чтоб ничего не заметили многоопытные служители иностранных МИДов. Далее - расшифровать дипломатический код, а если не получится самим - заказать ключ на брюссельском шпи-

онском рынке (такса была известная: за болгарский код платили 2 тысячи рублей, за британский или американский - 40-50 тысяч, код средних по значению держав оценивали от 5 до 15 тысяч). Вот это и считалось у русских цензоров настоящей работой. Вторыми в ряду их интересов числились письма сановников - кто против кого интригует, кто о министрах что думает, кто с какой балериной сожительствует. Да, прикасались служивые люди к святая святых власти... Что же касается тем, именовавшихся на профессиональном жаргоне «политическими», то «в большинстве случаев, - снисходительно заключает цензор Майский, - корреспонденция членов революционных организаций была зашифрована таким детски наивным шифром, что разбор подобных криптограмм не представлял почти никаких затруднений... Про арест товарища писали, что он заболел и что доктора прописали ему перемену климата, то есть сослали в Сибирь. Обыск назывался консультацией, подпольная типография - аптекой, прокламации - рецептами и т. д.».

Нет, к *этому* цензоры относились спустя рукава. Тем не менее, бывали случаи, когда почтовая цензура оказывала прямо-таки бесценную помощь Департаменту полиции. Ибо некоторые бунтовщики, в теории, конечно, знавшие, что живут в «полицейском государстве», никак не могли взять в соображение, что в империи определенного сорта письма на почте *обязательно* подлежат негласной проверке. Может, они наивно надеялись, что их письма затеряются в необъятном потоке иных писем. Нельзя же, дескать, цензорам проверять все! Напрасно... «Каждый класс людей, каждая специальность, принадлежность к секте или партии кладет известный отпечаток на почерк данного лица, - писал годы спустя многоопытный цензор. - Литераторы пишут неразборчивым и скорописным почерком; генералы - бисерным и каллиграфическим; банкиры и врачи - небрежным, безалаберным почерком, революционеры - неотделанным, почти ученическим почерком, а почерк анархистов отличается грубостью и несуразностью». Так что из груды корреспонденций письма подозрительных или интересующих начальство лиц выявлялись профессионалами цензуры без особого труда...

21 января 1887 года кто-то из цензоров обратил внимание на адрес, написанный «неотделанным, почти ученическим» почерком. Конверт вскрыли. Выписка: «...что у нас возможно - это самый беспощадный террор, и я твердо верю, что он будет, и даже не в очень продолжительном будущем... Десятого числа из Екатеринодара получена телеграмма, из коей видно, что там кого-то взяли на казенное содержание... Беспокоюсь за моего адресата, ибо если он тово, то и меня могут тоже тово, а это нежелательно, так как поволоку за собой много народу, очень дельного».

Наверно, знатоки кодов с изумлением разбирали «шифровку», весь код которой заключался в таинственном слове «тово»! Правда, у автора хватило соображения не подписываться и не ставить обратного адреса. Выписку цензоры передали в Департамент государственной полиции, тот через две недели сделал запрос в Харьков, в губернское жандармское управление, - соберите, мол, информацию насчет получателя... Харьковские жандармы также не слишком торопились (известно - «работа не волк») и лишь через месяц доло-

жили в Петербург: мол, допрошенный получатель признался, что отправитель письма - петербургский универсант Пахом Андреюшкин. И, наконец, органы правопорядка заработали быстро: 27 февраля 1887 г. Департамент полиции переправил это дело в канцелярию питерского градоначальника, а оттуда его переадресовали по назначению - в местную охранку с просьбой «учредить непрерывное и самое тщательное наблюдение за отправителем Андреюшкиным и лицами, находящимися с ним в сношениях». Возможно, если бы харьковские жандармы задержали ответ хотя бы на два дня, царствование Александра III завершилось бы на семь лет раньше, чем в реальной истории!

Итак, лишь утром 28 февраля полицейские надзиратели (Свергунов и Свердзин) «сели на хвост» Пахому Андреюшкину. Молодой человек привел их на квартиру другого студента - Василия Генералова. Вскоре оба подозрительных типа вышли на улицу и начали ходить взад-вперед по Невскому проспекту с какими-то свертками под мышками. А после проезда по проспекту в пятом часу пополудни кареты императрицы Марии Федоровны к подопечным подошли еще трое молодых людей, вся пятерка о чем-то тихо переговорила и разошлась в разные стороны.

Филеры, естественно, связали внезапное прекращение хождений по проспекту с проездом кареты императрицы. И посему тем же вечером попросили у начальства разрешения арестовать подозреваемых.

Разрешение им дали неохотно и очень условно: «Лучше бы, если можно, не трогать их впредь до распоряжения Департамента полиции» *(«Красный архив», 1925 г.)*. Как видим, брать на себя ответственность за действия не любил никто, нигде и никогда...

На следующее утро, то есть 1-го марта, студенты снова вышли на Невский проспект. Полиция установила, что с ними на улице накануне совещались однокурсники - студенты Канчер, Горкун и Волохов. Эта троица тоже вышла на проспект, но, в отличие от Андреюшкина и Генералова, без свертков под мышками…

Надзиратели знали, что в тот день император обязательно поедет из Аничкова дворца по проспекту в Петропавловский собор - на панихиду по убитому отцу. Брать их или не брать? Скорее склонялись к тому, чтобы «не брать» - дабы не спугнуть, не оборвать ниточку раньше времени…

Шли минуты. Часы. Император на проспекте не появлялся. Минули «положенные» сроки, но карета с императорскими орлами не выезжала из ворот Аничкова дворца… Настал полдень! Подозреваемые, видимо, замерзли и пошли в трактир - погреться.

А во дворце как раз разыгрался фантастический скандал. Накануне государь приказал назначить заупокойную панихиду по отцу в соборе на 11 часов утра и велел камердинеру подготовить экипаж на без четверти одиннадцать. Камердинер передал высочайшее повеление по инстанции - ездовому, а ездовой… забыл!! Просто забыл передать приказ унтер-шталмейстеру. Утром государь спускается к выходу - нет экипажа. Нет, и все! Царь полчаса сидит в шинели в каморке у дворцового швейцара и, как простой смертный, дожидается заказанного экипажа. «Не припомнят, чтоб его ви-

дели в таком гневе», - отметила фрейлина Арапова, рассказавшая в дневнике о диковинном эпизоде *(журнал «Каторга и ссылка», 1930 г.)*.

Собравшиеся в трактире студенты, видимо, как-то знавшие про час выезда императорской кареты, после полудня впали в смущение и решили посоветоваться с «главным» - за столик к ним подсел коренастый крепыш, брюнет среднего роста, с толстой книгой под мышкой. Надзиратели засекли его сразу, и, похоже, его появление положило конец их сомнениям. Пора брать! По выходе из трактира на улицу вся шестерка была арестована.

Если верить записям в дневнике Араповой, когда городовые неожиданно пригласили их: «Господа, пожалуйте в участок», - они не оказали никакого сопротивления и спокойно отправились в градоначальство. Может быть... Если чувствовали себя обреченными, если ждали ареста едва ли не с облегчением, как неотвратимого финала судьбы, то - может быть...

Только после того, как коренастый брюнет швырнул на пол книгу-бомбу, пытаясь взорвать кабинет следователя в градоначальстве, охранка поняла, что ею раскрыто покушение на царя - за несколько минут до того, как оно должно было свершиться!

На квартиры задержанных немедленно послали засады. И к вечеру того же дня на квартиру Генералова пришел и был арестован еще один студент, оказавшийся, как показало следствие, главарем заговорщиков, - студент университета Александр Ульянов.

Средний возраст заговорщиков был 20 лет. Поэтому неудивительно, что правительствующие деятели сочли их только исполнителями, только пальцами длинной, опытной и крайне опасной лапы «заказчиков». «Мой муж, - пишет госпожа Арапова, - слышал вчера на рауте у великого князя Владимира, как Плеве сказал: "В наших руках инструменты. Но кто может сказать, где главари?"».

Ужас, паника захлестнули верхи империи. Все помнили, сколько раз покойному государю Александру II удавалось избегать смерти и как все-таки его настигла бомба Гриневицкого. «Неужели опять начнется эта охота, эта травля? - записал в дневнике великий князь Константин Константинович (известный поэт "К. Р.". - *М. Х.*). - Неужели и этот государь должен когда-нибудь пасть жертвой убийц?».

Еще при жизни Александра II Россия ждала неизбежного его трагического финала (вот, для примера, эпизод из мемуаров известного издателя В. Поссе: «Утром в номер, занятый известным артистом В. Андреевым-Бурлаком, в провинциальной гостинице ввалился дворник. "В чем дело?" - спрашивает актер. Дворник машет в ответ рукой: "Да флаги велели нам развешивать. О-о-опять про-омахнулись"»). Теперь сын покойного, Александр III, снова виделся современникам обреченным человеком. Чтобы понять настрой подданных, приведу еще эпизод - из воспоминаний одного политического ссыльного. 1894 год, сибирская деревушка. Внезапно ее жители видят, как по улице скачет в уезд (видимо, к начальству) конный гонец. На ходу кричит деревенским обитателям:

- Царь умер!

В ответ самый естественный вопрос:

- Кто убил?

Издалека, сквозь цокот копыт, доносится еле слышное:

- Са-ам умер...

Александр III после 1 марта 1887 года тоже считал себя обреченным. Меланхолически нанес резолюцию на доклад своего министра внутренних дел графа Дмитрия Толстого: «На этот раз Бог нас спас, но надолго ли?»

Причем покушение едва не свершилось в момент, когда правительство уже начало верить, что полиция раздавила революционную гадину. «Второе первое марта» подрезало под корень правительственную иллюзию, которой власти успокаивали прежде всего себя.

Вспомним реестр Александра III. Первый год его царствования - 1881: процесс цареубийц-первомартовцев, пять виселиц на Семеновском плацу. Второй год - 1882: «процесс 20-ти» членов и агентов Исполнительного комитета «Народной воли». Третий год - 1883: «процесс 17-ти» членов нового Исполнительного комитета (во главе с Верой Фигнер). 1884 год: арест и процесс возрожденного Исполнительного комитета (Герман Лопатин). 1885 год: арест и процессы «Молодой "Народной воли"». 1886 год: разгром южно-русской организации «Народной воли» и нового центра партии (Б. Оржих, В. Богораз), новой военной организации партии. Подводя итоги этой кампании, МВД торжествующе доложило императору в своем годовом «Обзоре важнейших дознаний»: с врагом внутренним покончено. Есть еще остатки крамолы в империи, но они порождены иноверческими интригами - и без евреев российской революции придет конец. «И если бы розыски Схария Когана, Захара Васильева, Раисы Крацфельд, Лсона Ясевича и Абрама Баха... увенчались успехом, то можно с уверенностью сказать, что преступное сообщество в данное время не нашло бы в своей среде лиц, способных заменить утраченные в лице названных агитаторов силы».

Вся мощь державной дипломатии была брошена на то, чтоб вытащить из Австро-Венгрии несокрушимого врага - Схария Когана (и добыли-таки его! Еще бы... Александр лично требовал его выдачи от царственного брата!). Когда в лице Когана российской крамоле нанесли, казалось бы, роковой удар, в те самые месяцы императора едва не прикончили на главной улице его столицы, и злодеи оказались русскими и украинцами, все - православные, более того, главные действующие лица драмы были казаками, а заправлял делом дворянин, сын действительного статского советника и кавалера ордена Станислава 1-й степени. Любимая иллюзия иноверческой интриги была сметена недвусмысленными фактами полицейского следствия.

Возможно, поэтому царь лично наблюдал за действиями своей прокуратуры, пробуя понять логику поступков своих непокорных подданных. Ему докладывали о каждом изменении их показаний - по сути, сам Александр III был верховным прокурором на этом процессе. Он оценивал личности подсудимых, он определял выбор той или иной следственной стратегии, более того, требовал сфотографировать ему главных обвиняемых - не мог же сам приходить в тюрьму, чтоб лично на них посмотреть!

ИДЕАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ?

> И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром. Ведь надо уж все сказать, ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. И погибли даром могучие силы, погибли ненормально, безвозвратно, незаконно. А кто виноват?
>
> То-то, кто виноват?
>
> *Ф. Достоевский. Записки из Мертвого дома*

Современники описывают Александра Ульянова чрезвычайно... как бы выразиться... неудобно для его позднейших биографов. В их текстах Ульянов изображен просто-таки идеальным героем, тем «рыцарем без страха и упрека» из старинных романов, которого никому еще не удавалось изобразить правдоподобно. В гимназии - это вечный первый ученик, золотой медалист, любимец класса, надежда отстающих соучеников. «Да что говорить: один за весь класс работал», - вспоминал однокашник. В семье - гордость родителей, непререкаемый авторитет и образец для младших братьев и сестер. Все мы в детстве читали: «О чем, бывало, ни спросят Володю - как хочет он играть, пойдет ли на прогулку, с маслом или молоком положить ему кашу на стол, - он не ответит сразу, а смотрит на Сашу. А тот нарочно медлит с ответом, лукаво поглядывая на брата. И мы оба посмеиваемся над ним. Но и насмешки не отучили Володю, и он отвечал: "Как Саша"».

Даже поэзию, если верить свидетельствам современников, Александр Ульянов любил по советской хрестоматии для неполной средней школы: сначала Рылеева, потом Пушкина, потом Некрасова. И у Некрасова в одиннадцать лет зачитывался «Песней Еремушки», которая нынче кажется чистым упражнением на гражданскую тему, а он произносил эти строки с дрожью в голосе, с морозом, пробегающим по коже, самозабвенно - как клятву:

«Братством, Равенством, Свободою \ называются они. \ Возлюби их! На служение \ им отдайся до конца. \ Нет прекрасней назначения, \ лучезарней нет венца».

Далее - университет. Опять - идеальный студент. За курсовую работу получает золотую медаль. Однокурсник помнит, что ректор называл его «гордостью Санкт-Петербургского императорского университета». И при этом еще активный общественник, как выразились бы сейчас, - секретарь университетского Научно-литературного общества. Позже именно из этого состава Общества выйдут три академика, причем первоклассных (В. Вернадский, С. Ольденбург, А. Лаппо-Данилевский), и больше десятка знаменитых профессоров, литераторов, издателей, публицистов (Д. Мережковский, В. Водовозов, В. Мякотин, В. Вересаев, В. Агафонов, профессоры Б. Гревс, А. Корнилов, Б. Кауфман)... Многие из них оставили краткие заметки об однокашнике: Александра Ульянова считали самым талантливым в гирлянде будущих звезд науки и культуры.

Единодушный хор этих восторженных вокальных «партий» вызвал у меня, например, естественную человеческую реакцию - сомнение. Но, скажу сразу, пока ни один историк не нашел для такого рода сомнения ни одного довода. Нельзя обнаружить никаких мотивов, по которым все современники вдруг начали бы идеализировать, романтизировать, захваливать Александра Ульянова... Да, конечно, он - обожаемый брат Ленина, и это соображение сразу, увы, возникает в мозгах моих современников. Но, во-первых, значительная часть текстов была написана (и опубликована) задолго до 1917 г., когда симпатия к потенциальному цареубийце могла лишь скомпрометировать их перед властями. И, что много важнее, похвалы в адрес Ульянова доносятся иной раз из уст тех, кто само его революционное действо осуждает безусловно! Профессор-античник Иван Гревс, например, называет «второе первое марта» не иначе, как «зловещий замысел». Но вот что он пишет о руководителе заговорщиков: «Нечто твердое, сильное, умное, закаленно преданное всегда чувствовалось. Виделся крупный человек». А вот фрагмент из воспоминаний бывшего сенатора Н. Таганцева, у которого в 1921 г. расстреляли сына-профессора (главу так называемого «таганцевского заговора»): «Из всех подсудимых он [Александр Ульянов] производил наиболее симпатичное впечатление как искренно преданный тем идеям, осуществление коих, хотя бы и путем террора, он считал необходимым для блага и счастья своей родины».

Может быть, современники идеализируют Александр Ульянова, потому что порядочное общество вообще склонно возводить на пьедестал юного героя, отдавшего жизнь за убеждения, пусть даже и неверные? Нет, такая гипотеза тоже не проходит. Ведь рядом с Ульяновым, в соседней петле, болталось тело его товарища, Петра Шевырева, однако современники весьма сдержанно, мягко говоря, оценивают его ум и честность. Нет, видимо, бесполезно пытаться объяснить появление «идеального героя» в мемуарной исторической литературе иным мотивом, кроме одного: он действительно был таким, «идеальным героем», каким запомнился всем современникам. И хотя, несомненно, у него имелись недостатки, пороки, грязь какая-то человеческая, человек же был, как все мы, обычные люди, но, видимо, умел усилием воли зажать, спрятать ее в недоступных щелях души, и она не смела высунуться на люди. «Это была редкая натура, - вспоминал товарищ по скамье подсудимых Михаил Новорусский, - от которой даже на людей других убеждений веяло чистотой, благородством и моральностью побуждений»; «Мало их, - было сказано в ту эпоху, - но ими расцветает жизнь, без них она закисла бы...»

Куда сильнее любых отзывов и воспоминаний поражают показания самого Александра Ульянова, данные им на следствии и суде. Возникает ощущение, что он примирился с неизбежностью казни с первого же допроса, когда понял, что Канчер не выдержал давления и выдал всех. Борьба, которую он повел тогда, напомнила ту, которую поведет через 18 лет лейтенант Шмидт: ценою собственной жизни этот моряк на каждом допросе вырывал спасение для кого-то из товарищей. Так и тут: на основании пока-

заний Ульянова член Центрального кружка террористов Лукашевич был переведен обвинителями из первого, вполне заслуженного им разряда («зачинщиков и руководителей»), в разряд четвертый - «пособников менее деятельных». Сам-то Лукашевич на следствии дрогнул, сказал слишком многое об Ульянове. Но когда они встретились (на процессе), Александр успел шепнуть: «Если вам будет нужно, говорите на меня» - и своими показаниями спас Лукашевича от петли. Так же отчаянно пытался он спасать Новорусского, Ананьину, Шмидову…

Но, помимо этой практической цели - спасать товарищей, имелась у него, по моему ощущению, еще одна цель на следствии и суде. Иначе невозможно объяснить, зачем он по памяти восстановил в тюрьме и передал в руки следователя сочиненную им программу «Террористической фракции "Народной воли"»; почему произнес речь на суде, которую тогда уже сравнивали с речью Желябова, где, по словам Новорусского, он «изложил свою биографию, точнее - рост своей личности». Все это были самоубийственные поступки, причем такие, которые никому из друзей не приносили никакой пользы.

Существует традиционное объяснение: «Он использовал трибуну суда для пропаганды своих взглядов». Но ведь в этом объяснении тоже таится своя загадка. Кого, спросим мы, собирался он агитировать на суде, уж, тем более, на следствии? Процесс был закрытым. И все же Александр Ульянов счел необходимым открыть судьям историю души, набросать абрис жизни. Зачем?

ЖЕРТВА, НЕ ОКУПИВШАЯ РЕЗУЛЬТАТА?

Александр Ульянов рос в так называемой либерально-патриархальной семье. Отец, Илья Николаевич, в 60-е годы выбрал путь, который казался естественным для порядочного человека, не желавшего стать революционистом, - стезю просветителя народа. Покинув промышленно-торговый Нижний Новгород, он переселился в обломовскую глухомань - в Симбирск, променяв место учителя в губернской гимназии на инспектуру народных училищ. Илья Николаевич в силу скромных сил мечтал, видимо, просвещать «черную скотинку», русского мужика. «Одна из личностей, которых так мастерски изображал Тургенев», - вспоминал через 20 лет после смерти Ильи Николаевича в «Вестнике Европы» его современник. Российский труженик-«постепеновец»... Результат его семнадцатилетних трудов таков: 434 новые школы, сотни принятых им на службу деревенских учителей, десятки тысяч грамотных крестьян оставил после себя России (в наше время напрочь забыто, что до сельских земств «народ смотрел на школу, как на какую-то повинность, установленную в неизвестных и непонятных для него видах и для народа совершенно бесполезную». Так писал современник, публицист С. Миропольский в 1883 г.). Мы вообще не представляем ситуации, в которой работал Илья Николаевич Ульянов: ведь до эпохи земств крестьяне платили взятки учителям (бедным сельским попикам), чтобы те не учили их детей!

Внешне судьба сложилась вроде бы счастливо: стал действительным статским советником, «вашим превосходительством» - т. е. удостоен генеральского чина; был награжден высшим по должности орденом; пожаловали ему и потомственное дворянство - потому и дети считались дворянами. Но, в конце концов, власти загубили дело его жизни. В 80-х годах произвели некий поворот руля, в столичном кабинете один сановный господин сменил другого сановного господина - и земские народные училища, кои Ульянов-отец пестовал по всей симбирской земле, стали трактоваться ненужными. «Большая политика», которой Илья Николаевич сторонился, настигла в рабочем кабинете - и сразила на месте: подвижник просвещения Илья Николаевич Ульянов внезапно скончался от кровоизлияния в мозг - в возрасте 54 лет.

Мне видится, что судьба отца сыграла громадную, возможно, и решающую роль в жизни его старшего сына. На первых курсах в Санкт-Петербургском университете Александр «не участвовал ни в революционных кружках, ни в кружках самообразования. Он... был погружен в университетские занятия», - вспоминал близкий друг тех лет Орест Говорухин. «С осени 1886 года я заметила, что Саша стал вести более общественную жизнь», - пишет сестра, Анна. Значит, только на четвертом курсе, после смерти отца летом 1886 года... А всего через несколько месяцев он уже возглавил «террористическую фракцию партии "Народная воля"»!

Каков был психологический слом, приведший «благовоспитанного юношу» на эшафот в Шлиссельбурге? Что произошло с Александром где-то на переходе с третьего курса на четвертый?

Умер отец!

«Несколько дней он все забросил, метался из угла в угол своей комнаты, как раненный, - вспоминал сосед по съемной квартире, Чеботарев. - На второй или третий день я зашел к нему и застал его шагающим по комнате своим крупным шагом, с устремленным вдаль, ничего не видящим взглядом. Становилось прямо жутко за него».

Отношения мирного просветителя-отца с сыном, будущим ученым и революционером, - вот, по-моему, одна из загадок трагической были. Нам остались косвенные замечания, случайные и неопределенные свидетельства.

«Это было в Симбирске летом 1885 года, за полгода до смерти отца, - вспоминал младший брат Ульяновых, Дмитрий. - Мне было тогда одиннадцать лет. Отец с братом гуляли по аллее сада... Лица их были как-то особенно серьезны... Иногда говорили горячо, но больше тихо, невнятно. Я вгляделся в их лица и понял, что обсуждается что-то очень важное... Этот момент мне резко врезался в память. О чем они говорили? Тогда я ровно ничего не понял...».

Известны слова, сказанные старшей дочери отцом перед ее отъездом в столицу: «Скажи Саше, чтоб он поберег себя хотя бы для нас».

О чем они говорили? Я имею право предположить, что какие-то отзвуки этого разговора прорезались потом в той речи на суде, где Александр, как упоминалось, «развернул рост своей личности» (далее все курсивные

отметки - мои. - *М. Х.*): «Жизнь, - говорил смертник, - показала *самым наглядным способом*, что при существующих условиях таким путем (то есть мирным путем воздействия на общество пером и словом. - *М. Х.*) идти невозможно. При отношении правительства к умственной жизни, которое у нас существует, невозможна не только социалистическая пропаганда, но даже *общекультурная, даже научная разработка вопросов в высшей степени затруднительна...* Те попытки идти по этому пути, *которые я видел* вокруг *себя*, еще более убедили меня, что жертвы совершенно не окупят полученного результата». Не об этих ли попытках говорили при одиннадцатилетнем Мите отец, посвятивший жизнь «общекультурной пропаганде», с сыном? И жертвы, что «не окупают достигнутого результата», - не решающей ли для Александра оказалась судьба директора народных училищ Симбирской губернии?

Чтобы лучше прочувствовать жизненный путь Александра Ульянова - от науки в революционный террор, уделим несколько абзацев общей политической обстановке в ту эпоху, с которой он пришел в смертельное столкновение, - 80-м годам XIX века.

ЧТО ЗНАЧИТ - ЭПОХА РЕАКЦИИ?

Эпоха реакции? А до нее, значит, была «эпоха прогресса»?

...Скажем, в 80-е гг. министром внутренних дел, «штатным душителем свободы» считался граф Дмитрий Толстой. Ну, а в эпоху либерализма, при Александре II, тот же Дмитрий Толстой служил... министром просвещения.

Или - главным «стеснением ("отняли последний остаток свободного слова") реакции» при Александре III считали закрытие лучшего журнала России - «Отечественных записок» Н. Некрасова и М. Салтыкова-Щедрина. Спорить невозможно, позорное, да и глупое было деяние... Но если отвлечься от фасада и посмотреть на реальное следствие этого акта, то - что выясняется? Закрытие щедринского журнала привело к активизации нелегальной и абсолютно бесцензурной, а потому совершенно неподконтрольной начальству литературы. Исключив из сферы легальных журналов «Отечественные записки», правительство одновременно как бы самое себя исключило из нормального диалога с обществом (не могли же правительственные публицисты полемизировать с «нелегальщиной», как до закрытия «Записок» они полемизировали с журналом Щедрина!).

В 80-е гг. направления общественной мысли начали сталкиваться исключительно друг с другом, игнорируя правительство! Линия «громовержца» Каткова и присных как бы исчезла из поля зрения мыслящей части общества, ее элементарно отмели - она пропала как раз параллельно с усилением правительственного контроля над прессой. Теперь спорили не монархисты с либералами, как было в эпоху либерализма, а народники с марксистами...

Да, то были «годы мрачные, глухие», как вспомнит Блок, но истоком мрака была, как видится, не победа, не торжество реакции. Не очень-то, к

слову, реакция торжествовала...Какая такая у нее получилась победа? Ограничили тягу простонародья к образованию («указ о кухаркиных детях»)? Но ведь все равно, кто хотел учиться, тем или иным способом учились... Усилили дискриминацию еврейства? Да. Она стоила евреям больших сумм в виде взяток для сановных лиц (главным взяткобрателем с еврейства считался предшественник Толстого, министр внутренних дел граф П. Н. Игнатьев) - ну, так это ж всего лишь и только лишь деньги... Разве «победоносная» реакция убедила хоть кого-то, хоть самое себя в собственной правоте? Если судить о размерах «прогресса» и «реакции», так сказать, количественно, по числу арестов и виселиц, то знаменитые либералы эпохи «диктатуры сердца» значительно опережали преемников. Источником мрачности, которую я вовсе не отрицаю, был кризис революционной идеологии! А он был связан с переоценкой стратегии и тактики общественных сил, с отказом от штурмовых приступов, с переходом к постепенному размыванию твердынь противника. В основе конфликта общества и администрации лежало требование *развития* со стороны общества, вдохнувшего в предыдущее десятилетие «глоток свободы», и - противостоявшее ему намерение правительства охранить нивелир устаревшей системы администрирования, «подморозить Россию». Самодержавие исторически было обречено, но тогда грядущие перемены виделись куда более дальними во времени, чем оказались на самом деле... Собственно, для спасения монархии оставался единственный выход - «британский»: до начала революционного обвала вступить в переговоры с обществом, своевременными уступками сделать свои будущие позиции максимально прочными, провести отступление - исторически и персонально - на почетных условиях. Власть именно тогда, в 80-е гг., выбрала иную версию - кровавую, насыщенную беспощадным истреблением крамолы. Великий историк Василий Ключевский, отнюдь не радикал, характеризовал эту злосчастную эпоху так: «...русское правительство вело чисто провокаторскую деятельность: оно давало обществу ровно столько свободы, сколько было нужно, чтоб вызвать в нем первые ее проявления, и потом накрывало и карало неосторожных простаков... Наступило царствование Александра III... Сметливые лакеи... успели убедить благодушного барина, что все зло происходит от чрезмерного либерализма реформ... что Россия еще не дозрела до свободы... Все это показалось очень убедительным... Логика петербургских канцелярий вскрылась догола, как в бане. Общественное недовольство поддерживалось неполнотой реформ или недобросовестным, притворным их исполнением... Правительство прямо издевалось над обществом, говорило ему: вы требовали новых реформ - у вас отнимут и старые... Так правительственная провокация получила новый облик. Прежде она подстерегала общество, чтоб заставить его обнаружиться, теперь она *дразнила* общество, чтоб заставить его потерять терпение. Результаты соответствовали изменению провокаторской тактики: прежде так или этак вылавливали подпольных крамольников, теперь и так, и этак загоняли открытую оппозицию в подпольную крамолу».

Эти слова рельефно передают суть общественной ситуации, в которую

влетел мой персонаж Александр Ульянов в феврале 1886 года. До того времени в его жизни стояла четкая цель - стать ученым мужем. Но неотвратимо, по мере приближения к этой цели, возникал вопрос: а что, собственно, означает - быть ученым в России?!

Его тогдашний приятель и коллега М. Брагинский вспоминал: «Александр Ильич любил науку не как самоцель, а как могучее орудие служения народу, человечеству». И потому «наука для науки», «чистая наука», виделась ему делом безнравственным, особо изощренной «эксплуатацией», этаким паразитизмом любопытствующих субъектов на труде народа, кстати, - заодно и нравственным растлением самих ученых. Если наука не направлена на «нравственное высветление человеческих душ» - к чему она? «Александр Ильич со свойственной ему прямолинейностью» (писал друг, Лукашевич), видимо, и с юношеским ригоризмом тоже был слишком нетерпим к сложностям жизни и реальной науки. Но, скажите, бывает ли порядочный человек умеренным в девятнадцать-то лет? А ему было - именно столько...

Девятнадцати лет от роду сей нравственный максималист столкнулся с действительностью, в которой правительство, по словам Ключевского, *дразнило общество*. Еще раньше власти провели этого юношу через цепь оскорбительных событий, которые сегодня абсолютно забыты, а тогда служили истинными вехами в развитии сознания целого поколения непримиримых оппозиционеров и революционеров.

Например, он был на похоронах Тургенева, где на десяток присутствующих приходилось по штатному «слухачу». В числе первых услышал, что закрыли любимый журнал - «Отечественные записки». «Я передала ему, - вспоминала сестра, Анна, - ... будто бы Щедрин арестован. За минуту до того спокойный, Саша весь потемнел: "Это такой наглый деспотизм - лучших людей в тюрьме держать", - сказал негромко, но с такой силой возмущения, что стало снова жутко за него».

Капля по капле набирались подобные впечатления от отечества. И то, что скачок в новое состояние произошел у него сравнительно поздно (большинство студентов-«бунтарей» обычно училось как раз на младших курсах), объяснялось особым обстоятельством: общественный противовес самодержавию - кружки революционеров - казался ему делом несолидным и непривлекательным.

Цареубийство 1 марта 1881 года привело революционистов к тягчайшему идеологическому кризису. По своей философской сути российские «демократы» и «нигилисты» были славянофилами: они поэтически верили, что народ у них не такой, как на Западе, а особенный, «соборный», коллективистский по сознанию, т. е. социалистический по сути. Народ, исполненный святой справедливости... Только подтолкните мужиков к действию, вдохните в них решимость, вселите веру в собственную силушку - и всему миру русские люди покажут, на что «наш человек», ого-го, способен! Самообман этот возвышал поверивших в него до легендарного самопожертвования - хотя не переставал быть самообманом. Александр Ульянов три года не соприкасался с «движением», потому что его суховатый логичес-

кий ум прирожденного естественника не воспринимал всерьез поэтическую версию святой общины и народной справедливости. «В революционные организации не вступаю, - говорил он, - потому что не решил еще многих... вопросов социальных... Смешно, более того, безнравственно лечить социальные болезни, не понимая причины их. Ну разве такие, как NN, - революционеры? А ведь такими хоть пруд пруди» *(ЦГИАЛ, ф. 1606, оp. 1, ед. хр. 3. Реферат Ореста Говорухина)*.

Конечно, рано или поздно, человек подобного умственного и нравственного склада вступил бы в противоречие с правительственной линией. Но *этот* человек, безусловно, тяготел бы при естественном ходе событий к открытой оппозиции. Если бы она была в России возможна... Его судьба - классическая иллюстрация к тезису Ключевского: «Теперь и так, и этак открытую оппозицию загоняют в подпольную крамолу». Его именно загнали, причем - в конце концов - в «центральный террор»!

...Началось скромно - с кружка самообразования. Там студенты изучали политэкономию - делали друг для друга доклады по теориям Чернышевского, Мальтуса, Милля, Даниэльсона. Читали Маркса.

В «экономическом» кружке Ульянов столкнулся с циклом общественных наук, которые он привык считать не совсем настоящими. Неожиданно оказалось, что такое представление есть дилетантское заблуждение. Славянофильские мечтания уже встречали в русском обществе отпор, ибо «Россия есть государство европейское», - сформулировала аксиому Екатерина II, и, кажется, то был единственный пункт, в котором революционеры признавали правоту «матушки». Выводы из абстрактной аксиомы следовали весьма серьезные. Если Россия есть часть Европы, хотя и отсталая, ей, следовательно, предстоит, хотя с запозданием, пройти в будущем те же фазы развития, что пройдены передовыми государствами мира. Конкретно - пройти через капитализм. Следовательно, революционной теорией борьбы с русским капитализмом должна стать новейшая теория революции в Европе - марксизм. Такой выглядела позиция самого видного российского теоретика той эпохи - Бельтова (Георгия Плеханова): он доказывал приложимость идей Маркса к российской жизни.

Минусом его работ считалось то обстоятельство, что Бельтов не мог никому объяснить - что же делать в России конкретно? Он был блистательным знатоком теории, лучшим популяризатором марксизма, задиристым, как испанский петух, полемистом, мозг его казался поразительной по логической мощи машиной. Но российским «практикам» нужны были не теоретические выкладки Бельтова, а в первую очередь практические советы: *как* создавать социал-демократическую партию, *как* подойти к рабочему, *как* ставить новый тип пропаганды. Говоря образно, в 80-х гг. российское революционное движение нуждалось не столько в «Наших разногласиях», но в «Что делать?»... Плеханов не давал ответов на насущные вопросы революционной практики. Потому его работы не удовлетворяли пытливый ум Александра, искавшего конкретное *дело*.

В кратком очерке нет нужды прослеживать его эволюцию на всех эта-

пах. Побывал в руководителях симбирского землячества, создал «Союз союзов» - объединение студенческих землячеств. Избрали секретарем научно-литературного общества Санкт-Петербургского университета. То, что он слыл первым в науках и стал золотым медалистом, читал Спенсера и Маркса, вызывало у студентов не недоверие к «зубриле», к «книжному червю», но - истинное благоговение.

К слову: в той среде заполучить подобный авторитет было куда труднее, чем где бы то ни было в России. Студенты, по общему впечатлению современников, отличались буйными манерами, дерзостью, развязным эпатажем всех и вся. Так что не академическая ученость пленяла в Ульянове юношей: что говорить, они, бывало, самого Менделеева освистывали, когда в острые моменты он смел взывать к их благоразумию! В Ульянове покоряла непреклонная уверенность, что каждый раз он будет поступать по справедливости. Как говорили на Руси - «жил по правде». «Необыкновенно цельная личность, не идущая ни на какие компромиссы, не останавливающаяся ни перед какими выводами, раз они были логичны», - вспоминал один из сокурсников. И такому не пожалованному свыше, не купленному деньгами, естественному авторитету мог бы позавидовать самый именитый российский сановник!

Во всяком случае, осенью 1886 года Александр предложил своему кружку отслужить «общественную панихиду» в день 25-летия со дня смерти Добролюбова. На кладбище по его призыву явилось почти полторы тысячи человек! Число громадное, если напомнить - они знали, что идут на «антиправительственное мероприятие», в пору реакции, когда нельзя надеяться ни на победу, ни на милость победителя. Идут только потому, что так велит совесть. Полиция заперла ворота кладбища и рассыпала наряды городовых между могилами... После долгих переговоров к месту погребения Добролюбова пропустили небольшую депутацию с венками - остальные пели «Вечную память» за оградой. «Безобразие! У нас в России не позволяют свободно даже Богу молиться!» - кричал какой-то студент. «Эх, господин! - не выдержал старый городовой. - Вам ли о Боге говорить!» Конечно, до Бога студенту вряд ли было много дела, но возмущал его, как и всех собравшихся, полицейский запрет на действие, легально разрешенное, вполне законное, на право помолиться возле церкви - хотя бы за Добролюбова. «Когда мы спросили господина Грессера, - особо подчеркнул Александр Ульянов в прокламации, выпущенной им на следующий день, - можно ли молиться и исполнять христианские обряды без разрешения полиции, господин Грессер отвечал: "нельзя"».

Возмущенная молодежь все-таки решила «доказать свое», и демонстрация отправилась с кладбища на Невский проспект. Но возле Николаевского вокзала дорогу ей снова преградил Грессер с казаками, оцепившими толпу. В ответ молодежь запела революционные гимны, раздались приветствия в честь вождей подполья...

«Точно электрическим током пронизало всего Ульянова при виде ненавистной фигуры Грессера, - вспоминал студент-участник (Брагинский). -

...С криком "Вперед!", увлекая за собой других и пролагая себе путь сквозь гущу демонстрантов, устремился он навстречу... градоначальнику».

В 80-х гг. это было уникальное событие - за целое десятилетие, кажется, прошла одна, вот эта, «добролюбовская» демонстрация. Всего один день за десять лет молодые россияне смогли почувствовать себя гражданами, имеющими право поступать, как велит совесть! Когда их стали, наконец, выпускать из оцепления, «после тревог и переживаний дня у всех создалось какое-то особое, умиротворенное настроение, нам хорошо было сидеть кучкой вместе, на душе было легко и не хотелось расходиться, хотя уже как будто все переговорили... Елизаров... заявил со счастливой улыбкой: "Какое у нас единение душ, господа!"»... Настроение того вечера - какое-то счастливое, праздничное и братское, было передано верно...

На другое утро Александр по решению товарищей сочинил прокламацию с описанием вчерашних событий. Немедленно, будто из-под земли, нашелся у кого-то гектограф. Другой принес бумагу. Наборщики, помощники... «Всякое чествование сколько-нибудь прогрессивных литературных и общественных деятелей, - говорилось в первом революционном документе, вышедшем из-под пера Ульянова, - всякое заявление уважения и благодарности им, даже над их гробом, есть оскорбление и враждебная демонстрация правительству. Все, что так дорого для каждого сколько-нибудь образованного русского, что составляет истинную славу и торжество нашей родины, - всего этого не существует для русского правительства».

Самое поразительное, что молодые люди распространяли листовку... по почте!

«М. г. Петр Николаевич, имею честь препроводить при сем к Вашему превосходительству найденные сегодня на почте 85 кувертов с прокламацией под названием "17 ноября в Петербурге". Примите, м. г., и проч. К. Вейсман».

«М. г. Петр Николаевич» носил фамилию Дурново и служил директором Департамента государственной полиции МВД. К. Вейсман в том же министерстве был куратором «черного кабинета» Петербургского почтамта.

Через три дня участники демонстрации расплатились за ощущение счастья вечером 17-го ноября.

«Имею честь доложить Вашему превосходительству, что в силу состоявшегося распоряжения 28 лиц - участников демонстрации 17 ноября высланы на места родины» *(«Красный архив». 1936 г. № 2, стр. 164).*

Высылка, вероятно, имела целью припугнуть остальных, иначе невозможно усмотреть в ней хоть какой-то смысл: высылались вовсе не зачинщики и руководители демонстрации, а первые, подвернувшиеся под полицейскую руку лица. Больше почему-то оказалось девушек - возможно, они ярче юношей запечатлелись в памяти сотрудников господина Грессера. «Высылки казались, как всегда, нелепыми, несправедливыми и возмутительными. За что тех? Мы, другие, так же точно виноваты. Какая возмутительная несправедливость! - говорили и думали оставшиеся» *(Анна Ульянова-Елизарова).*

После высылки «двадцати восьми» собрали новую сходку. Предлагали многое: провести еще демонстрацию, бросить бомбу в градоначальство, да-

же убить Грессера. Особенно остро переживал расправу над товарищами главный зачинщик всех «мирных методов» - Александр Ульянов. По справедливости, как ему виделось, он был виноват более всех, готовился принять на себя ответственность за дело и пострадать... А пострадали те, кто откликнулся на его призыв, причем даже не самые первые! Он как бы подвел товарищей под ссылку, а сам оставался блестящим петербургским кандидатом в профессора! Что делать? Заметался. «Пока я буду готовиться, - говорил он ближайшему другу той поры - Оресту Говорухину, поднадзорному студенту из казаков. - Вопросов, вопросов масса, а не разрешив вопросов, безнравственно браться за дело - например, за террор». Но в ответ Говорухин без ошибки бил в уязвимое место: «Как? Даже и теперь, Ильич, ты твердишь то же самое, что и год назад? Теперь, когда правительство хватает за горло твоих товарищей, да и до тебя самого добирается? Ты и теперь будешь объективно решать задачу, что тебе делать? По-моему, так теперь безнравственно не браться за дело, безнравственно не протестовать против деспотизма. Вопрос только в том, какая форма борьбы... наиболее продуктивна! Я думаю - террор. Ну, придумай лучшую форму борьбы». Итак, нравственно ли не браться за дело? Что он мог на это возражать? Придумай лучшую форму борьбы! Он стал размышлять над проблемой террора.

Размышления Александра Ульянова над «правом общества на террор» дошли до нас в двух редакциях - в сочиненной им «Программе террористической фракции "Народной воли"» и в его речи на суде.

Возможен ли нравственный террор, нравственно ли убийство для достижения политических целей? - от этой проблемы и отталкивается логическая цепь его рассуждений.

В принципе - террор, конечно, «не есть желательная для общества форма борьбы». Но начинает террор не общество, а правительство. Интеллигенция же, лишенная всяких мирных средств борьбы, «только вынуждена прибегать к форме борьбы, указанной ей правительством, то есть к террору». Это обвинение самодержавия в развязывании и, говоря сегодняшним языком, эскалации террора произвело впечатление и на честного противника - на Александра III. В свойственном ему плебейском стиле государь против сего места начертал на полях: «Ловко!»

Далее формулируется: «Террор есть таким образом столкновение правительства с интеллигенцией, у которой отнимается возможность мирного культурного воздействия на общественную жизнь». Потом уже, в речи на суде: «Террор есть та единственная форма защиты, к которой может прибегнуть меньшинство, сильное только духовной силой и сознанием своей правоты, против физической силы большинства».

Итак, нравственное оправдание Александром Ульяновым террора было двояким: во-первых, сама «невозможность положения», а во-вторых, террор есть единственный способ пробуждения у бесконтрольных во всем остальном хозяев страны чувства общественной ответственности перед подданными. К сожалению, «но» - единственный...

Несомненно, он был неправ по всем пунктам, но эти слова для его био-

графа особо ценны, потому что приоткрывают тайну его личного прихода к террору. Террор ведь не являлся единственной формы борьбы интеллигенции - даже и в его время. Можно напомнить о группе «Освобождение труда», группе Благоева, оппозиционных группах в земствах, подготовивших возникновение партии «Освобождение» (будущих кадетов), и пр. И террор вовсе не обязательно есть следствие личного, стихийного возмущения «отдельных личностей» - он может быть предельно систематичным и организованным (например, в эпоху Исполнительного комитета «Народной воли»). Если верить Оресту Говорухину, как раз правоверные народовольцы скептически относились к программе Ульянова и смущало их объявление им террора единственным выходом в безнадежной борьбе (в программе старой, классической «Народной воли» террор объявлялся *вспомогательным* оружием). Идеи Ульянова ветераны подполья воспринимали как экстремистский выпад! Но, как бы ни осуждался политический террор в наше время, я не могу не признать: на самом деле Александр, как ему в принципе было свойственно, лишь честно признал фактическое положение вещей, отказавшись обманывать себя и других рассуждениями о подготовке в принципе невозможного восстания.

Дело, к которому примкнул Александр Ульянов, при всей внешней похожести его на террористическую деятельность классиков «Народной воли», на самом деле вышло из другого, из параллельного источника. Его предшественником нужно считать выстрел Веры Засулич в петербургского градоначальника. Это было человеческое возмущение произволом власти, страстное желание поквитаться, отомстить за товарища - и невозможность ничем другим, кроме террора, показать разнузданной полицейской силе, что достоинство российского человека нельзя безнаказанно оскорблять, что люди способны положить этому предел, чего бы это ни стоило. Понадобится отдать жизнь - отдадут жизнь!

Александр начал искать людей, вместе с которыми он мог бы отомстить за высылку товарищей, за оскорбление достоинства. Один подходящий человек находился рядом - Орест Говорухин. Но двоих для «акта» явно мало. Кто еще? Ульянову и Говорухину пришла в голову одна и та же фамилия - Шевырев. При первом же случае они вызвали Петра Шевырева на откровенный разговор.

ИНОЙ ТИП РЕВОЛЮЦИОНИСТА

О таких людях, как студент третьего курса Санкт-Петербургского университета Петр Шевырев, писать трудно. О нем сохранилось мало сведений. Но, похоже, что материалов мало именно потому, что все, кто мог что-то сообщить о Шевыреве, испытывали ту же трудность, что и я: как именно о нем писать?

С одной стороны, Петр - энергичный, предприимчивый человек. «Шевырев был инициатором, вдохновителем и собирателем кружка, - писал о

нем один из второстепенных участников "акта" (С. Никонов). - Без Шевырева не было бы организации». Именно так оценило его работу Особое присутствие Правительствующего Сената - занесло в первый разряд: «Инициатор покушения». Он был повешен рядом с Ульяновым в 23 года.

С другой... Но вот именно другую сторону почти инстинктивно не хочется видеть в человеке с такой судьбой и гибелью, как у Шевырева. Но в то же время без этой грани невозможно понять трагического финала организации «вторых первомартовцев».

Вот что писал о Шевыреве хорошо знавший его Говорухин: «Убежденным социалистом Шевырев не мог быть, так как социальными вопросами не занимался и никогда о них не говорил. Программные вопросы, волновавшие всю революционную молодежь, для него не существовали... Он сам иногда сознавался, что ужасно мало читал».

Итак, революционер, отдавший жизнь нанесению удара по самодержавию, при этом не задумывался над целью, задачей, над смыслом дела, во имя которого наносил удар. Причем любопытно, не задумывался не по недостатку способностей, а - принципиально: «Способности у него были недюжинные, - отмечал тот же Говорухин, - только он не любил теоретической работы и не привык к ней».

На почве принципиальной «а-идеологичности» не могли не вырасти определенные тактические ухватки. «Между Шевыревым и Ульяновым постоянно происходили споры, а именно - можно ли... тому или иному вступить в террористическую группу, - писал Говорухин. - Ульянов находил, что очень молодым, не определившимся людям не следует предлагать этого, что будет происходить как бы втягивание под умственным и нравственным давлением. Шевырев совсем не мог этого понять, он смотрел совсем с другой стороны - со стороны дела и цели... Террористов так мало, что нужно пользоваться всяким случаем... Рассуждать же, можем или не можем привлечь такого-то к делу, - это роскошь, более того, это безнравственно, потому что это вредит делу». И на свой лад он был прав. Если ему самому, в общем, безразлична та дальняя цель, во имя которой велась вся борьба, почему он должен был особо заботиться о мировоззрении других людей? Появилась возможность использовать кого-то для «центрального террора» - ну, для дела сгодится! А ульяновские колебания: «посягнуть на права личности», «давить на свободного человека» - все это выглядело в его глазах интеллигентским чистоплюйством. У признанных вожаков группы были, оказывается, несхожие представления - хотя бы о морали.

Но именно Шевырев, по выражению Говорухина, стал «фактическим главой всего предприятия». Почему? Что втянуло в революционный смерч человека, в общем-то, не интересовавшегося социальными вопросами?

Судя по тем обрывкам сведений, что дошли до нас, Шевырев обладал от природы самым бесполезным и трагическим талантом для российского простолюдина: он был организатор по сути натуры. Отмечают все: «В университет ходил часто, но лекции слушал очень мало; большую часть времени проводил с массой знакомых, из которых подбирал исполнителей сво-

их замыслов...»; «Все удивлялись его энергии... Во время подготовительной работы Шевырев не знал ни минуты покоя. Он заведовал всеми работами. Метод его был один и тот же: он находил людей, поручал им дело, иногда сам указывал, что и как делать, и изредка наведывался, чтобы узнать, как идет дело. Он был связующим звеном между многими отдельными группами и личностями» *(все цитаты по: ЦГИАЛ, ф. 1606, оп. 1, ед. хр. 5)*. Куда мог приложить себя человек с таким природным даром, живший в империи, где самостоятельная работа на казенной службе доверялась обычно по достижении достаточно солидного чина, где вдобавок вообще не ценили на службе энергичных «выскочек», а ценились работники исполнительно-волевые, но... послушные. Может, стоило двинуться ему в частное предпринимательство, начать с управляющего, потом выбиться в хозяева? Однако в среде интеллигентов господствовало мнение, что частный бизнес - это дорога в «новые хозяева», в эксплуататоры народа. Только после знакомства с харьковскими революционистами, он обрел цель жизни. В Петербург он перевелся из Харькова, имея большие революционные связи и ясно выраженное намерение произвести «центральный акт»!

Первым из подходящих людей, найденных им в столице, был кассир польской кассы студенческой взаимопомощи, красавец Иосиф Лукашевич. Обменялись мнениями насчет «активной борьбы», и... «своя своих познаша». Лукашевич оказался находкой для приезжего харьковчанина: занимался химией, т. е. мог изготовлять бомбы, и параллельно увлекался общественными науками, при нужде мог бы сочинить прокламацию с идейным обоснованием «акта». С Шевыревым у них обязанности были поделены так: Лукашевич готовил бомбы и доставал средства на организацию, а Шевырев подбирал людей в боевые группы.

Для начала Шевырев создал полулегальные студенческие организации - кассу взаимопомощи, бюро для поисков работы, кухмистерскую (студенческую столовую). Особенно трудно было создать кухмистерскую - не было средств для первых вложений, не давала разрешения полиция. Ни один нормальный студент не развил бы столько энергии для достижения столь малой цели! Но у Шевырева именно кухмистерская являлась важнейшим организационным звеном в его замысле: давала связи с массой студентов-посетителей, снабжала дополнительными средствами и могла служить явочной квартирой. Потому он сумел преодолеть обычно непреодолимые препятствия и создал-таки общеуниверситетскую столовую. Произвел подлинный фурор среди товарищей. «Видите, господа, что значит инициатива». Дела кухмистерской были сразу переложены на товарища - мягкого, добросовестного и расторопного студента Канчера, влюбившегося в неутомимо энергичного Шевырева. Симпатия оказалась взаимной. Шевырев любил приказывать, Канчер, напротив, - не размышляя, исполнять чужие приказы. «Страшный реалист, - писал впоследствии Говорухин, - Шевырев ненавидел все мечтания, фантазии. Он относился с пренебрежением к сомневающимся, неуверенным людям... Эта уверенность, более того, самоуверенность и есть секрет его влияния на людей» *(ЦГИАЛ, ф. 1606, оп 1, ед. хр. 3)*. Канчер, не зада-

вая ему ненужных вопросов, выполнял распоряжения уверенного в себе вожака: Шевырев лучше знает, что зачем и почему. Надо - значит надо!

Среди посетителей кухмистерской был некто С. (фамилия неизвестна до сих пор). Шевырев предложил ему стать бомбометателем. Тот согласился, но вскоре похвастался друзьям «участием в серьезном деле», и был Шевыревым выдворен из столицы на родину. Затем Шевырев обнаружил революционно настроенного Георгиевского кавалера (его фамилии не знал даже Лукашевич). Тот обещал застрелить царя во время приема Георгиевских кавалеров в Зимнем дворце. Романтический замысел, если только Шевырев не солгал Лукашевичу (вполне мог прилгнуть - для поднятия духа товарища, например, да мало ли для чего!). Но во время приема в Георгиевском зале «кавалер», как выразился Лукашевич, «опешил» - и Шевырев тотчас прервал с ним все отношения. С Ульяновым их по-настоящему сблизила добролюбовская история: Шевырев восхитился массовостью действий ульяновского кружка, а Ульянов приметил деловую лихорадку Шевырева, благодаря которой листовка была отпечатана за сутки. Вскоре заговорили в открытую.

«И охота вам, Петр Яковлевич, - начал Ульянов, - тратить энергию на мелочи. С вашим организаторским талантом можно было бы устроить кое-что поосновательнее».

Шевырев хихикнул.

«А что, например?»

«Да, например, покушение, - врезал напрямую Говорухин ("не подумавши", как сам признавался). - Хороший бы террорист из вас вышел».

«Ха-ха-ха! Где уж мне... Я и кухмистерской удовольствуюсь. Ха-ха-ха, так ведь вы обо мне думаете? А что, господа, для разговора все это или есть для меня дело?»

«Говорим серьезно, но определенного ничего нет».

«Ну, так теперь я вас спрошу: желаете ли вы заниматься террористическим делом? Группа уже есть. Нужны помощники».

Ошеломление. И, естественно, последовало немедленное согласие.

«Так-так! А что вы собирались в группе делать?»

«Смотря, что предложите».

«Есть четыре сорта дел. Во-1-х, надо достать сведения о жизни объекта».

Ульянов и Говорухин задумались.

«Это кажется почти невозможным. Он все держит в секрете - маршруты поездок меняет сам, лично...»

«Да, для вас это невыполнимо. Я этого и ожидал. Добывать деньги тоже не по вашей части. Остается техническая часть и организация боевых групп».

«Согласны».

«Нет-нет. Обдумайте недельку и решите».

Через неделю состоялся решающий разговор.

«Кто входит в вашу группу?»

Шевырев наотрез отказался сообщить тайну.

«Это неприятно, знаю, это не по-товарищески, но цель оправдывает средства».

«Каков у группы план действий?»

Шевырев опять стал темнить. Теперь-то мы знаем причину его многозначительных умолчаний: после срыва покушения в Георгиевском зале у него, по сути, почти не оставалось ничего - ни группы, ни плана, ни денег... Всего за две недели до разговора он получил единственный шанс говорить о будущем «акте» хоть с какими-то козырями в кармане: состоялось знакомство с Осипановым, совершенно незаметным, старательным, не пропускавшим ни одной лекции провинциалом. Со свойственным ему навыком оценивать любого человека с точки зрения пользы для «дела» Шевырев мгновенно угадал в новом знакомце фигуру идеального борца боевой дружины - твердого, решительного, хладнокровного и осторожного. Осипанов был ветераном подполья, приехавшим из Харькова в столицу специально, чтоб совершить покушение на царя. Он был для Шевырева подлинной находкой. Поэтому, когда Ульянов и Говорухин насели на него, требуя раскрыть план действий, он припомнил двухнедельной давности разговор с Осипановым и изложил замысел последнего: намечено, мол, стрелять отравленными пулями из двуствольного пистолета. К его удивлению, оба уперлись: стрелять по царю из пистолета казалось им самоубийством. Только бомбами - иначе они не вступают в группу. Шевырев уступил... Почему, собственно, не уступить, если реального плана все равно никакого не было. На вопрос, велика ли, по крайней мере, группа, он взял бумагу и написал:

«а) метальщики бомб - сколько угодно;

б) сигнальщики - сколько угодно;

в) химики - сколько угодно» и т. д.

Это произвело эффект: Шевырев из опыта знал, что новичкам легче примкнуть к готовой группе, чем создать свою, на пустом месте, потому он нередко действовал таким вот методом «возвышающего обмана»... «Конечно, после это все оказалось нечаевской тактикой», - мрачно заметил Говорухин, намекая, что из «а) метальщиков» - был тогда один Осипанов, из «б) сигнальщиков» - один только Канчер, к тому же, пока не подозревавший об уготованной ему участи, а из «в) химиков» - один Лукашевич. Но как бы то ни было, а Ульянов с Говорухиным вступили в мнимую группу и привлекли в нее своих знакомых, среди них будущих метальщиков бомб - Генералова и Андреюшкина.

Фактически это было решение о групповом самоубийстве. А кроме того, это значило нанести жуткий удар близким - и уже через несколько месяцев Александр Ульянов плакал, обнимая колени матери, прося ее простить за причиненное горе: он говорил ей, что, кроме долга перед семьей, у него есть долг перед родиной...

«Надо примириться, мама!»

По-разному приходили люди в то, что тогда называлось «движением». Первокурсник Андреюшкин был прямо-таки в восторге, когда Ульянов и Генералов свели его с Шевыревым: наконец-то доведется участвовать в настоящем боевом деле! Вот жизнь пойдет - не то, что раньше - одни разговоры! Еще один из первокурсников, товарищей Александра, - Василий Гене-

ралов, пришел в группу, ища выхода из состояния разочарования в себе, в своих способностях. Уверовав в марксизм, Денисьич начал читать «Капитал»... Но вскоре он разочаровался в своих пропагандистских возможностях - ничего, мол, из меня не выйдет, но вот умереть хочется с толком, «чтоб ироды почувствовали», а они, гады, одной бомбы и боятся... Так он пришел в террор. Такими оказались люди, стоявшие в центре «дела». Но самой трагической фигурой среди них, безусловно, был Александр Ульянов - и потому, что террор вовсе не соответствовал складу его натуры, и еще потому, что общественно-политическая деятельность вообще не была главенствующей сферой в его жизни. Просто доля сложилась так, что, оставаясь честным перед собой и товарищами, невозможно было не «уйти в движение». А «движение» в то время конкретно означало одно - террор. Иного пути не оставалось... Другой путь был - уступить противнику, пойти на компромисс. Он предпочел по-юношески упрямо сохранять верность себе, а это означало пойти на виселицу в 21 год от роду. При этом он не чувствовал себя ни героем, ни бойцом, испытавшим ликующее счастье сражения, игры молодых сил, - так, наверно, было бы легче умирать. Его мужество было другого сорта - самым тягостным для испытания души: мужеством стоика. Это написал в некрологе о нем современник - Георгий Плеханов.

Пройдя путь на свою Голгофу, он, перед казнью отказавшийся от исповеди и причастия, у самой петли все-таки поцеловал крест.

Из доклада министра внутренних дел на Высочайшее имя: «Шевырев и Ульянов бодро и спокойно взошли на эшафот, причем Ульянов приложился к кресту, а Шевырев оттолкнул руку священника».

...Решение было принято: вступил в группу. Изучив новое приобретение, Шевырев оценил сильные стороны Ульянова: умение мыслить теоретически, способности к пропаганде. Александру дали два задания: составить программу для всей организации и возглавить работу среди фабричного и мастерового люда.

Суть программы «Террористической фракции "Народной воли"», если изложить вкратце, была такой: а) программа-максимум - построение «общества, где будет возможно беспредельное нравственное развитие личности». Именно таким старший Ульянов мыслил социализм; б) программа-минимум - создание в России парламентарной системы, введение демократических свобод, национализация земли и т. д. (Александр III заметил на полях: «Чистейшая коммуна!».) Главный враг преобразований - правительство, поэтому группа Шевырева-Ульянова настаивала на таких методах борьбы, которые «вынудят верхи империи к уступкам, что, в свою очередь, даст интеллигенции физическую возможность вести пропаганду среди рабочих».

Один из тогдашних революционистов (Д. Коберман) так формулировал позицию своих современников: «Будущее принадлежит социал-демократии, социал-революционерам - настоящее».

Вот, например, как после ареста излагал следователю свою позицию руководитель тройки бомбистов - Осипанов:

«Я… всегда чувствовал влечение к пропагандистской деятельности... И я, без сомнения, остался бы пропагандировать, если бы не внешняя невозможность… всякой деятельности, хотя бы она и не заключала в себе ничего прямо революционного - например, устройство библиотеки из дозволенных цензурой книг. Преследование всех сколько-нибудь свободомыслящих людей, закрытие газет и журналов, политические процессы... - все это не могло не озлобить меня так, что я, наконец, пришел к мысли совершить цареубийство».

Видимо, в самом начале Александр не думал, что участие в движении неизбежно закончится виселицей: ведь, выражаясь по-военному, его назначили на высокий пост, но в тылу войск, несколько в стороне от самого опасного участка схватки - от покушения. «Он решил так, - вспоминал Говорухин, - буду помогать при покушении, а затем скроюсь или, если правительство будет искать, убегу за границу». Шевырев согласился с этим планом: «Я и сам раньше так думал: тебе, Ильич, надо бежать. Сила ведь пропадет немалая».

Шло время - и террористический замысел своим чередом ладился. Лукашевич сконструировал новый вид бомбы. Для производства динамита понадобилась азотная кислота. По связям Лукашевича Шевырев отправил в Вильно верного адъютанта Канчера, и тот, пройдя по цепочке виленских людей, привез в столицу бутыль с кислотой, стрихнин и двуствольный пистолет. (К слову: в виленскую группу, кроме питерских студентов и будущих сопроцессников Ульянова Тита Пашковского и Бронислава Пилсудского, входили тогда А. Гамолецкий, А. Лейбович, И. Дембо, Л. Аксельрод-Ортодокс, Х. Рапопорт и младший брат Бронислава, Юзеф Пилсудский, будущий президент и маршал Польши.) К несчастью для «дела», в Вильно перепутали и вместо концентрированной кислоты прислали разведенную: для динамита она не годилась. Пришлось вылить ее в Неву, а новую порцию изготовили своими силами - Лукашевич с Генераловым и Андреюшкиным. Двое последних пока не знали Осипанова, а он - их, но первая тройка бомбометателей была уже сформирована. Ульянов готовил дублеров - из рабочих (их должен был возглавить П. Зиссер - «Павел»), а Шевырев намечал третью группу дублеров - смешанного, рабоче-интеллигентского состава (ею должен был руководить Никонов, сын вице-адмирала).

После «добролюбовской истории» полиция, естественно, приглядывала за квартирой Ульянова. Но пронюхать ничего не удалось. Как ни странно, непроницаемости конспирации помогала именно беззаботность юных подпольщиков: они, кажется, даже не замечали «хвостов», встречались открыто, говорили о «делах» при посторонних, только понизив голос или просто выйдя в соседнюю комнату. Такой явно открытой всем и всякому компании полиция серьезного значения не придавала - наблюдали, как было сказано выше, для чистой «профилактики». Реально шла гонка, в которой подпольщики сразу взяли настолько высокий темп, что у них появился шанс достичь финиша раньше, чем неизмеримо более сильный и профессиональный противник сообразит, с кем конкурирует.

Впрочем, кое-какую конспирацию заговорщики все-таки завели. Например, Ульянов перестал встречаться с Говорухиным - ведь тот был поднадзорным. Связь между ними по два-три раза в день поддерживала соседка Говорухина по квартире, юная акушерка Раиса (Ривка) Шмидова. А Осипанов, когда настало время встретиться и познакомиться всей группе бомбистов, назначил свидание в трактире со всеми аксессуарами приключенческого романа - с опознавательным знаком (шапка на столе), с паролем («Сколько времени на ваших часах?» - «Мои отстают на тринадцать минут») и прочим. Но, кажется, это тоже было скорее данью романтике подполья, чем подлинным соблюдением правил конспирации. Особенно если вспомнить, что в день ареста Осипанов не заметил *семи надзирателей*, висевших у группы на «хвосте».

Тем не менее, малая кучка неопытных студентов, работавших в условиях подполья каких-то несколько месяцев в самом полицейском государстве мира, сумела довести дерзкий замысел до стадии, когда бомбисты уже находились на главном проспекте столицы за несколько минут до проезда по ней главы империи! Это несомненное достижение стало возможным во многом благодаря очень важному обстоятельству - негласной поддержке окружающей российской публики.

В «Жизни Клима Самгина» Максим Горький очень точно описал эту черту самодержавной России. Моральное давление общества заставляло даже главного героя, «пустую душу», помогать революции! Именно в атмосфере всеобщего сочувствия борьбе с самодержавием был источник неистребимости и конечной неизбежности русской революции. Вот приметы исторического сюжета, воссоздающие «воздух», которым как бы дышали русские подпольщики.

В какой-то момент подпольщики решили сменить квартиру, на которой изготовлялся динамит. Но к кому обратиться? Ульянов попросил помощи у однокурсника - Валерия Агафонова, впоследствии крупного почвоведа и заодно известного писателя (в научно-популярном жанре). Агафонов обещал переговорить с Михаилом Новорусским, кандидатом в профессоры духовной академии… За один этот разговор им обоим, по точному смыслу закона, полагалась смертная казнь! Характерно, что они вовсе не были революционерами, но нельзя же не помочь, раз товарищ просит… Это считалось непорядочным! Новорусский «мечтал занять скромное место инспектора семинарии и содействовать выработке у будущего духовенства прогрессивных взглядов». От террора он был безумно далек. Большую часть прожитых 26 лет провел в семинарском общежитии, по его выражению, «в казарме», и вот - только-только женился на любимой девушке, Лидочке Ананьиной, и тут приезжает Агафонов и от имени Ульянова просит квартиру «для динамита». Первая реакция - отказ: «Не хочу рисковать, если *это* будет какой-нибудь полицмейстер». На другой день Агафонов привез разъяснение: предполагается нечто *очень* крупное. Делать было нечего - Новорусский с Лидочкой согласились. Сразу возникла неожиданная трудность: у Лидочки была мама, земская акушерка, и братик Коля. Они жили в пригороде, в Пар-

голово, и часто навещали родных в Питере, на Итальянской улице... Их надо было предупредить, чтоб не приезжали в город какое-то время. Дочка встретилась с мамой. Все выслушав, мама объяснила, что «ей как матери будет спокойнее за нас, если квартира на Итальянской не будет использована и если дать помещение *необходимо*, то лучше в Парголово», вспоминала Лидочка 40 лет спустя. Так случилось, что три недостающих фунта динамита Ульянов приготовил в Парголово и все нужное оборудование для изготовления очередной партии бомб оставил на дому у матери Ананьиной. Его никто не спросил, что он делал у них, - это считалось *неэтичным*. Впоследствии Особое присутствие Сената приговорило обоих - Новорусского и мать Лидочки - к повешению! В последний момент Новорусскому заменили смертную казнь на пожизненную каторгу (он отсидел в Шлиссельбурге 18 лет - до амнистии 1905 года), Ананьину помиловали двадцатью годами каторги (она умерла на Сахалине). Только Лидочка отделалась относительно легко - вечной ссылкой в отдаленнейшие места Сибири.

Другой случай. Бомбист Пахом Андреюшкин был человеком отважным, темперамента пылкого. Неуемный лихач-кудрявич (известно, что однажды Пахом забрался через окно в опечатанную полицией квартиру и забрал оттуда весь компрометирующий материал), единственный сын матери-казачки, влюбился в молодую приятельницу своей матери Аню Сердюкову. Аня служила в Екатеринодаре учительницей, ей исполнилось 27 лет, и потому она считала себя «вековухой». Уж, во всяком случае, не парой двадцатилетнему Андреюшкину. Но Пахом был не из робких воздыхателей, смущавшихся такими пустяками, как испуг любимой: он начал из Петербурга забрасывать Анюту пространными письмами. Во время последней встречи девушку предупредил - если в его письме окажется недописанная страница, следует нагреть ее над лампой... Однажды пришло письмо с предложением руки и сердца. Аня ответила отказом: мы - не пара, мы бедны, к чему плодить на свете нищих и т. д. Спустя неделю, перечитывая брачное предложение, она вдруг заметила, что страница-то не дописана! Нагрела, и выступили буквы: «Должно быть покушение. Смотрите - не влопайтесь. Не пишите даже о своем согласии на предложение». В следственном деле сохранилась ответная телеграмма девушки, датированная... шестым марта! «Вы просили ничего не отвечать. С получением вашего письма я прожила целую вечность. Да. Отвечайте. Комахина» *(ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 649)*. Следователю, добравшемуся до нее по нити телеграммы, Аня объяснила, что в детстве ее звали муравьем - «комахой», и Пахом об этом знал...

За «знание и недонесение» Сенат вынес ей смертный приговор. Царь заменил его двумя годами тюрьмы с последующим лишением прав.

К середине февраля основные приготовления к покушению были закончены. Шевырев уговорил Канчера стать сигнальщиком («все равно ты уже замаран: возил кислоту. Ну, кто поверит, что ты не знал, зачем она нужна. А семь бед - один ответ» и проч.) Канчер привлек к делу своего соседа по квартире Горкуна и приятеля Волохова. Так что тройка сигнальщиков была, наконец, готова, а тройка бомбометателей была готова еще раньше...

Один снаряд - книга для Осипанова - был уже изготовлен, для других двух бомб припасли все необходимое. Была составлена программа и припрятан гектограф, чтоб отпечатать ее в нужный момент.

Но уже появились первые, пока малозаметные признаки провала.

Арестовали - за старые дела, за работу в провалившихся к тому времени военных кружках - Никонова, члена дублирующей тройки бомбистов. Усилилась слежка за «Павлом» - Зиссером. Настроение становилось все хуже: наличными силами организация могла совершить лишь одно покушение, а это - не совсем то... «Я не верю в террор, - говорил Ульянов, - я верю в систематический террор». А системы как раз и не получалось.

Дважды подвергался опасности Говорухин. В первый раз на него донесла квартирная хозяйка, но дворник, видимо, зная склочный нрав этой дамы, решил, что она просто выживает по бытовым причинам жильца из квартиры. Во второй - нависло старое дело о пропаганде на Дону. Решили не рисковать, как напрасно рискнули с Никоновым, а удалить его сразу за границу. Александр Ульянов заложил в ломбарде золотую университетскую медаль и, провожая друга на вокзал, вручил ему сто рублей на дорогу. Через несколько дней они получили из Вильно условную телеграмму: «Сестра уехала. Пилсудский». Это значило, что Говорухин благополучно миновал кордон... Переправил его за кордон Пилсудский-младший, Юзеф.

17 февраля Петербург покинул Шевырев. Лукашевич пишет, что причиной явился туберкулез и усиленные настояния родных Петра Яковлевича подлечиться в Ялте. Поверить в это трудно: до возможного покушения оставалось 10-11 дней! Ульянов, правда, уговаривал отложить дело до осени, подготовить новые боевые группы (для второго и третьего покушений) - но Шевырев и слушать не хотел: «Как? Откладывать? Да ты, Ильич, уверен, что тебя завтра не возьмут? А я? Да кто из нас может поручиться, что он просуществует до осени? Далее. Если слабый... проговорится, то всем нам конец. А за что? За хотение? Будь что будет, но вперед!». И вдруг человек, настаивавший на немедленном приведении «акта» в исполнение, уезжает за считанные дни до решающего действа?! Причем в Ялту он отправился на... запад, по Варшавской дороге. Хотя по предварительному плану группы уехать накануне покушения должен был как раз Ульянов, но «когда Шевырев, несмотря на несогласие Ульянова, уехал из Петербурга за неделю до 1 марта, - писал Говорухин, - Ульянов уже не хотел скрываться» *(ЦГИАЛ, ф. 1606, оп. 1, ед. хр. 3)*.

Именно отъезд Шевырева стал причиной гибели Ульянова. Александр заменил его в Центральном кружке и возглавил группу в ответственный, последний период. Из теоретика и пропагандиста Ульянов превратился в динамитчика, руководителя тайной типографии и боевой группы. Человек, стоявший в центре всех дел покушения, был обречен в первую очередь. Он это знал.

21 февраля Ульянов и Лукашевич набивали динамитом бомбы для Андреюшкина и Генералова. Канчер и Волохов явились за «грузом» раньше намеченного срока и своими глазами видели, как товарищи изготовляли метательные снаряды. Именно этот пункт в их показаниях стал роковым для руководителей.

А в один из следующих вечеров Ульянов организовал самое неконспи-

ративное дело, какое только можно вообразить: по решению Центрального кружка была устроена общая вечеринка всех участников «акта». Прощальный пир! Пели любимую песню:

Но знаем, как знал ты, родимый,
Что скоро из наших костей
Поднимется мститель суровый
И будет он нас посильней.

«- Да ведь это похоронный гимн!

- Да, похоронный! - с ударением и даже с некоторым вызовом ответил Саша», - вспоминала его сестра.

Потом группу упрекали в грубейшем нарушении конспирации - особенно в эмигрантской прессе. Но известно, что и самый великий «страж подполья» 70-х гг. Александр Михайлов тоже устраивал рождественские вечеринки для членов Исполнительного комитета, а однажды заказал для них общую ложу на спектакль в Александринском театре - неподалеку от царской. Важнее конспиративности ставил главный конспиратор подпольной России «общую удовлетворенность членов организации».

26 февраля 1887 года была получена информация, что сегодня, в так называемый «царский день», государь будет на службе в Исаакиевском соборе. Откуда поступили сведения? Передал ли Шевырев Ульянову свои тайные связи во дворце? Или это сработал другой источник, сведения о котором есть в архивном следственном деле: у Генералова имелся друг и земляк Степан Ефремов, которому Денисьич давал читать «крамольные книжки». А Степан служил в государевом конвое и был в курсе обычных, рутинных выездов Александра III. Ульянов проинструктировал боевую группу и расставил всех по местам. Но в собор царь не явился.

Через день за метальщиками было установлено наблюдение. Но и в эти сутки у них еще был некоторый шанс на успех: филеры вовсе не ожидали теракта, и, кроме того, они не знали ничего про Осипанова. Однако и в тот день «государь, который собирался выехать с женой, - писала в дневнике Арапова, - в последнюю минуту велел ей передать, чтоб она его не ждала, так как его задерживает важная работа». Императрица поехала одна…

А в следующий полдень их арестовали.

«МНЕ ОТМЩЕНИЕ…»

Тех из вас, кому ни до чего дела нет, я буду миловать. Прочих же всех - казнить.

М. Салтыков-Щедрин. История одного города

Канчер допроса не выдержал. Человек, подчинившийся воле Шевырева, когда «шефа» рядом не оказалось, поддался напору прокурора. Его, на-

верно, пугнули пытками («Нет, не обещаниями мы получаем признания, а иными средствами: вздергиваем на дыбу, вытягиваем жилы, кормим селедками и пить не даем», - говорил, например, прокурор Лукашевичу), и Канчер признался во многом. Но не во всем, и жандармы это чувствовали: «скотина Дурново» (вовсе не я этого умного и проницательного деятеля так обругал, это... Александр III) говорил про Канчера: «О, это хитрый хохол!». Итак, Канчер сказал не все, но достаточно, чтобы погубить Центральный кружок: «Причина, почему я сделался таким преступником... я нахожу, что это есть Шевырев». И Канчер не щадил человека, вовлекшего его в дело «нечестным способом». Давний спор Шевырева с Ульяновым, кого нравственно, а кого безнравственно принимать в группу, получил «посюстороннее», практическое решение: человек, принятый по Шевыреву, т. е. «под умственным и нравственным давлением», когда давление исчезло, подсек организацию.

Ведь еще оставались ненайденными часть динамита и лабораторной посуды, оставались люди - студенты, рабочие, военные, - оставались связи с другими городами (в записной книжке Ульянова жандармы обнаружили запись - Uf land, Ивановская, 15, - так был расшифрован Уфлянд, один из руководителей Харьковского подполья). Но разгром Центрального кружка парализовал нервную систему организации, и дело было полностью проиграно.

Что оставалось в резерве у Александра после ареста?

Слово - для пропаганды идей, если оно пробьется через караулы жандармов. Слово - для поддержки товарищей. Слово, обращенное к истории (как всякий мыслящий человек, Александр не мог не продумывать варианты будущего).

Но я вижу в его показаниях, речах, письмах во время процесса еще один возможный смысл... «Если бы мне удалось доказать, - скажет он сенаторам, - что террор есть естественный продукт существующего строя, что он будет продолжаться, то, следовательно, правительство будет вынуждено относиться к нему более спокойно и внимательно... Тогда оно легко поймет...»

Тут председательствующий, сенатор Дейер, прервал его: «Вы говорите о том, что было, не о том, что будет».

«-...такое объективно научное рассмотрение причин, как это ни кажется странным господину прокурору, будет гораздо полезнее, чем одно лишь негодование. Вот и все, что я хотел сказать».

Пользуясь привилегией политического смертника - быть услышанным на самом верху государственного аппарата, а может быть, и на троне, - Александр Ульянов предлагал правительству политическую альтернативу казни: «Объективно научное рассмотрение причин». Как ему «легко понять» и какие нужно сделать политические выводы.

Как мог он рассуждать в камере?

Покушение не удалось, но правительство было в шоке. Это чувствовалось на допросах в охранке, где жандармский следователь негодовал - мол, теперь и папиросы курить опасно, того и гляди, физиономию динамитом разворотит, а его коллега спрашивал Лукашевича, не Польша ли - вот страх-

то! - снова поднимается. Да и прокурор обратился к студентам с уважительной просьбой - по возможности смягчать антиправительственные резкости в показаниях. Следовательно, бумаги шли на самый-самый верх (так оно и было, как мы теперь знаем). А на что террористы, в сущности, могли рассчитывать? На этот самый шок! Может быть, угроза продолжения борьбы - «систематического террора», по терминологии того времени, станет фактором, который толкнет правительство к назревшим уже реформам?

Александр Ульянов не мог посчитать такую перспективу исключенной начисто.

В этом последнем, судебном, поединке российского юного донкихота постигла неудача. Его выслушали - но и не подумали прислушаться. Наоборот, именно после 1887 года в политике правительства заметен поворот к «подмозроске общества». Чтобы понять причину последней неудачи Ульянова, надо немного приглядеться к человеку, который ему противостоял, к тому, с кем он пытался вести заочный диалог, к тезке - Александру III Романову, от мировосприятия которого в решающей степени зависели судьбы Российской империи.

В щедринской «Истории одного города» градоначальник Угрюм-Бурчеев снес до основания старый Глупов и построил на том же месте «муниципию» Непреклонск! Потом заснул, приуставши. «Когда он разрушал, боролся со стихиями, предавал огню и мечу, еще могло казаться, что в нем олицетворяется что-то громадное, какая-то всепокоряющая сила, которая, независимо от своего содержания, может поражать воображение; теперь, когда он лежал поверженный и изнеможенный... делалось ясным, что это "громадное", это "всепокоряющее" - не что иное, как идиотство, не нашедшее себе границ».

Вот это «идиотство, не нашедшее себе границ» В. И. Ульянов-Ленин выделил в перечне факторов, сделавших возможной победу революции именно в России: «Пролетариат в Европе нисколько не больше зачумлен, чем в России, а трудней там начало революции потому, что там нет во власти ни идиотов, вроде Романова, ни хвастунов, вроде Керенского, а есть серьезные руководители капитализма, чего в России не было».

Следует признать, будь император всероссийский Александр III обычным чиновником, в нем можно было бы обнаружить массу прекрасных свойств. Царь, например, был прекрасным семьянином - верным и преданным мужем, заботливым отцом своих детей и умным попечителем обширной семьи Романовых - всех, ближних и дальних. В дневнике, скажем, упоминает, «милую душку женушку» - это на семнадцатом году женитьбы! Роды ее описывает так: «Эта минута всегда торжественна и оставляет глубокое и сильное впечатление, и подобные минуты не забываются. Я счастлив. Я очень счастлив». Он был неутомимым тружеником. Предпочитал труд физический (рассказывают, например, что однажды государь своими руками ок-

леил обоями весь Аничков дворец. Невероятно!). Но не пренебрегал и умственными, государственными обязанностями: большую часть дня сидел над деловыми бумагами. Даже «милая душка Минни» не смела в те часы входить в рабочий кабинет и мешать ему. Именно трудолюбие спасло ему жизнь 26 и 28 февраля 1887 года: государь задержался за делами в кабинете...

И еще. Он был человеком с чувством очень развитого общественного долга. «Произнося свою коронационную молитву, - вспоминал юрист-либерал А. Кони, отнюдь не симпатизировавший самодержавию, - Александр III обливался слезами в сознании своей ответственности перед Богом за врученный ему народ». В царском дневнике сохранились забавные в простодушной наивности реплики: «Мое искреннее желание - это приносить больше пользы моему милому душке *papa* и моей милой родине»... «Все артиллерийское правление (где он служил. - *М. Х.*) - подлецы и мошенники, которые желают повредить нам дело и, значит, повредить всей России»... И, наконец: «На моем пути к добру, пользе и правде а вось (sic! - *М. Х.*) отыщется хоть один человек на родине, который отдаст мне справедливость... Да будет воля твоя, Господи!»

Нужно отметить, что в быту государь неизменно оставался тем, кого в обществе называют порядочным человеком. Когда после восшествия на престол министр внутренних дел - «государев дядька», на жандармском жаргоне, - впервые ознакомил его с работой «черного кабинета», новый царь ответил просто: «*Мне* это не нужно» - и за все время царствования никогда не пользовался высочайшей привилегией читать переписку подданных.

Не любил помпы (двор Александра III считался самым скромным в послепетровское время). Не любил многочисленной охраны - считал, что в ее присутствии он смотрится смешно. Желал быть русским патриотом: будучи по крови русаком на одну шестьдесят четвертую часть, «славянофильствовал» - в частности, отпустил бороду лопатой, какую носили мужики, придумал мундир с круглой шапочкой набекрень и шароварами, заправленными в сапоги...

Самой приятной его чертой современники считали действительно редчайшую в начальственном лице и действительно весьма приятную человеческую черту - понимание своей некомпетентности в тех или иных делах. Например, обер-прокурор Сената А. Кони не раз кассировал (опротестовывал) несправедливые, как ему виделось, приговоры, вынесенные по «особому вниманию» (так назывались «ценные указания» с высоты трона). Каждый раз министр юстиции ожидал разгрома, но «Александр III выслушал внимательно, задумался, а потом произнес: "Ну, что ж, если по закону так следует, как он пишет, пусть так и решат. Ему-то виднее, что должно быть по закону, ему и карты в руки"».

Эта способность считаться с выводом специалиста, умение трезво оценить скудость собственных умственных ресурсов и верить на слово честному профессионалу вызывала прямо-таки благоговение перед Александром III у одного из самых умных русских министров - Сергея Витте. Он называл царя - «умный сердцем»...

Но при всех этих достоинствах Александр III был грубым и ограниченным человеком.

Дело даже не в грамотности, хотя, что уж скрывать, сердце республиканца не может не веселиться при виде царских резолюций на деловых бумагах (их - для потомства! - лаком покрывали): «Не укланяться (sic!) в сторону и беспощадно карать врагов»; «Сие не может принести никакого вреда кроме пользы»; «Брошюра при дерзская» (надпись на «Открытом письме Александру III» издательницы Цебриковой); «Скот» (резолюция на докладе по делу народовольца Б. Оржиха); «Порядочная скотина, ни на кого не показывает» (надпись на деле «вторых первомартовцев») и проч. Особенно пикантна резолюция на докладе одного московского профессора о пагубности пьянства: «Действительно, кабак есть гибель России». Пикантность вижу не в том, что сбыт алкоголя скоро станет государственной монополией и основным источником доходов казны, которая и будет «спаивать Россию». В конце концов, это случилось после Александра III... Нет, лично Александр спаивал не Россию, а самого себя. Он был хроническим алкоголиком. Этот богатырь, в молодости сгибавший подковы, высаживавший запертые двери плечом, видимо, мучился от непосильных для его природных способностей обязанностей государственного мужа. Он исполнял их, потому что считал правление своей Миссией, обязанностью перед Богом, но не чувствовал к этому делу никакой склонности. Государь заливал тоску коньяком. Естественно, вмешивалась «милая душка Минни», запрещала пить дома, а в деловом кабинете пить ему самому не позволяло самосознание государственного деятеля. И вот для царя и ближайшего его друга, начальника охраны Черевина, сапожник соорудил особого покроя сапоги - с тайниками в голенищах. В них они прятали от Минни фляжки. Вечером друзья поигрывали в карты, и стоило государыне удалиться в личные покои, как они переглядывались и...

«Раз-два-три, - вспоминал генерал Черевин, - вытащим флягу, пососем и опять, как ни в чем ни бывало...» «Раз-два-три. Хитра голь на выдумки, Черевин?» - «Хитра, Ваше величество!» - и одуревшие друзья «сосали».

Напившись, император не буянил, а впадал в благодушное настроение, ложился на пол (на спину) и, заливаясь смехом, ловил проходящих лиц за ноги. Дам, кстати, не трогал, только мужчин и бегавших вокруг него детей. Наверно, однажды так он и застудил почки на холодном полу - скончался Александр III сорока девяти лет от роду.

Все это читается сегодня как забавный исторический анекдот, но не забывайте - это образ одного из трех-четырех самых влиятельных политиков земного шара. От его решений зависели судьбы миллионов людей. Но царь неукоснительно, как запятую перед «что» и «который» (а он всегда ставил запятую перед «что» и «который», даже в оборотах типа «за, что» и «при, котором»), исповедовал, что «России полезно самодержавие». Это не подлежало обсуждению. Царь соглашался выслушивать и считаться с любыми идеями, если они не клонились к изменению «принципа». Именно к этому человеку Ульянов и обращался из тюремной камеры и зала суда с предло-

жением ввести кардинальные изменения в систему управления, иначе Россию ждет страшный террор и - революция.

Царь не впервой читал подобные пророчества. За шесть лет до того он получил письмо из той же крепости и тоже накануне казни от одного, как выяснилось со временем, из самых выдающихся изобретателей империи, главного «техника» «Народной воли» - Николая Кибальчича. «Мне кажется, - объяснял тот, - что, смотря даже с точки зрения привилегированных классов и правительства, раз народное восстание неизбежно, то гораздо лучше, если во главе его явится сознательно направленная революционная интеллигенция, так как без умственного и нравственного влияния революционной интеллигенции на это восстание оно может проявиться лишь в той дикой, стихийной и беспощадной форме, в какой оно проявлялось в XVIII веке».

А посему Кибальчич предлагал царю не казнить вождей русской интеллигенции, а даровать с высоты престола амнистию и ввести демократические свободы: «Против царя - социального реформатора немыслима никакая крамола». Царь наложил резолюцию: «Фантазия больного воображения». Сочинение Ульянова он тоже внимательно прочитал и исчиркал пометками, но в конце следовал неизбежный при данном раскладе вывод: «Эта записка не сумасшедшего даже, а чистого идеота». Потом, возможно, царь у кого-то спросил, как пишется трудное слово, аккуратно перечеркнул «е» и сверху вписал «и» - «идиота».

У него хватило интуиции, «ума сердца», чтобы понять - Кибальчич и Ульянов не блефуют в политической игре, пытаясь спасти жизнь, они искренно верят в то, что пишут, и предлагают ему выход из ужасной для страны перспективы. Но в свой исторический проигрыш царь не в силах был поверить - ни на секунду! Он не чувствовал, как проживается основной наследный капитал власти - давно сложившееся народное (и отчасти общественное) доверие к государственному разуму царя-батюшки. «Не знаю общества, - запишет вскоре Василий Ключевский, - которое терпеливее, не скажу доверчивее, относилось к правительству, как не знаю правительства, которое так бы сорило терпением общества, словно казенными деньгами». Александру III достаточно было трезво поглядеть вокруг, чтобы бросились в глаза признаки грядущего крушения - в первую очередь, несогласование действий или просто бездействие ответственных властей. Его собственные министры были по отношению друг к другу не соратниками в общем деле, а постоянными конкурентами. По отношению же к центру власти, к самому царю, говоря словами Ключевского, «они были озлобленными и коварными холопами, подличающими перед ним из чувства самосохранения, обманывающими общественное мнение по ремеслу и расстраивающими порядок по невежеству...» «Государству, - писал он, - служат только худшие люди, а лучшие только худшими своими свойствами... У нас нет ничего настоящего, а все суррогаты, подобия, пародии: квазиминистры, квазиправительство, квазиобщество». Где уж было такой верхушке исторически долго сопротивляться «силе, организованной и объединенной сознанием своей духовной солидарности» *(из обращения А. Ульянова)*.

Вот пример. После покушения 1 марта 1887 года два высших чиновника, отвечавших за безопасность Александра III, Оржевский из МВД и Грессер из градоначальства, сцепились, как бульдоги. Почему? «Вместо того, чтоб заботиться об общественном благе и безопасности государя, - записывала в дневник фрейлина Арапова, - эти два господина занимались тем, что опутывали друг друга сетью интриг с целью проглотить своего соперника». А министр просвещения граф Делянов интриговал против идеолога империи обер-прокурора Синода Победоносцева. Один из арестованных, Новорусский, шел не по деляновскому ведомству (университет), а по епархии Победоносцева (духовная академия): «Это было настоящим бальзамом на сердце Делянова». В свою очередь, непреклонный Победоносцев, возможно, опасаясь нареканий на свою номенклатуру, вдруг заделался на удивление милосердным: «Я вот все добивался и ждал от членов этой шайки просьб о помиловании, - признавался в беседе с Кони министр юстиции, - а Константин Петрович еще раньше давал совет даровать им жизни». И «своего», Новорусского, он таки от петли отбил.

«Александр III, - писал В. Поссе, - пригласив Победоносцева, раздраженно сказал ему:

- Хорошие порядки в нашей духовной академии, если кандидат в ее профессоры делается зачинщиком такого страшного злодеяния. Остальные - мальчишки и, наверно, действовали под его влиянием.

Победоносцев в некотором замешательстве ответил:

- Нет никаких доказательств, что Новорусский был зачинщиком. И вообще обвинение его основано на косвенных и довольно шатких данных.

- В таком случае его нельзя вешать.

И заменил смертную казнь бессрочной каторгой».

Так все они и путались во взаимных подсиживаниях-интригах, а внизу, в погребах российского общества, копилась взрывчатка. В лице Александра Ульянова оттуда едва ли не в последний раз обратились наверх с предложением: «Остановитесь, подумайте...» Но «высшие сферы вообще никогда не умеют выводить уроки из прошлого и прозревать будущее, а живут одним настоящим днем», - так писал Кони. Когда через тридцать с лишним лет загремят выстрелы в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, в Мотовилихинском и Алапаевском лесах, когда начнут убивать сыновей, невесток, внуков и внучек Александра III, когда его Минни, как Ниобея, переживет гибель детей и на старости лет убежит из России на родину, в Данию, - невольно возникнет в сознании мысль о страшном, хотя неторопливом оползне истории, и о том, не сам ли Александр III подписал смертный приговор своим детям, когда на записке, где ему предсказывали будущее, высокомерно начертал: «Это не записка не сумасшедшего даже, а чистого идеота». Но летом 1918-го никто уже не вспоминал, как три десятилетия назад отчаявшаяся мать молила отца и деда тех, кого сейчас беспощадно убивали на Урале и во дворе Петропавловской крепости: «Милости, государь, прошу! - выкрикивала она. - Пощады и милости для детей своих! Слез нет, чтоб выплакать мое горе. Слов нет, чтоб описать весь ужас мое-

го положения... О, Государь! Умоляю - пощадите детей моих! Нет сил перенести это горе, и нет на свете горя такого лютого и жестокого, как мое горе! Сжальтесь над моей несчастной старостью. Мария Ульянова».

Но человек, привилегией которого являлось оказывать милость, ответил: «Мне кажется желательным дать ей свидание с сыном, чтоб она убедилась, что это за личность - ее милейший сынок». Он был, этот царь, совсем недурным человеком - во всяком случае, разрешил ей свидание не для того, чтобы с помощью матери постараться выпытать кос-что у сына-упрямца. Это уж распорядился сделать министр внутренних дел («государев корректор»). Но и пощады царь подсудимому не дал, и - «грехи отцов падут на детей их до пятого колена», жестоко сказано в старинной книге.

Вначале царь не хотел никого казнить. Существовало предположение, что он всерьез считал арестованных как-то связанными с германской дипломатией и хотел избежать международных осложнений. Как бы то ни было, первая реакция царя была: «...заключить их в Шлиссельбургскую крепость. Это самое неприятное наказание». Против казни, как упоминалось, выступил и его «фактотум» - Победоносцев. Не желал ее и министр юстиции.

Но пятерых повесили. Почему?

В дневнике поэта К. Р. (великого князя Константина Романова) есть запись: «26. III-87. Вчера государыня послала за мной... У нее был граф Толстой, министр внутренних дел. Из соседней столовой я слышал, что императрица повышала на него голос, и мог понять, что она недовольна. Когда Толстой вышел, она... говорила со мной очень откровенно... Она негодовала на слабосилие и растерянность наших государственных мужей, на препирательства, возникшие в то время, когда надо спасать государя от постоянной опасности» *(ЦГАОР, ф. 660, оп. 1., ед. хр. 32)*.

Может быть, решающую роль в исполнении приговора сыграла женщина, испуганная за жизнь мужа, необычайно влиятельная, умевшая подчинять своей воле окружающих? Кто знает...

Многое, конечно, зависело от Особого присутствия Правительствующего Сената, исполнявшего обязанности Верховного суда империи. В конце концов, покушение не состоялось. Кроме того, бомба же Осипанова не взорвалась в кабинете следователя. Не взорвалась случайно (от слишком нервного рывка порвался шнурок, соединявший руку бомбиста с чекой взрывателя, и чека осталась в гнезде). Но экспертиза пришла к ошибочному выводу, что бомба вообще не могла взорваться. В такой ситуации прокурор и суд могли спокойно подвести покушение под «замысел» (тем более что сам император - не возражал) и ходатайствовать о «снисхождении». Потому-то круги, добивавшиеся обязательных виселиц, не доверили выступать на процессе «очередному» обер-прокурору Сената А. Кони: «Вас оставили взятым под сумление, а то ведь вы, пожалуй, и в самом деле предложите смягчить наказание. Нынче это не в моде», - любезно разъяснил причины решения министр юстиции. Выбор пал на и. о. обер-прокурора Сената Николая Адриановича Неклюдова.

Жизнь студента Александра Ульянова не раз пересекалась с неожидан-

ными, яркими и впоследствии знаменитыми людьми. Он встречался с Салтыковым-Щедриным, знал Вернадского, Мережковского, Туган-Барановского, братьев Пилсудских (вот забавная деталь: арестованный по его делу Юзеф Пилсудский, будущий вождь польских националистов, на допросе называл себя Осипом и... белорусом). Но все ж самое драматичное пересечение судеб в короткой истории Ульянова - встреча на процессе с Н. Неклюдовым.

Николай Неклюдов был любимым учеником Ильи Николаевича Ульянова. Участник студенческих волнений в Санкт-Петербурге, на короткий срок арестант Петропавловской крепости, литератор, популярнейший в России мировой судья и блистательный адвокат, «восходящая звезда». И вот в 1887 году этот записной либерал вдруг принял предложение - выступить на процессе в Сенате и добиться виселицы для сына своего учителя. «Мне была совершенно ясна одна из сильнейших причин, заставивших разорваться это когда-то благородное сердце, - писал после скоропостижной кончины Неклюдова его коллега А. Кони, - обладатель этого сердца увлекся пагубной мыслью путем сделок с совестью, недостойных уступок и компромиссов достичь возможности занять такое положение, в котором можно было бы начать осуществлять мечты своей юности, заставив этим забыть грехи своих прошлых лет». Старая-престарая уловка слабого духом «прогрессивного человека»! И естественно, что на процессе он плелся за тамошним запевалой - первоприсутствующим сенатором Дейером, по определению того же Кони, «бездарным и злобным холопом». Кстати, активность Дейера подогревалась, по суждению того же Кони, ожиданием определенной мзды: «Когда приговор был приведен в исполнение... я должен был сделать распоряжение о выдаче по ордеру министра юстиции господину сенатору Дейеру двух тысяч рублей для лечения болезни. Это было, по-видимому, платой за пять голов».

Поначалу гордый, самолюбивый Неклюдов лишь настраивал себя в унисон Дейеру, но затем, как часто случается, впал в экстатическую истерику от собственного красноречия.

А уж Дейер... Судорожно вертя карандаш, он грубил всласть, или, как подсудимые выражались, «придирался»... Например, категорически запретил подсудимым здороваться друг с другом. Заставлял, вопреки закону, стоя слушать обвинительные акты... Когда начался допрос Шмидовой, председатель, по выражению Кони, «развернулся во всю». Выглядело это (суммируя описание процесса разными людьми) примерно так:

«- Какого вероисповедания ваши родители?

- Иудейского.

- Ха-ха, значит, евреи, - торжествующе возглашал Дейер. - А чем они занимаются?

- Коммерцией.

- Ха-ха, значит, гешефтом».

Сенаторы вынесли всем смертные приговоры, ходатайствуя перед государем о смягчении участи лишь для сломленных Канчера, Горкуна, Воло-

хова и для тех, чье даже только «знание» о заговоре им самим казалось сомнительным (для Ананьиных, Сердюковой, Шмидовой, виленцам). Новорусский же, который осмелился всерьез опровергать доводы прокурора (как известно, он на самом деле реально ничего не знал о «деле» и ни в чем лично не участвовал), вызвал подлинное негодование судей. В «запирательстве» они увидели несомненное указание на решающую роль в деле. Особенно негодовал входивший в состав судебной коллегии представитель «низов», волостной старшина: он уверял коллег, что «Новорусский - сам сатана, а остальные только бесенята». Весь процесс шел по старой, горько-ехидной формуле отечественного правосудия: «Правительствующий Сенат, несмотря ни на что, постановляет...»

Последние дни своей короткой жизни Александр Ульянов держался, как обычно: скромно, без вызова. Поначалу отказывался подавать прошение о помиловании, о котором умоляла его мать: «Не могу сделать это после всего, что я признал на суде, ведь это было бы неискренно»... «Пойми, мама, я хотел убить человека, значит, и меня могут убить». И, наконец: «Представь себе, мама, что двое стоят друг против друга на поединке. В то время как один уже выстрелил в своего противника, он обращается к нему с просьбой не пользоваться в свою очередь оружием. Нет, я не могу поступить так».

Это были важные слова. С Александром Ульяновым, видимо, кончалась эпоха поединков подполья с самодержавием. Начиналась новая эра - время классовых (и расовых) войн.

Но, в конце концов, Александр подал на имя царя прошение о помиловании: родственник убедил его, что мать лишится рассудка, а возможно, и жизни, если он, Александр, будет повешен. Он так и объяснил в прошении тезке Романову.

«Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему величеству с просьбой о снисхождении в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мной смертного приговора подвергает ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить Ваше величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием. Александр Ульянов».

Человек обратился к другому человеку с нормальным словом: Ваше величество, мы - враги, мы убиваем друг друга и должны нести за это ответ. Закон жизни. Но ведь есть на свете матери... Поэтому, если возможно, замените виселицу любой другой мерой наказания, какую сочтете возможной.

Насколько я чувствую личность Александра Романова, он мог, прочитав этот короткий листок, ответить согласием. Но прошение Александра Ульянова ему из «аппарата» не передали. Ведь оно было написано в «неположенном» стиле. Даже не подписано - «Вашего величества верноподданный», а просто - «Александр Ульянов». Александр Ульянов по-человечес-

ки заговорил с Александром Романовым. Такое чиновники передавать не решились.

На свидании сын сказал матери, что ему «тут хорошо, и люди все такие симпатичные». Сестре писал: «Я помещаюсь хорошо, пользуюсь хорошей пищей и вообще ни в чем не нуждаюсь… Чувствую себя хорошо как физически, так и психически». Тюремщики платили ответной симпатией: смотритель уговаривал спасти жизнь прошением на Высочайшее имя, прокурор Князев дал возможность поговорить с матерью наедине, в отдельном помещении, без разделяющей решетки. Когда мать спросила у сына, какова его последняя просьба, он внезапно захотел почитать Гейне. Мать растерялась: где достать нужную книжку, город-то ей чужой. Но прокурор помог, сам съездил в магазин Мелье и достал для Александра книгу.

Подал прошение о помиловании и Шевырев. Видимо, дрогнул?.. Странны они для меня, люди шевыревского типа. Преданные своему делу, все-таки ухитряются завязывать двусмысленные отношения с полицией, и только казнь (или смерть в тюрьме) снимает вязкие подозрения. Директор департамента полиции Дурново, докладывая по службе министру внутренних дел Д. Толстому о подаче Шевыревым прошения на Высочайшее имя, одновременно сообщил: «Завтра утром повезут Шевырева на Петроградскую сторону для указания квартиры, про которую он говорил». Вряд ли Шевырев выдавал что-то серьезное, иначе его не казнили бы через две недели. Верно, вел какую-то игру, метался в агонии, пытался перехитрить, вывернуться… И все-таки жалко, что так вышло и что запись эта сохранилась для историка.

Метальщики бомб прошений не подали. Кто-то вспоминает, что у Андреюшкина в одну ночь поседела голова. Можно поверить: из-за его несдержанности, пылкой казацкой лихости пошли на виселицу друзья, попала в тюрьму любимая. Что пережила седая двадцатилетняя головушка?!

Ночью смертников перевезли из Дома предварительного заключения в Шлиссельбург - в кандалах. Они думали, что это означает положительный ответ на прошения о помиловании. Но на рассвете 8 мая их разбудили и повесили во внутреннем дворе крепости-тюрьмы.

От центральных властей присутствовал доброволец-прокурор (немного находилось в прокуратуре охотников до таких зрелищ, но один, по крайней мере, нашелся) - Иван Щегловитов. Там, у подножия виселицы, началась его карьера - станет в будущем министром юстиции, председателем Государственного Совета. В закрытом докладе на имя министра юстиции Щегловитов писал: «Осужденные бодро и спокойно взошли на эшафот».

Мужество приговоренных к смерти, видимо, поразило даже начальника местной жандармерии полковника Покрошинского: он доложил по инстанции, что заключенные умерли с последним возгласом: «Да здравствует "Народная воля"»! Этот рапорт чем-то болезненно задел начальство: видимо, побежденные должны были умереть как-то не так... Суммы, израсходованные полковником на телеграфное изложение предсмертных минут, начальство вычло из его жалованья. И - выговор, конечно.

Казнь не принесла счастья карателям. О судьбе семейства Александра III известно. Начальнику департамента Государственной полиции П. Дурново посчастливилось - успел умереть до революции. Дочь его в 20-х годах служила где-то кухаркой.

Иван Щегловитов был расстрелян в сентябре 1918 года - в дни «красного террора».

Николая Неклюдова хватил «нервный удар» на другой день после исполнения смертного приговора (возможно, все-таки он «исполнения» не ждал?). И хотя потом пожаловали в штатные обер-прокуроры, в товарищи (заместители) министра внутренних дел (видимо, «экзамен кровью» он выдержал успешно), но собственная слабость раздавила человека. Через несколько лет скончался от «разрыва сердца».

Кажется, самой страшной, горькой в трудном сюжете оказалась судьба несчастного Канчера. Получив за «откровенку» на следствии вместо петли десять лет каторги (это называлось у них «помилованием»), дрогнувший человек не вынес ни угрызений совести, ни презрения окружающих каторжан. Раздобыл пистолет и - застрелился. И застрелился-то неумело, как неумело жил, как неумело прошел следствие... Рассказывают, что в агонии промучился несколько часов.

Другой «слабак», Горкун, умер в Сибири, не дожив и до тридцати лет.

Что я знаю о других героях этой истории? Судьбы Шмидовой и Сердюковой мне неизвестны. Говорухин в эмиграции примкнул в плехановской группе «Освобождение труда». В 20-х годах вернулся из Швейцарии в СССР. Иосиф Лукашевич пережил заключение и дотянул до 1917 г.

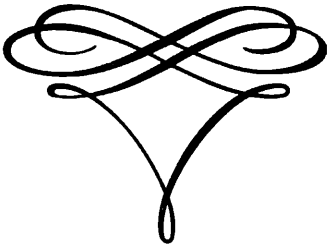
ФИНАЛЬНАЯ ЗАМЕТКА

Перечитывая очерк сегодня, в 2004 году, я бы добавил к старому тексту факт, который узнал позже. В казахском журнале «Простор» были опубликованы (к сожалению, не помню дату) записки сосланной в тамошние места Раисы (Ривки) Шмидовой о следствии и суде 1887 г. В редакционном комментарии рассказывалась ее дальнейшая судьба. Отбыв срок, Шмидова вернулась на родину, в Харьков, и в 1942 году оказалась в гетто, устроенном нацистами. Там она покончила с собой, выбросившись из окна...

Удивительно складываются российские исторические сюжеты!

И последнее примечание: ссылки на архивные фонды в очерке сделаны были мной в 1972 г. Видимо, сейчас они все неверны - например, Центрального архива Октябрьской революции уже просто не существует. Но исправить что-то - вне моих сегодняшних возможностей... Прошу у читателей прощения за такой огрех.





Виктор Суворов

БЕРУ СВОИ СЛОВА ОБРАТНО

Вторая часть трилогии «Тень победы»
(журнальный вариант)

ГЛАВА 8

ПРО ИСТИННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦА

Могу писать только правду.
Четырежды Герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков
(Огонек.1988. №16.С.11)

1

При жизни Жукова вышло только одно издание его мемуаров - однотомник. «Это была убедительная, честная книга, это была большая правда о войне. Таковой она останется навсегда» (Красная звезда. 12.1.1999).

Тут я позволю себе с любимой газетой не согласиться. «Таковой» жуковская правда навсегда не останется. Она уже таковой не осталась. И не могла остаться, ибо правда в нашей великой стране самая лучшая в мире. Самая устойчивая. Не оттого наша правда такая живучая, что твердокаменная, а как раз наоборот. Наша правда выживает в любых условиях, ибо к ним приспосабливается. Ученые товарищи в этом случае применили бы термин: мутация. Наша правда жизнеспособна и неистребима, ибо меняется вместе с изменением условий обитания. Как бледная спирохета. Выдумали буржуазные врачи-вредители нечто такое против спирохеты и возрадовались: сифилис побежден. Рано радовались, господа хорошие! Не выгорело вам! Возбудители сифилиса тут же перестроились. По-научному - адаптировались, по-нашему - перековались...

Вот на тот же манер, наподобие жизнестойких спирохет, меняется наша большая правда о войне, в частности, - та правда, которую миру поведал величайший стратег всех времен и народов.

Заявляя, что жуковская правда неизменна, товарищи из «Красной звезды» лукавят. Уж им-то надо знать, что второе издание «Воспоминаний и размышлений» практически ничего общего не имело с первым. Скажу больше: второе издание опровергает первое. А третье - опровергает второе.

Сейчас жуковская большая правда о войне совсем не та, что была раньше. А завтра она будет совсем другой. Она менялась и продолжает стремительно меняться прямо на глазах. Особая роль в этом процессе принадлежит младшей дочери великого стратега Марии Георгиевне. Она сделала все возможное, вернее - невозможное, чтобы книга великого полководца стала еще более правдивой. В архивах отца Мария Георгиевна нашла много интересного. Второе издание, которое вышло после смерти Жукова, стало двухтомным. И было объявлено: вот она, наконец, - историческая правда! Вот теперь-то в книгу вошло все то, что проклятая цензура не пропустила в первое издание!

Шли годы, времена менялись. Возникали новые проблемы, новые требования. На каждом историческом этапе те же события получали новую оценку, новую трактовку, новое объяснение. И Мария Георгиевна тут же находила новый вырезанный цензурой кусок или множество кусков - их вписывали в книгу. Одновременно юркие соавторы вырезали все то, что моменту больше не соответствовало, печатали новое издание, книга снова становилась созвучной времени. И снова объявляли на весь свет: вот теперь-то, наконец, звучит полная правда!

Оказалось, что Георгий Константинович Жуков предусмотрел все вопросы, которые будут задавать потомки через десятилетия после его смерти, и на все вопросы дал ответы. Причем для каждого исторического этапа он дал разные ответы. Если сегодня требуется подтвердить новую точку зрения, то тут же Мария Георгиевна находит вырезанный цензурой фрагмент. А если назавтра требуется точку зрения изменить на противоположную, то фрагмент снова уходит в разряд несуществующих. После смерти Жукова его мемуары прошли путь от однотомника к двухтомнику, дальше растолстели до трехтомника, но потом вновь сократились-скукожились до двухтомника. Из книги само собой выпало все неактуальное.

Десятое издание было особым. Оказалось, что все, о чем Жуков писал до этого, - полная чепуха. И только в десятом издании, через четверть века после смерти великого стратега, наконец, перед читателем открылась та большая правда о войне, которую маршалу не позволили сказать при жизни.

Первые девять изданий «Воспоминаний и размышлений» - это большая правда. Но вспоминать эту большую правду больше не рекомендуют. Советы исходят от весьма авторитетных лиц. Например, от бывшего министра обороны СССР, последнего Маршала Советского Союза Д. Т. Язова. Дмитрий Тимофеевич вписал свое имя в историю тем, что,

уподобившись Гитлеру, через 50 лет после него, бросил танковые армады на захват Москвы. На этом, как и Гитлер, Маршал Советского Союза Язов сломал шею. Но, в отличие от Гитлера, сей стратег не покончил с собой. Теперь полководец Язов советует молодым бездомным офицерам заводить домашние библиотеки и, прежде всего, наполнять их сочинениями Жукова. Но не всякими. «Я посоветовал бы им перво-наперво обзавестись мемуарами этого великого полководца. Причем приобретать надо не любые попавшиеся под руку в книжных магазинах издания, а именно последние издания "Воспоминаний и размышлений", начиная с десятого» (Красная звезда. 2.12.2003).

Миллионы книг первых девяти изданий книги Жукова - это отходы исторического развития. Место им - на свалке истории. Они хороши были для своего времени. А сейчас им не место на книжных полках. Сейчас другие потребности, сейчас нужна другая большая правда о войне.

2

Сам Георгий Константинович хорошо понимал, что большая, но вчерашняя правда никому не нужна. Жуков знал, что историю будут постоянно переписывать. Считал, что так и надо. Сам он был ярым сталинистом. Пока Сталин был здоров. В официальном документе называл себя «слугой великого Сталина». При Хрущеве в моде стало слыть антисталинцем. Таковым Жуков и стал. Без него никакого XX съезда партии и публичных разоблачений Сталина быть просто не могло. При Брежневе культ Сталина возродили, насколько это было возможно. И снова Жуков стал верным сталинцем. Читайте «Воспоминания и размышления», изданные при Брежневе. А во времена «перестройки» Сталина вновь начали разоблачать. И отношение (уже мертвого) Жукова к Сталину в четвертый раз изменилось на противоположное. Читайте «Воспоминания и размышления», выпущенные во времена Горбачева. Каждый раз у Жукова разворот на 180 градусов. В прямо противоположную сторону. У меня флюгер на крыше с такой точностью не крутится. Его туда-сюда болтает. Но так, чтобы на 180 градусов, - не замечал.

Сам Жуков говорил: «При Сталине была одна история, при Хрущеве - другая, сейчас - третья. Кроме того, историографическая наука не может стоять на месте, она все время развивается, появляются новые факты, происходит их осмысление и переоценка, - надо уловить дух времени, чтобы не отстать. С другой стороны, о многом еще говорить преждевременно» (Огонек. 1988. №16. С. 11).

Фраза о том, что дух времени надо уловить и этому духу соответствовать, просто восхитительна. В соответствии с этим требованием мемуары мертвого Жукова волшебным образом обновляются. В любой данный момент они духу времени соответствуют. Пример. При жизни Жукова в первом издании мемуаров было сказано: «Несмотря на огромные трудности и потери за четыре года войны, советская промышленность про-

извела колоссальное количество вооружения - почти 490 тысяч орудий и минометов, более 102 тысяч танков и самоходных орудий, более 137 тысяч боевых самолетов» (Воспоминания и размышления.. М.: АПН, 1969. С. 237). При этом живой Жуков ни на какие источники не ссылался. А вот тринадцатое издание - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. С. 252. Та же фраза, но цифры другие: 825 тысяч орудий и минометов, 103 тысячи танков и самоходных орудий, более 134 тысяч самолетов. И ссылка: Советская военная энциклопедия. М.: Воениздат, 1976. Т. 2. С. 66.

Между первым и тринадцатым изданиями - расхождение в тысячу танков и самоходных орудий. С самолетами расхождение еще большее: в первом издании - 137 тысяч одних только боевых самолетов, в тринадцатом - 134 боевых, транспортных, учебных и прочих. И совсем сшибают с ног данные о производстве артиллерии: в первом издании - «почти 490 тысяч орудий и минометов», в тринадцатом - 825 тысяч. Разница в 335 000 стволов! Треть миллиона. Это 55 833 огневых батарей, если они шестиорудийные. Это 83 750 огневых батарей, если они четырехорудийные. Если на обслуживание каждого из этих, пропущенных Жуковым в первом издании, орудий и минометов определить в среднем по пять человек, то требовалось полтора миллиона артиллеристов. Если учитывать всех, кто такой уймой артиллерии управляет и ее работу обеспечивает, - командиров взводов, батарей, дивизионов, полков, бригад и дивизий, личный состав артиллерийских штабов, батарей управления, подразделений связи и пр., то цифра уходит далеко за два миллиона. Неужели Жуков об этом не знал? Неужели всем этим он управлял, не имея представления о том, что находится под его контролем?

Самое интересное - ссылка на источник. Редакторы тома могли бы честно написать, что Жуков в военных вопросах не разбирался, войной не интересовался, о войне ничего не знал, порол чепуху от фонаря, а вот сейчас открылись другие цифры. И редакторам следовало бы сослаться на новейшие исследования. Но нет! Повествование ведется от лица Жукова. И этот Жуков в одном издании говорит одно, в другом - другое, в третьем - третье, в тринадцатом - тринадцатое и цитирует книги, которые не читал. Которые не мог читать. Например, второй том «Советской военной энциклопедии», на который в данном случае ссылается Жуков, подписан в печать 20 июля 1976 года. Через два года, один месяц и два дня после смерти Жукова. Ни одного тома «Советской военной энциклопедии» при жизни Жукова не было. В момент смерти Жукова первый том не был не то что подписан в печать, но даже еще и не сдан в набор. А последний том подписан в печать через шесть лет после кончины величайшего.

Вот как мертвый полководец улавливает дух времени.

В стремлении соответствовать Жуков перебрал. Судите сами: Георгий Константинович отсылает нас к четвертому тому «Истории Второй мировой войны 1939-1945». Любопытные, проверьте выходные данные четвертого тома, сравните с датой смерти «маршала победы». Гарантирую: обхохочетесь.

3

Ставит в тупик заявление Жукова о том, что «о многом говорить еще преждевременно». Это о чем - преждевременно? Война завершилась, враг повержен, о чем же нельзя говорить? И почему? Жуков умер через 33 года после германского вторжения, так ничего и не рассказав. Все, что написано в его мемуарах, было известно до него, было опубликовано другими авторами. И если в последних изданиях книги Жукова появляются новые моменты, то новыми они являются только для его книги. Все «новые моменты» аккуратно переписаны из чужих книг. Из той же «Советской военной энциклопедии». Сам Жуков никаких секретов не открыл.

И как прикажете совместить заявления великого полководца о том, что он способен говорить только правду, с его же откровением в том же абзаце о том, что время говорить правду еще не пришло? И зачем пенять на цензуру, если сам не готов говорить без утайки? Неполная правда есть неправда, т. е. ложь. Тысячи честных людей в те славные времена писали «в стол». Почему Жуков так не поступил? Некоторые публиковали правду в самиздате и тамиздате. Если это единственно возможные пути правды, почему Жуков ими не воспользовался? Почему, наконец, Жуков не бежал за границу, в свободную страну, где мог бы рассказать правду о войне? Струсил?

Возражают: Жуков не один. Трусливыми были все советские маршалы и генералы - все эти Покрышкины, Кожедубы, Куликовы, Лосики, Язовы и Огарковы. С этим согласен. Но был еще один выход: можно было просто молчать.

Своей, мягко говоря, излишней разговорчивостью Жуков нанес невосполнимый урон всем народам бывшего Советского Союза. Но, сам того не ведая, Жуков своей необузданной говорливостью вредил и коммунистической власти. Заявив, что было на войне нечто такое, о чем не следует вспоминать, Жуков нанес смертельный удар коммунистическому термину «Великая отечественная война». Действительно, что это за «священная война», в детали которой вникать не рекомендуется?

Если, по убеждению Жукова, через треть века не настало то счастливое время, когда можно говорить правду о войне, то когда оно настанет? Когда все свидетели уйдут в мир иной? После смерти Жукова прошло еще три десятка лет, но официальные историки так ничего нового и не открыли. Они ссылаются на Жукова, хотя знают, что есть темы, и, как утверждал сам Жуков, их несколько, которые вообще нельзя трогать.

У меня вопрос ко всем защитникам Жукова: объясните, что он имел в виду? Назовите те запретные темы, которые, по мнению Жукова, нельзя обсуждать. Так и быть, если их обсуждать нельзя, их обсуждать не будем. Но вы их назовите. А то ведь откуда нам знать, о чем можно говорить, а что обсуждению не подлежит?

О чем же рано говорить через десятилетия после войны? О штрафных батальонах? Жуков на войне штрафников видом не видывал и слы-

хом о таковых не слыхивал. В мемуарах он этих рабов войны не вспоминал и о них не размышлял. Но народ об этом знал и без Жукова. В те годы, когда Жуков якобы работал над своими мемуарами, Владимир Высоцкий на всю страну хрипел про штрафные батальоны, не дожидаясь, когда разрешат говорить правду.

О чем еще не пришло время говорить? О потерях? Жуков нигде ни единым словом не вспоминает потери Красной Армии. Но и без Жукова народ знал, что потери были просто невероятными.

Может быть, не пришло время говорить о том, что народы Советского Союза гитлеровцев хлебом-солью встречали? Жуков об этом не вспомнил. Но мы-то знали об этом из рассказов свидетелей, из великой книги Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Кузнецов не ждал тех прекрасных времен, когда можно будет касаться любых тем и вопросов. Он просто писал правду.

Трудно понять позицию издателей мемуаров Жукова. Элементарная честность требует изготовить штамп «О многом говорить еще преждевременно. Жуков» и печатать жирными красными буквами поперек каждой страницы его мемуаров.

Заявление Жукова является главным свидетельством против его книги «Воспоминания и размышления». После такого заявления честный человек просто не стал бы писать ни единого слова. Или написал бы все, что думает, все, что считает правдой, запечатал бы в трехлитровые стеклянные банки и зарыл бы в саду. А еще надо было написать письмо потомкам: правду о войне в XX веке говорить не позволяют, но я ее для вас сохранил, вот она, читайте! Однако Жуков, объявив, что правду говорить не настало время, поставил свою подпись под сочинением в 700 печатных страниц. Сообразим: если в этом сочинении полная правда о войне не содержится, тогда - что содержится?

Заявление Жукова, о том, что не пришло время говорить правду, - главное свидетельство в пользу «Ледокола». Критиков прошу меня не беспокоить и мне не досаждать до того момента, пока не будет опубликован список запретных тем, которые, по мнению Жукова, не пришло время обсуждать.

4

Дочь Жукова Мария Георгиевна любит рассказывать жуткие истории о том, как великому стратегу якобы не позволяли говорить правду: «От Суслова, других работников ЦК поступали в издательство АПН приказы "резать" по живому и выбрасывать из мемуаров самое-самое...» (Красная звезда. 29.6.2002)

На вопрос «Красной звезды», почему после окончания МГИМО она не пошла в дипломатию, Мария Георгиевна ответила: «Я осознала, что главная задача моей жизни - работа над папиными архивами и книгой, которую он поручил мне написать. Незадолго до смерти, видимо, пони-

мая, что конъюнктурные писаки переврут всю его жизнь, папа завел со мной разговор о том, чтобы я, когда вырасту, изучила все его архивы, дневники, письма и написала правдивую книгу» (Там же).

«Правдивую» книгу Мария Георгиевна написала. Вступительная статья: «Душа его христианская». Оказывается, что участник трех государственных переворотов, душегуб, без суда и следствия отправивший под расстрел умопомрачительное число людей, военный преступник, подписавший приказ расстреливать семьи попавших в плен красноармейцев и командиров, вор, мародер и многоженец, член Президиума ЦК КПСС ко всему этому был еще и глубоко верующим человеком.

Во времена «перестройки» еще не вошло в моду в церковь ходить, потому при Горбачеве Жукова описывали верным ленинцем. А с 1991 года в моде стало креститься перед храмом. И тут же Жуков предстал перед изумленной публикой с сияющим нимбом над просветленным челом. О христианских добродетелях великого стратега поговорим особо, сейчас замечу только: даже «Красная звезда» (2.12.2003) возмутилась: «Мария Георгиевна излишне наделяет своего отца Георгия Константиновича набожностью».

Уверен, когда пойдет на Руси мода на мусульманство, Мария Георгиевна отыщет доказательства: ее великий родитель всю войну Коран за пазухой носил. А его адъютанты возили за ним по всем фронтам молитвенный коврик. И в Мекку все рвался босиком сходить, да не сумел... Проклятые конъюнктурщики из ЦК помешали.

5

Главный подвиг Марии Георгиевны - не книга об отце, а работа с его архивами. Это был долгий, кропотливый труд. Как награда за упорство - удача. «В конце 80-х годов, когда Георгия Константиновича уже не было в живых, его младшая дочь Мария, к счастью, разыскала самый первый вариант рукописи мемуаров своего отца. Оказалось, что в общей сложности в печать не пропустили 300 страниц машинописного текста» (Красная звезда. 1.12.1999).

Прошу обратить внимание на цифру «300». Идем дальше.

«Главной заслугой Марии Георгиевны является то, что она сумела разыскать первоначальную рукопись мемуаров Жукова. Мемуары увеличились более чем на 4 печатных листа, т. е. свыше 100 машинописных страниц... Подлинные взгляды великого русского полководца сохранены для потомков» (Красная звезда. 29.6.2002).

Так все складно получается! В конце 80-х годов над Советским Союзом громыхали так называемые «гласность» и «перестройка». Вот именно в этот момент Мария Георгиевна и нашла «первоначальную рукопись». А раньше рукопись никак не находилась. Сначала она нашла 300 страниц машинописного текста, и был сделан трехтомник. Потом кое-что оказалось неактуальным. Трехтомник вновь порезали, превра-

тив в двухтомник. Сначала было объявлено, что найдено 300 страниц, а потом оказалось, что найдено всего только 100 страниц.

200 найденных страниц потерялись, их снова невозможно найти. Публику попросили не беспокоиться, о найденных страницах забыть. Оказалось, что нашли то, что находить не следовало. Даже не так: тогда их следовало найти, а сейчас их следует потерять.

Но даже не эти находки и пропажи удивляют. Волнует другой вопрос: как случилось, что «первоначальную рукопись» надо было разыскивать? Если Жуков видел, что идеологи кромсают его творение, если был заинтересован в сохранении исторической правды, то просто должен был сказать дочери: вот она, первоначальная, под кроватью лежит, настанут лучшие времена - публикуй. Но Жуков почему-то «первоначальную рукопись» запрятал так, что «подлинные взгляды великого русского полководца» могли до потомков и не дойти. Не будь у него такой сообразительной дочери, мы бы так и довольствовались текстами, которые испохабили проклятые конъюнктурщики из ЦК.

6

Спешу донести, что к волшебным трансформациям мемуаров величайшего полководца всех времен и народов я тоже имею некоторое отношение. Я тоже, так сказать, руку приложил.

В коммунистической историографии было принято войну против Гитлера называть «Великой» и «Отечественной». Эти названия коммунисты пишут с большой буквы. А название «Вторая мировая война» они писали с малой буквы. Этим они подчеркивали важность войны на советско-германском фронте и полную неважность той же войны на других фронтах. Неоднократно, например, во второй главе «Самоубийства», я уличал грамотеев: имя собственное - как ни крути - надо писать с большой буквы. И еще: война Советского Союза против Германии - это *часть* Второй мировой войны. Не может часть быть больше целого. Если часть заслуживает заглавной буквы, то извольте и целое заглавной буквой величать.

Спорить никто не стал, но понемногу термин «Вторая мировая война» в официальной коммунистической прессе стали писать как положено - с заглавной буквы. Через 25 лет после своей смерти Георгий Константинович Жуков тоже перестроился на общий лад, уловил дух времени и теперь тоже соблюдает правила русской грамматики. Сомневающихся прошу проверить первые и последние издания «Воспоминаний и размышлений».

Это не все. Каждый, кому хватило сил дочитать труд Жукова до середины, согласится: книга подогнана под жесткий казенный стандарт. Если оторвать обложку, то никто и не сообразит, чья книга: Жукова, Гречко, Конева, Федюнинского или какого-нибудь Безыменского. Они все одинаковые. Все на одном конвейере собраны. Поэтому еще в «Ле-

доколе» я писал: «открываем "Воспоминания и размышления", однако не находим ни воспоминаний, ни размышлений».

Но случилось чудо. Через 25 лет после смерти стратега в его мемуарах сквозь серые глыбы казенных откровений вдруг стали проблескивать фразы типа: «я размышлял над этим вопросом...», «я долго думал и пришел вот к чему...», «вспоминаю, как...».

В девяти первых изданиях этого не было.

Впрочем, не буду настаивать, что такие фразы появились как реакция на мое замечание. Возможно, они были в первоначальной рукописи, но свирепая цензура просто не позволяла такое печатать. А сейчас в связи с потеплением обстановки, ослаблением международной напряженности наша российская цензура слегка расслабилась и разрешила такие слова публиковать.

7

Старания Марии Георгиевны по восстановлению «первоначальной рукописи» - настоящий научный подвиг. Четверть века непрерывной правки! То одно найдет, то прямо противоположное. А то вдруг потеряет. Но все находки и потери - именно то, что требуется в данный момент. Однако нам не следует забывать слова самого Жукова - на рукописи первого варианта его книги: «Этот экземпляр моей рукописи является окончательным. Со всеми дополнениями и изменениями - в печать! 30/VI-68. Санаторий "Барвиха". Г. К. Жуков». Этот текст неоднократно выставлялся в Лондоне, в Париже, во Франкфурте после первой публикации мемуаров Жукова на немецком, английском, французском и других языках. За десять лет до появления «самого правдивого» - десятого - издания этот текст был опубликован в «Красной звезде» (12.1.1989). Эта надпись Жукова, на мой взгляд, совершенно четко указывает на то, что при его жизни никакой «первоначальной рукописи» не существовало, что сам Жуков был полностью согласен с текстом первого издания.

После выхода двенадцатого издания мемуаров Жукова я позвонил в издательство. Спрашиваю, понимают ли издатели, что дочь величайшего стратега Мария Георгиевна халтуру гонит? Сначала она триста страниц нашла, потом двести снова потерялись. На ста оставшихся страницах величайший полководец всех времен и народов 14 раз цитирует книги, которые вышли после его смерти. «Вы понимаете, - спрашиваю, - что это означает?»

На это - бодрый ответ: так он же святой!

Несмотря на мое предупреждение, издательство ОЛМА-ПРЕСС выдало следующее - тринадцатое - издание. Явно будут и другие издания.

И тогда я позвонил в «Красную звезду»:

- Вы там случаем Жукова не читали?

- Читали, - отвечают.

- Последние самые правдивые издания, начиная с десятого?

- Как же, как же.
- И ничего не заметили?
- А что?

Рассказываю, в чем дело. На том конце провода не поверили, но обещали проверить.

Мое сообщение явно проверили, и через пару недель после телефонного разговора 26 октября 2002 года в «Красной звезде» мелкими буквами был опубликован следующий текст: «Посмертные издания воспоминаний Г. К. Жукова во времена перестройки якобы восстанавливают изначальный текст рукописи. Однако достоверность внесенных добавлений и исправлений, к сожалению, не может быть подтверждена самим полководцем».

А ведь это катаклизм!

Столько десятилетий непрерывных восхвалений, и вдруг - первое сомнение.

И этого пока достаточно. Малая трещинка в ледяном монолите. Пусть пока первая. Будут и другие. Будет время ледохода.

А Марии Георгиевне, дочери величайшего стратега, пожелаем новых успехов в поисках еще не найденных вариантов «первоначальной рукописи». «Истинные взгляды» великого полководца должны быть сохранены для потомков. Как учил величайший стратег, надо уловить дух времени, чтобы не отстать. Ловите, Мария Георгиевна, дух времени.

Только, публикуя вновь открытые перлы, старайтесь держаться в рамках приличия и правдоподобия.

ГЛАВА 9

ПРО БЕЗМОЗГЛУЮ АРМИЮ

> Как патриот, как аналитик, могу прямо сказать: таких людей воспитала советская идеология, идеи социализма.
>
> *Генерал армии В. Лобов, бывший начальник Генерального штаба ВС РФ (Красная звезда. 16.10.2002)*

1

Кинокомедия «Семнадцать мгновений весны» уже в августе 1973 года, с момента первого появления на экранах, была признана шедевром. В этом мнении сошлись и критики, и зрители. Комедия рассказывала о по-

хождениях советского разведчика Штирлица в логове германского нацизма весной 1945 года. Разведчик-дебил постоянно попадал в глупейшие ситуации, перед ним возникали идиотские проблемы, но он неизменно оставался победителем, ибо находил еще более глупые решения. Авторов фильма явно вдохновлял бессмертный образ бравого солдата Швейка.

Говорят, что первоначально роль Штирлица планировали доверить выдающемуся клоуну XX века Олегу Константиновичу Попову. На эту роль предлагали не менее знаменитого комика Юрия Владимировича Никулина. Однако создатели фильма пошли на смелый и неординарный шаг. Они выбрали на эту роль Вячеслава Тихонова, который никогда прежде не работал коверным на арене и в комедиях не снимался. Были сомнения: справится ли? Но смелость полностью себя оправдала. Тихонов - великий актер. Он справился. Тихонов намеренно избегал чисто комедийных приемов и трюков: не корчил рожи, случайно не садился на горячую сковородку, не метал помидоры и торты в морды супостатов. Наоборот, роль дебила Тихонов играл с полной серьезностью. Народ смеялся до слез. Немедленно клинический идиот Штирлиц стал героем десятков анекдотов. Серьезность Тихонова никого не обманула. Зрители разгадали хитрый ход создателей фильма. Под маской многомудрого красавца они распознали болвана. Таким Штирлиц и вошел в народный эпос. Но комический потенциал «Семнадцати мгновений» оказался настолько мощным, что всем анекдотам, вместе взятым, не удалось его перекрыть. Например, в фильме советский разведчик прикидывался нацистом, ходил в форме штандартенфюрера СС, но ездил по гитлеровской Германии в машине с советским номером: по черному полю - белые цифры и буквы; двузначная цифра, черточка, еще двузначная цифра, ниже - три буквы. Буквы, ясное дело, русские. И эти буквы: *ГРУ*.

Полный номер шпионской машины Штирлица: 21-47 ГРУ. (Если у вас нет привычки запоминать номера встречных машин, настоятельно рекомендую этот навык в себе развивать. Полезное занятие. Уверяю, на жизнь будете смотреть другими глазами.)

Уже при первом появлении «Мгновений» пошли слухи о том, что фильм снимался по заказу и под личным контролем председателя КГБ Юрия Андропова.

Напрашивался вопрос: зачем он всю эту комедию затеял? Чтобы лишний раз посмешить народ? Чтобы показать мудрость гитлеровского руководства? Чтобы представить разведку сборищем придурковатых шутов и клоунов?

2

Замысел Андропова становится понятным, если вспомнить, какая серия злых народных шуток предшествовала анекдотам о Штирлице.

К началу 70-х годов коммунистическая власть окончательно сгнила. Она отравляла зловонием и гноем не только свою страну, но и половину мира. Власть пыталась поднять боевой дух народа и свой пропитан-

ный кровью и блевотиной авторитет при помощи серии помпезных юбилеев. Но результат получался обратный. В 1970 году праздновали столетие со дня рождения Ленина. По приказу ЦК были отчеканены памятные медали, которыми наградили половину страны. О Ленине снимали бесконечные фильмы, сооружали десятки тысяч памятников. А в результате по стране покатился вал анекдотов про «Лукича». Образ Ленина стал предметом бесконечных унизительных насмешек. Народ откровенно глумился. Известно, что смех способен убивать. У коммунистов за душой не было ничего, кроме мифов. Анекдоты про Ленина убивали главный миф. Как с этим бороться? При Сталине было просто: за анекдоты сажали, а то - и стреляли. Но после Сталина коммунистическая власть отказалась от расстрелов за антикоммунистические шутки. Не потому отказалась, что добрая, а потому отказалась, что палка о двух концах: любому вождю соратники по борьбе могли приписать антикоммунистическую пропаганду со всеми вытекающими.

Тем временем анекдоты про Ленина (и Чапаева), т. е. про революцию, ее гениального вождя и его соратников, становились все более дерзкими и смешными. И на верхах, прежде всего - лубянских, поняли: остановить этот вал невозможно. Вот тогда-то и было решено народный юмор пустить в другое русло, коль не удается его удушить. Для этого и был создан анекдотический образ Штирлица.

Фокус удался: про Ильича-Лукича попритихло, зато зазвенело про штандартенфюрера, которого неудержимо рвало на Родину.

Было использовано множество других способов поднять авторитет Коммунистической партии и ее ленинского Центрального Комитета в глазах народа. На всех заборах огромными буквами писали: СЛАВА КПСС! Было решено переписать конституцию и вписать в нее особую статью о том, что партия - наш рулевой. Композиторы строчили песни о родной партии, поэты - стихи, высоколобые профессора переписывали учебники: все наши великие победы - результат плодотворной деятельности коллективного разума партии!

И тут кто-то вспомнил о Жукове.

Мысль простая и гениальная: пусть величайший полководец всех времен и народов выскажется! Пусть сообщит народу, кто привел страну к победе над Гитлером! Пусть расскажет о роли Центрального Комитета Коммунистической партии в руководстве войной и армией!

Несколько осложняло ситуацию одно обстоятельство: пока сообразили, пока хватились, Жуков уже умер.

3

Но нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики.

Не беда, что Жуков умер. Не беда, что его мемуары вышли при жизни и разошлись по стране. Не беда, что уже переведены на все мыслимые языки и изданы во многих странах. Мемуары решили подновить в

соответствии с требованиями момента. Было высказано предположение, что Жуков понимал роль Центрального Комитета. Раз так, то, ясное дело, свои взгляды на сей счет где-то изложил письменно. Не мог не изложить! Просто прохвосты-цензоры вырезали из рукописи его гениальные соображения. А что если хорошенько порыться в архивах Жукова? Что если восстановить первоначальный текст и отпечатать второе издание?

Так и поступили. Обратились к дочери величайшего полководца Марии Георгиевне: нет ли чего о роли Центрального Комитета?

Мария Георгиевна по амбарам помела, по сусекам поскребла и (о, чудо!) тут же нашла именно то, что требовалось. С этого, собственно, и начался бесконечный процесс волшебного самосовершенствования «Воспоминаний и размышлений». Мемуары Жукова были борзо переписаны на новый лад и было объявлено, что первое издание - неполное. А вот теперь-то справедливость восторжествовала, найдено все, что было вырезано цензурой и вставлено в текст. Так родилось второе издание.

Давайте же обратимся к «подлинным взглядам великого русского полководца», которые дочь стратега сумела разыскать и сохранить для потомков. Давайте же оценим степень подлости главного идеолога Советского Союза Михаила Андреевича Суслова и других конъюнктурных писак из ЦК, которые «резали по живому», «выбрасывали из мемуаров самое-самое...».

В первом издании книги Жукова были такие строки: «В конце 20-х годов вышел в свет серьезный труд Б. М. Шапошникова "Мозг армии", в котором был проанализирован большой исторический материал, всесторонне обрисована роль Генерального штаба, разработаны некоторые важные положения по военной стратегии» (Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969. С. 100).

Что можно возразить? Ничего не возразишь. В конце 60-х фраза звучала безукоризненно. В первом издании живой Жуков полностью соглашался с Шапошниковым и ему не возражал. А мертвый Жуков пошел другим путем. Он нашел нужным опровергнуть и Шапошникова, и самого себя. Во втором издании мемуаров Жукова фраза про книгу Шапошникова получила такое развитие: «Дело прошлое, но тогда, как и сейчас считаю, что название книги "Мозг армии" применительно к Красной Армии неверно. "Мозгом" Красной Армии с первых дней ее существования является ЦК ВКП(б)» (Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1975. Т. 1. С. 110).

Это заявление Жукова - оскорбление Генерального штаба и всей Красной Армии. Выходит, у нашей армии собственных мозгов нет. Безмозглая.

Это заявление повторено во всех остальных изданиях. Вот это и есть то «самое-самое», что в первом издании по приказу злого идеолога Суслова беспощадно «вырезали» конъюнктурщики из ЦК. Это и есть те самые «подлинные взгляды великого русского полководца», которые сохранила для грядущих поколений сообразительная дочь Мария Георгиевна.

Что же получается? Получается, что главный идеолог Центрального Комитета Коммунистической партии М. А. Суслов и его подручные конъюнктурные писаки из того же Центрального Комитета в 1969 году роли Центрального Комитета не понимали. Мало того, они ее отрицали, они свирепо «резали по живому». А вот Жуков все понимал! И писал в своих рукописях! Но по приказу зловредного Суслова эта проникновенная правда, эти простые, но мудрые слова, это «самое-самое» было из мемуаров Жукова безжалостно вырвано. А в 1975 году тот же самый Суслов перестроился-перековался, роль Центрального Комитета уяснил-осознал и разрешил храброй дочери Жукова правду-матку в книгу вписать, привести текст книги в соответствие с «первоначальной рукописью» и «подлинными взглядами».

4

Существует достаточно свидетельств, что с августа 1939 года генералы и офицеры Генерального штаба Красной Армии работали по 15-16 часов в сутки без выходных и праздников, часто оставаясь на ночь в своих кабинетах. У кого большой кабинет, тот мог иметь даже диван. Офицерам рангом пониже рекомендовалось три варианта отдыха:

а) сидя на стуле лицом в стол;

б) на столе;

в) под столом.

Ближе к войне работа для всего состава Генерального штаба стала практически непрерывной, круглосуточной. Об этом говорит и сам Жуков: «Руководящий состав Наркомата и Генштаба, особенно маршал С. К. Тимошенко, в то время работали по 18-19 часов сутки» (Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969. С. 241). «Иван Васильевич Смородинов был назначен на этот пост с должности заместителя начальника Генерального штаба. Работал он, как мне рассказывали, не менее двадцати часов в сутки» (Сандалов Л. М. На московском направлении. М.: Наука, 1970. С.42).

Другими словами, Генеральный штаб работал в режиме военного времени. Выше этого было невозможно. В ходе войны рабочий ритм оставался таким же. Интересно, что и после войны до самой смерти Сталина работа Генерального штаба была столь же напряженной. А пленумы Центрального Комитета Коммунистической партии собирались от случая к случаю. По уставу - раз в три месяца. Но буйно цвели, так сказать, неуставные отношения. Пленумы собирали и через четыре месяца, и через шесть. А то и раз в год. На время войны ЦК вообще самоустранился и затих. Как у нас говорят: не высовывался. Последний предвоенный пленум ЦК - 21 февраля 1941 года, первый послевоенный - 18 марта 1946 года. Между этими датами на протяжении всей войны пленумы Центрального Комитета Коммунистической партии не собирались НИ РАЗУ.

С 1947 по 1952 год более пяти лет снова не было ни одного пленума

Центрального Комитета. Кто же думал за нашу безмозглую армию все эти годы?

Содержание всех пленумов ЦК - выяснение отношений. Центральный вопрос - кадровый. Лучше всего содержание пленумов ЦК определить воровскими терминами: толковище, сходняк, разборка. Никаких военных вопросов на тех пленумах не обсуждали. Но не следует думать, что если не проводилось пленумов, то не было и кровавых разборок. Они были, только в другом оформлении.

За время войны ЦК не проявил себя ничем, не обсудил ни одного вопроса, не принял ни одного решения. Никто об этой лавочке и не вспоминал. На войне без Центрального Комитета обошлись. «И коммунизм, и советская власть, и даже намеки на мировую революцию исчезают из советских газет» (Б. И. Николаевский. Тайные страницы истории. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1995. С. 204). Мало того, прекратились любые упоминания о ЦК. Листайте «Красную звезду» за все военные годы - ни единого слова о Центральном Комитете! Да что там «Красная звезда»! Листайте главную газету Коммунистической партии. Под названием газеты «Правда» значилось: «орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)». Однако во время войны «орган Центрального Комитета» не вспоминал про Центральный Комитет. Уже 23 июня 1941 года коммунисты сменили свои лозунги. Они мгновенно перестроились. Они перековались. Из интернационалистов они превратились в патриотов. Они вдруг начали объяснять народу, что воюем не за мировое господство, не за коммунизм на всей земле, не за захват соседних стран, не за массовые расстрелы, не за голодные очереди, не за пытки, не за Лубянку с Таганкой и Бутыркой, не за колхозы и трудодни, не за прописку, не за исправительно-трудовые лагеря, не за Центральный Комитет, а за березки-осинки, за вечерний звон малиновый, за Волгу-матушку, за купола золотые, за иконы чудотворные, за белых яблонь дым, за конфетки-бараночки! За Россию, бля!

И войну назвали «Отечественной».

Нашлись такие, кто и поверил.

5

Коммунизм не может жить без культа. Развенчав культ Сталина, Коммунистическая партия осталась без знамени. Попытки возвести новые культы: Хрущева, Брежнева, Андропова, Горбачева - провалились. Не говоря уже про Черненко. Потому пришлось воспевать «коллективную мудрость партии» и строить обобщающий культ Центрального Комитета.

На этом ратном поле и отличился величайший стратег. Сравнив, мягко говоря, не слишком бурную деятельность Центрального Комитета на войне и работу Генерального штаба, Жуков решительно взял сторону ЦК. Тем самым «великий русский полководец» обессмертил свое имя.

Как ни крути - открытие. Диалектический метод марксизма-ленинизма в своем блистательном воплощении: если сотни и тысячи генералов и офицеров Генерального штаба вкалывали на износ до войны, во время войны и после, значит, Генеральный штаб не «мозг». «Мозгом армии», по Жукову, был Центральный Комитет, который за время войны вообще никак себя не проявил, который полностью самоустранился от своей «руководящей и направляющей роли», который от жизни страны отключился, который просто дизертировал с арены войны.

Даже генералы-коммунисты при еще живом ЦК находили смелость признать, что Центральный Комитет Коммунистической партии во время войны вообще никакой роли не играл: «В те суровые годы почти полностью бездействовали верховные органы Советского государства и партии. Практиковались чрезвычайные формы руководства, была практически полностью свернута внутрипартийная демократия. Все в великой стране, в героически сражавшейся армии решал ГКО, а значит - Сталин» (генерал-полковник Г. Кривошеев - Красная звезда. 5.9.1990).

А мертвый Жуков упорствует: Центральный Комитет не бездействовал, а действовал! ЦК - мозг армии!

Столь выдающегося открытия не смог сделать никто. Только гению это оказалось под силу. Не только генералам и маршалам такое в голову не ударило, но и сами идеологи Центрального Комитета до такого не дошли. Идеологи после Сталина говорили: Центральный Комитет - «руководящая и направляющая сила». Если шаманам из ЦК такие заявления в радость, пусть так и будет. Чем бы Суслов ни тешился…

Но ни один идеологический мракобес не заявил: Центральный Комитет думает за армию. Такое заявил Жуков. И только он. В самоунижении перед дутым величием Центрального Комитета величайший стратег обошел всех. До такого блеска коллективную задницу Центрального Комитета не вылизывал никто.

6

Теперь на несколько минут поверим, что неисчислимые вариации книги «Воспоминания и размышления» являются продуктом труда самого Жукова. Оценим взгляды великого полководца. Оказывается, он «тогда считал», т. е. до войны, и «сейчас считает», т. е. в момент, когда писал книгу, что Генеральный штаб, с момента создания Красной Армии, «мозгом» не является. Чем же он, простите, в этом случае является? И если Генштаб не «мозг армии», то кому он вообще нужен? В январе 1941 года Жуков принял пост начальника Генерального штаба Красной Армии. Вопрос: зачем? Если Жуков знал, что во все времена существования Красной Армии ее «мозгом» был Центральный Комитет, то надо было сказать Сталину: или оставь меня в войсках, или забери в ЦК, назначай хоть писарем, но туда, где действительно решаются важные вопросы, а в Генштаб не пойду, он вообще неизвестно для чего существует.

Где же хваленая жуковская принципиальность? Если Жуков понимал, что Генеральный штаб - пятое в телеге колесо, второстепенная, ненужная лавочка, то почему об этом не сказал Сталину? Почему не настоял на том, чтобы разогнать за ненадобностью Генштаб, это ненужное образование, этот нарост на теле армии?

Непонятно и другое: если Генеральный штаб не «мозг армии», то чем же в этом самом Генштабе занимался Г. К. Жуков с января по июль 1941 года? Пьянствовал и кобелировал? Или бумажки, которые приходили из ЦК, переписывал на бланки Генштаба?

Достаточно интересно, как руководство Генерального штаба Вооруженных Сил СССР в 1975 году, в момент появления второго издания «Воспоминаний и размышлений», реагировало на столь своеобразную оценку возглавляемой им структуры. В тот момент начальником Генштаба был генерал армии В. Г. Куликов. Его реакция: гений, гений!

Виктор Георгиевич Куликов, если вы считаете Жукова гением и согласны с его оценкой роли и места Генерального штаба, тогда как оценивать вашу кипучую деятельность? Не хочу вас обзывать плохими словами, вы их сами придумайте.

После Куликова Генштаб возглавлял еще один стратег - Маршал Советского Союза Огарков Николай Васильевич. Тот тоже Жукова гением считал и его писаний не оспаривал. Тем самым маршал Огарков сам себя признавал никчемным, ненужным, безмозглым.

Были в Генштабе и другие. Например, генерал армии Лобов. Но песня звучала все та же: мы - не «мозг армии»! Мы - непонятно что! Неизвестно, для чего существуем. Нам не надо думать, не надо рассуждать! Есть кому думать за нас! Так сказал Жуков! Ура! И гремит над Генеральным штабом победным гимном: «Па-а-ртия - наш рулевой! Па-а-а-а-ртия - на-а-ш ру-ле-вооооой!»

В гитлеровской армии насаждался тот же дух, те же идеи. У Высоцкого есть песня «Солдаты группы "Центр": "Не надо думать! С нами тот, кто все за нас решит!"».

Эта песнь про гитлеровскую армию.

Но разве в «несокрушимой и легендарной» иначе устроено? Разве в ней думать предписано?

7

ЦК - это люди. Не самые хорошие. Народ знал: нет повести печальнее на свете, чем повесть о Центральном Комитете. Кого из членов ЦК конкретно Жуков считал «мозгом армии»? Товарищ Мехлис - «мозг армии»? Или товарищ Шкирятов? Может быть, «чахоточный Вельзевул» Ежов Николай Иванович? В его «Личном деле», в графу «образование» вписана убийственная строка: «неоконченное низшее». Так это он - «мозг армии»? Может быть, фельдшер Склянский? Крупская Надежда Константиновна за армию думала? Или Карл Радек? Срамная девка Александра

Коллонтай? В официальных справочниках значится, что и она, и супруг ейный, член ЦК Дыбенко, «были известны крайней половой распущенностью» (К. А. Залесский. Империя Сталина. М.: Вече, 2000. С. 227). А об их способности думать за армию ничего не сообщается. Так кто же - «мозг»? Кровавый садист Бухарин или Всеволод Балицкий, который «широко применял бессудные аресты, расстрелы, казни заложников»? Лаврентий Павлович Берия - «мозг армии»? Щербаков? Уркаган Рашидов, который имел гаремы, личные тюрьмы и пыточные камеры? Вышинский или Фриновский? Гулящая Катя Фурцева? Хрущев, который порезал самолеты, пушки, танки и крейсера? Яков Свердлов, который набивал сейфы золотыми царскими червонцами и фальшивыми паспортами на случай, если придется мотать удочки с родины мирового пролетариата? Генрих Ягода, который имел самую мощную на Руси коллекцию порнухи? Товарищ Алиев, который в 1941 году уклонился от призыва? Член ЦК товарищ Мир Джафар-оглы Багиров был большим шутником: «Путь на нефтяные промыслы проходил по серпантину, и он со своими присными в подпитии залегал у дороги, стрелял и наслаждался тем, как машины летят в пропасть» (Литературная газета. №33. 2003). Вот этот стрелок Багиров и был «мозгом армии»? Или им был четырежды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда великий стратег Брежнев Леонид Ильич? Урка Щелоков или урка Медунов? Или все же «мозгом армии» был долгожитель Центрального Комитета Михаил Андреевич Суслов, который не позволял Жукову донести до широких народных масс святую правду о героической роли ЦК?

А может быть, «мозгом армии» был товарищ Андропов? Или «железный Шурик» Шелепин? Почему нет? За неимением собственных, почему бы армии не думать лубянскими мозгами?

Итак, кто же конкретно был в ЦК тем самым «мозгом», который думал вместо генералов и маршалов?

Хочешь не хочешь, но надо вспомнить и товарища Сталина. На момент смерти Жукова компартия находилась у власти 56 лет. 30 из них во главе ее Центрального Комитета стоял Сталин. ЦК куда-то спрятался на время войны, но Сталин оставался на боевом посту. И если ЦК - «мозг армии», то Генеральный секретарь ЦК - центральная и самая главная область этого мозга. Это следует из мемуаров Жукова.

Интересно, осознавал ли сам Сталин свое положение? Понимал ли, что, возглавляя Центральный Комитет, он возглавляет «мозг армии»?

Откроем самое последнее - тринадцатое - издание жуковских мемуаров и на странице 229 прочитаем «подлинный взгляд великого русского полководца, сохраненный для потомков».

Тут сказано вот что: «К сожалению, приходится отметить, что И. В. Сталин накануне и в начале войны недооценивал роль и значение Генштаба. Между тем Генеральный штаб, по образному выражению Б. М. Шапошникова, - это "мозг армии". Ни один орган в стране не является более компетентным в вопросах готовности вооруженных сил к

войне, чем Генеральный штаб. С кем же, как не с ним, должен был систематически советоваться будущий Верховный главнокомандующий? Однако И. В. Сталин очень мало интересовался деятельностью Генштаба. Ни мои предшественники, ни я не имели случая с исчерпывающей полнотой доложить И. В. Сталину о состоянии обороны страны, о наших военных возможностях и о возможностях нашего потенциального врага. И. В. Сталин лишь изредка и кратко выслушивал наркома или начальника Генерального штаба».

Вот она, суровая правда войны!

Верховный главнокомандующий Сталин перед войной и на ее начальном этапе ни черта не понимал. Он заседал в своем Центральном Комитете, не соображая, что нужно не в ЦК сидеть, а искать совета в Генеральном штабе! Ибо Генеральный штаб - это «мозг армии»! Ведь маршал Шапошников все так просто и так правильно объяснил! И если Сталин не понимал таких простых вещей, то ясное дело, руководить войной был не способен.

А Маршал Советского Союза Б. М. Шапошников тоже хорош! Думал, что «мозг армии» - Генеральный штаб. А это не так! Мозг - ЦК! Разве не ясно? Если Шапошников не понимал даже этого, то был явно не способен вести страну и армию на разгром врага.

И только выдающийся полководец Георгий Константинович Жуков все понимал. Причем каждый раз наоборот. То так понимает, а то совсем не так. Но каждый раз правильно! У Жукова по любому вопросу - разные мнения. Всегда полярные, но единственно верные.

Каждый для себя может выбрать у Жукова, что ему нравится.

Доказывая взаимоисключающие вещи, можно ссылаться на того же Жукова, на ту же книгу того же издания. Только странички разные.

Впрочем, часто даже и страницы листать не надо. Мнения у Жукова разные, а страничка - одна.

Воинствующий защитник Жукова полковник А. Кочуков бахвалится: «В моей домашней библиотеке хранятся все 12 изданий "Воспоминаний и размышлений" Маршала Советского Союза Г. К. Жукова» (Красная звезда. 16.4.1999).

Уверен, что в настоящее время к этим изданиям прибавилось еще и тринадцатое. Из сказанного следует, казалось бы, неопровержимый вывод: полковник Кочуков Жукова не читал. Если бы читал, то нечем было бы ему гордиться.

Но будем осторожны. Этот вывод скоропалительный и не единственно возможный. Не исключено, что полковник Кочуков все тома всех изданий прочитал. Просто не задумывался над прочитанным. Привык, что за него Центральный Комитет думает, никак отвыкнуть не может.

А вы, товарищ полковник, попробуйте эти тома полистать. И попро-

буйте обдумать прочитанное. Уверяю, будете от хохота по полу кататься. Сравните хотя бы шестое издание «Размышлений» с седьмым. Это жс комедия на уровне «Подвига разведчика» и «Семнадцати мгновений весны». Если не хлеще. Можете даже не сравнивать разные издания. В одном томе Жукова найдете вещи куда более смешные, чем буквы «ГРУ» на номерном знаке машины Штирлица.

Кстати, про ГРУ…

ГЛАВА 10

НЕ ПОДМАХНИ!

К началу 1941 года Генеральный штаб состоял из восьми управлений: оперативного, разведывательного, организационного, мобилизационного, военных сообщений, устройства тыла и снабжения, укомплектования войск, военно-топографического - и четырех отделов: общего, кадров, укрепленных районов и военно-исторического.

Советские Вооруженные Силы. История строительства (М.: Воениздат, 1978. С. 234)

1

Кстати, про ГРУ.

Накануне войны советская военная стратегическая разведка сумела добыть сведения величайшей важности и почти невероятной достоверности. Военные разведчики совершили подвиг - они достали германский план вторжения и установили ориентировочную, а затем и точную дату нападения Германии на Советский Союз. Мало того, в докладах советских военных разведчиков германский план нападения был изложен в развитии: это первый вариант, это - второй, а это - третий, окончательный. Однако из точной и правильной информации были сделаны неправильные выводы.

Написаны терриконы книг о том, что советская военная разведка предупреждала о неминуемом вторжении, но Сталин на предупреждения не реагировал. Вывод: глупый трусливый Сталин боялся смотреть правде в глаза.

Обвинения в глупости и трусости пали и на сталинское окружение. Народного комиссара обороны СССР Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко и начальника Разведывательного управления Генерального штаба генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова нам рисуют кретинами и лизоблюдами: в руках держали информацию потрясающей важности, но докладывали Сталину только то, что было ему угодно. В результате Со-

ветскому Союзу и его Вооруженным Силам был нанесен сокрушительный внезапный удар. Гитлер нанес Советскому Союзу смертельную рану, от которой страна так никогда и не смогла оправиться. Свое поражение во Второй мировой войне коммунисты объявили чуть ли не победой. Однако таких позорных «побед» в мировой истории просто не было. В результате «великой победы» страна превратилась в вонючий труп, хотя и с ядерной дубиной в гниющей руке. В результате «великой победы» Советский Союз скатился на уровень самых отсталых стран мира и в конечном итоге - рухнул и рассыпался. Но и на этом процесс распада не завершился. Процесс пошел. А конца не видно.

Но вот что интересно: начальника Разведывательного управления Генерального штаба генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова упрекают в ротозействе, глупости и преступной халатности, считают виновником величайшей ошибки, которая в конечном итоге привела к поражению СССР в войне. Виновником этой же ошибки считают Народного комиссара обороны Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. В числе виновников - нарком внутренних дел Лаврентий Берия и нарком госбезопасности Виктор Абакумов. Понятное дело, Сталин - главный виновник. А вот начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Жуков в числе виновников почему-то не значится. Жуков из цепочки виновников выпал. Сам Жуков своей вины не признал, себя к числу преступников и ротозеев не причислил. Мало того, из обвиняемого он сам себя перевел в обвинители. Вот как те события описаны в его мемуарах: «20 марта 1941 года начальник Разведывательного управления генерал Ф. И. Голиков представил руководству доклад, содержавший сведения исключительной важности. В этом документе излагались варианты возможных направлений ударов немецко-фашистских войск при нападении на Советский Союз. Как потом выяснилось, они последовательно отражали разработку гитлеровским командованием плана "Барбаросса", а в одном из вариантов, по существу, отражена была суть этого плана» (Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969. С. 239).

Тут же Жуков излагает суть германского плана так, как он был отражен в докладе Голикова: «Для наступления на СССР создаются три армейские группы: 1-я группа под командованием генерал-фельдмаршала Бока наносит удар в направлении Петрограда; 2-я группа под командованием генерал-фельдмаршала Рундштедта - в направлении Москвы и 3-я группа под командованием генерал-фельдмаршала Лееба - в направлении Киева. Начало наступления на СССР - ориентировочно 20 мая» (Там же. С. 240).

Жуков приводит сообщение военного атташе в Берлине от 14 марта, в котором указывался срок германского нападения: между 15 мая и 15 июня.

Жуков негодует: начальник Разведывательного управления генерал-лейтенант Голиков имел такие сведения, но не сумел их оценить по достоинству, из правильной информации Голиков делал совершенно необоснованные выводы!

Следующая жертва Жукова - адмирал Н. Г. Кузнецов, который тоже

имел сведения исключительной важности, но тоже не сумел вникнуть в их суть. 6 мая 1941 года Кузнецов направил И. В. Сталину записку, в которой, помимо прочего, говорилось о сообщении военно-морского атташе в Берлине капитана 1-го ранга Воронцова: немцы готовят вторжение к 14 мая. «Данные, изложенные в этом документе, тоже имели исключительную ценность. Однако выводы, предлагавшиеся руководству адмиралом Н. Г. Кузнецовым, не соответствовали приводимым им же фактам» (Там же. С. 240).

Начиная со второго издания жуковских мемуаров, в числе обвиняемых оказался еще и «посол СССР в Германии Деканозов», от которого якобы тоже поступала «такого же характера информация». Деканозов, по словам Жукова, тоже ничего не понимал и своими успокаивающими сообщениями дезинформировал Сталина.

В данном случае Жуков ошибся: Владимир Георгиевич Деканозов в 1941 году не имел ранга посла. И вообще в то время у нас послов не было, как не было и министров. Ранг Чрезвычайного и полномочного посла Деканозов получил 14 июня 1943 года. А в 1941 году он был заместителем наркома иностранных дел и полномочным представителем СССР в Германии. Но не в этом суть. Суть в том, что и Голиков, и Кузнецов, и Деканозов имели в руках бесценные сведения, но правильных выводов сделать не смогли.

Давайте же вместе с Жуковым посмеемся над, мягко говоря, не очень умными Голиковым, Кузнецовым, Деканозовым, а потом подумаем вот над чем: Голиков сделал неправильные выводы, и Кузнецов дров наломал, другие товарищи дали маху, но ведь это не так страшно! Тогда, весной 1941 года, ошибки Голикова, Кузнецова и других можно было легко исправить. Ведь не Голиков и не Кузнецов определяли политику страны и стратегию ее армии и не для себя они писали доклады и записки, а для вышестоящего руководства. Вот они-то, вышестоящие, и должны были оценить изложенные в докладе факты, сделать собственные выводы, наложить обоснованные резолюции, принять правильные решения. Если Голиков ошибся, задача вышестоящих руководителей - поправить. В этом суть и смысл их работы. За это им деньги платят. Именно для этого их посадили в высокие кабинеты. Если глупый Голиков сделал необоснованные выводы, то гениальный Жуков из той же информации должен был делать правильные выводы. Сделал ли он их?

Представьте себя начальником любого ранга. Подчиненный высыпает на вашу бедную голову кучу весьма неприятных фактов, а заключает доклад ничем не обоснованными оптимистическими выводами: все хорошо, прекрасная маркиза! Что прикажете делать? Выбор неширок. Одно из двух. Первое: думать своей головой и делать из неприятных фактов столь же неприятные выводы. Второе: своей головой не думать, а соглашаться с необоснованным оптимизмом докладчика, делать из пренеприятнейших фактов весьма приятные заключения.

Никто не спорит: начальник разведуправления Генерального штаба

генерал-лейтенант Голиков в своих выводах жестоко ошибся. Теперь ответим на вопрос: а разве Жуков оказался умнее? Разве, имея те же данные в руках, Жуков пришел к другим заключениям?

Жуков возмущен: выводы адмирала Кузнецова не соответствовали фактам, которые он сам же приводил. Правильно. Есть чем возмущаться. Только не после войны следовало всему миру об этом рассказывать. Жуков об этом должен был заявить Сталину и Кузнецову еще тогда, 6 мая 1941 года.

Жуков - мудрейший стратег. Но в его мудрости был малый изъян: величайшие озарения приходили в его светлую голову с некоторым опозданием - через 25 лет после позорного разгрома.

2

А как прикажете разуметь загадочную фразу в мемуарах Жукова: «Ф. И. Голиков представил руководству доклад»? Это кому? Руководство - понятие эластичное. Вопрос принципиальный: себя Жуков относит к руководству или нет? А то ведь получается, что Голиков написал доклад и 20 марта 1941 года представил его некому абстрактному руководству, с которым у гениального стратега Жукова не было ничего общего.

Если Жуков себя к руководству относит, то надо прямо и честно сказать: я, гениальный Жуков, оказался ничуть не умнее придурковатого Голикова, я держал ту же информацию в руках и сделал из нее те же дурацкие выводы.

Если же Жуков себя в понятие «руководство» не включает, то об этом тоже надо было внятно сказать.

Нам рисуют Жукова этаким борцом, он-де хотел правду о войне рассказать.

Вот и рассказал бы! Вопрос исключительной важности: в чьи руки попал доклад Разведывательного управления Генерального штаба от 20 марта 1941 года? Кто его читал? Кто на нем писал резолюции? Над Голиковым мы уже посмеялись, но кто согласился с дурацкими выводами Голикова? Над кем еще надо смеяться? Кого еще записать в разряд идиотов? А ведь тех, кто этот доклад читал, не могло быть больше, чем пальцев на одной руке! Вот их бы и назвать по именам! Отчего же Жуков говорит о неком таинственном руководстве, не называя никого конкретно? Оттого, что пришлось бы и себя, любимого, назвать в числе тех, кто не оценил по достоинству великий подвиг разведчиков, кто согласился с выводами Голикова и тем самым подставил страну и ее армию под сокрушительный удар.

Но, может быть, Жуков этот документ и не читал? Может быть, он под ним не подписывался? Эти вопросы давно интересовали историков, и вот через много лет после войны полковник Анфилов предъявил Жукову докладную записку начальника Разведывательного управления Генерального штаба генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова от 20 марта 1941 года и задал вопрос: как вы оценили этот документ?

Далее последовало вот что:

«Я впервые вижу его», - возмущенно сказал маршал, прочитав документ.

«Разве Голиков вам не докладывал?»

«Он не подчинялся мне, а потому и не делал этого» (Красная звезда. 26.3.1996).

Правда, интересно: в своих мемуарах Жуков пространно описал доклад начальника Разведывательного управления от 20 марта 1941 года и высмеял Голикова за неправильные выводы, а через газету «Красная звезда» на весь мир объявил, что впервые видит этот документ.

Что из этой нестыковки следует? А все то же: руководство ЦК компартии Советского Союза к написанию мемуаров Жукова отнеслось крайне халатно. Надо было ознакомить Жукова с содержанием его мемуаров. Надо было определить, вникает ли он в суть своих мемуаров, понимает ли смысл? Это не было сделано, и получилось нехорошо. Люди, которые писали мемуары Жукова, с докладом разведки от 20 марта 1941 года были знакомы и весьма пространно от имени Жукова его описали, а сам Жуков кипит возмущением: впервые эту бумагу вижу!

3

Второе издание мемуаров Жукова было более полным и более правдивым, т. е. более анекдотичным. Вначале, как и в первом издании, Жуков перечисляет множество сообщений разведки о подготовке германского вторжения, снова рассказывает о том, что разведка предсказала дату вторжения: вначале с точностью до месяца, затем - до недели, наконец, была названа точная дата.

Сообщив все это, Жуков вдруг начинает сам себя опровергать: «С первых послевоенных лет и по настоящее время кое-где в печати бытует версия о том, что накануне войны нам якобы был известен план "Барбаросса", направление главных ударов, ширина фронта развертывания немецких войск, их количество и оснащенность. При этом ссылаются на известных советских разведчиков - Рихарда Зорге, а также многих других лиц из Швейцарии, Англии и ряда других стран, которые якобы заранее сообщили эти сведения. Однако будто бы наше политическое и военное руководство не только не вникло в суть этих сообщений, но и отвергло их. Позволю со всей ответственностью заявить, что это чистый вымысел. Никакими подобными данными, насколько мне известно, ни Советское правительство, ни нарком обороны, ни Генеральный штаб не располагали» (Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1975. Т.1. С. 259).

Здрасьте пожалуйста!

Жуков подробно описал сообщения Разведывательного управления о появлении новых германских войск на советской границе. Жуков показал: это был не просто стремительный рост, а рост с ускорением. Разведка сообщала не голые данные о сосредоточении и развертывании германских дивизий, но и указывала цель такого сосредоточения - втор-

жение в Советский Союз. Мало того - с указанием приблизительных сроков вторжения. Рассказав все это, Жуков «со всей всей ответственностью» заявляет, что о сосредоточении германских войск ничего не знал.

Ладно, поверим.

Но как поверить другому: на странице 258 Жуков рассказывает, что «Ф. И. Голиков представил руководству доклад, содержавший сведения исключительной важности. В этом документе излагались варианты возможных направлений ударов немецко-фашистских войск при нападении на Советский Союз. Как потом выяснилось, они последовательно отражали разработку гитлеровским командованием плана "Барбаросса", а в одном из вариантов, по существу, отражена была суть этого плана». А на следующей 259-й странице «со всей ответственностью» заявляет, что направление главных ударов известно не было ни Генштабу, ни наркому обороны, ни Советскому правительству.

Главой правительства до 4 мая 1941 года был Молотов, после этой даты - Сталин. Если верить Жукову, то ни Сталину, ни Молотову, ни наркому Тимошенко, ни ему, Жукову, ничего о германских планах не было известно. Ни количество германских дивизий, ни направления ударов, ни примерные даты вторжения.

Простите, но тогда какому же руководству Голиков направил свой знаменитый доклад от 20 марта?

На одной странице Жуков сообщает, что были правильные сведения, но дурачки Голиков, Кузнецов, Деканозов их неправильно истолковали. А на следующей странице тот же Жуков «со всей ответственность» объявляет, что все это - чистый вымысел, не было никаких сведений.

Нестыковки наползают одна на другую. Вспомним жалобы Жукова о том, что «Сталин очень мало интересовался деятельностью Генштаба... И. В. Сталин лишь изредка и кратко выслушивал наркома или начальника Генерального штаба».

И тут же заявление того же Жукова, что Генштаб сведениями о количестве германских войск и их намерениях не располагал. Вдумаемся, как мог Жуков «с исчерпывающей полнотой» доложить Сталину о противнике, если сам «со всей ответственностью» признает: не было у него никаких сведений.

Зачем упрекать Сталина в нежелании слушать, если самому нечего докладывать?

Как быть? Как стыковать мысли гения? Сам я не в силах. Остается обратиться к любимому мной центральному органу Министерства обороны СССР: «Издание "Воспоминаний и размышлений" явилось крупным событием. До сих пор **так** (выделено «Красной звездой». - *В. С.*) о войне никто не писал» (Красная звезда. 12.1.1989).

Полностью согласен и присоединяюсь: до сих пор ТАК о войне никто не писал.

Надеюсь, и в будущем ТАК о войне никто писать не будет.

4

Жуков категорически отрицал свою вину за разгром 1941 года, и в этом отрицании вышел за грань приличия. Чего стоит одно только заявление Жукова о том, что Голиков ему не подчинялся. Выходит, что Разведывательное управление *Генерального штаба* не подчинялось начальнику *Генерального штаба*.

Каждый командир от батальона, полка и выше имеет свой штаб, куда стекается вся информация. Начальник штаба имеет две «руки»: оператора, который планирует боевые действия, и разведчика, который поставляет информацию для этого планирования. В каждом штабе есть другие отделения, отделы, направления, управления, однако операторы и разведчики - ядро любого штаба. Вокруг этого ядра строится вся остальная работа. Операторы и разведчики - это два колеса мотоцикла. Если убрать из штаба операторов, то мотоцикл останется об одном колесе, - далеко не уедешь. Если убрать разведчиков, - получим тот же результат. Без этих двух ключевых структур штаб не способен функционировать. По традиции операторов называли Первым отделением штаба (отделом, направлением, управлением, Главным управлением), разведчиков - Вторым отделением (отделом и т. д.).

И вот, в январе 1941 года величайший полководец всех времен и народов был назначен на должность начальника Генерального штаба Красной Армии, а Генеральный штаб, если верить Жукову, был совершенно недееспособным. В нем не было разведывательных структур. Представьте себе слепого бойца, который ведет огонь по движущимся целям. Цели появляются и исчезают внезапно. Высота, расстояние, направление и скорость движения целей постоянно меняются. Кто-то со стороны подсказывает стрелку: ну-ка, возьми чуток левей! А теперь - немного выше и правей! Разворачивайся вправо! Ну-ка, выше бери! Так! Теперь ниже!

Штаб - это мозг. Разведка - глаза и уши. Спросим: может ли мозг быстро и точно реагировать, если нет прямого, органического контакта с глазами и ушами, если мозг принадлежит одному организму, а глаза и уши - другому? Именно такую картину нарисовал нам Жуков: была у нас разведка, но ему, начальнику Генштаба, она не подчинялась.

Деловое предложение: давайте Жукову поверим. Давайте верить, что наша военная структура была создана кретинами и дураками. Давайте поверим, что Генеральный штаб Красной Армии сам ни о чем не думал, думать был не способен, кроме того, своей собственной разведки не имел. По описанию Жукова, Генштаб Красной Армии был не только безмозглым, но, кроме того, - еще слепым и глухим. Жуков объявил: разведка ему не подчинялась, потому за все, что с ней связано, он не ответчик. Пусть будет так. Однако вопросы остаются.

Представим себе генерала армии Жукова Георгия Константиновича, который 13 января 1941 года был назначен начальником Генерального

штаба. Вот он входит в свой высокий кабинет, принимает дела, знакомится с подчиненными и вдруг обнаруживает, что в структуре Генерального штаба начисто отсутствуют разведывательные структуры, он открывает, что Генштаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии слеп, как котенок, который мягоньким рыльцем тычется в теплое мамино брюшко. Что же сделал великий стратег, чтобы этот дикий пробел ликвидировать? Что предпринял стратегический гений для того, чтобы руководимый им Генеральный штаб прозрел?

Если Жуков ничего не сделал, тогда его поведение следует квалифицировать как преступную халатность. За это расстрельная статья полагается. Если его не расстреляли за халатность, то потомкам хотя бы надо знать правду о Жукове: накануне войны он полгода протирал штаны в кресле начальника Генштаба, знал, что Генштаб слеп, глух, потому не способен руководить действиями Красной Армии, но ничего не сделал для того, чтобы привести структуру Генерального штаба в соответствие с требованиями войны.

А мог ли Жуков что-нибудь сделать?

5

Мог. Прежде всего, надо было объявить Сталину: Генеральный штаб недееспособен. Надо было предъявить ультиматум: или освободи меня от должности начальника этого дурацкого Генштаба, я за чужую дурь не ответчик, или приведи структуру Генштаба в соответствие с требованиями войны, т. е. дай мне в подчинение разведывательные органы, без собственной разведки я слеп, готовить Красную Армию к отражению вражеского нашествия не могу.

Сделал ли это Жуков? Писал ли он рапорты Сталину с требованием изменить структуру Генштаба? Защитники Жукова, что скажете?

Был более мягкий вариант. Если Сталин подчинил лично себе Разведывательное управление генерал-лейтенанта Голикова, тогда Жукову следовало, не поднимая скандала, явочным порядком срочно создавать свою собственную разведку. Это не так трудно, как может показаться с первого взгляда. У Жукова в подчинении - пять военных округов и три флота, которые развернуты против Германии и ее союзников. Штабы военных округов и флотов имеют в своем составе разведотделы и мощные силы разведки, включая агентурную. Разведка западных военных округов и флотов - это восемь независимых друг от друга агентурных сетей. Я не говорю о других видах разведки: войсковой, авиационной, корабельной, радио и пр. Жукову следовало приказать начальникам штабов округов и флотов передавать лично ему важнейшие сведения о противнике. Жукову следовало создать и лично себе подчинить совсем небольшую группу толковых офицеров-аналитиков для обработки информации, поступающей с флотов и военных округов. Уже одного этого шага хватило бы для того, чтобы руководимый Жуковым Генштаб прозрел.

И это не все. Внутренние военные округа: Архангельский, Московский, Орловский, Северо-Кавказский, Приволжский и другие - тоже имели разведывательные органы, включая агентурные сети на территории противника. Следовало и им отдать тот же приказ: важнейшую информацию о противнике - мне на стол!

Кроме того, в НКГБ у Жукова личный друг - Иван Серов. Его должность - первый заместитель наркома госбезопасности. В НКГБ - сверхмощная агентурная сеть по обе стороны советской границы и во всех столицах мира. Вот и сказать бы Серову: выручай, Ваня! Сталин-кретин у меня разведку забрал. Секретов мне можешь не выдавать, но хоть намекни, куда дело клонится. Нападет Гитлер, разгромит Советский Союз, нас с тобой повесит. Ваня, в твоих же интересах намекнуть!

Но Жуков и этого не сделал.

Ну а если этим не озаботился, следовало после войны задним числом в мемуарах сообщить: Генеральный штаб был слепым, но я боролся! Я предлагал придурковатому Сталину, я советовал, но он, лопоухий, моих гениальных советов не послушал и разведывательных структур в составе Генштаба не создал. Удивительно, но таких оправданий в мемуарах Жукова тоже нет. Если в подводной лодке нет перископа, капитан обязан сделать все, чтобы его добыть. Если ему перископ не дают, он должен отказаться от командования: такой лодкой я командовать не буду. В крайнем случае, если перископа не добыл и от командования не отказался, после неудачного боя он должен оправдываться: я, мол, суетился, но достать приборы наблюдения так и не сумел.

Поведение Жукова - это поведение унтера, который не способен думать своей головой. Он даже не нашел нужным после войны оправдываться за свою бездеятельность. Нет разведки в подчинении начальника Генерального штаба, и ничего. Значит, так и должно быть. Пусть так и будет.

6

Ситуация становится совсем смешной, если мы вспомним, что у начальника Генштаба Жукова своя собственная разведка все-таки была. Генеральный штаб Красной Армии имел в своем составе Разведывательное управление - РУ ГШ. С 16 февраля 1942 года эта структура была преобразована в ГРУ ГШ. Начальником РУ ГШ в 1941 году был генерал-лейтенант Ф. И. Голиков. Он подчинялся прямо и непосредственно начальнику Генерального штаба генералу армии Жукову. Поток разведывательной информации из Разведывательного управления шел прямо к Жукову, а уж от него - к наркому обороны маршалу Советского Союза С. К. Тимошенко и к Сталину. Начальник разведуправления Генштаба генерал-лейтенант Голиков был не просто в подчинении у Жукова, он был заместителем Жукова. Это мы можем сами проверить хотя бы по таким источникам: СВЭ. Т. 2. С. 585; Маршалы и Адмиралы фло-

та Советского Союза. М.: Аспект, 2001. С. 111; Маршалы Советского Союза. М.: Любимая книга, 1996. С. 29.

Но Жуков упорно Голикова своим заместителем не называет.

Впрочем, о том, что в подчинении Жукова разведка была, мы можем прочитать... в мемуарах Жукова: «По данным Разведывательного управления нашего Генштаба, возглавлявшегося генералом Ф. И. Голиковым... Та информация, которая исходила от начальника Разведывательного управления генерала Ф. И. Голикова, немедленно докладывалась нами И. В. Сталину» (Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969. С. 226). Это написано в первом и во всех остальных изданиях.

Если авторы мемуаров Жукова видели, что Жуков не способен понять структуру армии, если он не в силах уяснить, как этот механизм функционирует, то надо было оградить великого стратегического гения от контактов с историками. А то в мемуарах написано одно, а историкам Жуков рассказывал совсем другое.

Удивляет поведение академика Анфилова. Жуков с негодованием объявил Анфилову, что разведуправление Генштаба начальнику Генерального штаба не подчинялось, и академик этому поверил. Академик мог бы рассмеяться в лицо великому стратегу, но почему-то не рассмеялся.

Жуков - клеветник. Его рассказы - клевета на Генеральный штаб, на Красную Армию, на нашу страну, на наш народ. Спасая себя от позора, Жуков объявляет на весь мир, что Красная Армия имела идиотскую структуру. Жуков обливал грязью организационную структуру органов высшего военного руководства страны с тем, чтобы самому уйти от ответственности: структура дурацкая, а раз так, какой спрос с начальника слепоглухого Генштаба?

7

Великого стратегического гения поймал на слове генерал-лейтенант Н. Г. Павленко: «Жуков уверял меня, что он ничего не знал о плане "Барбаросса" накануне войны, что он и в глаза не видел донесения разведки. На следующий раз я приехал к Жукову и привез те самые сообщения разведки о плане войны с СССР, на которых черным по белому стояли их - Тимошенко, Жукова, Берии и Абакумова - подписи. Трудно передать его изумление. Он был просто шокирован» (Родина. 1991. № 6-7. С. 90).

Сказав такое, коммунистический историк Павленко тут же бросается Жукова защищать.

Журнал задает вопрос: «То есть Жуков, будучи начальником Генштаба, не оценил важности информации?»

Павленко отвечает: «Совершенно верно. Однако в этом нет его вины. Виновата сама система, не способная адекватно воспринимать информацию. Начальнику Генштаба ежедневно приходится подписывать десятки, если не сотни различных бумаг. Вот Жуков в ряду других и подмахнул...»

Вот, значит, сидит в кабинете начальник Генштаба, бумажки подпи-

сывает, не вникая… И ни в чем он не виноват. Система виновата. Система не способна адекватно информацию воспринимать.

Система - это циклопическая пирамида. Система - это десятки, сотни, тысячи и миллионы людей: членов ЦК партии, партийных секретарей союзных и автономных республик, краев, областей, районов, членов правительства, чекистов, разведчиков, аналитиков, генералов, адмиралов, дипломатов, наркомов республиканских, прокуроров, судей, офицеров, старшин, сержантов, солдат. Никто из них к материалам Разведывательного управления Генштаба не был допущен. Но выходит, что все они виноваты в том, что проглядели подготовку Гитлера к вторжению. К материалам разведуправления Генштаба был допущен прежде всего начальник Генерального штаба генерал армии Жуков. Мало того, Жуков персонально отвечал за работу Разведывательного управления как прямой и непосредственный начальник. Но выходит, что Жуков не виноват. Жуков просто сидел и подписывал бумаги. Не глядя. Жуков, как выразился генерал-лейтенант Павленко, подмахивал. Прошу прощения у своих читателей: это не мой термин, это не мой стиль, не мой слог. Но коль скоро официальные коммунистические идеологи бросились защищать Жукова таким позорным методом, я вынужден пользоваться их приемами, их языком, их терминами.

Представляю, какой визг поднялся бы, если бы на месте Жукова оказался другой стратег - генерал армии Павлов Дмитрий Григорьевич или, к примеру, Маршал Советского Союза Кулик Григорий Иванович. А Жукову простительно: подумаешь, подмахнул разок!

8

Генерал-лейтенант Павленко щадит Жукова. Он сообщает, что Жуков просто подписывал документы. Но это не так. Сейчас известны не только подписи Жукова под документами, но и матерные резолюции. Это означает: Жуков с содержанием докладов разведки все-таки был знаком - не только их подписывал, но и читал. Это, в свою очередь, влечет за собой еще одно пренеприятнейшее следствие.

После войны Жуков с жаром рассказывал простофилям, что он якобы еще в начале января 1941 года предвосхитил немецкий план «Барбаросса». Якобы предсказал, где и как немцы будут наносить главные удары и как будут развиваться события. Глянул на карту, да и решил, что немцы нанесут главный удар не где-нибудь, а из района Бреста - на Барановичи.

На несколько минут давайте этим захватывающим рассказам поверим. Пусть так все и было. И вот, через некоторое время после гениальных предсказаний советская военная разведка добыла этот самый германский план и положила на стол Жукова: все правильно, немцы нанесут удар именно из района Бреста и именно на Барановичи! Дальше - на Минск, Смоленск и Москву.

Увидав такое, Жуков должен был галопом скакать к Сталину: вот я предсказал - на Барановичи, а вот разведка доносит - на Барановичи!

Но великий стратегический гений сообщениям разведки не поверил: быть такого не может, чтобы Гитлер на Барановичи замыслил!

И на сообщениях разведки Жуков матюгами расписывался.

Товарищи придворные историки, объясните мне, непонятливому, как стыковать вышеизложенное? Как поведение гения толковать? Принесли подтверждения его гениальных прогнозов, а он подтверждениям не верит.

Дорогой мой читатель, прикинем: мы что-то такое-этакое выдумали, но никто нам не верит. Вдруг - желанное подтверждение несут. И в том подтверждении весь вражеский замысел раскрыт! Ура, Россия спасена! Мы бы посланца с такой вестью облобызали да наградили бы. Я бы - соболью шубу с плеча скинул, гонца в нее завернул бы да каменьями самоцветными карманы ему набил. Радость-то какая!

Но гения нам не понять. Принесли гонцы подтверждение его великим прозрениям, а он гонцов - матом. Да взашей! Благо, на резных воротах Генштаба не вешал, хребты не ломал, головы не рубил, на колья не нанизывал.

Так вот: сдается мне, что не было никаких гениальных жуковских прогнозов в январе 1941 года о направлениях вражеских ударов. Легенды о гениальной прозорливости задним числом в оборот пущены. И не кем-нибудь, а самим же Жуковым и пущены. Только стратегическому фанфарону сообразительности не хватило одни свои вымыслы с другими скоординировать.

Теперь возразим генерал-лейтенанту Павленко.

Во-первых, каждый человек отвечает за каждую свою подпись. Если ротный старшина подмахнет, не глядя, то может в мантульные места загреметь. А может - и под расстрел. Жукова ставили на пост начальника Генерального штаба именно затем, чтобы зря не подмахивал.

Во-вторых, если начальнику Генерального штаба приходится подписывать десятки и сотни документов в день, значит, он - бездарь. Такого надо гнать в связи с полной профессиональной непригодностью. Перед хорошим начальником - чистый стол. У хорошего начальника работают подчиненные. Хороший начальник обязан так организовать работу, чтобы самому не подмахивать. Пусть заместители подмахивают.

В-третьих, сообщение разведки о предстоящем германском вторжении было не одно, такие сообщения шли потоком. Павленко сам говорит про эти сообщения во множественном числе… Вот и выходит, что Жуков Георгий Константинович подмахнул не раз.

Он подмахивал регулярно.

Ханна Арендт

ИСТОКИ ТОТАЛИТАРИЗМА

Ханна Арендт - один из крупнейших политических философов XX века. Ее книги: «Истоки тоталитаризма», «Состояние человека», «Между прошлым и будущим» - переведены на многие языки мира, в том числе и на русский. Недавно иерусалимский публицист и историк Михаил Хейфец предпринял оригинальную попытку сделать сложные книги Х. Арендт доступными широкому читателю в виде серии переложений под общим названием «Ханна Арендт для чайников». Первая его работа в этой серии - переложение знаменитой книги «Истоки тоталитаризма» - только что вышла в издательстве «Даат - знание» (Иерусалим). Предлагаем читателю главы из этой работы.

АНТИСЕМИТИЗМ

В «Истоках тоталитаризма» из 620 крупноформатных страниц почти треть отдана разделу «Антисемитизм». Тема книги - тоталитаризм, т. е. «всеохватывающий строй», явление мирового масштаба в XX веке. А Ханна Арендт сама признавала: еврейский вопрос, в принципе, - мелкое явление в рамках гигантских мировых процессов, о котором ей пришлось размышлять. Тогда почему антисемитизму отдана целая треть книги? Потому что автор - еврейка, эта тема волновала ее не как мелочь, а как первостепенная проблема. А равно потому, что еврейский вопрос исполнил в реальной истории роль «пускового механизма самой дьявольской машины века». Антисемитизм - внешне необязательная принадлежность тоталитарных революций. (В советской модели, кстати, евреи, напротив, принимали немалое личное участие в роли «строителей коммунизма».) Даже когда евреи сделались жертвой «тоталитарного прогресса», все антиеврейские репрессии проводились Сталиным и командой «под ковром» - тихо, стыдливо, без озвученных деклараций. Но вот в цивилизованной Западной Европе антисемитизм составлял как раз самое ядро, самую завязь тоталитарно-нацистской идеологии. Почему?

Почему относительно мелкая в масштабах мира проблема смогла сделаться мотором Всемирного Зла?

По Арендт, существующие «объяснения» внятно эту странность не объясняют. Возьмите, например, расхожее объяснение - в его нацистской версии. Мол, члены НСДАП - германские националисты болели за интересы своего народа, а евреи в Германии (и во всем остальном мире тоже) влезали непрошеными паразитами в жизнь коренной нации, «в наше хозяйство, культуру, политику», растлевали национальный творческий гений чуждым и потому ядовитым влиянием. Нацисты, как положено природному белку в организме, отторгали любые чужие белки - дабы их народ не погиб. Потому пришлось с евреями насмерть бороться…

Ханна Арендт не отрицает искренности чувств членов НСДАП. Но вот их объяснение испепеляющей враждебности к еврейскому «врагу» она отвергает с порога. Ибо нацисты, по ее утверждению, вовсе не были германскими националистами. Члены НСДАП, по Арендт, - враги национализма. Их замыслы с самого момента возникновения носили всемирный характер. «Маска» национализма использовалась элитой этой партии для пропаганды - для «внешнего мира» или для низовых последователей Нового учения... Но в своем внутреннем кругу, в сфере «посвященных» в тайны партийной идеологии, националистом себя не считал никто. И, более того, национализм виделся нацистской верхушке признаком провинциализма, мещанства, узости и пошлости.

Евреи, по Арендт, были выбраны центральной мишенью нацизма именно потому, что как раз к XX веку они утратили всякое влияние на государство (в том числе на германское), да и на общество тоже. Нацисты обрушились уже на слабых, на обессиленных оппонентов, хотя лживо объявляли миру будто сражаются с «великим и ужасным волшебником Гудвином». На самом деле они точно знали: у еврейства нет реального влияния на политику - ни в Германии, ни где бы то ни было в Европе... Потому и были такими смелыми и отчаянными!

Ханна Арендт с симпатией цитирует «великое открытие Токвиля»: простолюдины во Франции ненавидели аристократов не тогда, когда те угнетали и эксплуатировали французский народ, - нет! Ненависть возникла позднее, уже после переворота, когда аристократия потеряла власть: «Эксплуатация сама по себе никогда не служит главной причиной возмущения» *(стр. 37. Здесь и далее цитаты по изданию: Ханна Арендт. История тоталитаризма. М.: Центрком, 1996)*. Только утеряв властные привилегии - и право на эксплуатацию тоже, - аристократы начали казаться народу паразитами, не имеющими права на принадлежащее им имущество. Власть есть важнейшая функция в обществе, и народ инстинктивно сознает сию истину, он соглашается в обмен на исполнение этой важнейшей роли мириться с богатством, гнетом и привилегиями лиц, власть имущих. Но едва дворяне утратили власть, никто более не хотел терпеть и их богатство тоже…

Арендт считала: да, некогда еврейство действительно немало влияло на ситуацию в Западной Европе, однако в прежние века евреев, хотя и во мно-

гом дискриминировали, но тотально никогда не преследовали! Ибо общество считало деятельность евреев полезной. В XX же веке, хотя отдельные евреи и оказывались на влиятельных государственных постах (или в узловых точках бизнеса), это виделось уже частным случаем, не имевшим отношения ко всей еврейской общине. И именно против бессильной и политически неопытной общины оказалось возможным разжигать убийственную ярость обывательских масс на континенте.

Существует и противоположное объяснение антисемитизма XX века - еврейское. Евреи, мол, ни в чем не были виноваты, пали жертвой традиционного преследования, были объектами ксенофобии, что присуща массам испокон веку. Евреи, мол, всегда были «козлами отпущения»... То есть, по еврейской версии, этот народ вечно, а не только в XX веке, занимал нишу «преступника без преступления». Но «преступники без преступления»... есть неотъемлемо-обычный атрибут тоталитарных режимов, что нацистского, что советского, потому нацисты и выбрали евреев в жертву, воспользовавшись старой, уже привычной массам психологической традицией, хотя и делали это на новом историческом витке.

Ханна Арендт не согласна и с еврейской трактовкой.

Невиновных групп, говорит она, в истории не существует. Каждое историческое событие возникает как равнодействующая поведению десятков заинтересованных коллективов, и в любом событии историк-профессионал всегда найдет долю вины любого из соучастников: «Историю творят многие группы, и какая-то одна выделяется нами лишь в силу тех или иных причин» *(стр. 38)*. «Козел отпущения» бывает, как правило, не невинной жертвой, а группой среди других групп, вовлеченных в то или иное деяние мира сего, «и такая группа не перестает нести свою долю ответственности только потому, что оказалась жертвой несправедливости и жестокости мира» *(там же)*.

Версия «козла отпущения» выглядит приемлемой для многих (для евреев, в частности, тоже), потому что все жертвы тоталитарного террора так же подпадают под эту схему: «Действительно, они выглядят объективно и абсолютно невиновными, поскольку ничто из того, что они совершили или не совершили, никак не связано с их судьбой...» *(там же)*. И возникает соблазн освободить все жертв от их доли ответственности за историческую судьбу.

Но если евреи (как и прочие жертвы тоталитаризма) и подходят на отведенную им роль «козла отпущения», тогда почему Арендт не принимает эту версию? Почему еврейскую гипотезу она тоже считает вариантом «вызова здравому смыслу»?

Безмотивный террор, присущий нацистам и коммунистам, построен - как на центрующей оси - на их идеологии. Идеология - вот та основа, вот фундамент, что лежит под самым цоколем тоталитарного небоскреба. Но если цель идеологии - мобилизовать народные массы на террор, на некую «борьбу с врагом», она не может, не имеет права выбрать свою главную жертву произвольно, случайно. «Если в такую фальшивку, как "Протоколы сионских мудрецов", верит так много людей, что она сделалась священным

текстом целого политического движения, то... задача историка состоит в объяснении главного политического и исторического факта - почему в фальшивку верят? Это намного более важно, чем второстепенное обстоятельство, что текст - фальшивка» *(стр. 40)*.

А если мы примем идею, что гитлеровцы убивали евреев по тем же мотивам, по каким это племя дискриминировалось в христианском обществе, то - по Арендт - это должно означать не больше и не меньше, как некую... не то чтобы реабилитацию, но - извинение для убийц! Они просто делали то, что до них делали многие другие. Поколение за поколением! Значит, если рассуждать логически, имеется все же в евреях нечто, что вызывает подобную реакцию, «так уж самим Богом устроено, и вольтерьянцы напрасно против этого возражают»... За что же тогда нацистов особо обличать! Может, они служили «бичом Божиим», орудием Провидения - за какие-то еврейские грехи?

Ханна Арендт считает еврейскую (и христианскую тоже) гипотезу «козла отпущения» в принципе ложной. «Как столь реабилитирующая нацистов гипотеза вообще могла возникнуть?» - спрашивает она. Она видит субъективный ее исток в «отсутствии политического навыка и политической рассудительности» у еврейства как народа. Еврейская история - это «история народа без правительства, страны и языка». Еврейский народ почти две тысячи лет избегал любых самостоятельных политических действий. Потому-то, по Арендт, он и придумал гипотезу «козла отпущения», которая помогает избежать обсуждения своей доли вины за случившееся в XX веке. Нацисты, конечно, тоже были заинтересованы в объяснении своих преступлений сложившейся многовековой традицией («так было - так будет», хотя, соглашаются они, погорячились и мы, признаем и каемся!). Евреям же такая версия помогает избежать обсуждения неприятнейшего вопроса: где и в чем лежала их, еврейская, доля вины за случившееся?

По мнению Арендт, нацистский геноцид еврейства вовсе не был преувеличенной христианской традицией преследования ее соплеменников. Это было принципиально иное историческое явление. Не религиозное, а сугубо политическое! Еврейство же искренно видело в гитлеризме - по сути, антихристианском феномене - лишь подобие прошлого - своего рода возрождение «темных веков». А поскольку средневековая юдофобия казалась некогда еврейским общинам в чем-то и полезной - как своего рода внешняя стена, сохранявшая целостность общины в изгнании, то евреи при зарождении нацизма не сумели учуять и оценить чудовищную опасность совершенно нового в истории явления - тоталитаризма, не распознали опасность гибели народа...

С момента становления «национального государства» ему для реализации масштабных проектов требовались огромные средства. А за отсутствием таковых - кредит. Главный источник кредитов в любой стране - это буржуазия. А она инвестировала капиталы исключительно в частные предприятия. Буржуазия не доверяла ни разуму, ни расчетливости дебиторов - правителей национального государства (то есть политикам и чиновникам), их коммерческие начинания считались обычно «непродуктивными». И у госу-

дарства не осталось иного выхода, кроме как обратиться к иному финансовому союзнику - к еврейской общине.

Закон этой новой эпохи Ханна Арендт формулирует так: сословия повсеместно сменялись новыми общественными группами - классами, и каждый класс в обществе, вступавший рано или поздно в конфликт с государственным аппаратом, принимал на вооружение политику антисемитизма. Ибо единственной группой в обществе, которая, как казалось, сращена намертво с государственной машиной, считалось именно еврейство. Политическое невежество самих евреев проявилось именно в полной неспособности отличить традиционную христианскую юдофобию от этого нового явления - от нараставшего в XIX веке повсеместно и постоянно политического антисемитизма.

В «национальном государстве» общество разделяется не на сословия, а на классы, группы людей, равные другим перед законом. Интересы класса защищает партия, то есть его политики и депутаты. Правительство считает своей целью установить в стране равновесие конфликтующих классовых интересов. Поэтому левые, то есть как бы революционные движения, боролись на практике не с правительством, «уравнителем» всех сил, а с буржуазией - в частности, за влияние на эту именно правительственную власть. Потому-то «левые», как правило, легко подчинялись авторитету правительства в вопросах внешней политики: там ведь ставились на кон интересы не какого-то класса, а всей нации! Зато как раз антисемитские партии считали себя «партиями над партиями» и претендовали на противоположную роль - представлять не какой-то класс, а всю нацию в совокупности, и потому стремились подмять под себя госаппарат, заняв господствующие позиции на его вершине.

Программы антисемитских групп были направлены, по сути, против правительств, а вовсе не против другого класса или сословия - и даже не против еврейства! Их, прежде всего, интересовали международные дела, их революционный порыв был направлен не на реформирование своей страны, а в противоположном направлении - на разрушение политической структуры своего национального государства.

Почему антисемитским движениям в Германии удалось одолеть иные империалистические группы, тоже претендовавшие на роль «партий над партиями» (типа Всегерманского Союза)? Они вроде бы имели даже лучшие шансы на победу, но были поглощены или сметены антисемитами! Почему? Потому что программа антисемитов воспринималась избирателями не как внешнеполитическая, имперская, какой была по сути, но как - программа внутриполитическая! Как борьба за то, чтобы вырвать власть у другой общественной группы - у евреев. Антисемиты сумели убедить многих избирателей, будто борются с евреями так же, как рабочие - с буржуазией. И, атакуя евреев как тайную силу, стоящую за спиной правительства, они получали неявную возможность атаковать государственную власть - в то время как иные империалистические группы не смели, да и не желали нечто подобное проповедовать, уж тем паче - делать...

Вторая особенность, принесшая антисемитам успех: они сразу создали наднациональные объединения, нацеленные «на все нации». Этакий анти-Интернационал! (Первый международный антиеврейский конгресс состоялся в 1882 г. в Дрездене; присутствовало 3000 делегатов из Германии, Австро-Венгрии и России. Через год радикальное крыло этого движения создало в Хемнице Всеобщий антиеврейский союз. Евреи казались единственным общеевропейским элементом на континенте, и выглядело логичным, что враги евреев тоже должны объединиться на основе этого же принципа.)

В конце XIX - начале XX века антисемитизм стал стремительно терять популярность в Западной Европе. Почти два десятилетия длился этот исторический спад антисемитизма - с 90-х гг. до начала первой мировой войны.

Ни в одной из европейских держав правительства не имели общественного авторитета, но все же нигде в Европе не чувствовалось и серьезной воли к политическим изменениям. Между тем растущее влияние крупного капитала на государство, ослабление потребностей правительств в кредиторах-евреях вело к коренным изменениям в структуре еврейских общин. Вот первый признак упадка банкирских фамилий - они потеряли уважение (а с ним власть) в еврейских общинах. Сыновья преуспевающих бизнесменов и банкиров отказывались от занятий отцов ради новых, «свободных профессий» - ради интеллектуальных забав! И то, чего так опасалось национальное государство - возникновения еврейской интеллигенции, стало осуществляться с фантастической скоростью. В Германии и Австрии еврейские интеллектуалы хлынули в газеты, издательства, консерватории, театры.

Все это явилось на свет, конечно, благодаря традиционному еврейскому благоговению перед интеллектуальными занятиями. Но одновременно эта тенденция вела к разрыву молодого поколения с еврейскими традициями - то есть к ассимиляции, к осознанию общности своей судьбы с соотечественниками-аборигенами... Ослаблялись связи, делавшие еврейство в целом международным сообществом, и еврейские интеллектуалы оказались первыми в истории своей общины, кто всерьез нуждался в сближении с местным обществом, кто действительно стремился к этому...

Молодежь искала путей интеграции в местное общество. Образцом ей служило поведение тех евреев, которых - в виде исключения - местное общество допустило в свои ряды. Добейся славы - и перед тобой распахнутся все двери! Толпа поклоняется гениям! Среди евреев было много выдающихся критиков, рецензентов, коллекционеров, антрепренеров, режиссеров и пр. Еврейские интеллектуалы создали как бы интернациональное сообщество людей, овеянных славой: ведь достижения духа по определению должны выходить за пределы государственных границ!

Еще парадокс. Именно в ту эпоху, когда серьезные политики уделяли еврейскому вопросу меньше внимания, чем когда-либо раньше, когда антисемитизм исчез с открытой политической сцены, у евреев вдруг объявилась новая, очень опасная и при этом странная категория врагов.

Евреи, принятые в общество, стали мишенью для ненависти тех, кого это же общество отвергало! Антисемитизм стал паролем всех шарлатанов,

всех «сдвинутых», и эти полупсихи в кружках и кабинетиках взбивали смесь из полуистин и диких предрассудков, которые вспенились в Европе и стали идейной базой многих житейски несостоятельных, но и, вследствие того, самых озлобленных слоев.

Еврейский вопрос сделался катализатором нового социального брожения.

Новаторская идея Ханны Арендт сводится к тому, что в Европе XX века еврейский вопрос получал общественный отклик, лишь соединяясь с какой-то иной - непременно важной - политической проблемой. Еврейские общины по традиции считались «рабами короны», всегда были «завязаны» на власть и виделись иноверцами, чужаками, служащими лишь интересам начальства да соплеменников, разбросанными по всему свету и враждебными аборигенам страны проживания. Поэтому каждый, кто помышлял о том, чтобы поднять массы на революцию, мог использовать евреев как удобный пропагандистский повод.

Идея Арендт способна, кстати, объяснить, почему русская революция, в отличие от германской, не только не носила антисемитского привкуса, но напротив - выглядела проеврейской. В Российской империи, в отличие от Пруссии, Франции, Австрии, евреи не были финансистами двора или казны. Напротив, под влиянием «новой политики» Александра III, на рубеже веков, они считались «подрывным элементом» империи. Конечно, и в России антисемитские круги атаковали правительство, обвиняя его в связях с еврейством (последнюю царицу - с банкиром Дмитрием Рубинштейном, Распутина - с его секретарем Симановичем и пр.), но слишком явно бросалась в глаза все же неприязнь дома Романовых к иноверцам. Потому и силы, всерьез замыслившие слом государства, считали более разумным противоположный вариант - использовать многомиллионную тамошнюю общину евреев для уничтожения самодержавия.

Арендт, однако, не удовлетворяется этим, чисто «политическим» объяснением трансформации юдофобии в антисемитизм. Она считает, что сам по себе «политический ключ» не объясняет причин, приведших к Катастрофе европейского еврейства. Да, «силы, определяющие роковое движение евреев к центру событий, носили политический характер», но выявить одно лишь это - несерьезно для историка! Ибо если бы процесс носил чисто политический характер, «он мог бы привести к антиеврейскому законодательству, даже к массовому изгнанию евреев, но вряд ли к их тотальному уничтожению» *(стр. 144)*.

По Арендт, Катастрофа стала возможной благодаря страстям, творческой силе и влиянию на дух эпохи поэтов и романистов, «которых общество загнало в отчаянное одиночество и изоляцию!» Пытаясь постичь сокровенную суть XX века, Арендт изучала не только те или иные документы, но и творчество выдающихся писателей. Для нее их книги - важнейшие свидетельства о настроениях и идеях, вызревавших в умах духовных властителей эпохи и затем овладевавших сознанием и душой масс.

Вокруг еврейского интеллектуала, соблазненного - по призыву лучших людей христианского общества - образованием, «входным билетом в евро-

пейскую культуру», плененного стремлением признанных столпов общества принять его как своего (Бисмарк, в конце концов, вульгарно, по-юнкерски, но желал же, чтоб «прусских жеребцов спаривали с еврейскими кобылками»), складывалась в обществе особая, двусмысленная ситуация, которую Арендт назвала - «между парией и парвеню». Если еврей оставался «парией», то в душе он где-то жалел, что не стал «презренным выскочкой», а, уступив и сделавшись «парвеню», постоянно стыдился, что предал свой народ, соблазнившись выгодой. Постепенно возникла некая новая форма еврейского самовыявления. В отличие от иудаизма, Ханна Арендт дала ему особое название - «еврейскость».

«Еврейскость», по Арендт, есть свойство ассимилированного и образованного еврея. Еврею надо приспосабливаться к чужому обществу, которое, с одной стороны, унижает «обычных» евреев, но зато такому вот, образованному, легче попасть в высшие слои, чем такому же человеку, но нееврею. Тут важно обладателю «еврейскости» соблюсти баланс: с одной стороны, он должен как-то отличаться от «обычных евреев», с другой - четко давать понять, что он все-таки лицо особое, не такое, как все, он ведь еврей (иначе - кому он в обществе интересен?). Эту двусмысленную сущность выразил на иврите поэт Иегуда-Лейб Гордон: «Быть людьми на улице и евреем дома», что реально означало - быть ненатуральными людьми на улице и плохими евреями дома…

Так и метался обладатель этой «еврейскости» между положением парвеню и парии. В роли парвеню он обладал известными свойствами Растиньяка - жадностью, высокомерием, раболепным подобострастием перед высшими, решимостью пробиться во что бы то ни стало. В роли парии претендовал на особую человечность, доброту, чувствительность к несправедливости… И те, и другие качества, однако, не имели никакого отношения к его национальному характеру: «Пока существуют народы и классы, подвергаемые поношению и унижению, в каждом поколении будут с удивительной монотонностью заново возникать люди с качествами и парвеню, и парии, и будет это происходить и в еврейском, и во всяком другом обществе» *(стр. 117)*.

Как правило, обладатели «еврейскости» оказывались неспособными решительно определиться в жизни - ни в ту, ни в другую сторону. И любопытно: общество и не настаивало на их определенности, но прямо-таки поощряло их пребывание в таком двусмысленном качестве. Так они выглядели интересными, наиболее заметными - а от евреев и ждали тогда обязательно некоей необычности. Если он не определился, не стал выскочкой или, напротив, сознательно отверженным, то все-таки инстинктивно притворялся, что он не такой, как «обычные евреи», и тут же отчетливо показывал, что он все-таки еврей - иначе какой в нем прок, какой интерес? «Концентрация на искусственно усложненной внутренней жизни помогала евреям соответствовать требованиям общества, стать чем-то незнакомым и волнующим, развить в себе непосредственность самовыражения, самовыявления, что как свойство присуще актерам и виртуозам - людям, которыми общество полувосхищалось, полуотвергало их» *(стр. 118)*. Так ассимилиро-

ванные образованные евреи отчасти гордились своей еврейской уникальностью, «еврейскостью», отчасти же стыдились ее.

И чем меньше воспринимали их люди общества как равных себе, тем «интереснее» они в обществе выглядели. Подлинная терпимость ко всему, что присуще каждому человеку, некогда связанная с веком Просвещения, стала в новом веке сменяться нездоровой тягой к экзотическому, ненормальному, иному. Евреи же оказались не просто «забавой» для времяпровождения высших кругов - они еще и попали в центр важнейших политических вопросов. Эта комбинация политики с «общественным пороком», по мнению Арендт, и подготовила психологически будущую Катастрофу.

Уникальным представителем «еврейскости» был премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли.

Дизраэли, по ее словам, обладал даром богов, именуемым удачей, плюс беспечностью шарлатанского разума и поразительной наивностью воображения! Возможность столь диковинной психологической комбинации обусловлена тем, что Дизраэли вырос в Британии, а эта страна не знала, что есть на свете еврейская беднота, что есть еврейская нищая масса (тамошняя община началась с приезда при Кромвеле в Лондон группы богатых португальских евреев, и долгое время других евреев на острове не было). Плюс еще то, что отец крестил Бенджамина в раннем детстве, и мальчик не знал ровным счетом ничего о своем народе.

Образ Дизраэли поражает Арендт не только потому, что тот достиг невозможного, - сделал прямо фантастическую политическую карьеру, став премьер-министром империи. В конце концов, в наше время вышло из-под спуда, что и в России для крещеных евреев открывалась иногда блистательная карьера: министр иностранных дел Николая I Нессельроде или его же министр финансов Канкрин, как сегодня публикуют, были не немцем и греком, как полагали все их современники, а скрытыми евреями... Но Дизраэли-то, в отличие от них, не только не скрывал свое еврейство, он всем и всячески тыкал им в нос: «Фундаментальный факт моей биографии - в том, что я еврей» *(стр. 122)*. И вот - чудо: не просто сделал карьеру в политике, но добился большего - стал кумиром британского света, идолом аристократических клубов, личным другом королевы Виктории.

Талант Дизраэли проявился не в том, что он знал про остаточный комплекс неполноценности у буржуа и интеллигентов (это чувствовали все-все): Дизраэли уловил новый, зарождавшийся комплекс неполноценности у самих старых господ, у гордой аристократии, титулы и поместья которых скупались «новыми богачами»! И вот он, по сути, писатель средней руки, интеллектуал, «шарлатан, игравший роль Великого человека с неподражаемой наивностью, с фантастическими трюками и завораживающим артистизмом», сочинил набор теорий, помогший ему одолеть барьеры, казалось, намертво преграждавшие путь к власти. Барьеры аристократического высокомерия!

Он подавил высокомерие британской аристократии, обвинив ее в... недостаточно чистом происхождении.

Здесь мне видится главная причина, почему им так заинтересовалась Ханна Арендт. Едва ли не весь набор базисных теорий расизма, принятых потом нацистами, - впервые придумал этот фантастический еврей, чтобы сокрушить ими британскую гордость!

Он бил аристократов на их собственном поле, объявив, что вообще-то они, британцы, происходят от расы выскочек, от «гибридной расы» (что правда), что «жизнь британского пэра регулируется арабскими законами и сирийскими обычаями» (видимо, намекая на наследие, вывезенное со Среднего Востока рыцарями Ричарда Львиное Сердце?). Зато вот он, Бенджамин Дизраэли, - «продукт самой чистой крови в Европе»! И вообще их британские претензии на родовитость держатся на чисто животном принципе, то есть на древности рода, тогда как его претензии на власть основаны на несомненном для них же духовном превосходстве его расы: «Еврейка является Царицей Небес», а «цвет еврейской расы даже и сейчас восседает по правую руку Господа Бога Воинств»! *(стр. 125)*. И далее: семитский принцип «представляет все, что есть духовного в человеческой природе», есть в мире одна «природная аристократия, и ее образует несмешанная раса, обладающая первоклассной организацией». Естественно - раса еврейская…

Силу Дизраэли составило то, что он искренно во все эти выдуманные им штучки верил и тем заставлял верить других. Во-первых, что он - «избранный человек избранной расы». Доказательство? А посмотрите-ка на его карьеру: человек без имени и состояния стал не только первым политиком самой великой страны мира, но и другом королевы, сделав ее императрицей Индии! «Англия стала Израилем его воображения»… Разве это не демонстрирует, каков потенциал расового происхождения?! В первом своем романе *(«Альрои», 1833 г.)* описал план всемирной империи, которой правят… ну, разумеется, евреи. Через одиннадцать лет, поварившись в политике, он понял, что этого не может быть, потому что не может быть никогда, но… от своих идей не отказался! В романе «Коннингсби» сочинил новую фантастическую схему: еврейские деньги определяют взлет и падение династий и империй. Вместо открытой для всех касты мудрых еврейских правителей из «Альрои» теперь миром правили избранные люди высшей расы, скрыто и тайно влиявшие на все! «Это стало стержнем его политической философии» *(стр. 128)*.

Такая идея, по мнению Арендт, могла родиться именно и только у британца, знающего о могущественном влиянии тайных кругов, клубов на политику государства. «Для Дизраэли само собой разумелось, что еврейское богатство было лишь средством для еврейской политики. Чем больше он узнавал о хорошо налаженной кооперации между еврейскими банкирами в деловой сфере, о международном характере их обмена информацией, тем больше убеждал сам себя, что имеет дело с чем-то наподобие тайного общества, держащего судьбы мира в своих руках!» *(стр. 129)*.

Дизраэли верил во всесилие тайных обществ: правда, считал нужным не бороться с ними, а использовать эти игры на благо королевы и ее империи! Да что евреи - все революционеры виделись ему закулисными кукловодами

мировой политики! Вот записи для себя - 1863 г.: «Борьба между тайными обществами и европейскими миллионерами. Пока побеждает Ротшильд... Естественное равенство людей и упразднение собственности провозглашаются тайными обществами»; 1870 г.: «Тайные общества с их мировой деятельностью, Римская церковь с ее претензиями и методами» определяют всю историю. Постепенно, однако, евреи начинают проникать всюду и везде: «Первые иезуиты были евреями. Таинственная русская дипломатия, которая столь тревожит Западную Европу, организуется и осуществляется евреями. Эта могущественная революция, которая сейчас готовится в Германии и которая в действительности будет второй и более крупной Реформацией... осуществляется под покровительством евреев... Люди еврейской расы стоят во главе всех коммунистических и социалистических групп. Народ Бога сотрудничает с атеистами, самые умелые накопители собственности объединяются с коммунистами, особая и избранная раса протягивает руки подонкам и низшим кастам Европы! И все это потому, что они хотят разрушить это неблагодарное христианство, которое обязано им своим именем, и тиранию коего они больше не желают терпеть» *(стр. 130)*.

Именно в его воображении появилась самая изобретательная из всех гипотез будущего нацизма - о тайном союзе, который якобы заключили евреи-банкиры и евреи-социалисты. Вот ее посылки: а) евреи-миллионеры тайно вершат политикой Европы; б) евреев веками унижало европейское христианство («при всей реальности унижений и дискриминации, - пишет Арендт, - еврейская пропаганда неизменно и самым глупым образом еще и преувеличивала их»); в) известна масса случаев, когда сын еврея-миллионера становился лидером рабочих. Учитывая общеизвестный факт о крепости семейных связей в еврейских семьях, гипотеза о таинственном мщении евреев христианам выглядит в глазах Дизраэли логически вполне возможной!

Почему химеры Дизраэли захватили британское общество, причем настолько, что оно выдвинуло его на первые роли в стране, более того - произвела во властители дум?

Ханна Арендт считает, что тайна раскрыта в одном из его же ранних высказываний: «То, что считается преступлением в глазах массы, для немногих - всего лишь порок». Да, в глазах масс «еврейскость», в том числе и его личная «еврейскость», наверно, виделась преступлением! Но в глазах того Избранного общества, которое решало судьбы мировой политики, это «преступление» становилось всего лишь простительным «пороком». А порок был привлекателен для порочных и распущенно-слабых властителей Нового мира. «Общая тенденция эпохи объясняет исключительную удачу Дизраэли, но она же и привела его народ к страшной Катастрофе» *(стр. 133)*.

Всякую «испорченность» в свете (и в подражающих ему кругах) воспринимали, образно говоря, не как акт воли, когда тот или иной поступок (или даже преступление!) некто из людей выбрал для себя сам и за свое деяние или поведение несет ответственность. Нет, теперь любой его поступок воспринимался по-иному - как от природы данное, психологическое свойство, всецело управляющее его поведением. Скажем, как наркотик уп-

равляет наркоманом. Всякое отклонение от норм воспринималось как рок. Потому осуждение всяких «отклонений» считалось этаким плебейством, ограниченностью, неполноценностью - воспитания или вкуса. С «преступника» была отныне снята ответственность за его выбор, даже за преступный выбор (виновата природа!), и, как тонко отметила Арендт, тем самым преступника лишили человеческого достоинства. Это достоинство, в конечном счете, состоит именно в праве человека самому что-то выбрать и нести за свой выбор ответственность! «Наказание - право преступника», определял Гегель, и если, говоря уже словами Пруста, «судьи склоняются к тому, чтобы простить убийство, совершенное гомосексуалистом, или измену родине, совершенную евреем из-за причин расовой предрасположенности к ней», то за такой «терпимостью» на деле скрыта тайная склонность судей к убийству или к той же измене!

Законный вопрос: почему и откуда взялась в традиционно брезгливых, традиционно закрытых, высокомерных салонах высшего света либеральная терпимость к порокам-преступлениям допущенных в эти салоны? Исток, видимо, в том, что как-никак возросла в XIX-XX веках в Европе общая сытость населения и общее его безразличие к общественной жизни. И тут-то надвинулась на Запад скука...

Евреи, вдохновляемые духом своей «еврейскости», своеобразным интеллектуально-образованщическим (если использовать термин А. Солженицына) «выпендрежем», необычным умением заводить «вольные беседы», ловить в «воздухе» экстравагантные моды, парадоксальностью логики и вкуса, помогали светским людям развеять скуку, скоротать нудное время. Чем меньше смотрели на евреев в свете как на равных людей, тем увлекательнее и интереснее эти экзотически странные особи там выглядели! Скучающее общество искало развлечений, искало «ни на что не похожее» - короче, интуитивно жаждало увидеть нечто, вроде еврейской (но, конечно, необязательно!) испорченности или тайного (возможно, еврейского тоже!) порока. И этим особям - с их «еврейскостью», - как в добрые старые средневековые времена, «хозяева жизни» доверяли заняться тем «тяглом», что хуже исполнялось для них аборигенами. Новое еврейское занятие можно было назвать, скажем, «индустрией светских развлечений»...

Однако Арендт считает, что всей совокупности описанных ранее явлений все же недостаточно для объяснения взлета антисемитизма. Потому что, сколько бы тот же создатель австрийской антисемитской партии Шёнерер не осмыслял особую связь между австро-венгерской монархией и Ротшильдами, но не это же заставило его заявить: «Мы, пангерманцы, считаем антисемитизм главной опорой нашей национальной идеологии». И никакая роль евреев в российской жизни не могла бы нам внятно объяснить, почему В. Розанов написал - еще до первой мировой войны: «Нет вопроса русской жизни, где бы "запятой"... не стоял вопрос: как нам справиться с евреем?» То есть антисемитизм как центр мировоззрения, как центр жизнепонимания не может быть объяснен чисто общественными или политическими факторами! Что-то тут скрыто иное...

Это «иное» Арендт видит в особенностях националистических «пандвижений» конца XIX века. Если «заморский империализм» создал легенду о «бремени белого человека», то «панплеменной национализм» творил легенду иную - об Избранности народа. Арендт цитирует славянофилов: «Русский народ - единственный христианский народ на земле» *(К. Аксаков)*, «Русский народ - святой Христофор среди народов, вносящий Бога в дела мира сего» *(Ф. Достоевский)*, «Истинно Божественный народ новых времен». Пангерманцы использовали весьма схожие формулы! Гитлер впоследствии объявил: «Всемогущий Бог создал нашу нацию. Мы защищаем Его дело, защищая ее бытие». «Это не злоупотребление церковным языком, - пишет Арендт, - здесь настоящая теология, которая дала толчок ранним пандвижениям и сохраняла значительное влияние на современные тоталитарные идеологии» *(стр. 321)*.

Наперекор идее о Божественном происхождении человека, «образа и подобия Божьего», пандвижения проповедовали Божественное происхождение лишь одного народа - своего. Отдельный человек мог приобрести «образ и подобие», только войдя в Избранный народ. Такая конструкция, с одной стороны, делала национальность постоянным признаком любой личности, ее статус не могли поколебать никакие события в истории: эмиграции, завоевания, рассеяния... А ближайшая политическая выгода состояла в том, что при Божественном происхождении своего народа и при противопоставлении его всем прочим (небожественным) исчезают различия (классовые, психологические, имущественные) между представителями этого народа. Достигалась желанная пандвижениям монолитность!

«Ложность этой теории столь же очевидна, как и ее политическая полезность», - пишет Арендт *(стр. 321)*; «Политически неважно, Бог или природа мыслится источником происхождения народа» *(стр. 321)*. Характерно, что нации в расистском толковании обязательно напоминали виды животных. Русский, скажем, был волк, а немец - лиса, или наоборот. «Божественный народ» либо был прирожденный гонитель слабых видов, либо естественная жертва более сильных животных... В любом случае - он был не орудием религиозного завета, а игрушкой законов животного царства.

В чем сила подобного мировоззрения?

В обществе, где человек одинок, где он выломился из сословия, из класса, возникла новая и нерушимая людская связь - взаимная поддержка соплеменников. Это было так нужно людям!.. И, кроме того, нормальным людям вообще тяжело нести бремя братства всех людей, соответственно морально беря на себя ответственность за всех «братьев во Адаме». Вот что писал пангерманист Фриман: «Мы знаем наш собственный народ, его достоинства и недостатки. Человечества мы не знаем и отказываемся заботиться о нем или воодушевляться им. Где оно начинается, где кончается? Входит ли в это человечество вырождающийся или полуживотный русский крестьянин из сельского "мира"? Негр из Восточной Африки? Невыносимые галицийские или румынские евреи? Можно верить в солидарность германских народов - и все, что вне этой сферы, не имеет для нас значения» *(стр. 323)*.

И здесь мы возвращаемся к антисемитизму. Преувеличенное племенное сознание пандвижений всегда считалось запалом для страстей, разжигаемых лидерами «толп». Но для пангерманцев, например, удобнее всего было бы разжечь запал вовсе не против евреев... И для славянофилов евреи тоже сравнительно поздно стали заметным объектом - начинали-то те с неприязни к западным народам, особенно к немцам и «французишкам». И, тем не менее, неизбежно, рано или поздно, евреи должны были оказаться в фокусе внимания и тех, и других.

Евреи оставались в Новое время племенем (Ханна Арендт сама признала огромное значение в жизни мирового еврейства «семейных связей», из-за чего евреи казались миру одной большой семьей. Значение семейных связей для сохранения народа объявлялось ею даже более важным фактором, чем еврейская религия... Но большая семья это же и есть - племя!). Пандвижения всегда утверждали, что наличие государства есть вещь второстепенная, что главное - народ, с его таинственными врожденными психологическими (или телесными) качествами. «Среда обитания» (своя территория, свои учреждения) не обязательна для формирования нации. И вот евреи-то и служили живым примером, что все это не слова только, не только идеологически верный тезис, все практически осуществимо в реальной жизни! Вот народ без собственного дома, но сохранил-таки себя, свое национальное лицо; даже утеряв веру, как современные ассимилированные евреи, он все-таки остался самим собой, особым, Избранным (светские евреи тоже верили, что они не похожи на прочих, что они выше других - безотносительно к традициям и достижениям собственно еврейства!)

Но сильнее прочего втягивало евреев в центр расовых идеологий очевидное обстоятельство: претензии любых пандвижений на Избранность всерьез сталкивались с еврейскими претензиями. Совершенно несостоятельны были возражения евреев, мол, Избрание у нас ничего общего в религиозном плане не имеет с Божественным происхождением племени, что связано оно лишь с «устроением в конце времен всех-всех» на фундаменте Божественного закона. Это никого из их оппонентов не волновало! А волновало другое: евреи в точности, как вожди и идеологи пандвижений, делили мир на две половины: мы и все другие. (Она цитирует Владимира Соловьева: «В среду двух религиозных народов, русских и поляков, имеющих каждая свою теократическую идею, история выдвинула третий религиозный народ, так же обладающий своеобразным теократическим представлением, - народ израильский». И Бердяева: «Русский мессианизм родственен еврейскому мессианизму».) В «дихотомии», как выражается Арендт, евреям, однако, повезло! Они с самого начала получали в наследство нечто такое, что неевреям надо было самим выстроить, причем выстроить на пустом месте...

«Существует банальное выражение, что антисемитизм есть форма зависти. По отношению к еврейской Избранности это достаточно верно» *(стр. 330)*. Во все времена, когда по каким-то историческим причинам какие-то народы попадали в ситуации, где у них не имелось ни реальных больших дел,

ни подлинных исторических достижений, свершался один и тот же процесс: они обращали взор на себя, любимых, на свою неповторимую душу, и начинали притязать на Божественную миссию искупления грехов, спасения остального мира. В Европе же они всегда наталкивались на древнюю конкурентную заявку евреев...

В XX веке эту конкуренцию оформили в «Протоколах сионских мудрецов»: к тридцатым годам сочинение уступало по тиражу на всех европейских языках разве что «Майн кампф». «Очевидно, понадобилось несколько десятилетий хаоса и отчаяния, - пишет Арендт, - пока широкие слои народа радостно уверовали, что им надо добиться лишь того, чего, как они думали, умели добиться евреи со своим врожденным демонизмом» *(стр. 331)*.

То, что фанатизм пандвижений сделал евреев центром ненависти (а это и стало началом конца европейского еврейства) было, по мнению Арендт, одним из самых горьких, но и логичных отмщений в истории. Ибо имелась в утверждениях просветителей (Вольтера, Ренана, Тэна) доля истины: именно еврейская идея Избранности, еврейское притязание на особое положение в истории, на исключительные отношения с Богом привнесли в западную цивилизацию ярость Знатоков Божественной истины. Его унаследовало от евреев христианство - вместе, кстати, с национальной гордыней, близкой к расовому извращению. Ханна Арендт цитирует Бердяева: «Религиозное и национальное в Московском царстве срослось между собой так же, как в древнееврейском сознании. И так же, как иудаизму было свойственно мессианское сознание, оно свойственно было и русскому православию».

Ненависть расистов к евреям проистекала из суеверного страха-подозрения: вдруг евреи - тот самый народ, который Бог действительно избрал, кому успех, так сказать, гарантирован волей Провидения! Вдруг, вопреки любым историческим превратностям, евреи мистическим образом в конце истории станут победителями! Это возмущало, обижало... Вдобавок страх и ненависть питались (и объяснялись!) тем, что христианская религия была ведь еврейского происхождения. И вот - овладела западным, самым могучим отрядом человечества... «Руководимые суевериями, вожаки пандвижений нашли на поверхности еврейской набожности зацепку, которая делала возможным ее искажение. Избранность перестала быть мифом о конечном осуществлении идеала Всечеловечности - и превратилась в миф о разрушении человечества как мистически тайной задаче еврейства» *(стр. 332)*.

ТОТАЛИТАРИЗМ

Ханна Арендт считает, что любая тоталитарная структура - что нацистская, что коммунистическая - возникает как естественное следствие рыночного буржуазного общества, как законное порождение его пороков - разрыва человеческих связей, бесцельности в хозяйственном и социальном движении, аморальности в попытке добиться своих целей силовым путем и - в конечном итоге - сатанинского преувеличения возможностей действи-

тельно огромных, действительно мощных человеческих сил, но все-таки - всего лишь сил человеческих... Этот факт замаскирован от наблюдателей тем, что недальновидная, исторически слепая буржуазия сама пала жертвой своих отпрысков - нацистов и коммунистов.

Таким образом, известная «левизна» Арендт объяснялась, в частности, тем, что она считала тоталитарную систему не антиподом, как это виделось со стороны, не смертельным врагом рыночного общества, а нежеланным и как бы внебрачным, но все же порождением, «зачатым во грехе» буржуазной самоуверенности, бесцельных и бездарных общественных просчетов «деловых людей».

Арендт улавливала в ароматах буржуазного общества («в эпоху от Бальзака до Ибсена») миазмы аморальности, унижения общечеловеческих ценностей, жестоких конкурентных увечий, духовной посредственности и ублюдочной мелкоты даже в пороках - хотя все прикрывалось личиной великодушия и «полутьмой двойных стандартов».

Во временном разрыве между мировыми войнами рухнула в Европе система классов и - унесла с собой все нити, что связывали тогдашних людей с политической жизнью. В прежние эпохи принадлежность к тому или иному классу определяли, хотя не на сто процентов, фактом рождения человека в семье тех или иных родителей. Рядовой европеец обычно не сталкивался с общественными делами напрямую - в его классе воспитывали особую группу лиц для профессиональных занятий политикой. Большинство же людей оставалось вне рамок партийно-политической жизни - и это никого из политиков и социологов не волновало... Однако перегородки между классами размывались в потоке исторического времени, люди начали легко переходить из одного состояния в другое - из рабочих в интеллигенты, из крестьян в предприниматели, из среднего класса в чиновники, в профессиональные политики и обратно, меняли классовую принадлежность по несколько раз в жизни, факт рождения в той или иной среде играл в их быту третьестепенную роль... Ослабление классовых перегородок означало кончину старой политической системы: партии в XIX веке создавались для защиты интересов того или иного класса, в XX, формально оставаясь под старыми знаменами, партии уходили в принципиально иное качество - в статус идеологических организаций.

И крушение прежней - классовой - структуры общества создало необходимый климат для возникновения системы новой. Как выяснилось - тоталитарной!

«Тоталитарные движения возможны везде, где появляются массы, по какой-то причине получившие вкус к политической организации» *(стр. 414)*. Но кто они на практике - эти пресловуто и многократно обозванные «массы»? По Арендт, это огромные группы людей, которых не объединяют какие-либо конкретные интересы. В любой стране они составляют равнодушное большинство народа - именно оттуда и набирали актив и коммунисты, и нацисты. От передового отряда «масс», называемых у Арендт «толпами», как от политически безразличных людей, уже ранее отказались все

другие партии, считая их слишком вялыми или слишком глупыми особями... Посему большинство нацистского или большевистского актива «не было испорчено партийной системой», и это позволило лидерам тоталитарных движений ввести в свою пропаганду новый в истории элемент - безразличие к аргументации противника. «Новые активисты» Движений предпочитали сразу убивать оппонента, а не переубеждать его, выбирали террор, а не обращение в «истинную веру». Человеческие разногласия приписывались глубинным, природным, психологическим истокам, недоступным действию разума, а если так - ну чего ж с подонками, которые с нами не согласны, разговаривать? Убрать препятствие с дороги, и кончен бал.

Никто из предшественников тоталитаристов не поглощал людские души так всеобъемлюще, до утраты личных притязаний, не стремился подавить личность навсегда, а не только в момент коллективного героического действия.

В данном пункте Арендт переходит к анализу особенностей российской ситуации. Ее отличие от германской она формулирует так: в рейхе раздробленное, или, как она выражалась, атомизированное, общество возникло как бы само по себе, в русле естественно развивавшегося исторического потока; в России же классы продолжали существовать и после революции, а потому режим Ленина она не считает тоталитарным, но лишь - однопартийной диктатурой. Создание тоталитарной модели явилось, по Арендт, более поздним историческим явлением и - личной заслугой Сталина.

Строй однопартийной диктатуры необязательно вел к тоталитаризму. Он лишь добавляет еще один класс - бюрократию - к тем, которые уже имелись. По определению Маркса, такой класс «владел государством, как своей частной собственностью».

На момент смерти Ленина в России существовал класс крестьян, класс рабочих и класс управляющей бюрократии, прежде всего партийной. Эти классы Сталину и предстояло уничтожить, чтобы подготовить Россию к переходу от однопартийной ленинской диктатуры к тоталитарной системе.

Начал Сталин с уничтожения остатков власти Советов. Затем приступил к ликвидации классов. Крестьяне были самым мощным из них, и их ликвидация была самой жестокой - посредством массового голода и массовых ссылок. Уцелевшие поняли, «кто в доме хозяин», - никто в обществе их не поддержал, они остались абсолютно одинокими. Следующий класс, подлежавший ликвидации, - рабочие.

Вершиной процесса «деклассификации России» явилась ликвидация партийно-советской бюрократии, той, что осуществила для Сталина предыдущие ликвидации: было уничтожено примерно 50% партийно-советского персонала, ликвидирована или «вычищена» примерно половина кадрового состава партии (и, конечно, многие миллионы беспартийных в придачу). Ликвидация классовой самостоятельности номенклатуры превратила ее в еще один отряд в необъятном массиве рабсилы принудительного труда. Пиком этого этапа стало уничтожение высшего аппарата ОГПУ-НКВД - впредь этот аппарат уже никогда не представлял собой самостоятельной структуры в системе власти.

Необходимый тоталитарной системе окончательный разрыв «горизонтальных» связей (Ханна Арендт называет это явление «атомизацией») в советском обществе достигался периодическими кампаниями - «чистками». Были установлены особые уголовные обвинения - «связь с врагом народа» и «потеря бдительности». Следствием этих обвинений явилось то, что если кого-то в чем-то обвиняли, то друзья, спасая себя, бежали в парторганы с инициативной информацией, доказывая, что дружба или приятельство были предлогом для «разоблачения врага». Простая предосторожность требовала теперь избегать в быту необязательных контактов, «ненужных откровенностей». Даже откровенностей родителей с детьми…

Но для чего тоталитаризму атомизация? Дело в том, что тоталитарные движения, по сути, - массовые, состоящие из особей, которые должны быть лишены горизонтальных связей в обществе, чтобы для них остались существовать только вертикальные связи - неограниченная, безусловная и неизменная преданность вождю на самой вершине. Такой преданности можно добиться лишь от людей, у которых в жизни не осталось ничего - ни семьи, ни верных друзей, ни честных сослуживцев, знакомых: все должны быть способны предать, когда настанет «момент истины»… Единственное надежное место для человека - членство в коллективе единомышленников-партийцев.

Однако одиночества, изолированности - мало... Полная идейная преданность должна исключать конкретное содержание в самой проповедуемой идее. Человек по природе слаб, он устроен весьма странно и, если в чем-то конкретном убежден, то, размышляя, может додуматься до чего-то нежелательного. К своему несчастью, уже при возникновении тоталитарные движения обзавелись программами - так уж в истории получилось! Но и самая лучшая для Движения программа есть помеха тоталитаризму. Великим достижением Гитлера Ханна Арендт считает то, что Движение, созданное им из «дремучего националистического сброда», было избавлено от памяти о его былой партийной программе. Нет, в ней не изменили ни слова! Просто Гитлер отказывался говорить о ней с кем-либо, тем паче обсуждать ее. В «Майн кампф» он так сформулировал свою позицию: лучше иметь устаревшую программу, чем обсуждать ее пункты: «Как только мы начнем властвовать, программа придет сама собой. На первом месте должен быть невиданный напор пропаганды. То есть - политическое действие» (а не теоретические, программные рассуждения).

Задача Сталина в этом случае оказалась труднее, чем у Гитлера. Социалистическая программа большевиков была много более логически и интеллектуально весомым документом, чем нацистские «25 пунктов» Готфрида Федера, человека полупомешанного, экономиста-дилетанта. Сталин добился такого же результата, устраивая зигзаги «генеральной линии партии»… (анекдот, приписываемый знаменитому остряку большевику Карлу Радеку. Он якобы в ответ на стандартный вопрос партийной анкеты: «Были ли колебания в проведении линии партии?» отвечал: «Колебался вместе с партийной линией»). Бесконечные перетолкования выхолостили из связ-

ного и на свой лад логичного учения марксизма всякие остатки содержания. Отныне никакое марксистское образование не могло помочь партийцу понять, что потребно партии. Просто повторяй все сказанное Сталиным - и ты уже в курсе генеральной линии! Это привело в итоге к тому же истовому исполнению повелений партии, что и в Германии, и с тем же отсутствием попыток понять, что именно ты делаешь. Арендт считает, что идеал подобного поведения выражен в девизе СС: «Наша честь - в верности». Точка.

Ханна Арендт обращает внимание на чрезвычайно важное, по ее мнению, различие между однопартийной диктатурой (тиранией) типа той, что была установлена в Италии, и тоталитарными режимами в Германии и СССР. «После первой мировой войны продиктаторская волна переворотов захватила почти всю Европу, но даже Муссолини не пытался установить полноценный тоталитарный режим, он ограничился однопартийной диктатурой». Нацисты с презрением отзывались о режимах муссолиниевского, «этнического», как они выражались, типа, противопоставляя ему «идеологическое государство фюрера». Геббельс: «Фашизм ничем не похож на национал-социализм. Последний идет вглубь, к корням, первый же - поверхностное явление... Дуче - не революционер, как Гитлер или Сталин. Он так привязан к своему итальянскому народу, что ему не хватает широты мирового революционера и мятежника». Нацисты зато с восхищением отзывались об СССР и даже о... компартии Германии. Рем: «Многое разделяет нас с коммунистами, но мы уважаем искренность их убеждений и готовность добровольно приносить жертвы, и это объединяет нас с ними». А вот и фюрер *(на совещании рейхс- и гауляйтеров в мае 1943 г.)*: «Факт, что в этой войне встретились лицом к лицу буржуазные и революционные государства. Нам было бы легко разделаться с буржуазными странами, ибо они сильно уступают нам в воспитании народа, в духе целеустремленности. Страны с идеологией имеют преимущество перед буржуазными государствами. На Востоке же мы встретили противника, который тоже использует силу идеологии. Хотя и плохой».

Истинная цель фашизма есть захват власти, после чего устанавливается прочное диктаторское правление. На большее однопартийная диктатура и не претендует. Тоталитаризму же недостаточно захватить и удержать машину государственного насилия. Используя механизм идеологии, ее возможности в аппарате принуждения, тоталитаризм открывает новый способ господства и устрашения: господство над человеческими душами. Потому-то сама власть и воля лидера к власти - лишь инструмент Движения, не более того. Не цель! Вождь, обладающий рычагами власти, но без власти на душами подданных - никто, фикция. Гитлер: «Все, что вы есть, вы есть со мною. Все, что я есть, я есть только с вами... Мышление существует только через отдачу и исполнение приказов» *(стр. 432)*. То есть даже теоретически снималось различение мышления и действия, правителей и управляемых.

Но тогда к чему тоталитаристы в итоге движения стремились? По Арендт, конечной цели в их политике не существовало. Практическая цель

- втянуть в орбиту организации как можно больше людей и не давать им успокоиться - никогда! Насильственный захват власти - лишь средство, лишь благоприятная переходная стадия для осуществления подобного замысла. «Национал-социализм как мировоззрение, как идеология не оставит свою борьбу, пока его основополагающие ценности не сформировали образ жизни каждого немца. Сами эти ценности всегда приходится утверждать заново» *(стр. 433)*.

Однако что за загадочная штука - «основополагающие ценности»? Что это за неодолимая сила - идеология, которая удерживала подавляющее большинство населения цивилизованных держав в состоянии языческого идолопоклонства перед своими лидерами?

«Идеология отличается от точки зрения тем, - заявляет Ханна, - что она претендует на обладание ключом истории, разгадкой проблем мироздания, полным знанием законов, управляющих природой и человеком» *(стр. 230)*. Идеологий человечество породило немало, но лишь две из них победили в XX веке в конкурентной борьбе за умы европейцев, лишь две сделались доктринами великих континентальных держав: система идей, которая рассматривала всю историю как борьбу классов, и та, что истолковала историю как естественный процесс вечной войны рас. (Последняя захватила Западную Европу - отнюдь не только Германию…)

И марксистско-ленинская, и национал-социалистская идеология претендовали на научность: сама конечная часть слова - «логия» эту их амбицию выдает. Но на деле, считает Арендт, это была даже не лженаука и не лжефилософия: «Идеология есть то, что буквально выражает это название: логика идеи… К истории прилагается идея. В результате появляется не совокупность утверждений о чем-то, как бывает даже в псевдонауках и псевдофилософиях, а развертывание логики процесса истории в непрерывном изменении… Как будто события истории следуют некоему "закону", тому, что содержится в логическом изложении "идеи"» *(стр. 608)*. Идеологи уверяют, что они знают таинства мировой истории посредством логического развития некоей открытой основной аксиомы истории!

Ханна Арендт особо оговаривает: идеологии не интересуются чудом живого, непредсказуемого бытия. Например, казалось бы, в такой расистской идеологии, как нацизм, должны были хотя бы интересоваться проблемами реальных рас. Ничего подобного! В практической политике вопрос «расы», изучаемой с научной точки зрения, никого в Германии не интересовал. Гитлер, например, вел деловые переговоры о военном сотрудничестве с таким чистокровным представителем семитской расы, как иерусалимский муфтий Амин аль-Хусейни, - ничто ему не мешало… И вернейшим союзником «арийцев» считались представители «желтой расы», что с точки зрения их же «расовой науки», конечно, выглядело парадоксом. Термин «раса» у фюрера считался только «инструментом», объясняющим ход истории в качестве процесса. История в этом варианте означала нечто, что можно не высвечивать, изучая факты и информацию, а вычислять, используя идею - «войну рас». История рассматривается как некое материальное

следствие развертывания идеи, и не нужен никакой внешний повод, чтобы привести ее в движение, кроме вот этой «чистой идеи». У нацистов - идеи войны рас, а у марксистов - идеи классовой борьбы.

Ханна Арендт считает, что все идеологии (не только тоталитарные!) обладают тремя общими свойствами:

1) идеологическое мышление начинают с произвольно принятой посылки и выводят из нее все остальное - то есть мышление протекает с последовательностью, не существующей нигде в действительном мире. Оно может выстраиваться по законам простой логики или же диалектики, но в обоих случаях предполагается, что человеку дано освоить надчеловеческие природные или исторические процессы. Движение мысли не вырастает из опыта, а, как выразилась Арендт, «самопорождается» из однажды принятого на веру и слепленного наскоро исходного материала. Мысль вырвана из потока реального опыта человечества, посылка, отправная точка рассуждения, раз и навсегда установлена, жизнь на мысль больше не влияет;

2) идеологии объясняют не то, что есть, а то, что находится в становлении. Иначе говоря - историю и футурологию;

3) чтобы освободиться от всякого опыта, в каждом общественном событии отыскивается сокровенный смысл, подозреваются некие тайные намерения. Идею «вражеского окружения» сменит идея «заговора», к реальным чувствам - дружбе, вражде - примыслят что-то иное, мистически познаваемое...

Наряду с системой внешнего принуждения, самопринудительная сила идеологии подготовила каждого члена тоталитарного общества к осуществлению террора. Она запускала как стартер последующую машину убийств и поддерживала ее в постоянном движении.

Теряя все горизонтальные связи общественного опыта, доверяясь чистой логике идеи, человек терял возможность мыслить и учиться на опыте - своем и других. Идеальный подданный тоталитарного государства был вовсе не убежденный коммунист или убежденный нацист, это был человек, для которого исчезли различия между фактом и выдумкой, между истиной и ложью.

Особый вопрос, которому Ханна Арендт посвятила отдельную главку: почему идеи нацистов (и коммунистов) были привлекательны не только для толпы, но для элиты общества, почему так много звезд искусства и науки числилось среди сочувствующих или даже официальных членов партии (вспомним в России Блока и Маяковского, Брюсова и Пастернака, Штернберга и Родченко...).

Развал классовой и национальной систем вызвал крушение самодовольно-фальшивого лоска «порядочного общества», привел к распространению анархического отчаяния в жизни, отвращению к любой власти и ненависти к простым житейским приличиям. Уже накануне войны, в 1914 году, отвращение к всеобщему лицемерию и пошлости охватило почти всю культурную элиту общества. Она, например, не обманывалась патриотической ложью о «защите отечества», но все-таки ею овладела тревожная надежда, что

былые знания, культура, весь отвратительный строй жизни потонут теперь «в стальных бурях» *(Э. Юнгер)*, в «очищении и искуплении» *(Т. Манн)*. Невероятно, но объявление жуткой и бессмысленной европейской бойни вызвало неподдельное воодушевление в обществе - и в России, и в Германии. И задолго до Геринга с его «Когда я слышу слово "культура", я хватаюсь за револьвер», Брюсов писал:

Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

Легко, пишет Ханна Арендт, заклеймить эту вспышку нигилизма - Ницше и Сореля, Рембо и Лоуренса, Мальро и Брехта, Бакунина и Блока... «Легко проглядеть, насколько оправданным было это отвращение к буржуазному миру, эта мечта о гибели фальшивой безопасности, поддельной культуры, притворной жизни» *(стр. 436)*. Но если Ницше мечтал о переоценке ценностей общества, Сорель - о перестройке политической жизни, Бакунин - о возрождении человеческой подлинности, Рембо - о страстных экзотических приключениях, то тогдашнее «фронтовое поколение» увидело высшие ценности в разрушении, в гибели, в отказе от нормальной жизни. Ужасающий опыт войны не сделал их пацифистами, они продолжали дорожить фронтом, отделявшим их от «порядочного общества», война дала им опыт голого разрушения, крохотного колесика в маховике массовых убийств. Война казалась символом смерти, великим уравнителем, где не существовало ни глупых привилегий, ни предрассудков, ни классовых перегородок... Гитлер именно к чувствам «фронтового поколения» постоянно и взывал! Слепая приверженность ко всему, что так называемое «порядочное общество» запрещало: к насилию, жестокости, власти - возводилось теперь в добродетель, чтобы только оскорбить гуманистически-лицемерное общество, породившее омерзительный мир.

Им нравилась активность, «чистое действие» тоталитарных движений: оно напоминало фронт. Терроризм использовался ими для самовыражения и самолюбования громкими делами. Это был примерно тот же дух, который заставлял Геббельса объявить: «Мы знаем, как уйти так хлопнув дверью, что нас не забудут вовеки!»

Любопытная психологическая деталь, отмеченная в духе эпохи Ханной Арендт. «Толпы» плебеев мечтали, как и Геббельс, войти в историю, войти любой ценой - даже всеобщего разрушения: «Величайшее счастье современника - либо быть гением, либо служить ему». Но элита, она как раз принимала лозунг анонимности всерьез: все теории искусства 20-х гг. пытались доказать, что идеал - продукт умения, мастерства, логики, возможностей материала, но только не личной одаренности! Говоря словами Робеспьера, культурная элита поколения силилась утвердить величие человека на фоне ничтожности всего истинно великого в мире.

С особым смаком наслаждения элита наблюдала, как исключенные из общества люди прокладывали дорогу силой, любовалась всяким погромом

«благопристойности» - ну, например, как «стальные бароны» заискивали перед ничтожным отставным ефрейтором Гитлером: за такое удовольствие можно было даже разрушить цивилизацию. Грубые и бездарные исторические подлоги фюреров им были очевидны, но - только забавляли... И зачем кому-то нужен диамат Маркса, когда так просто сочинить «заговор трехсот семейств»? Кому нужен мудрящий Гобино, когда в наличии «Протоколы сионских мудрецов»? Зачем изучать католицизм? Разве нет брошюрок про иезуитов? Официальная история казалась просто фасадом для одурачивания обычных людей - потому и подлоги нацистов и коммунистов чудились лишь обычным приемом для выставления всеобщей фальшивости на виду у всех. Подлоги и обманы даже зарабатывали более высокий балл в истории, когда за ними встала реальность марширующей толпы, черпавшей именно в фальшивках истинное вдохновение!

Вульгарность, грубость, цинизм воспринимались как новый стиль жизни, как духовная отвага! Как было не восхититься, например, пассажем Рема: «Правят лицемерие и фарисейство. Нет ничего более лживого, чем так называемые моральные устои. Настоящие парни не видят дороги в мире двойной морали буржуазии и не знают, как отличить истину от заблуждений». Казалось, элиту охватил пафос самоотречения, похожий на своеобразное бескорыстие масс. Проблемы «масс» и элиты как бы сблизились, что способствовало победе тоталитарных движений в России и Германии. Всех увлек пыл разрушения ценностей, убеждений, учреждений - тот же Маркс, например, с его пророчеством отмирания государств, наций, семьи, та же большевистская Россия, которой восхищались не только коммунисты, но и нацистские интеллектуалы, ибо «в ней революция была религией и философией, а не только борьбой в сфере политики» *(Н. Бердяев)*. Возник исторический союз революционеров и преступников.

Но просчитались и те, и другие. Вождям нацизма скоро стало понятно, что активность преступного элемента угрожает их нацеленности на тотальный контроль. К тому же опыт показал, что преимуществу преступников - аморальности обывателя обучить легко и для репрессивной машины сей обыватель куда более полезное существо, чем самые страшные преступники, - нужно всего лишь придать жутким преступлениям вид обычной упорядоченной работы!

Гиммлер, выделившийся в партии поздно, лишь в 1936 г., не был ни фанатиком, ни авантюристом, ни маньяком - в отличие от «вооруженной богемы» старых членов партии, которая напоминала Арендт анархически-бунтарскую культурную элиту: «Человек изысканной вежливости, приверженный простым радостям жизни... Я не встречал никого в Германии нормальнее его», - писал британец Стефен Робертс. Именно Гиммлер создал структуру мощнейшего орудия тотального государства - тайной полиции, исходя из убеждения, что большинство людей - не чокнутые интеллигенты, не социальные неудачники, а вполне добропорядочные люди. Гиммлер ориентировался на типичного немца - мелкого буржуа, с его обыденным преобладанием частного интереса - например, семьи и карьеры, - человека,

который на общемировом пепелище беспокоится лишь о личной и своих близких безопасности. Оказалось, самое легкое - разрушать частную жизнь людей, не думающих ни о чем, кроме своей частной жизни.

«О соблазненных же представителях элиты нужно сказать: эти безрассудные дети века изначально обречены при тоталитаризме. Интеллектуальная, духовная, художественная инициатива так же противопоказана тоталитаризму, как бандитская активность "толпы": обе виделись вождям опаснее обычной политической оппозиции. Вожди не просто отторгали "культурную муть" - то, что не могли понять, хотя и этот момент в их жизни присутствовал. Тотальное господство вообще не допускает свободной инициативы, не терпит непредсказуемой деятельности. Тоталитаризм, придя к власти, неизбежно избавляется от всех талантливых людей, хотя бы те вначале и помогали ему. Он заменяет их исполнительными болванами и тупицами, у которых само отсутствие умственных способностей служит гарантией верности» *(стр. 449)*.

Большевики отличались от нацистов одним: они убивали свои первоклассные таланты, а нацисты тех всего лишь выгоняли с работы.

«Чего не могли понять ни элита, ни толпа, пылко влюбленные в нацизм?» - спрашивает Ханна Арендт и отвечает цитатой из нацистского «требника»: «Никто не может принять Порядок случайно. Превыше личного желания служить, вообще независимо ни от чего стоит неумолимая необходимость Отбора. Он не знает ни смягчающих обстоятельств, ни милосердия» *(стр. 450)*. То есть отберут во власть лишь тех, кто ей удобен, а на заслуги и таланты - начхать... Тот же принцип и так же четко работал при большевистском режиме.

Суть и цель тотального господства, как его поняла Ханна Арендт, в том, чтобы свести бесконечное множество человеческих личностей к некоему общему знаменателю. Сделать каждого человека совокупностью раз и навсегда определенных психических и физических реакций (рефлексов), а если возникнет нужда - чтобы можно было заменить эту совокупность другой, но схожей и обязательно единообразной. В конечном итоге - соорудить животный вариант «гомо сапиенс», вся свобода которых сводится к сохранению вида. Гитлер, кстати, говорил об этом открыто, заявляя, что он «стремится к созданию условий, где каждая личность знала бы, что живет и умирает ради сохранения своего вида». Или метафорически: «Муха откладывает миллионы яиц, и все они погибают. Однако мухи остаются» *(стр. 568)*.

Так вот, концлагеря видятся Арендт некими лабораториями, где проводились опыты по выведению этой новой породы человека, лишенного свободы выбора, права на произвольные деяния. Подобный эксперимент возможен только в лагере, и потому-то лагерь является самой сутью любой тоталитарной системы.

Пишущим о лагерях уничтожения иногда самим кажется, что «это невозможно, такие вещи не могут быть правдой... Это кошмарный сон, привидевшийся мне». Вот разговор узников из книги Давида Руссе:

«- Кто не видел своими глазами, не поверит. Сами-то вы до лагеря принимали всерьез слухи о газовых камерах?

- Нет.

- Видите! И все так... Многие люди... даже в Биркенау, стоя прямо перед крематорием, за пять минут до отправки в подвал, еще не верили» *(стр. 570)*.

И это тоже было открытием нацистов: сама безмерность преступления должна сделать его невероятным. «Ложь, рассчитывающая на успех, должна быть чудовищной, чтобы никто не поверил, что так можно солгать» *(Гитлер)*. В нацистских листовках много раз открыто декларировали, что евреев будут уничтожать, как клопов, - с помощью отравы! «И никому это не помешало им не поверить» *(стр. 570)*.

Ведь в каждом из нас сидит либерал, вооруженный здравым смыслом. И для всего наш здравый смысл найдет подходящие исторические примеры. Например, массовые казни - они так похожи на революционный террор... Хотя ведь по-настоящему массовые казни при тоталитаризме начинаются именно тогда, когда внутреннее сопротивление подавлено. И мы начинаем убеждать себя: «Какая бессмыслица! Ведь этот террор уже никого не устрашает». Или - «что ж делать, революция пожирает своих детей» (хотя все «дети революции» давным-давно сожраны и отрыгнуты). Агрессивные войны? А когда их не было? Погромы покоренного населения? Что ж тут нового, да в Америке или Австралии целые народы истребляли. Концлагеря? В Южной Африке и Индии практиковалось «содержание под стражей нежелательных элементов с целью защиты»...

Ничто не ново под луной, и все старое было использовано нацизмом и коммунизмом. С одним, но до чрезвычайности новаторским отличием. Былой принцип «Все позволено» превратился в новый девиз: «Все возможно!». Его особенность, которая и сбивала с панталыку нормальных здравомыслящих людей, - это бескорыстие, отсутствие явной выгоды в злодеяниях невиданного масштаба. И наш добрый здравый смысл не в силах понять, что столь невероятные злодеяния можно совершать, исходя из таких бескорыстных, «непрактичных» мотивов. Это превосходит нашу способность понимать мир! Это не укладывается ни в одну из категорий преступлений, известных нам из опыта или из книг.

Скажем, массовое, как бы заводское, конвейерное производство трупов мы все-таки хотим видеть как «убийство». Мы пытаемся понять психологию узника, психологию палача - там, где психологию сознательно разрушили до фундамента, где самая суть получаемого продукта - именно неодушевленные люди, чью психологию нам нельзя понять, как, например, нельзя понять психологию рыбы или насекомого.

«Человек, прошедший лагерь, не становится лучше или хуже... Из ада не может получиться ничего благого. Убийство есть лишь ограниченное зло - обычный убийца не посягает на прошлое жертвы, на память и горе близких людей. Обычный убийца разрушает жизнь, но не факт существования человека» *(стр. 573)*. Нетрудно увидеть, что мнение Ханны Арендт совпадает с таковым колымского лагерника Варлама Шаламова.

Действительный ужас - не в убийствах, история, действительно, знала их много. Ужас в обезличенности убийства: человек погибает, как комар. Может умереть от пыток, а может просто от голода, а может потому, что лагерь переполнен и надо его «разгрузить». Или, наоборот: потребовалось приостановить работу конвейера смерти - на том же случайном основании: приказали «снизить смертность», такое тоже бывало, и нередко! Скажем, когда из 136 тысяч этапированных в лагеря в дороге умерло более половины, Гиммлер приказал поберечь людишек - на производстве они пока нужны. Или Сталин после войны распорядился о том же: на предприятиях стало не хватать людей, и прежний уровень смертности в лагерях уже не устраивал вождя. «Годить надо»... Тогда в лагерях появился хлеб в достатке!

Это жизнь вне жизни и смерти. Никакие исторические аналогии, на самом деле, не работают. Скажем, рабство... Но рабы-то считались инструментами для производства работ, поэтому, как всякие инструменты, они имели свою цену, и немалую, и, как всякая собственность, находились под надзором сограждан, законодательства.

Концлагеря напоминают Арендт сцены из загробной жизни: зэки, собственно, уже умерли, и только некий Злой дух развлекается, задержав их на какое-то время между жизнью и смертью.

Арендт говорит, что такова, в сущности, конечная, хоть и недостижимая, цель всякого тоталитарного движения - сделать человека ненужным именно как человека. Вместо него должно появиться некое двуногое животное, повинующееся командам и инстинктам. Поэтому гигантский аппарат террора не перестает работать даже тогда, когда все уже давно покорны: создается особый мир, где наказание отмеряется без связи с преступлением, где зверская эксплуатация осуществляется без получения прибыли, где все люди работают, но конечный продукт оказывается никому ненужным... Однако взгляните на эту картину глазами вождя! Если узники - просто паразиты, то их и следует морить газом. Если они дегенераты с рабскими душами, то не требуется проводить воспитательную работу. В лагерях не было никакой тоталитарной пропаганды, и по своим взглядам узники обычно ничем не отличались от охраны...

Напомним начало: идеология навязывает миру некий Сверхсмысл - ключ, разгадку истории и тайн Вселенной. Тут важно отметить сходство с паранойей: когда выбрана исходная посылка, то дальше параноик из нее может безупречно вывести, что, например, он - Наполеон. Здравый смысл беспомощен против этого Сверхсмысла: идеология содержит гордое презрение к реальности, особенно к человеческой способности изобрести нечто непредсказуемое и нелогичное. Тут мы, действительно, оказываемся на краю пропасти, в которую может рухнуть буржуазная эра прибылей, власти, империализма, экспансионизма. Ибо агрессивность тоталитаризма продиктована не жаждой прибылей или даже жаждой власти, но - идеей.

Никакая идеология, нацеленная на полное объяснение истории и предсказание будущего, не смирится с непредсказуемостью мира. А сама не-

предсказуемость обусловлена тем, что люди являются творцами, вносят в мир новое, никем не предвиденное и не предсказанное. Следовательно, конечная цель тоталитарной идеологии - не переделка мира, не революционное обновление общества, но - изменение человеческой природы.

Концлагеря и есть опытные лаборатории этого процесса.

«Возникло зло, которое не может быть ни прощено, ни понято, - оно находится вне нормальных человеческих мотивов, пусть даже греховных. Это напоминает кантовское понятие абсолютного Зла - "извращенной злой воли"» *(стр. 595)*. Пока для огромного числа людей понятие нищеты и «бездомности» наполнено реальным смыслом, тоталитарные идеи, предлагающие быстрое решение проблем избыточных и, по сути, нигде не укорененных масс, становятся сильным соблазном. И он грозит возникать в будущем снова и снова, если цивилизация не найдет меры, способные смягчить социальные и экономические страдания "достойным людей способом"» *(стр. 596)*.

Итоговое рассуждение Ханны Арендт: «Независимо от национальных и духовных традиций, тоталитаризм в любой стране мира:

1) превращает классы в массы;

2) уничтожает многопартийную систему, но заменяет ее не диктатурой одной партии, а Движением масс;

3) главной силовой структурой становится не армия, а полиция;

4) внешнюю политику открыто переориентируют на мировое господство.

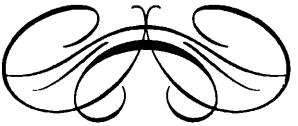
Хотя тоталитаризм развился из однопартийной диктатуры, он был принципиально иной системой правления» *(стр. 597)*.

Преступления нацистов и коммунистов явились результатом не просто их агрессивности, вероломства, жестокости - подобных преступлений мир знает много, и в них нет ничего нового. Дело в другом: они окончательно и бесповоротно порвали с «обычным правом», которое в рамках так называемого международного права очерчивает границы современного цивилизованного мира.

Конечно, как и тирания, тоталитаризм несет в себе семена собственного уничтожения. Но это - опасная ситуация: при современных средствах террора и уничтожения мир может быть разрушен раньше, чем тоталитаризм дозреет, наконец, до своей гибели. И нужно всегда помнить: возникла новая форма управления людьми, тоталитарная, всеохватывающая идеологическая диктатура, и она как постоянная угроза и опасность останется с нами надолго.

«Но остается истиной, что каждый конец в истории таит в себе новое начало - и оно есть залог будущего. Дар начинания нового есть высшая способность человека. В политическом отношении этот дар соответствует человеческой свободе. "Начало свершилось: человек сотворен был", - сказал Блаженный Августин. Это начало гарантировано каждым новым рождением, оно и в самом деле воплощено в каждом человеке» *(стр. 622)*.





Елена Игнатова

ПЕТЕРБУРГ: ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

Известная иерусалимская поэтесса и писательница Елена Игнатова только что опубликовала вторую книгу своих очерков о Петербурге 20-х годов XX века (СПб.: Амфора, 2003). Тираж ее разошелся за несколько недель. Как и первая книга писательницы, эта новая работа насыщена ранее неизвестным материалом, поднимает огромный пласт мемуаров и дневников, живых свидетельств и газетных статей и создает достоверную картину тогдашней жизни. Предлагаем читателям две главы из новой книги Елены Игнатовой.

1. КРОНШТАДТСКОЕ ВОССТАНИЕ

В марте 1921 года X съезд РКП(б) отменил политику военного коммунизма, потому что ее продолжение угрожало большевикам потерей государственной власти. Ленин увидел опасность раньше своих соратников и первым заговорил о необходимости перемен. В 1926 году Луначарский вспоминал: «Ленин никогда не боялся выпячивать свои ошибки. Например, на одном собрании он заявил: "Военный коммунизм был ошибкой!". Мы все пришли в ужас от такого заявления. Конечно, военный коммунизм не был ошибкой, а был неизбежностью. Владимир Ильич ответил: "Если мы выпятим то, что военный коммунизм был неизбежностью, от него будут отказываться лениво и медленно. А если мы будем кричать, что он был ошибкой, наше дело двинется вперед"».

Отказ от военного коммунизма и провозглашение нэпа было вынужденной мерой, так как против большевиков выступили те слои населения России, при чьей поддержке они пришли к власти. Во всех областях страны вспыхивали крестьянские бунты, а восстание тамбовских крестьян, возглавленное А. С. Антоновым, грозило перекинуться на соседние губернии. В городах периодически происходили рабочие волнения, в одном из частных писем, отправленном из Петрограда в августе

1919 года, сообщалось: «Рабочие Путиловского завода хлопочут, чтобы на время закрыли все заводы и отпустили за продуктами, тогда будем работать, а сейчас голодны и не станем работать». Кроме того, в конце февраля 1921 года взбунтовались моряки Кронштадта. Восстание в Кронштадте, крестьянские восстания и рабочие волнения вынудили власть отказаться от режима военного коммунизма.

Кронштадтцев в Петрограде не любили, с ними связывали самые жестокие события революционной поры, ведь уже «бескровная» Февральская революция началась в Кронштадте с кровопролития. Представитель большевиков в Кронштадте Ф. Ф. Раскольников вспоминал, как ночью 28 февраля 1917 года «воинские части одна за другой с оркестрами музыки стали выходить на улицу и присоединять к себе остальных солдат и матросов... Под утро толпа матросов подошла к дому главного командира порта и потребовала его на улицу. Адмирал Вирен оделся и, выйдя на улицу, скомандовал: "Смирно". Эта неуместная команда была встречена бурными взрывами хохота... К адмиралу подскочил матрос и сорвал с него погоны. После этого его окружили и повели на Якорную площадь», где герой русско-японской войны адмирал Н. Р. Вирен был растерзан толпой. В тот же день погибли контр-адмирал А. Г. Бутаков и еще 35 офицеров, а многие избежавшие расправы офицеры были арестованы. Раскольников упоминал об издевательствах над ними: «В арестном помещении полуэкипажа находилось в заключении несколько офицеров, которых командир полуэкипажа трудолюбиво обучал пению "Интернационала", *похоронного марша и других революционных песен*» (курсив мой. - *Е. И.*). Так же расправлялись с офицерами на базе Балтийского флота в Гельсингфорсе. 7 марта 1917 года З. Н. Гиппиус записала: «В Кронштадте и Гельсингфорсе убито до 200 офицеров... Адм[ирал] Непенин телеграфировал: "Балтийский флот, как боевая единица, не существует. Пришлите комиссаров [Временного правительства]". Поехали депутаты. Когда они выходили с вокзала, а Непенин шел им навстречу, - ему всадили в спину нож». Командующий Балтийским флотом адмирал А. И. Непенин был убит на глазах у депутатов правительства (по другим свидетельствам, не ножом, а выстрелом в спину). Когда его адъютант получил разрешение Совета матросских и солдатских депутатов «на изъятие тела адмирала Непенина, [он] поехал и обыскал несколько свалок трупов офицеров».

Позднее такие свалки появятся в Севастополе, в Симферополе, где расстрелы офицеров начались с декабря 1917 года, и в Одессе, где в 1918 году было убито более 400 офицеров флота. Надо иметь в виду, что к началу 1917 года офицерский корпус российского флота составлял 5248 человек, а при Временном правительстве в офицеры было досрочно произведено еще 250 гардемарин. Таким образом, ко времени октябрьского переворота на флоте служили пять с половиной тысяч офицеров; для подготовки офицеров военно-морского флота требовались годы, и они по праву считались элитой российских вооруженных сил. За развал флота, за уничтожение его командного состава в будущем России

пришлось заплатить непомерную цену, и первыми в этом преступном деле были не вожди большевиков, а матросы Балтийского флота.

После Февральской революции Кронштадт зажил по собственным законам: в мае 1917 года его Совет депутатов решил взять власть в свои руки, объявить Кронштадт республикой, и Временному правительству удалось поставить там своего нового представителя только в июне. Особую надежду возлагали на матросов занятые подготовкой переворота большевики, и в июле 1917 года Троцкий величал балтийских моряков «красой и гордостью русской революции». Матросской вольнице были по душе самые крайние лозунги, поэтому большевики и анархисты имели в Кронштадте примерно равное влияние. В биографии вождя кронштадтских анархистов Ярчука много общего с биографией Володарского: он был выходцем из еврейского местечка, эмигрировал в США, работал там на швейной фабрике, а после революции вернулся в Россию. Ярчук был сильным митинговым оратором, так что два бывших американских портных воспламеняли революционными речами сердца в Петрограде и Кронштадте. Желанным гостем в Кронштадте был глава петроградских анархистов-коммунистов Блейхман (Солнцев), который вошел в историю тем, что в 1918 году предлагал Петросовету собрать петроградских буржуев в одном концлагере и взорвать их там всех сразу.

В июльские дни 1917 года кронштадтцы по призыву большевиков появились на улицах Петрограда. «При нашем появлении, - вспоминал Раскольников, - многие окна открывались настежь, и целые семейства богатых и породистых людей выходили на балконы своих роскошных квартир. И на их лицах было... выражение нескрываемого беспокойства и чувства шкурного, животного страха». Страх и тревога, охватившие город, отразились в дневниковой записи З. Н. Гиппиус: «...дни ужаса 3, 4 и 5-го июля, дни петербургского мятежа... Кронштадтцы - анархисты, воры, грабители, темный гарнизон явились вооруженными на улицы». Горожане страшились не зря - в Кронштадте, как в огромном котле, вызревали самые темные, жестокие силы революции. В отличие от солдат столичного гарнизона, матросы составляли сплоченные боевые отряды, которые сыграли решающую роль в событиях переворота 25/26 октября, а через несколько дней - в разгроме юнкеров и в расправе над пленными юнкерами, садизм которой потряс Петроград: перед расстрелом им выкалывали глаза, отрезали половые органы и т. д.

Современники усматривали в таких акциях проявление психической патологии, царившей в матросской среде. Не случайно статья В. Бонч-Бруевича с описанием диких радений кронштадтцев, «сатанинских» песен и плясок смерти среди символических «задушенных» тел, названа «Странное в революции». Трудно объяснить причину этого взрыва темной энергии. Возможно, она отчасти была связана с особенностями службы: призванные на флот крестьянские парни оказывались в особой, разительно не похожей на их прежнюю жизнь среде. Островной Кронштадт был как бы обособлен от внешнего мира; и корабли, на которых матросы слу-

жили по несколько лет, тоже были «островами»: экипаж большого судна составляли полторы - две тысячи человек. Неравенство офицеров и рядовых на флоте ощущалось резче, чем в сухопутных войсках, служба была тяжелее, дисциплина - жестче, и в этой замкнутой среде вызревали семена ожесточения и ненависти. Матросы выделялись жестокой одержимостью и во время гражданской войны, а позже многим из них было трудно вернуться к нормальной жизни. Историк Мельгунов писал в 1923 году: «В России в последнее время в психиатрических лечебницах зарегистрирована как бы особая "болезнь палачей"... мучающие совесть и давящие психику кошмары захватывают десятки виновных в пролитии крови. Наблюдатели отмечают нередкие сцены таких припадков у матросов и др[угих], которые можно видеть, например, в вокзальных помещениях на железных дорогах. Корреспондент "Дней" из Москвы утверждает, что "одно время Г.П.У. пыталось избавиться от этих сумасшедших путем расстрела"».

Люди, которые враждебно приняли поэму Блока «Двенадцать», иронически переиначивали ее финал: по замершему, пустому Петрограду в «белом венчике из роз / Впереди *идет матрос*». Действительно, после переворота кронштадтцы вели себя в Петрограде, как завоеватели, им казалось, что диктатура победившего класса - это их, матросская диктатура. У «передового отряда революции» было немало черт, роднивших его с воинством Стеньки Разина: для них свобода-«волюшка» была возможностью разгуляться в богатом городе, грабить и убивать буржуев. По выражению З. Н. Гиппиус, матросы были «доморощенными гориллами на цепочке у мошенников - у шайки, нами, дураками, завладевшей и "правящей"». Они выделялись среди горожан: матрос - это обычно огромный детина (на флот отбирали рослых), увешанный оружием, с гранатами на поясе и с пулеметными лентами на груди (по выражению тех лет, «весь в пулеметах»). В матросской среде процветали пьянство и наркомания, и, возможно, «сатанинские» песни и пляски были их следствием. В городе их было много, очень много, они маршировали с оркестрами и знаменами, конвоировали арестованных, устраивали самосуды. «Я сама видела, - вспоминала Тэффи, - как смертник, которого матросы тащили на лед расстреливать, перепрыгивал через лужи, чтобы не промочить ноги, и поднимал воротник, закрывая грудь от ветра». В роли комиссаров и комендантов матросы появились в государственных учреждениях, и многие запомнили этих колоритных чиновников. К. И. Чуковский в дневнике 1918 года описывал коменданта петроградских Почт и Телеграфов Царева: «Комендант оказался матрос с голой шеей, вроде Шаляпина, с огромными кулачищами. Старые чиновники в вицмундирчиках, согнув спину, подносили ему какие-то бумаги для подписи, и он теми самыми руками, которые привыкли лишь к грот-бом-брам-стеньгам, выводил свою фамилию. Ни Гоголю, ни Щедрину не снилось ничего подобного. У стола, за которым помещался этот детина, - огромная очередь... Я сидел на диванчике, и вдруг меня осенило: "Товарищ Царев, едем сию минуту, вам будет знатная выпивка!" "А машинка есть?" - спросил он. Я вначале не понял. "Автомобиль", - пояснил

он"». Матросский жаргон прочно вошел в разговорную речь советского времени («братан, братишечка, братва», «дрейфить») и даже в официальный стиль: (командный термин «даешь!», «крепить») - «Даешь Перекоп!», «крепить союз» и так далее.

К матросам враждебно относились не только «буржуи», но и рабочие, которых раздражали претензии «клешников» (так звали матросов из-за форменных расклешенных брюк) на особые привилегии. У клешников были завидные пайки, они вселялись в барские квартиры и, по словам Г. А. Князева, «вселяясь, обставляют свои комнаты мебелью из особняков. Несут картины, бархатные стулья, пружинные кровати». Власть не испытывала к ним особого доверия, потому что матросы, в отличие от латышей, были мало управляемы, и не нуждалась в самосудах, поскольку уже был отлажен карательный механизм ВЧК. Матросская вольница не понимала, что пора ее «диктатуры» кончается, митинговала против унизительных условий Брестского мира и не подчинялась назначенным комиссарам.

13 октября 1918 года в Петрограде взбунтовался Второй флотский экипаж, моряки требовали расторжения Брестского мира, отказа от выплаты контрибуций Германии и власти Советов без большевистских комиссаров. Тогда Г. А. Князев записал в дневнике: «Прибежал бывший сторож в архиве к своей жене: "Слава Богу, большевиков свергают! Толпы матросов идут с музыкой и знаменами и кричат: "Долой Советскую власть!" И я не утерпел, крикнул". А ведь... в прошлогодние октябрьские дни раскатывал на большевистских вооруженных грузовиках с победителями по городу. У нас в комитете заседал. Чуть ли не на управление архивом претендовал... Прошла их пора. Пора господства уличной черни. Пришли снова немногие и укрепились. Чего он так боялся - отправки на фронт, от чего, думал, с приходом большевизма избавился, снова предстало перед ним - его отправляют на фронт. Ну, конечно, и бормочет теперь: "Проклятые большевики"». На другой день на площади у Мариинского театра матросы устроили митинг, вошли в театр, где в тот вечер шла опера Вагнера «Валькирия», вывели музыкантов оркестра и под музыку двинулись к Неве. Но экипажи стоявших на Неве кораблей отказались поддержать восставших, и им пришлось вернуться в казармы. Ночью казармы были окружены воинскими частями, многих матросов арестовали, а в Петроград приехал Троцкий, называвший за год до этого балтийцев «красой и гордостью революции». Он и на этот раз приготовил эффектную фразу: «Милость обманутым, горе обманувшим», и 11 зачинщиков выступления были расстреляны. Однако это не остудило горячие головы; 2 ноября Князев писал: «Среди матросов глухое недовольство властителями. На пожаре в Адмиралтействе, не стесняясь, поносили большевиков и грозились: "Только бы праздничек отпраздновать, а там мы покажем им"». Они не понимали, что праздник на матросской улице кончился.

Бывают странные совпадения исторических дат, в случайность которых трудно поверить: Февральская революция 1917 года началась с митингов на заводах, с шествий в центре города с требованием: «Хлеба, хле-

ба!» - и ровно через четыре года все повторилось. 24 февраля 1921 года на улицы Петрограда вышли многотысячные демонстрации, но теперь их разгоняли не казаки, а «красные курсанты» военных училищ, забастовали фабрики и заводы, среди них Балтийский, Путиловский, Обуховский, Трубочный. В этот раз масштаб забастовок был меньше, чем в 1917 году, по простой причине - в 1921 году многие предприятия не работали. Поводом для февральских забастовок 1921 года (их называли «волынками») стало очередное уменьшение пайка, и бастовавшие требовали увеличить хлебную норму, выдать положенные по карточкам обувь и одежду, уравнять пайки разных категорий трудящихся. Во время «волынок» были выдвинуты и политические требования - новых перевыборов в Советы, свободы слова и печати, легализации социалистических партий, отмены продразверстки и заградительных отрядов, свободы торговли. Кроме того, бастовавшие требовали отменить трудовую повинность и дать право рабочим-трудармейцам вернуться в родные места. «Трудовые армии», инициатором создания которых был Троцкий, по сути, были возвратом к крепостничеству: людей насильно мобилизовали на «трудовой фронт» и отправляли туда, где была нехватка в рабочей силе. Такие «работные люди» составляли 20% питерского пролетариата, они находились на казарменном положении и бедствовали еще больше, чем другие горожане.

На Балтийском флоте тоже было неспокойно. Его командующий Ф. Ф. Раскольников в январе 1921 года отправил в Москву телеграмму с доносом на кронштадтцев: «Окончание гражданской войны, отсутствие непосредственной военной опасности пробуждает среди моряков, утомленных долголетнею службою, естественную реакцию. Эта реакция проявляется не только в виде усталости, апатии, ослабления дисциплины, но она распространяется и против тех лиц, которые по воле партии до сих пор осуществляли на флоте твердую и неуклонную дисциплину». Раскольников умолчал о том, что кронштадтцев, в частности, «утомил» он сам и его окружение. За короткое время он сменил две трети командного состава и комиссаров флота, поставив на их места своих людей, начальником Политуправления Балтийского флота назначил своего тестя А. М. Рейснера, нашлись места и для других приближенных. Раскольников, внебрачный сын протодиакона Сергиевского собора и продавщицы винной лавки, принадлежал к новой аристократии, держался с подчиненными высокомерно и жил по-барски. Давно ли матросы убивали барчуков-офицеров, а теперь появились новые баре, не лучше прежних! Это вызывало ропот среди вернувшихся с гражданской войны кронштадтских матросов. Им жилось не лучше, чем рабочим, на флоте тоже урезали пайки, но больше всего их будоражило другое: основная часть матросов была из крестьянских семей, а деревня погибала от грабительской продразверстки. Из родных мест приходили отчаянные письма: «В деревне все отбирают, полную очистку делают. Первый декрет: каждому крестьянину полагается хлеба по 26 фунтов в месяц, это за то, что он работает 24 часа»; «у нас в деревне реквизировали хлеб, и у отца твоего, но они не хотели отдать как красноармейские

семьи. Твоего отца, когда он не хотел отдать, били прикладами»; «у нас в полном смысле слова голод, вторую неделю едим одну траву со своего огорода, даже варим лебеду»; «люди едят мох, дерево, мякину одну, без примеси муки, и живут все, не помирают... живучи люди».

События февраля 1921 года во многом повторяли начало Февральской революции - с демонстрациями, с попытками привлечь на свою сторону военный гарнизон, с неспокойным Кронштадтом. 27 февраля Г. А. Князев записал в дневнике: «В Петрограде волнения. Изголодавшиеся рабочие вышли, наконец, на улицу... Едущих в автомобиле стаскивают: поезжай на одиннадцатом номере (то есть пешком. - *Е. И.*)... У многих глаза прыгают от радости: "начинается!" Другие молчаливы и угрюмы». Из Кронштадта команды линкоров «Севастополь» и «Петропавловск» направили в Петроград делегатов, чтобы выяснить, что там происходит; делегаты вернулись в Кронштадт и рассказали об обстановке в городе. 27 февраля собрания судовых команд линкоров решили поддержать питерских рабочих, составленная матросами резолюция повторяла требования бастующих. Большевистские вожди тоже поняли: «начинается!» - и приняли срочные меры. В Петрограде ввели военное положение, а увещевать рабочих приехал из Москвы председатель ВЦИК М. И. Калинин. 27 февраля в газетах появилось сообщение о намерении правительства отменить продразверстку, Калинин пообещал убрать заградительные отряды вокруг Петрограда (их сняли 1 марта) и распустить по домам трудармейцев.

«Как и нужно ожидать, - записывал Г. А. Князев, - множество арестов. Арестовывают... профессоров и студентов некоторых учебных заведений... Рабочим выдана мука, мясо, обещали свободный проезд на 150 верст. Конечно, ищут шпионов, предательства. Но факт остается фактом - рабочие восстали против рабоче-крестьянской власти». В это время в Петроград прибывали эшелоны с продовольствием и топливом.

1 марта Калинин выступил на митинге в Кронштадте, и хотя настроения там не отличались от петроградских, в Кронштадте он никого не уговаривал и ничего не сулил, а вместо этого завел старую песню о «красе и гордости» и о заслугах матросов перед революцией. На митинг на Якорной площади собралось около 16 000 солдат и матросов гарнизона. Один из участников митинга, Иван Ермолаев, вспоминал: «Когда на трибуне появился Калинин, его... встретили аплодисментами, ждали, что он скажет. Но когда он опять стал говорить о заслугах моряков, о достижениях и трудностях Советской страны, снова раздались возгласы: "Хватит похвал! Скажи, когда отменят продразверстку? Когда перестанут душить мужика?" Калинин пытался как-то оправдать продразверстку, но тут на трибуну поднялся широкоплечий немолодой матрос и громко крикнул: "Хватит хвалебной болтовни! Вот наши требования: долой продразверстку, долой продотряды, даешь свободную торговлю, требуем свободного переизбрания Советов!"... В ответ Калинин стал упрекать участников митинга в том, что они затевают рискованную игру против Советской власти...». «Калиныч» должен был понимать, что упреки и угрозы бессмысленны, они

лишь разжигали страсти, и, вероятно, намеренно провоцировал взрыв. Митинг на Якорной площади закончился принятием резолюции с теми же, что у петроградцев, политическими требованиями. Калинин поспешил в Петроград, а за ним обреченную крепость покинули сотрудники карательных органов - Особого отдела и реввоентрибунала. Следующий день, 2 марта, ознаменовался несколькими событиями: в Петрограде и губернии было введено осадное положение; появилось правительственное сообщение о мятеже в Кронштадте, подписанное Лениным и Троцким; рабочие многих предприятий города закончили «волынку». А в Кронштадте делегаты от гарнизона, заводов и профсоюзов выслушивали угрозы комиссара флота Н. Н. Кузьмина и председателя кронштадтского Совета П. Д. Васильева. На этом собрании произошло решающее событие - был создан Временный революционный комитет. По свидетельству председателя ВРК С. М. Петриченко, это случилось так: атмосфера на собрании накалялась, и тут «один моряк взбегает к президиуму и начинает кричать: "Что вы здесь торгуетесь? Коммунисты ведь не спят, и Кронштадт уже окружен конницей. Нужны меры к самозащите!" Тут получилась настоящая паника... Наскоро президиум уполномочили принять на себя обязанности "Временного ревкома". Неожиданное для всех нас самих свершилось... Ревком предписал: "Всем товарищам оставаться на местах и честно исполнять свой долг перед Родиной"». В ответ на правительственное сообщение о контрреволюционном мятеже «ВРК обратился с воззванием: "Всем, всем, всем!.. Товарищи! Не верьте словам самодержавных комиссаров, уверяющих, будто в Кронштадте действует штаб белых офицеров во главе с генералом Козловским. Это наглая ложь. Кронштадтские товарищи предлагают вам немедленно присоединиться к Кронштадту и установить прочную связь, общими усилиями достичь долгожданной свободы"». Но петроградские рабочие не откликнулись на этот призыв, и ко дню первого штурма Кронштадта в городе закончились все «волынки».

Почему они не поддержали кронштадтцев? Здесь уместно вспомнить слова героя «Преступления и наказания», отставного чиновника Мармеладова: «...бедность не порок, это истина... Но нищета, милостивый государь, нищета - порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто». Если дореволюционное положение рабочих можно назвать бедностью, то послереволюционное - даже не нищетой, а чем-то запредельным. О настроении горожан свидетельствовали ежедневные секретные политсводки, которые составлялись в каждом райкоме Петрограда. Практику составления таких сводок, основанных на донесениях информаторов, большевики ввели в обращение сразу после переворота. Информаторы, прислушиваясь к разговорам на улицах, в очередях, на вокзалах, в заводских цехах и чайных, доносили об услышанном.

Это была старая, как мир, практика, такими же старыми, испытанными средствами были подкуп и клевета. Все это пустили в оборот: в газетах и на собраниях внушалось, что власть в Кронштадте захватили белые офи-

церы, чтобы восстановить монархию, что мятежников финансируют зарубежные белогвардейские центры; что на помощь им идет английская эскадра, а в крепости действуют иностранные шпионы. Все попытки восставших сообщить в город правдивые сведения пресекались, Кронштадт был блокирован, и береговая охрана задерживала всех, кто оттуда шел. Отправленная 6 марта для мирных переговоров делегация кронштадтцев была арестована, делегаты расстреляны, та же участь постигла следующие делегации. В Петрограде агитаторы убеждали рабочих, что матросы жируют за их счет, отсюда и нехватка продовольствия, и этому верили многие. Сыграла роль и давняя неприязнь к «клешникам». Информаторы доносили: «Отношение к клешникам враждебное», «часть рабочих проявляла заметное беспокойство о судьбе Петрограда... что в связи с мятежом может выступить Финляндия на стороне мятежников, а это создаст новую войну». В сводках приводились рассуждения рабочих: «Что клешникам не хватает... были одеты, обуты лучше других, а теперь натворили», «матросов надо проучить», «носились с клешниками, вот и доносились!»

Сводка 12 марта свидетельствовала об успехе официальной пропаганды: «Волнений никаких выдающихся не замечено, кроме недовольства на недостаток продовольствия, и это погашается их [рабочих] сознанием, что всему виноваты мятежники, по ликвидации которых рабочие снова заживут мирной трудовой жизнью». После забастовок рабочие получили невиданно щедрые пайки, в которые входили мясо и рис, а их малолетним детям полагалось по сто граммов шоколада и по банке сгущенки! Разгоревшиеся вокруг пайков страсти вытеснили все остальное, и недавние политические требования были забыты. Всюду «трения на заводах из-за выдачи неравномерных пайков», - доносили информаторы; «нарушают нормальный ход работы споры о распределении обуви и одежды, которое происходит по всем предприятиям. Это больше интересует рабочих, чем все кронштадтские события». Последние отзвуки «волынок» обернулись трагифарсом: рабочие 4-й парусиновой фабрики угрожали присоединиться к кронштадтцам, если начальству опять дадут муки, а остальным - нет. Можно ли осуждать рабочих за отступничество или можно понять их - ведь голод и нищета, как известно, убивают «благородство врожденных чувств».

Между тем в Петроград прибывали войска, руководство операцией было поручено командарму М. Н. Тухачевскому, к концу военных действий под его началом было 45 тысяч человек. В кронштадтском гарнизоне было около 27 тысяч матросов и солдат. Там был создан штаб обороны, в который вошли офицеры гарнизона, а комиссаром был назначен представитель ВРК Яковенко. И все же в Кронштадте надеялись, что дело не дойдет до кровопролития, и послали в Петроград делегацию для мирных переговоров. Но Тухачевский прибыл не для того, чтобы говорить о мире. Вечером 7 марта по его приказу был начат артиллерийский обстрел крепости, а на рассвете 8 марта войска пошли на штурм, но восставшие отбили атаку огнем с боевых кораблей и орудий береговой обороны. «Нас бросала молодость на кронштадтский лед», - писал Эдуард Багрицкий. В

то утро в атаку пошли три тысячи курсантов военных училищ, и пославшие их на штурм были убийцами: наступая по заснеженному льду без маскировочных халатов, они оказались мишенями, большинство их погибло или было ранено, многие утонули под разбитым снарядами льдом. Цинизм этой бойни был тем отвратительней, что в те же часы на открытии X съезда РКП(б) Ленин объявил о намерении правительства отменить продразверстку и о других уступках, которых требовали кронштадтцы, но в той же речи говорил о необходимости уничтожения мятежников.

В Петрограде царила тревога, по данным политсводок, «разговоры тихие, при приближении замолкают»; «на улицах, как и вчера, боязливость и отсутствие политразговоров»; «интеллигенция молчит»; «обыватель боится». Кое-что все же удалось подслушать - например, 9 марта в очереди толковали: «Комиссаров поприжмут теперь, лучше станет». В толпе рабочих информатору «разговоров уловить не удалось, так как идут все быстро, но были слышны возгласы: «так их и надо, и побьют их», но к кому относились эти слова, выяснить не пришлось». Все это время по приказу Тухачевского шли расстрелы в «неблагонадежных» воинских частях, в которых сочувствовали кронштадтцам или прямо отказывались воевать против них. 11 марта Г. А. Князев записал городской слух: «Кронштадтцы отбили три атаки с большим уроном для наступающих... Наступление ведется так. Впереди высылаются красноармейцы, а за ними курсанты с пулеметами, которые расстреливают всякого, кто не хотел бы идти вперед. Настроение у солдат самое тяжелое. Бросают винтовки, патроны и при первой возможности разбегаются». Но и среди петроградских военных училищ обнаружились «неблагонадежные»: большая часть курсантов Училища командного состава флота (ныне Военно-морское высшее училище им. М. В. Фрунзе) отказалась выступить против кронштадтцев. «Возникай содружество ворона с бойцом, / Укрепляйся мужество сталью и свинцом», - писал Эдуард Багрицкий. Он прославлял не этих курсантов, но их мужество было высшей пробы, а расплатой стало зловещее «содружество ворона с бойцом»: их погрузили в эшелон и повезли в южном направлении, якобы для службы на Черноморском флоте. «Мне не удалось, однако, найти подтверждения прибытия их в Севастополь или Николаев», - писал историк российского флота С. А. Зонин.

1 марта кронштадтцы отправили в Петроград новую делегацию для переговоров, но и на этот раз делегаты были арестованы, а позже расстреляны. В городе говорили, что из Петергофа видны пожары в стороне Кронштадта, Князев записал услышанное: «Ораниенбаум взят мятежниками, курсанты отказываются идти в наступление и не подчиняются комсоставу, все коммунисты перебиты во время последнего наступления». Шептались, что «подъем курсантов поддерживается тройным пайком и дачей спирта, две дивизии отказались идти в бой, после 9 часов возят расстрелянных», «что нет у нас снарядов и сил, половина курсантов перетонула подо льдом». Кронштадтцам сочувствовали немногие, горожане не хотели новых потрясений, тем более что 15 марта

съезд РКП(б) утвердил постановления об отмене продразверстки и о свободе торговли! А после торжественного закрытия съезда его делегаты отправились в Петроград «давить мятежников».

В Кронштадте понимали абсурд положения: после этих решений съезда борьба теряла смысл. Офицеры штаба обороны предлагали начать наступление на Петроград, где можно было надеяться на поддержку войск гарнизона, но «на такую братоубийственную бойню гарнизон [Кронштадта] не мог пойти. Вместо серьезного вооруженного сопротивления было решено уйти на финскую территорию, о чем ревком и договорился с правительством Финляндии», - вспоминал Иван Ермолаев. Кронштадтцы отказались от продолжения братоубийственной бойни, но большевистские вожди требовали от Тухачевского именно этого - уничтожения восставших. Тухачевский отдал приказ: «В ночь с 16-го на 17-е марта стремительным штурмом овладеть крепостью Кронштадт». На этот раз командарм основательно готовился к штурму, он решил обстреливать крепость химическими снарядами, но из-за неблагоприятной погоды газовую атаку пришлось отменить. Через несколько месяцев у Тухачевского будет возможность применить снаряды с отравляющим газом - при подавлении восстания тамбовских крестьян.

В ночь на 17 марта войска пошли в наступление, но стремительного штурма не получилось - передовые отряды атакующих прорвались в крепость лишь к 5 часам вечера, и бой продолжился на улицах. Тухачевский приказал «при действиях в городе широко применять артиллерию в уличном бою... Жестоко расправиться с мятежниками, расстреливая без всякого сожаления... пленными не увлекаться». Несмотря на численный перевес нападавших, в тот день им не удалось сломить сопротивление кронштадтцев. Ночью бой утих, и из крепости потянулась молчаливая вереница людей: больше 8 тысяч человек уходили в Финляндию. Эта черная цепь на заснеженном льду всю ночь связывала обреченный Кронштадт с чужим, финским берегом. После их ухода в городе продолжали обороняться отряды прикрытия и те, кто решил остаться. Только около полудня 18 марта они объявили, что сдаются и складывают оружие.

В Петрограде сообщили о подавлении мятежа. «Сегодня на фабриках и заводах было объявлено об успехах красных войск в Кронштадте. Это известие произвело двоякое впечатление. Часть рабочих вместе с коллективистами [коммунистами] шумно изъявляли радость по этому поводу... Другая же часть очень недоверчиво отнеслась к известиям, выражала сомнение, говорила, что эти новости дутые», - доносили информаторы. Г. А. Князев записал 17 марта: «Всю ночь была слышна стрельба, даже стекла тряслись... Сегодня выстрелы особенно слышны... Вечер. Выстрелов почти не слышно. Слухи о падении Кронштадта распространились по городу. Взволнованы все необычайно... Ужас безудержный овладел многими». По официальным данным, атаковавшие войска потеряли при штурме 572 человека убитыми и 3 285 ранеными, а осажденные - 1 тысячу убитыми и больше 2 тысяч ранеными. Две с половиной тысячи кронштадтцев

было взято в плен. Официальные сведения о числе пленных вызывали сомнения историков, в различных исследованиях приводятся разные данные. С. А. Зонин писал: «Не только участие в боях, но и само пребывание в Кронштадте и на его фортах в дни восстания квалифицировалось как преступление. Учитывая потери в боях, примерно 13-18 тысяч защитников Кронштадта были пленены». Потом начались суды и расстрелы, пленных расстреливали в Кронштадте и в окрестностях Петрограда, в лесу под Павловском, возле Царского Села, в Ораниенбауме. Тех, кого отправили в концлагеря, тоже не щадили: в концлагере в окрестностях Холмогор привезенных кронштадтцев сразу построили в шеренгу и расстреляли каждого второго. В 1923 году власть объявила «мятежникам» амнистию, и многие из бежавших в Финляндию вернулись на родину, но они недолго оставались на свободе. Председатель ВРК С. М. Петриченко, который ушел в 1921 году в Финляндию, в 1945-м был выдан финнами советским властям. Его не спасло и то, что с конца 20-х годов он сотрудничал с советской разведкой, и в 1947 году Петриченко погиб в концлагере.

В марте 1921 года ни в Петрограде, ни в Кронштадте не хотели «братоубийственной бойни», но пора военного коммунизма завершилась кровавой точкой. Поэт Николай Оцуп писал: «Помню жестокие дни после кронштадтского восстания. На грузовиках вооруженные курсанты везут сотни обезоруженных кронштадтских матросов. С одного грузовика кричат: "Братцы, помогите, расстреливать везут!"». Но нет братцев, какие братцы могут быть на бойне? В феврале и марте 1921 года многим казалось, что время словно повернуло вспять: «Глухо долетают издали пушечные выстрелы (ночь наступления на Кронштадт), - вспоминал Оцуп. - Гумилев сидит на ковре, озаренный пламенем печки, я против него тоже на ковре... Мы стараемся не говорить о происходящем - *было что-то трагически обреченное в кронштадтском движении, как в сопротивлении юнкеров в октябре 1917 года*» (курсив мой. - *Е. И.*). В октябре 1917-го матросы убивали курсантов военных училищ, теперь кронштадтцев расстреливали красные курсанты.

День подавления восстания совпал с государственным праздником - днем Парижской коммуны, и рабочие некоторых предприятий устроили по инициативе коммунистов шествия в честь победы над мятежниками. Но политсводки свидетельствовали, что ликования в городе не было: «Ликвидация мятежа в массе населения не произвела того впечатления, какого следовало ожидать. В большинстве случаев это недоверчивость к свершившемуся факту, чаще всего слышатся возгласы, что не могли пехотные части взять морскую неприступную крепость. Ходят упорные слухи, что в лагере белых существует хорошо подготовленный заговор, о котором нам ничего не известно, но который с наступлением весны будет приведен в исполнение. Тогда уж нам так легко не отделаться». В этих слухах была доля истины, только беды стоило ждать не от белых, а от укреплявшейся советской власти, об этом красноречиво свидетельствовала судьба кронштадтцев - гвардии, передового отряда, «красы и гордости революции». Писатель Леонид Пантелеев через несколько лет

после этих событий записал рассказ бывшего матроса: «После Кронштадтского мятежа, в 21 или 22 году - гуляли мы с товарищем по Конногвардейскому бульвару. Идет мимо курсант, на нас не смотрит... поет:

Эх вы, клешники,
Да что наделали.
Были красные,
Да стали белые!»

2. БЫВШИЕ ЛЮДИ. ДЕТИ БЕЗ ОТЦОВ

Смена эпох - это всегда конфликт поколений, неизбежный спор «отцов и детей», но в советской России 20-х годов происходило нечто совсем иное - молодежь того времени можно назвать «детьми без отцов». У молодого советского поколения не было не только преемственности, но и потребности идейного спора с «отцами» - прошлое отрицалось безоговорочно. Это касалось, в частности, истории России, которая напоминала в трактовке новой идеологии закостенело-однообразную, ледяную пустыню с редкими островками жизни. Да и эти островки вызывали сомнение, надо еще разобраться, что там за жизнь была. Взять, к примеру, Пушкина... «Левое» искусство требовало сбросить его с корабля современности, однако при соответствующей трактовке Пушкин мог пригодиться. Ф. Ф. Раскольников вспоминал, как в 1935 году В. М. Молотов заговорил с ним о Пушкине: «Кстати, я давно хотел с вами посоветоваться, - сказал Молотов... - Мы решили торжественно отметить столетие со дня смерти Пушкина. Как, по-вашему, лучше сформулировать: за что мы, большевики, любим Пушкина? Если сказать, что он создал русский литературный язык, что он воспел свободу, так под этим подпишется и Милюков. Надо придумать такую формулировку, под которой не мог бы подписаться Милюков. Подумайте-ка об этом»... На досуге я придумал тысячи определений значения Пушкина, но не решился доложить их Молотову: под каждым из них мог бы подписаться Милюков». Вот ведь незадача какая!

Но вернемся в 20-е годы.

Россия счастье. Россия свет.
А, может быть, России вовсе нет.
И над Невой закат не догорал,
И Пушкин на снегу не умирал...

- писал поэт-эмигрант Георгий Иванов. К середине 20-х годов в советском обществе сформировалась стойкая неприязнь к эмигрантам, а их стенания о гибели России вызывали презрение. «У нас сейчас допускаются всяческие национальные чувства, за исключением великороссийских... Это имеет свой хоть и не логический, но исторический смысл: великорусский на-

ционализм слишком связан с идеологией контрреволюции (патриотизм), но это жестоко оскорбляет нас в нашей преданности русской культуре», - писала в дневнике 1927 года филолог Лидия Гинзбург. Однако отвергать и осуждать русский патриотизм и любить русскую культуру это все равно что любоваться украшениями на теле мертвеца; власть, которая отмечала юбилей *смерти* Пушкина, была последовательнее интеллигенции.

Презрение вызывали не только эмигранты, но и оставшиеся в России «бывшие люди», их так и называли - «бывшие», то есть утратившие право называться людьми. По свидетельству Н. Я. Мандельштам, в 20-х годах «старшие поколения, еще демократичные, вызывали грубые насмешки молодых». Однажды Осип Мандельштам указал ей на бредущего по мосту оборванного старика - «это был известный историк... Исторические концепции этого историка были наивны и отличались умеренностью. Такие погибали в первую очередь. О его смерти никто не узнал - он умер где-нибудь на больничной койке или в нетопленой комнате».

Даже признанные властями общественные деятели прошлого вызывали у молодежи пренебрежительную усмешку. Лидия Жукова вспоминала знаменитого юриста А. Ф. Кони: «И вот он перед нами, эта живая легенда: высохший грибок, сбившийся, трепаный комочек... Как-то иду по Надеждинской, смотрю - перед подъездом стул, обыкновенный домашний стул, а на нем знакомая тряпичная кукла. Греется на солнышке. Великий Кони...». В мемуарах, написанных ею через полвека, запечатлелось высокомерие молодой советской интеллигенции 20-х годов. Она вспоминала о превращенной в музей «последней квартире Романовых» в Александровском дворце, где все осталось по-прежнему: игрушки в детской цесаревича, семейные фотографии на столах, свидетельства жизни жестоко загубленных людей. Но Лидию Жукову поразило не это, а буржуазная безвкусность обстановки! Тогда такие наблюдения были в моде, Лариса Рейснер тоже писала о буржуазной безвкусице покоев расстрелянных великих князей. Спустя полвека Жукова помнила вазочки, белый телефон на столе императрицы, ванную с бассейном, но ни словом не упомянула о главной особенности царских покоев. Об этой особенности сообщала в 1923 году «Красная газета»: «За будуаром - спальня [императрицы]. О том, что это спальня, говорит только стоящая у стены огромная кровать. Все остальное больше напоминает домовую церковь. Иконы, иконы, иконы...» Забывчивость Жуковой объяснима, религиозный аспект жизни был вне интересов молодежи ее круга, его просто не замечали...

Молодых друзей Анны Ахматовой смущало ее обыкновение креститься, проходя мимо церкви, это казалось пережитком прошлого, да и сама Ахматова в свои 35-37 лет была официально признана пережитком прошлого - ей назначили пенсию за былые литературные заслуги. В 1925 году критик В. О. Перцов писал: «Мы не можем сочувствовать женщине, которая не знала, когда ей умереть», а московские поэты-«ничевоки» публиковали ернические диалоги: «Как поживает там Анна Ахматкина? - Говорят, что Ахматкина уже никак не поживает... Говорят, что она уже

загнулась». А через несколько лет Анна Ахматова услышит вопрос: «Вы, кажется, были когда-то писательницей?» Характерен рассказ Евгения Шварца о появлении в ленинградском Союзе писателей Федора Сологуба, оно напоминает явление Каменного гостя в мир живых: «Его тяжелое лицо, и русское и римское, сохраняло полное спокойствие, будто он был в комнате один. И все притихли, и что-то как будто прояснилось на мгновение. Шел человек чужой, но поэт, умирающий, но еще живой».

Бывшие люди, живые мертвецы, пережитки прошлого - им давно следовало умереть, они были лишними и даже опасными в новом обществе. По утверждению Лили Брик, Маяковского довели до самоубийства грипп и разговоры «литературных бывших людей» об искусстве! В поездах времен военного коммунизма бывших людей можно было определить по запаху: тогда свирепствовал сыпной тиф, и считалось, что разносчиков заразы - вшей отпугивает запах нафталина и камфары. Поэтому, собираясь в дорогу, люди из «чистой публики» рассовывали по карманам или зашивали в ладанку пахучие шарики. От них пахло нафталином, тлением, как от залежавшегося старья, и соседи брезгливо отодвигались.

Сходное чувство молодежь испытывала к культуре прошлого: серебряный век исчез за выжженной полосой революции и гражданской войны, и жизнь как будто вывернуло наизнанку. Вежливость теперь считалась проявлением «старорежимности», а грубость - признаком передовитости. Лингвист А. М. Селищев в опубликованной в конце 20-х годов книге о языке новой эпохи отмечал его обеднение, вульгаризацию, засилие блатного жаргона. По его наблюдению, речи и статьи вождей были полны «грубых ругательств, особенно резких по отношению к противникам коммунистической власти и к лицам своей среды, нарушившим партийное единство». Еще развязнее была комсомольская пресса, ее страницы пестрели бранью и даже матерщиной. У молодежи «революционным» стал считаться блатной жаргон, при прощании теперь говорили «ну, пока»* или «до скорого», рукопожатие сменилось хлопаньем по плечу, а обращение на «вы» почти исчезло из обихода.

Даже люди старшего поколения порой сомневались в реальности недавнего прошлого. Неужели «большая, рыхлая, 45-летняя женщина» - это воспетая Блоком Прекрасная Дама? «Глаза узкие. На лоб начесана челка», - писал в 1926 году К. И. Чуковский о Любови Дмитриевне Блок. Она служила корректором в Госиздате и тоже изъяснялась языком новой эпохи: «Летом случалось *вырабатывать* до 200 р. в месяц, но теперь, когда *мы слились с Москвой*, заработок уменьшился вдвое» (курсив мой. - *Е. И.*). «Того чувства, что она "воспетая", "бессмертная" женщина, у нее не заметно нисколько, да и все окружающее не способствует разви-

* «Старорежимная» интеллигенция иронически обыгрывала новые словечки и аббревиатуры: при прощании говорили «Чик», то есть «честь имею кланяться»; художник Добужинский произносил с угрожающей интонацией: «Ну, пока!». В годы Великой Отечественной войны прощальным приветствием стало: «Будь жив!».

тию подобных бессмысленных чувств», - отмечал Чуковский. Бывшая жена поэта Ходасевича, «бедная Анна Ивановна Ходасевич с голоду пустилась писать рецензии о кино. Была на интереснейшей американской фильме, но рецензию пишет так: "Опять никчемная американская фильма, где гнусная буржуазная мораль и пр.". "Иначе не напечатают, - говорит она, - и не дадут трех рублей!"» - записывал Чуковский. Поблекли, утратили очарование знаменитые петербургские красавицы серебряного века, их изменили не только невзгоды - кончилась эпоха, одухотворявшая их красоту. «Жизнь до того изменилась, что я иногда сомневаюсь, жива ли я еще», - признавалась в 1926 году Е. А. Свиньина.

Но, несмотря на все перемены, в жизни города не исчезли его особые, «петербургские» черты и коллизии. Однажды герой «Преступления и наказания» Родион Раскольников остановился на улице послушать пение: юная певица в мантильке, перчатках, шляпке исполняла под аккомпанемент шарманки чувствительный романс. В репертуаре уличных певцов 20-х годов тоже преобладали чувствительные романсы: «Наше счастье разбить пожелали, нарушили семейный покой, от меня мою детку отняли. Ах, за что ж я несчастный такой!», «Скажи, зачем меня прельщаешь, и что меня к тебе влечет? Иль так ты взглядом поражаешь, твой образ ходу не дает» и тому подобное. В июле 1924 года «Красная газета» писала об одной из уличных певиц: «Бывшая полковница. Черная креповая шляпка. На плечах тальмочка. В руках ридикюльчик. Во двор заходит смело, но всегда разыщет дворника или управдома и спросит: "Разрешите спеть два романса". Из-под тальмочки извлекает тетрадку нот, долго переворачивает страницы... Потом легонько откашливается и: "Я шансоньетка! Поберегитесь! Стреляю метко! Не попадитесь!". Окончив один романс, старуха поет другой и вдруг начинает приплясывать». Тальмочка, шляпка, перчатки... - уж не ее ли когда-то слушал Раскольников? Или это обезумевшая Катерина Ивановна Мармеладова? Старуху сопровождала молодая женщина, вдова ее сына, она тоже пела, а старуха пускалась в дикий пляс. Их жалели, из окон летели во двор завернутые в бумажку монеты. Репортер назидательно замечал, что бывшая полковница богаче своих слушателей: он видел, как она купила пирожное на собранные пятаки!

Всем известно, что самые богатые люди на свете - нищие. Об этом свидетельствовала другая история, поведанная «Красной газетой»: «На днях в Петрограде умерла от голода гражданка Норенберг. Норенберг занималась нищенством». Она собирала по помойкам объедки, соседи подкармливали ее из жалости, а после ее смерти «под матрасом и подушкой покойной нашли несколько триллионов советскими деньгами, на несколько десятков тысяч рублей золота, бриллиантов, а в несгораемом шкафу золотые монеты и другие ценности. На окне комнаты в коробке были червонцы»! Выходит, гражданка Норенберг умерла с голоду среди россыпей золота и бриллиантов, а соседи ничего не знали (коммунальные соседи - самый зоркий народ) и подкармливали хитрую старуху!

Такую чепуху публиковали газеты, такое рассказывали на собраниях,

распускали лживые слухи, и все с одной целью - вытравить из людских душ жалость к несчастным, голодным, гонимым. Власть мобилизовала все силы для истребления человеческого в человеке. Это было не бессмысленным злодейством, а циничным расчетом: народу советской России готовилась участь слепой разрушительной силы, а для этого он должен был разучиться думать, сочувствовать, сострадать. Неослабное нагнетание лжи и вражды постепенно давало результаты (в 1933 году Е. А. Свиньина писала: «Жестокие люди, жестокое время... как жестока и несправедлива волчья порода») - окружающие отвергали и травили беззащитных «бывших людей», а государство их истребляло. Хотя по природе людям свойственно чувство жалости, особенно женщинам... К. И. Чуковский записал в дневнике 1924 года случай на митинге в честь возобновления производства на бывшей писчебумажной фабрике Печаткина: «Говорились обычные речи: "Эта фабрика - гвоздь в гроб капитализма"... Вдруг среди присутствующих оказался бывший владелец фабрики, тот самый, в гроб которого только что вогнали гвоздь. Бабы встретили его с энтузиазмом, целовали у него руки, приветствовали его с умилением. Он был очень растроган, многие плакали». При других обстоятельствах те же бабы могли обозвать его паразитом и вытолкать из продуктовой очереди. Такие сцены были обыденными...

Народ заплатил высокую цену за разрыв с прошлым, особенно молодежь - дело даже не в том, что она лишилась драгоценного культурного наследия. Читая воспоминания, дневники, письма «бывших людей», часто поражаешься стойкости, ясности видения, мужеству, патриотизму их авторов. Многие из этих отверженных, несмотря ни на что, сохранили нравственные ориентиры, что в тех условиях было сродни героизму. Эти качества: нравственная твердость, различение добра и зла, правды и лжи - были так необходимы новому поколению, и молодежи придется мучительно, с жертвами, открывать старые истины заново. Многие люди, знавшие Анну Ахматову, считали, что ее жизнь, само ее присутствие могли удерживать от слабости и трусости. В 1944 году Анна Андреевна сказала об одной из знакомых: «Она думает, что я такая слабенькая. Она и не подозревает, что я - танк». В 20-х годах критики отзывались о ней как о «барыньке», знакомым она казалась беззащитной, не приспособленной к новой жизни; однажды на улице какая-то сердобольная старушка подала ей милостыню. Однако чаще женщины из «бывших людей» вызывали не сочувствие, а презрительную усмешку. Аркадий Маньков записал в дневнике 1934 года о появлении у них на службе «бывшей дамы»: «На работе ко мне приставили для обучения какую-то старую барыню в шляпе с ощипанными страусовыми перьями и в больших ботах. Она ходила за мной, шмыгая ботами по полу». Откуда она взялась, бедная? Зачем эта нелепая шляпа - верно, она принарядилась в надежде на место, но разве таким, как она, есть место в жизни? Печальная тень дамы в страусовых перьях и ботах мелькнула и исчезла, а все не выходит из памяти.

Перед молодежью из дворянской и буржуазной среды стоял выбор: принять новые жизненные правила или оказаться в числе изгоев. В сере-

дине 30-х годов для гибели могло хватить происхождения, но в первом десятилетии советской жизни кое-что зависело от личного выбора, власть «перебирала людишек»*, испытывала их на прочность. В воронежской ссылке Осип Мандельштам познакомился с высланным из Ленинграда молодым поэтом Сергеем Рудаковым**. Рудаков происходил из дворянской семьи, его отец и старшие братья были офицерами. Трех братьев С. Б. Рудакова ко времени революции не было в живых, а отец и брат Игорь в гражданскую войну служили в Красной армии. Об их судьбе рассказала Э. Г. Герштейн: «По словам людей, близко знавших Рудаковых, отец и сын были расстреляны случайно. Это было то ли в 1921, то ли в 1922 году в Новониколаевске. Приехала какая-то комиссия и потребовала от генерала Рудакова выступления с признанием своего ошибочного прошлого. Он отказался, ссылаясь на то, что всю свою жизнь честно служил России. Тогда - расстрел, сказали ему члены комиссии. Обратились к сыну Игорю, который в начале Первой мировой войны учился еще в кадетском корпусе, а кончил войну Георгиевским кавалером. Игорь ответил: "Я - как папа". Оба были расстреляны». Их гибель не была случайностью, власть последовательно уничтожала людей с такими «чуждыми» понятиями, как офицерская честь, патриотизм, верность родственным узам, - всему этому не было места в новом обществе. Игорь Рудаков предпочел смерть, такой выбор требовал особых человеческих качеств, но большинство молодежи (и это естественно) стремилось включиться в новую жизнь.

Примером этого выбора может служить судьба дочери контр-адмирала российского флота, ленинградской писательницы Веры Кетлинской***. Ее отец, капитан I-го ранга К. Ф. Кетлинский был в начале 1917 года командиром крейсера «Аскольд», построенного по заказу России на американских верфях. По пути следования крейсера на базу в Мурманск был раскрыт матросский заговор, и капитан приказал расстрелять его зачинщика. После Февральской революции К. Ф. Кетлинский был произведен в контр-адмиралы, он возглавил командование военно-морскими силами Северного Ледовитого океана, но в 1918 году был застрелен на улице Мурманска матросом. Убийцу не поймали, и кем он был, так и осталось неизвестным. Вера Кетлинская всегда утверждала, что ее отца убил по заданию немецкой разведки переодетый матросом белогвардеец, а ее противники говорили, что это был «красный» матрос, который мстил за расстрелянного на «Аскольде». Разбирательство дела о «белом» или «красном» матросе периодически возобновлялось, о нем не забывали до самой смерти писательницы, в последний раз ленинградский обком занимался им в 1975 году. Неутомимые литераторы где-то разыскали механика с «Аскольда», и старец лепетал в обкоме: «Красные убили, красные...». В 1976 году лауреат Государственной премии

---

* Выражение «перебирать людишек» заимствовано из письма Ивана Грозного.

** Б. Рудаков погиб в штрафном батальоне в 1944 году.

*** О судьбе В. К. Кетлинской мне рассказал ее пасынок, морской офицер, автор работ по истории флота С. А. Зонин.

В. К. Кетлинская умерла. Почти вся ее жизнь прошла под знаком гибели отца и надежды на то, что его убийца был «белым». Это страшно.

Отец Веры Кетлинской погиб, когда ей было двенадцать лет. В шестнадцать лет она пошла работать на ткацкую фабрику, скрыла свое происхождение, на долгое время прервала отношения с матерью, стала активной комсомолкой и в 1927 году вступила в партию. Ее отказ от семьи не был банальным предательством - Кетлинская страстно уверовала в новые идеи. О ней писал Евгений Шварц, который в 1930 году работал вместе с Верой Кетлинской в ленинградском отделении издательства «Молодая гвардия». Он вспоминал: «Несокрушимая последовательность ее веры раздражала товарищей по работе. Больше всего любили ее бить, вытаскивая из мрака прошлых лет биографию ее отца... Но мне скорее нравилась последовательность ее поведения и бодрость - тоже вытекающие из цельности мировоззрения». Цельность мировоззрения помогала Кетлинской переносить вражду и невзгоды, у дочери контр-адмирала был сильный характер. К началу войны она возглавляла Союз писателей и во время блокады «с полной последовательностью проводила ту линию, которую ей указывали. Не подмигивая и не показывая большим пальцем через плечо: дескать, не я виновата, а высшие силы, мной руководящие... - писал Шварц. - Ни на миг не позволяя себе усомниться в правильности приказов, которые отдавала от своего имени и от всего сердца».

Жизнь Кетлинской не назовешь легкой: ее оставил муж, художник Е. А. Кибрик, после войны был арестован второй муж, писатель А. И. Зонин. Она не хотела верить в его вину, но «ее вызвали куда-то. И объяснили, какой нехороший человек Зонин». И Вера Казимировна уверовала в это свято, без малейшего притворства - и отказалась от мужа. Она продолжала писать, растила сыновей, а после освобождения А. И. Зонина приняла его в семью. Коллеги из Союза писателей ненавидели Кетлинскую за прямолинейность, у нее не было «двойного сознания», выработанного творческой интеллигенцией: гнуться, молчать, выполнять социальный заказ и при этом прятать кукиш в кармане, сохраняя видимость достоинства. Там, где не было противоречия ее вере, Кетлинская действовала решительно: она едва ли не единственная вступилась за Ольгу Берггольц в период ее травли. «Кетлинская, - писал Евгений Шварц, - жила в мире, сознательно упрощенном, отворачиваясь от фактов, закрывая то один, то другой глаз, подвешивалась за ноги к потолку, становилась на стол, чтобы видеть только то, что должно, но веровала, веровала с той энергией, что дается не всякому безумцу». В изображении Евгения Шварца такая судьба, несомненно, напоминает пытку.

У каждого времени свое представление о безумии. В 20-х годах фанатизм В. К. Кетлинской казался нормой, а безумцами считались те, кто уверовал в другие идеалы. В 1925 году «Красная газета» поместила статью «Фанатик перед судом. (Показательный процесс в Военно-медицинской академии)» - военный трибунал судил курсанта академии Илью Брукера за отказ от караульной службы. Курсант Брукер был пролетарского проис-

хождения, прошел воинскую службу на Балтийском флоте, а теперь отказывался брать в руки оружие по «религиозным убеждениям». Это что за убеждения такие, допытывался прокурор, и подсудимый объяснил, что он «толстовец». Ну разве это нормально? Курсанта-«толстовца» приговорили к трем годам заключения со строгой изоляцией. Еще большим безумцем был вызвавшийся защищать Брукера свидетель - непонятно, как он осмелился? «Свидетель Симерницкий - молодой, нервный. Он безработный. Этот готов проповедовать. Год назад Брукер познакомился с Симерницким в "кружке имени Толстого" при Вольной Ассоциации философов. Прокурор оглашает стенограмму доклада Симерницкого "Толстой и революция", прочитанного в кружке. Это - контрреволюционный бред, пересыпанный религиозно-изуверскими выкриками. По ходатайству прокурора военный трибунал постановляет привлечь свидетеля Симерницкого к ответственности, заключив под стражу в зале суда». Если Симерницкому и Брукеру и довелось еще встретиться, то где-нибудь на Соловках.

Одной из особенностей Петербурга всегда было большое, в сравнении с другими городами России, количество психических заболеваний и самоубийств. Город сохранил это печальное первенство и в XX столетии - в 20-х годах здесь была настоящая эпидемия самоубийств. Во времена военного коммунизма количества самоубийств в городе не считали, к концу 20-х годов их статистика была засекречена, но до того газеты сообщали о них в разделе происшествий. В ноябре 1924-го «Красная газета» поместила заметку: «С 1 января по 1 октября зарегистрировано 288 случаев смерти от самоубийства (в среднем 32 в месяц). Мужчин самоубивается в два раза больше, чем женщин. Наибольший процент - люди в возрасте 20-25 лет. Излюбленные средства: веревка, револьвер, яд». 288 смертей меньше чем за год - это чрезвычайно много даже по прежним петербургским меркам. Самоубийства молодежи - верное свидетельство неблагополучного состояния общества, взросление этих людей пришлось на время, когда жестокость, насилие, убийства, голодные смерти были обыденностью, и, конечно, пережитое не могло пройти бесследно. В. И. Вернадский вспоминал о солдате, которого он встретил в тюремной камере летом 1921 года: «Рассказывает об убийствах и гибели эпически-спокойно... а рядом с этим говорит: мы все обреченные, будет порядок и станут жить лучше, только когда нас всех, все наше поколение перебьют»*. Газеты сообщали о самоубийствах в городе почти ежедневно. В хронике самоубийств то и дело встречаются знаменитые фамилии: Комиссаржевская, Витте, Пушкин (28 мая 1924 года «с Мытного моста бросился в Неву и утонул П. Д. Пушкин, 30 лет»).

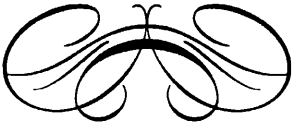
* Э. Г. Герштейн приводит в мемуарах рассказ офицера, услышанный ею в 1925 году: «Он говорил, что красноармейцы никак не могут войти в берега мирной жизни. К вечеру закружится кто-нибудь на месте, приставит револьвер к виску и кричит: "Хочешь, сдохну?" И притом без всякой видимой причины».

Поводы для расчета с жизнью были разные: любовная неудача, семейные неурядицы, нужда - на них приходилось больше половины случаев, но вот странность: большинство остальных было совершено без всяких видимых причин. Что толкнуло на смерть школьниц, одна за другой стрелявших себе в висок? В чем причина частых парных и тройных самоубийств? Чем объяснить такое: «Вчера покончила с собой выстрелом из нагана недавно вышедшая замуж Александра Б., 19 лет, - писала «Красная газета» в октябре 1923 года. - Она, очевидно, заранее обдумала акт сведения расчетов с жизнью и постаралась обставить его красиво: на столе спальни, где произошло самоубийство, были разложены все драгоценности, а постель убрана живыми цветами. Выстрел Б. произвела у постели, рассчитывая упасть в нее, но ошиблась в расчете и была найдена на полу. Руки ее были сложены на груди. В правой был наган, принадлежащий ее мужу». По словам родственников, она была любима, благополучна, счастлива в браке. Может, кино насмотрелась (редкая кинодрама обходилась без самоубийства), и захотелось эффектной, «красивой» смерти? Или причина в том же, что у большинства других: ранняя усталость, жизнь на пределе душевных сил, постоянная готовность к срыву?.. Лавина самоубийств требовала объяснения, и оно было найдено. В 1926 году «Красная газета» поместила отчет о съезде судебно-медицинских экспертов в Москве, где один из докладчиков, профессор А. И. Крюков, сообщил о своем открытии: «У самоубийц наряду с несоответственно большим мозгом наблюдаются ничтожные размеры сердца, узость аорты и различные нарушения внутренней секреции... В качестве реактива, определяющего внутренний мир, самоубийство вскрывает интересные явления. Глухонемые чаще кончают с собой, чем слепые. Известно, что слепые от рождения отличаются удивительным спокойствием своего внутреннего мира». Открытие Крюкова применимо скорее к социальной сфере - не видеть происходящего в жизни было безопаснее, чем оставаться зрячим; а вынужденная немота, невозможность протеста могли довести до безумия и смерти. Молодые люди с «маленькими сердцами», исчерпавшие запас душевной выносливости и жизненной силы, делали свой последний выбор.

Странно встречать в разделе городских происшествий знакомые фамилии: вот, например, Спесивцев, брат известной танцовщицы Академического театра балета. Студент института гражданских инженеров А. А. Спесивцев был по ошибке застрелен милиционером. Декабрьской ночью 1922 года постовой на улице Халтурина заметил мужчину с узлом в руках. Милиция тогда не церемонилась, и тот, «услышав окрик милиционера, бросил узел и побежал. Милиционер выстрелил в человека, вбежавшего в ворота дома №1 по Мошкову переулку». Постовой ошибся: вместо вора был убит возвращавшийся домой Спесивцев, а в брошенном узле «оказалась скатерть, ложки и несколько столовых приборов». Это происшествие прошло бы незамеченным, если бы не известность Ольги Спесивцевой и не вмешательство ее покровителя Бориса Каплуна. Пришлось разбирать дело. Следствие пришло к выводу, что милиционер действовал по инструкции. По-

следнее упоминание об этом деле появилось в петроградских газетах в начале 1924 года. Вскоре Ольга Спесивцева покинула Россию.

В 1924 году Ленинград был потрясен гибелью другой танцовщицы Академического театра балета, Лидии Ивановой. Оно надолго осталось в памяти горожан, запечатлелось в стихах Михаила Кузмина, в прозе Константина Вагинова. 17 июня 1924 года в «Красной газете» появилась заметка «Гибель балетной артистки Лидии Ивановой. Вчера во время катания на моторной лодке утонула в Неве артистка Академического театра балета Лидия Иванова». Эта история сразу показалась странной: лодка опрокинулась, столкнувшись с пассажирским пароходом, но утонула только Лидия Иванова и один из ее спутников, остальные не пострадали, а ее тело так и не было найдено. Лидия Иванова была замечательно одарена, с нею связывали будущее ленинградского балета, ее карьера входила в зенит, и все оборвала трагическая случайность. «Не случайность, а намеренное убийство», - говорили в городе. Со временем слухи не исчезали, а, наоборот, обрастали подробностями; в том, что это убийство, сходились все, но виновников называли разных. Одни подозревали, что в нем косвенно замешана Ольга Спесивцева, которая видела соперницу в талантливой молодой балерине («Следят за тактом мертвые глаза, и сумочку волною не качает... Уйди, уйди, не проливалась кровь, а та безумица давно далеко!» - писал Михаил Кузмин). Другие обвиняли в убийстве людей из городского начальства. В воспоминаниях Анатолия Краснова-Левитина сохранилась одна из версий: у Лидии Ивановой было много влиятельных поклонников, но воспитанная в строгих патриархальных правилах танцовщица была неприступна. Приглашение покататься по Неве в моторной лодке она получила от директора театра, он добавил, что «будут также солидные люди из Губкома и из Чека». «Отказаться - Лида будет выдана на съедение врагам... прощай, карьера. На семейном совете было решено, что она поедет». После ее гибели «у отца не было сомнений: четверо мужиков изнасиловали его Лиду, а потом утопили. Несчастный отец требовал расследования... Но как только оно начиналось - телефон. Звонок от всемогущего в Питере Зиновьева, и дело прекращалось. В 1927 году отец обращается к Кирову, тот направляет его к зам. председателя ГПУ Ягоде. Ягода обещает разобраться, но, приехав через три недели снова в Ленинград, говорит: "Уберите это дело - иначе мы вас уберем, как полено с дороги"». Трудно сказать, насколько достоверны эти слухи, но нельзя не согласиться с выводом Краснова-Левитина: «Всюду, где имеется возможность совершать втихомолку темные дела, развиваются зверские инстинкты - рядом с произволом идет преступление». Смутные времена, загадочные смерти: случайность, убийство, самоубийство? Гибель Сергея Есенина в Ленинграде в декабре 1925 года тоже до сих пор остается под знаком вопроса.



Зеэв (Владимир) Жаботинский

ГЕРМАНИЯ

Зеэв (Владимир) Жаботинский ранее многих других понял, чем грозит евреям и всему миру приход к власти Гитлера. О чем, в частности, свидетельствует его статья «Германия», впервые напечатанная - на идиш - в газете «Момент» (Варшава, 1933). Она появилась на иврите в газете «Хазит ха-ам» (24.2.1933) и на русском в журнале «Гадегел» (Харбин, 17.3.1933). Статья «Германия», опубликованная в 5(10) томе «Русское еврейство в зарубежье» (Иерусалим, 2003), была любезно предоставлена нашему журналу М. А. Пархомовским - главным редактором и издателем сборников поистине уникальных материалов о русских евреях в Израиле и диаспоре.

I

Когда пишу эти строки (начало второй недели гитлеровского царствования), у евреев имеется одно настроение. Когда строки эти появятся в печати, будет, вероятно, другое, а неделей позже - третье. Пока преобладает настроение №1, и оно звучит оптимистически. Только что я слышал от знакомого, недавно приехавшего оттуда. Он говорит: «Я знаю? - не так страшно. Во-первых, когда становятся канцлером, становятся умереннее. Во-вторых, вопрос еще, может ли такой человек, как Гитлер, оставаться долго канцлером. Он не большой мудрец, не очень образован, вероятно, начнет скоро делать грубые ошибки, станет смешным, а потом невозможным. В-третьих, есть же старый Гинденбург. Он не допустит хулиганских актов против еврейского равноправия, и говорят, что как Гугенберг, так и даже Фон-Папен не антисемиты. В-четвертых, это совсем неверно, что антисемитизм играет такую большую роль в программе наци. В их агитации - да, это совсем другое дело. Но время агитации для них минуло, теперь надо что-нибудь сделать серьезное, и тут весь еврейский момент не так для них важен».

Очень приятно слышать, но я не уверен, насколько это все соответствует действительности. Возьмем, например, утешение №2: быть или не быть мудрецом. Очень сомнительно, действительно ли Гитлер такое существо,

которое вскоре опозорится и станет смешным. Я когда-то взял на себя труд прочесть два тома его книги «Моя жизнь». Это произведение относится, несомненно, к тому сорту литературы, которую можно обозначить словами: «простой товар» - бесталанно, наивно, будничные «пехотные» мысли - все это доказывает, что он сам это написал, иначе он бы это заказал у Геббельса, который прекрасно пишет.

Но дураком его назвать нельзя. Гитлер обладает здравым смыслом, умеет аргументировать, может привести подобающие примеры из жизни и даже из той части мировой истории, которую преподают в народных школах.

Главное же это то, что он имеет друзей и советников далеко не глупых и хорошо образованных. Штрассер умен и образован, Геббельс - человек таланта, Годфрид Федер (автор социальной программы наци) интересный мыслитель. Каждому шефу советуют, чтобы там, где он не знает, что сказать, он бы советовался со своими специалистами, так и поступит Гитлер.

Вообще сомнительно, нужно ли быть таким умным и образованным, чтобы быть канцлером или премьер-министром. В старое время, когда «сар» (сановник) многим из нас представлялся легендарной фигурой, которую никогда не видали собственными глазами, у нас говаривали о «министерских головах».

В настоящее время министр везде обычный человек, его везде видели, везде слышали, и ничего особенного. Гораздо труднее, может быть, создать собственную партию, которая бы притянула 12 миллионов и еще немцев, но и для этого не надо быть гением. Острый ум не такое уж качество для такого рода занятий. Управлять страной может почти всякий средний человек: имеются твердые обычаи, вкоренившиеся методы - одним словом, рутина.

К этому еще тысячи чиновников, которые тебе укажут, что надо делать. Правда, Гитлер не хочет управлять по рутине, он хочет быть реформатором. Но и для этого у него имеется готовый прототип - Бенито Муссолини, и, без всякого сомнения, он захочет его копировать или, по крайней мере, перевести его «по-немецки». Нелегкая работа, но быть вторым Муссолини для этого не надо.

Не исключено, что царствование Гитлера будет кратковременное; мы видели, что лица покрупнее Гитлера ходили в канцлерах недолго, например, Фон-Папен и Шлейхер. Это возможно, но не доказано, и для оптимизма моего приятеля не вижу основания. Также ссылка на то, что, когда станов[ишься] канцлером, становишься осторожнее - не вечная истина. Естественно, что в написанной программе находится все в каких-нибудь 10 листах, все вместе, и чтобы провести каждый пункт в жизнь, требуется значительное время. Поэтому мой оптимист может себя утешать в течение нескольких месяцев тем, что обещанная антиеврейская программа не проводится.

Но, кто знает, может быть, и это будет? В истории мы видали разного сорта людей: и таких, которые прятали свой радикализм, когда приходили к власти, и таких, которые пробовали провести то, что они обещали массам. В особенности, когда взбудоражили 12 миллионов, когда нужно оправдать себя перед неслыханной массой молодежи, то уж вернее, что сугубо «осторожными» не будут...

II

На добродетели старого Гинденбурга и молодого Фон-Папена и всех других, которые «не антисемиты», я бы тоже не положился. Интересный факт: как мало говорят о евреях и об опасности для евреев во всех тех газетных статьях (и в немецких, и в иностранных), в которых поднимают гвалт в связи с победой Гитлера. Все ли эти корреспонденты - антисемиты, которые радуются, что вот в Германии будут разорены евреи?

Я лично знаю некоторых из них тут, во Франции и в Англии: они вовсе не юдофобы, некоторые даже, наоборот, юдофилы. Но они просто забыли. Опасность для евреев для них такая мелочь в сравнении с опасностью для экономических и политических интересов великих народов, в особенности, когда имеется еще опасность вооруженных авантюр. Для старого Гинденбурга и молодого Фон-Папена, а также для Гугенберга (не знаю, стар или молод господин этот) опасность для пары сот тысяч немецких евреев выглядит мелочью. Весьма возможно, что им лично будет неприятно, если Германия станет страной погромов, даже бескровных.

Но из-за этого одного они не поссорятся с канцлером, имеющим 12 миллионов последователей, и из-за этого одного они не рискнут гражданской войной.

Можно сомневаться, дадут ли Гитлеру (даже с большинством в будущем парламенте) провести исключительные законы против евреев. Но кому это нужно? С тех пор, что мир существует, главное - не закон, а как его интерпретируют. Искусство интерпретации - самый жестокий и самый гибкий слуга. Его достаточно, если только есть желание.

III

Остается последнее утешение: может быть, вовсе нет желания. Может быть, только так говорится, будто хотят уничтожить евреев, может быть, это только для агитации, на деле же у них самих это не играет роли, и теперь у них есть более серьезные заботы, и не только мировая пресса, противница немецких расистов, забыла про нас, про нас забудут и сами расисты?

Я должен, к сожалению, повторить то же слово: сомнительно.

Разумеется, удивляет каждого, удивляет в особенности нас, евреев, как это такая малая группа людей, как евреи в Германии, может занимать такое важное место в психологии большой партии? Невозможно себе представить, чтобы 12 миллионов немецких граждан, умеющих читать и писать, верили, что все несчастья Германии и всего мира происходят от нас. Это - абсурд, это немыслимо. Это есть только средство уличной агитации, но это не может быть серьезным исходным пунктом коллективной психологии...

Однако я боюсь, что это - действительно исходный пункт коллективной психологии, и к тому еще важнейший пункт.

Программа наци состоит из 25 пунктов, и, согласно их статуту, «нельзя

их изменить», точно законы Персии и Мидии. 25 параграфов - книга не толстая, и было бы очень нетрудно передать их содержание. И все-таки я бы отказался от такого задания.

Потому что как программа эта ни коротка, она содержит массу противоречий, в особенности в важнейшей своей части - социальной. Сначала это была программа для бедняков-рабочих и мелких крестьян и явно против капиталистов и крупных аграриев. После, однако, когда тяжелая индустрия стала поддерживать гитлеровское движение, естественно, стали толковать «вечную» программу так, чтобы она была благоприятна и промышленным капиталам. Еще немного позже нашли поддержку и у юнкеров, и даже пара кронпринцев официально присоединилась к движению. Тогда программе дали новое толкование, благоприятное и крупным земледельцам. Эта самая «эволюция» произошла и в отношении главного принципа экономической теории наци - «биржевого и процентного капитала». Это была любимая идея их теоретика Годфрида Федера. Гитлер сам рассказывает, как в 1919 году в Мюнхене он случайно попал на доклад Федера о процентном капитале, и это из него сделало национал-социалиста. Учение это состоит в том, что не всякий капитал - треф, как это проповедуют марксисты, только тот капитал, который живет в «разводе» со своим хозяином, базируется только на бирже и приносит хозяину проценты, которых он ни в коем случае не заслужил.

Только этот род капитала надо конфисковать, чтобы понятия «биржа», «проценты», «спекуляция» исчезли со света. Вот это главная суть «вечной» программы, его главное украшение.

Однако после, когда со всех сторон посыпались неудобные вопросы, как же думают устроить экономическую жизнь без процентного капитала, с одной стороны, и без социализма - с другой, - теоретики наци стали давать новые толкования своей программе, где на каждом шагу встречается запрещенное слово: «проценты»...

Такую программу никто не в состоянии понять, наци это знают. Их ответ: не важно понимать, за исключением одного пункта: экономическое спасение Германии и всего мира состоит в том, чтобы избавиться от евреев.

IV

Представьте себе дискуссию с опытным агитатором наци, когда вы ему указываете на все недостатки и противоречия в их программе. Что он вам ответит?

- Я не отрицаю, что имеются противоречия, - скажет он. - Вообще в нашей программе намечены только основные линии наших стремлений. Многое надо будет улучшить, многое приспособить к практике. При этом, может быть, окажется, что и современный хозяйственный порядок сам по себе не так уж плох. Может быть, благодаря ряду улучшений он станет вполне хорошим. Может быть, современный порядок подобен человечес-

кому организму, который сам по себе здоров, имеет руки, ноги, сердце, легкие и мозг, но он отравлен. В него впрыснули сильный яд, разгуливающий по его сосудам и дающий себя чувствовать везде: и в сердце, и в дыхании, и в походке.

В немецком общественном организме яд этот - евреи. Неважно, что они составляют незначительное меньшинство. Яд не взвешивается килограммами, достаточно двух граммов, чтобы испортить функции всех органов. Кто знает: может быть, биржа вовсе уже не такой плохой орган в хозяйственном организме, может быть, и «процентное хозяйство» может считаться вполне хорошим и правильным. Но, чтобы можно было судить об этом, надо раньше всего органы эти освободить от яда - передать их функции в настоящие немецкие руки, посмотреть, как они действуют при притоке настоящей, не фальшивой крови. Поймите меня: еврейский вопрос вовсе не придаток к другим пунктам нашей программы: он - *квинтэссенция* нашей программы.

А суть дела не в том, что евреи эксплуатируют немецкий народ, как наивно говаривали в старину. Если бы евреи были добросердечны, как ангелы, если бы они отдали весь свой доход государству или немецким беднякам, это бы не изменило факта: в их природе лежит фальшь, все они делают не по-нашему, а иначе, криво и фальшиво, и каждая вещь, которая сама по себе, может быть, и невинна, как биржа и проценты, в их руках превращается в кривду. Это центральный пункт нашей программы. Если в вашей крови есть яд, не спрашивайте, почему у вас болит голова, или почему выпадают зубы, или почему глаз не видит, или язык заплетается, или же дети рождаются калеками: избавьтесь от яда.

Это, я верю, настоящий смысл гитлеровской идеологии. Немцы могут быть кем угодно, но они любят систему и не любят бестолочи. Когда мы видим, что у них вдруг произошло сильное движение по программе довольно бестолковой, мы должны понять, что под этим хаосом находится доля системности. Систему создают двумя путями: или ткут планомерно сеть черточек, где одна точно пригнана к другой, или же не заботятся о взаимной зависимости всех пунктов, а указывают на *корень* - корень всех бед и мук: для системы это достаточно.

Нет, так легко отделить юдофобство от остальной гитлеровской идеологии, уговорить себя, что, может быть, наци будут делать «свое дело» и забудут про нас, - это значит: слишком много оптимизма. Вполне возможно, что Гитлер скоро падет, - дай Бог, - возможно, что ни он, ни его помощники, хотя они и не дураки, не обладают способностями формулировать во всем гигантскую проблему, которую они возбудили. А проблема гигантская. Для нас, евреев, в первый раз так выпукло ставится вопрос о нашем галутном существовании: возможно ли осудить и уничтожить наше влияние на экономическое развитие человечества?

Перевел М. Л.

АВТОРЫ НОМЕРА

Марк Амусин - доктор филологии, литературовед, автор двух книг и десятков статей по проблемам русской и мировой литературы. Живет в Израиле.

Эдуард (Авраам) Бормашенко - доктор наук, лектор и заведующий лабораторией полимеров в Колледже Иудеи и Самарии (Ариэль), автор 40 статей и 8 патентов в области физики и технологии полимеров, культуролог, аналитик, эссеист.

Владимир Буковский - бывший политзаключенный, правозащитник, автор четырех книг и десятков статей. Живет в Англии.

Анри Волохонский - автор книг поэзии, прозы, переводов, а также комментариев к библейским текстам и работ по структуре генетического кода и музыкальному строю. Живет в Германии.

Анатолий Кардаш (литературный псевдоним АБ МИШЕ) - кандидат технических наук, автор четырех книг и множества статей по истории Катастрофы и антисемитизму. Живет в Израиле.

Сергей Кургинян - кандидат физико-математических наук, аналитик, президент международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр», автор десятков научных работ. Живет в России.

Владимир Прибыловский - историк-медиевист. Автор статей по истории Византии. С 1982 года публикуется в русской эмигрантской прессе (под псевдонимом В. П.). Президент Информационно-исследовательского центра «Панорама». Автор более десятка книг. Живет в России.

Виктор Суворов (литературный псевдоним Владимира Резуна) - в 70-е годы работал в резидентуре ГРУ в Женеве и стал невозвращенцем, автор 14 книг. Живет в Англии.

Юрий Фельштинский - историк, доктор философии, редактор и составитель десятков томов архивных документов, автор четырех книг, соавтор конфискованной в декабре 2003 г. в России книги «ФСБ взрывает Россию». Живет в США.

Эйтан Финкельштейн - писатель, журналист, постоянный автор американской газеты «Forward». Живет в Германии.

Борис Хазанов (литературный псевдоним) - прозаик, эссеист, переводчик. Автор десятков книг. Живет в Германии.

Михаил Хейфец - историк, писатель, журналист. Автор более десятка книг и множества статей. Живет в Израиле.

Михаил Эпштейн - философ, культуролог, литературовед, эссеист, профессор теории культуры и русской литературы университета Эмори (Атланта, США). Член Союза писателей СССР, ПЕН-клуба и Академии российской современной словесности. Автор 16 книг и около 400 статей и эссе, переведенных на 14 иностранных языков, создатель сетевых проектов «ИнтеЛнет», «Дар слова» и «Веер будущностей. Техно-гуманитарный вестник». Лауреат премий Андрея Белого (СПб., 1991) и «Liberty» (Нью-Йорк, 2000).

Александр Этерман - по образованию прикладной математик, по роду занятий - аналитик. Автор нескольких повестей, романов, книги стихов, а также многочисленных эссе и газетных статей. Живет в Израиле.

NOTA BENE
Литературно-публицистический журнал (Иерусалим)

Главный редактор **Эдуард Кузнецов**
Заместитель редактора **Рафаил Нудельман**
Заведующий редакции **Елена Вайнштейн**
Корректура **Елена Драгицкая**
Типография **"Клик" (Иерусалим)**

Адрес редакции:
POB 45156, Har-Hozvim, Jerusalem 91450, Israel
Тел. 02-5325931. Факс 02-5324863
Электронный адрес: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE
Literary-Publicistic Magazine (Jerusalem)

Editor-in-Chief **Eduard Kuznetsov**
Deputy-editor **Rafael Nudelman**
Manager **Lena Wainstein**
Printing-house **"Click" (Jerusalem)**

The Magazine's Address:
POB 45156, Har-Hozvim, Jerusalem 91450, Israel
Tel: 02-5325931. Fax: 02-5324863
E-mail: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE
כתב-עת ספרותי פובליציסטי

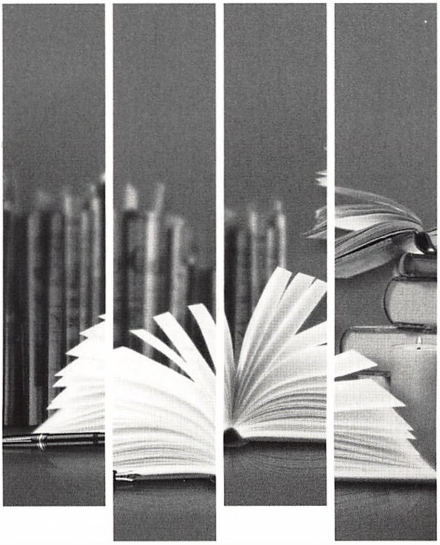
אדוארד קוזניצוב עורך ראשי
רפאל נודלמן סגן העורך
לנה ויינשטיין מזכירת המערכת
הדפסה: סטודיו "קליק" ירושלים

כתובת: ת.ד. 45156, הר-חוצבים, ירושלים 91450
טל: 02-5325931
פקס: 02-5324863
E-mail: omegag@bezeqint.net

Nota Bene (NB) © Э.Кузнецов

Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Использование материалов журнала без ведома и согласия редакции не разрешается.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

В Израиле (почтой)	210 шек.
В России (авиапочтой)	$65
В Европе (авиапочтой)	55 евро
В США (авиапочтой)	$70
Розничная цена в Израиле	40 шек.

Журнал выходит раз в два месяца

6 номеров, включая доставку

● Теракт на Дубровке - не банальный теракт, а полномасштабная попытка государственного переворота ● В Европе поэтапно отстраиваются структуры для создания идеологической диктатуры ● Мать Путина утверждает: отец президента России - Платон Привалов. Так, может, Владимир Владимирович Путин - это Владимир Платонович Привалов? ● Способна ли философия говорить по-русски? ● Религиозный рационализм - естественная религия взрослых